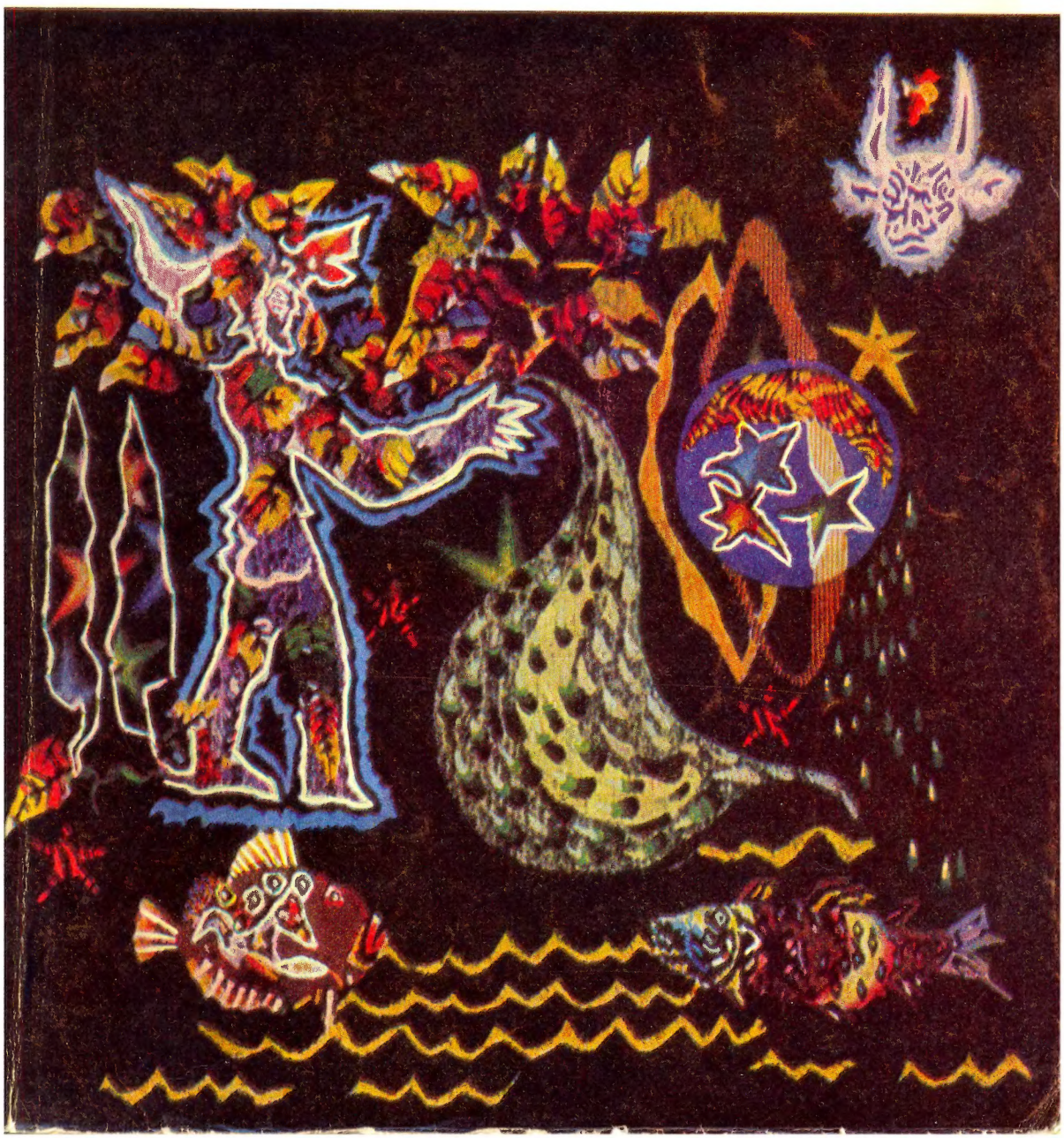
Иностранная литература

7

1967



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ХЕЛЕНА БОБИНСКАЯ — Москва, 1918-й год (Из старого дневника) 7

ПОВЕСТИ

УИЛЬЯМ СТАЙРОН — Долгий марш . . . 37
СИМОНА ДЕ БОВУАР — Прелестные картинки 118

ПЬЕСЫ

ДЖОН ОСБОРН — Неподсудное дело (Пьеса в двух действиях. Послесловие Д. Шестакова) 60

СТИХИ

О ДРУЖБЕ. Стихи монгольских поэтов. **САНЖМЯТОВЫН ДАШДЭНДЭВ, ТУМРИЙН НАЦАГДОРЖ, ЧОЙЖИЛЫН ЧИМИД** . . 3

7

ИЮЛЬ

1967

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

КРИТИКА

ГЕОРГИ ЦАНЕВ — Октябрь и новые пути болгарской литературы 198
ДЖОН ГОВАРД ЛОУСОН — Заметки об американской культуре 204
Ц. КИН — Итальянский фашизм и культура (Статья вторая) 209

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Третья конференция писателей Азии и Африки (Бейрут, 23—30 марта 1967 г.) . . 227

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

МИГЕЛЬ БАРНЕТ — Я — беглый раб . . . 233

НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

Э. ГАРАИ — В кадрах «Красного кинорепортажа» 245

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

РАДИЙ ФИШ — Улица Здравого Смысла . . 252

НАШИ ГОСТИ

М. КАНТОРОВИЧ — «Может быть, нет в Испании воздуха?» (Хесус Лопес Пачеко и Хуан Гойтисоло — гости «Иностранной литературы») 260

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Б. Гиленсон — Непобежденная песня. ◇ М. Галлай — Идальго де Сиснерос меняет курс 263

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Лев Копелев — К новой поэзии по старым путям. ◇ А. Зверев — Правнук доктора Фауста 267

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 273

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке: фрагмент гобелена французского художника ЖАНА ЛЮРСА.

О ДРУЖБЕ

СТИХИ МОНГОЛЬСКИХ ПОЭТОВ

■

Перевод с монгольского
ГЕННАДИЯ ЯРОСЛАВЦЕВА

САНЖМЯТОВЫН ДАШДЭНДЭВ

Сказанья об озере Толбо

Синеет огромное Толбо-Нур
В кольце пожелтевших гор,
Такое же синее небо над ним —
Бездонный громада-шатер.
По озеру белые птицы плывут
И в небе высоком парят.
За белыми точками зорко следит
Холодный охотничий взгляд.
Безмолвие, сонная тишь до поры...
Но вот отделился от ближней горы,
Как облачко, серый дымок.
Гром грянул. Стремительный лет потеряв,
С высокого неба на землю стремглав
Срывается белый комок.
Подраненный лебедь у самой воды
Недвижно лежит на песке.
Подруга-лебедушка кружит над ним
В отчаянной птичьей тоске.
Чем лебедю-другу в несчастье помочь?
...Бродя у воды, среди скал,
В изорванном дэле *, промокший насквозь,
Охотник добычу искал.
Ушел он ни с чем.
Наступала зима.
Пора было птицам на юг.
Лебедушка к стае пристала своей,
Остался один ее друг.
Законы природы сильнее любви.
Но, сковано первым ледком,
Прекрасное Толбо само берегло
Страдальца с подбитым крылом:
Оставило лебедю полынью.
А той, что была уже в дальнем краю,
Покоя себе не вернуть.

* Национальная одежда, халат на теплой подкладке.

Любовь посильнее законов иных!
И птица, ветров не страшась ледяных,
В обратный отправилась путь.
На север, на север летела она,
Летела весь день и всю ночь,
Забыв про метели суровой зимы,
Далекому другу помочь.
А лебедь последние дни доживал.
И эти последние дни
У самого берега, в полынье,
Проплавали вместе они.
Морозною ночью они обнялись,
Озябшими шеями тесно сплелись
И вмерзли, недвижные, в лед.
А утром охотник, заметивший их,
Стоял, вспоминая, задумчив и тих,
Как бил он по лебедю влет.

Сказанье прекрасное Толбо хранит
О верности двух лебедей,
Но это сказанье — всего лишь зачин
К сказанью о судьбах людей...

Спокойное, круглое, Толбо-Нур
Лежит средь сопок и гор.
Монголы мирные скот пасли,
Кочуя здесь с давних пор.
Князья и ламы грабили их,
Дзуд * мучил, губил недород.
Под перевернутым казаном
Жил в темноте народ.
Но время настало, и в старой Халхе **
Грянул восстания гром.
Русский монголу на помощь пришел
В битве с коварным врагом.
Били Байкалов и Хас-Батор ***
Белогвардейцев злых.
Однажды у озера Толбо-Нур
Враги окружили их.
Засел в Сарул-гуновском курене
Русско-монгольский отряд.
Голод и холод морил бойцов
Сорок два дня подряд.
На каждый яростный приступ врага
Мужествен был отпор,
Раненых не вмещал лазарет,
Бесстрашно погиб Хас-Батор...
Не в силах прорвать окруженья кольцо,
Бойцы хохотали врагу в лицо,
Коль требовал сдаться враг.
Насмерть стоял голодный курень.

---

* Бескормица, вызванная стихийными бедствиями: гололедицей или песчаным смерчем.

** Халха — старое название Монголии.

*** Байкалов К. К.— командир Красной Армии, воевал со своим отрядом в 1921 году против белогвардейцев на территории юго-западной Монголии. Хас-Батор — национальный герой Монголии, соратник вождя Монгольской народной революции Сухэ-Батора. *(Примечания переводчика.)*

Случалось, они отбивали в день
По пять и по шесть атак.
Тем временем воинов красных отряд
И мужественный Максаржаб *
Спешили на Толбо, чтоб вырвать друзей
Из цепких вражеских лап.
И стало свидетелем Толбо-Нур
Последних жестоких боев,
Спасенья героев, осиливших смерть,
Бесславного бегства врагов.

Синеет спокойное Толбо-Нур
В кольце зеленеющих гор,
И синее, мирное небо над ним —
Громадный лазурный шатер.
Чуть плещутся волны
В прибрежный гранит...
Прекрасное Толбо
Преданья хранит.
Их помнит монгольский народ.
Есть верность,
Которой и смерть не страшна;
Есть дружба,
И непобедима она.
Вот мира и счастья оплот!

ТУМРИЙН НАЦАГДОРЖ

Прохладный дождь

Накрапывает дождь, прохладный дождь.
На озере — круги от каждой капли.
Их тысячи, тех капелек немых,
Что пляшут, будто крошечные цапли.

И ты, моя любимая, нежна,
Как этот дождь, живительный, прохладный.
Ты мне нужна,
Ты мне навек нужна! —
Жизнь без тебя была бы безотрадной.

Накрапывает дождь, прохладный дождь
Над озером, над полем, над холмами.
Он травам и деревьям влагу даст,
Степь напоит и уберет цветами.

Любимая, как речь твоя нежна!
Внимаю ей, всем сердцем понимая:
Ты мне нужна,
Ты мне навек нужна,
Как вешним травам влага дождевая.

* Максаржаб Хатан-Батор — галантливый монгольский полководец, в годы революции — соратник Сухэ-Батора.

ЧОЙЖИЛЫН ЧИМИД

Давайте знакомиться, люди!

Куда б судьба меня ни занесла,
Повсюду — люди,
Людям нет числа!
Вблизи, вдали от родины моей
Людей я вижу,
Множество людей.
В любой стране —
И в городах и в селах —
Я вижу их,
И грустных, и веселых,
И стариков, и самых молодых,
И белокурых, и совсем седых.
Шагают в одиночку и помногу,
Идут — я уступаю им дорогу
И провожаю вслед
Пытливым взглядом.
Ушли. Их нет.
Как жаль... А были рядом...
Прохожие
Друг другу не знакомы:
Один идет домой,
Другой — из дома;
Я их не знаю,
И меня не знают,
И каждый по своим делам шагает.
Но отчего же мы вот так проходим
И почему знакомства не заводим?
Нам имена друг друга неизвестны,
Но меж собою связаны мы тесно.
Единством взглядов
Связан с большинством я,
С иными — по профессии родня,
Вон тем троим — надеждами знаком я,
Те — по стремленьям знают и меня...
Я встречному на улице — прохожий?
Нет, протестую! Мы ведь так похожи!
И утверждаю:
Мир наш очень тесен,
Мне — многие,
Я — многим интересен.
Давайте о «прохожих» позабудем,
Пусть меж собой знакомятся все люди.
Когда одни понятия о счастье
И о беде людей объединят,
Тогда знакомства, дружба —
В нашей власти,
И нет для дружбы никаких преград!

ХЕЛЕНА БОБИНСКАЯ

МОСКВА, 1918-й ГОД

(Из старого дневника)

Перевод с польского А. МЕЛЬНИКОВА

Польской писательнице Хелене Бобинской довелось быть свидетельницей событий первых месяцев после победы Октябрьской революции в Петрограде и в Москве. Бобинская происходит из семьи профессиональных революционеров. Она принимала участие в революции 1905 года в Польше, работала рука об руку с руководящими деятелями левого крыла Польской социалистической партии (ППС-Левицы). Провожая Бобинскую в Россию зимой 1918 года, известная польская революционерка Вера Костшева поручила ей передать, что ППС-Левица полностью солидаризируется с большевиками и их политической программой.

В Петрограде, а затем — после переезда Советского правительства — в Москве Хелена Бобинская работала в издававшейся на польском языке газете «Трибуна», а также в коллегии Комиссариата по государственному призрению.*

Писательница встречалась с выдающимися революционерами — Феликсом Дзержинским, Юлианом Мархлевским, Станиславом Будзынским. Она была женой Станислава Бобинского, видного деятеля Социал-Демократии Королевства Польского и Литвы, который попал в Россию в качестве политзаключенного; освобожденный революцией, он безоговорочно принял ее сторону и мужественно сражался за победу Советской власти.

В накаленной атмосфере революционных дней и ночей Хелена Бобинская урывками записывала все, что она видела, и впоследствии использовала свои записи при работе над книгой воспоминаний «Дневник тех лет», которая вышла в Государственном издательском институте Польши дважды — в 1963 и 1966 гг.

Читателю предоставляется возможность познакомиться с несколько сокращенным вариантом писательского дневника Бобинской, который она вела в Москве в марте-апреле 1918 года. Заключительный эпизод этого тома воспоминаний — встреча солдат Варшавского революционного полка с В. И. Лениным перед отправкой на фронт уже был опубликован в нашем журнале (см. «Иностранную литературу» № 4, 1958) по тексту книги «Воспоминания поляков об Октябрьской революции», Варшава, 1957 год.

---

* «Трибуна» — центральный орган групп СДКПиЛ (партия Социал-Демократия Королевства Польского и Литвы) в России. Газета начала выходить вскоре после Февральской революции 1917 года как еженедельник, а с февраля 1918 года — уже как ежедневная газета, сначала в Петрограде, а с конца марта в Москве.

28 марта

Вчера мы наконец приехали в Москву. Польский комиссариат * перебрался одним из последних. Москва была совсем не подготовлена к приезду правительства. Из-за нехватки зданий, пригодных для правительственных учреждений, некоторые народные комиссариаты заняли частные особняки аристократии и богатых купцов. Почти все владельцы этих особняков бежали за границу сразу же после революции. Польскому комиссариату отвели особняк купца Тарасова на углу Хлебного и Ржевского переулков.

Мы выезжали из Петрограда около полуночи. Город казался вымершим. Резкий, пронизывающий ветер дул с залива вдоль пустынных улиц, гремел вывесками и залеплял стекла автомобиля хлопьями мокрого снега. Редкие фонари мигали на ветру, и колеблющиеся огни отражались в темных окнах замерших, молчаливых зданий. На перекрестках в багровом, трепетном пламени костров грозными тенями вырастали фигуры вооруженных красногвардейцев, и громкий окрик: «Стой!» падал в мертвую тишину ночи.

Петроград по-прежнему находился в состоянии боевой готовности, хоть пронзительный вой фабричных сирен уже не призывал по ночам: «К оружию!».

15 марта IV Чрезвычайный съезд Советов ратифицировал Брестский мир и утвердил решение о переводе столицы в Москву. Я подумала: «В Смольном уже нет Ленина». Торжественный, одетый в мрамор город вдруг показался мне осиротевшим и покинутым.

Польский комиссариат получил в свое распоряжение салон-вагон. На следующий день с раннего утра гостиная этого вагона превратилась в редакцию газеты «Трибуна». Очередной номер газеты должен был выйти сразу же после нашего приезда в Москву. К счастью, коллектив редакции был в полном составе: главный редактор — Юлиан Лещинский (он же комиссар по польским делам), Станислав Бобинский — его заместитель (он же комиссар по польским военным делам) и секретарь редакции — Бронислав Бортновский-Бронковский.

Застучали пишущие машинки. В вагоне сделалось темно от папиросного дыма и очень шумно — каждая статья вызывала жаркие споры. Мешок грецких орехов, которыми снабдил нас Лещинский, помогал коротать время. Лещинский, видимо, не очень надеялся на то, что будет хлеб. Но хлеб у нас был. Проводник благоговейно расставил на белой скатерти тарелки с ломтиками черного хлеба и салатницы с солеными огурцами. А мы так истосковались по этому самому черному хлебу! В Петрограде, в «Астории» (I Доме Советов), нам выдавали только осьмушку хлеба на день!

Как-то незаметно прошло полутора суток. Мы даже не успели подумать, где поселимся в Москве. Комиссариат получил помещение, а нам предстояло позаботиться о себе самим. В перенаселенной Москве это нелегко. Лещинский рассчитывал на каких-то старых друзей, Бобинский — на Стаха Будзынского. («Как-нибудь у него устроимся».) Мы уже знали, что Бузынский назначен народным комиссаром по государственному призрению **. Подумать только: Стах Будзынский — народный комиссар!

В последний раз я видела его в Варшаве в июле 1915 года, почью, на станции, когда его увозили в Кресты вместе с Бобинским, Прусом, Лазовертом и другими — весь Варшавский комитет СДКПиЛ. Перед

* Польский комиссариат при Наркомате по делам национальностей.

** Точнее: Будзынский был комиссаром по государственному призрению по Москве и Московской губернии.

глазами у меня еще стояло его просветленное юношеское лицо, виднев-шееся в дверях вагона. Ему было тогда двадцать один год. Он работал на обувной фабрике. Много читал. Прилежно посещал популярные лекции общества «Пшишлосць»* на улице Железной.

В ту пору Будзынский был уже членом Варшавского комитета СДКПиЛ и в партии его знали под кличкой Традиция, а сейчас ему уже двадцать четыре, из них — два с половиной года тюрьмы!

Москва встретила солнечным сиянием и весенней голубизной неба. Будзынский дожидался нас на вокзале. Несмотря на длинную кавалерийскую шинель и военную фуражку, он по-прежнему выглядел юнцом. Здороваясь со мной, он очень волновался.

— Ведь вы еще недавно ходили по Варшаве,— простодушно оправдывался он, вот уже в третий раз пожимая мою руку.

(За последний месяц я уже привыкла, что при виде меня глаза у товарищей поляков увлажнялись и их руки тянулись ко мне в тоске... по Варшаве, откуда я каким-то чудом выбралась, перейдя линию фронта.)

После первых торопливых вопросов об отце, сестре и брате (я видела их накануне отъезда), Будзынский заявил, что увозит нас обоих «к себе», а меня уже с сегодняшнего дня зачисляет в коллегию Комиссариата по государственному призрению.

Это меня несколько озадачило. Я была штатным сотрудником «Трибуны». Что на это скажет Лещинский?

Лещинский запротестовал.

— Вовсе не обязательно, чтобы в коллегии по государственному призрению были поляки и писатели.

Будзынский принялся горячо доказывать, что у него в коллегии бывшие генералы, тайные государственные советники, «черт знает кто»!

— Кругом саботаж. Мне нужен в коллегии хоть один наш человек.

Я их примирила.

— Буду работать в коллегии и писать в «Трибуну».

(Лещинский как будто не очень этому верит.)

В Москве — весна. На Мясницкой с крыш домов и из водосточных труб низвергаются водопады; вдоль тротуаров бурлят стремительные потоки, а посреди улицы теснятся люди в тулупах, с мешками и котомками за спиной. Навстречу им движется в сторону вокзалов серая изможденная толпа демобилизованных солдат с жалкими узелками, переброшенными через плечо. Наш автомобиль с трудом продвигается в этой толчее. Возникает затор. Ругаются возницы, ревут гудки грузовиков. Вразнобой названивают какие-то церквушки.

— Сожрут нас эти мешочники,— хмуро говорит Будзынский, указывая на людей с мешками.— Мы погибнем, если не пресечем спекуляцию.

Но я ошеломлена Москвой. Какой контраст с суровым, грозным Петроградом!

— Там был фронт. Москва — это тыл. Правда, Стасик?

Бобинский не отвечает, увлеченный газетами (мы не видели их двое суток). Будзынский оборачивается ко мне с таинственной улыбкой:

— Москва — это тоже фронт. Вы убедитесь в этом еще сегодня.

Только когда машина свернула на набережную Москвы-реки, Бобинский оторвался от своих газет.

— Куда ты нас везешь?

— К Венглинскому.

— Тебе не дали квартиры?

— Дали,— буркнул Будзынский и в сердцах махнул рукой.— Амфиладу из семи комнат! Я заглянул туда... и сбежал к Венглинскому.

---

* «Пшишлосць» — основанное СДКПиЛ просветительское общество, которое вело пропаганду идей марксизма.

Мы живем у Венглинского. Точнее — в расположении Шестнадцатого подвижного отряда Красной Гвардии. Этот отряд разместился в полуподвалах «Воспитательного дома» на Солянке.

Полуподвалы, где раньше жил обслуживающий персонал «Воспитательного дома», тянутся подо всеми зданиями и образуют настоящий лабиринт. Здесь Венглинский расквартировал своих красногвардейцев. Две длинные комнаты с арочными сводами занимал командир. Он гостеприимно уступил нам (мне и Бобинскому) свою спальню, а сам перебрался во вторую комнату, где жил Будзынский. Меблировка нашей комнаты состоит из железной кровати, небольшого столика возле нее, узенькой софы (это для меня) и двух пулеметов: один стоит на полу рядом с софой и обращен к окну; другой — в глубокой нише квадратного окна. Его черный ствол нацелен на широкий двор, где вокруг еще не оттаявшей клумбы прогуливаются парами девочки в зеленых платьях и белых пелеринках. Посреди комнаты стоит небольшой стол. Здесь я могу писать. Так мне сказал Венглинский. Он даже пытался освободить для меня «местечко» на этом столе, отодвинув в сторону связки гранат, маузеры и патроны. Но я предпочитаю писать на столике у кровати. Я рассеянная; а вдруг задену локтем черную «лимонку»?

Венглинский был поваром в «Воспитательном доме». Когда началась Октябрьская революция, он организовал отряд Красной Гвардии из поварят, истопников, монтеров и других рабочих приюта. Во главе отряда он ворвался сквозь пролом в стене в Кремль и немало способствовал его захвату. Теперь Шестнадцатый подвижной отряд Красной Гвардии воюет с анархистами, которые захватили на Поварской девять особняков и совершают оттуда вылазки в город, грабят склады и терроризируют население. Их черный флаг угрожает всей Москве. Венглинский им уже порядочно насолил. (Пулеметы стоят на случай атаки анархистов.)

Венглинский — коренастый блондин, пожалуй, лет тридцати. Брови и ресницы у него белесые, лицо рябое, типичное лицо варшавского каменщика. Ходит с палкой — левая нога не сгибается в колене. Говорит, что на фронте получил в эту ногу девять пуль. Выговор у него тоже варшавский. Бобинский явно питает к нему слабость.

— Отличный парень! Нечто среднее между Заглобой * и Куницким**. В голове настоящий революционный ералаш.

Вечером Венглинский пришел поглядеть, как мы устроились. Стасика не было. Он задержался в редакции.

— Мы заедем за ним позднее со Стахом,— сказал он.

Уходя, Венглинский предупредил, что нынче ночью его хлопцы немного пошумят, но чтобы я спала спокойно и не обращала на это внимания.

Ночью, едва я уснула (мы вернулись из редакции в два часа), раздалась громоподобная команда:

— В ружье!

Я вскочила со своей софы, Стасик также проснулся.

— Что за черт! Спать не дают! — и повернулся на другой бок.

Но о сне не могло быть и речи.

В коридоре топали сапоги красногвардейцев, лязгало оружие. И снова — охрипший голос Венглинского:

— Смирно!

Стало тихо.

— Хлопцы! (Венглинский говорит на своеобразном русско-польском языке.) Мы идем в бой и погибнем в этом бою, если будет нужно. Один за всех! Все за одного! Хлопцы! Вся Европа смотрит на нас!

---

* Герой романа Генрика Сенкевича.

** Куницкий Станислав (1861—1886) — активный участник польского и русского революционного движения.

Далее уже шел «революционный ералаш». Повторить невозможно. Подлинный революционный пафос то и дело граничил тут с наивностью. Но его хлопцы, видимо, чувствовали этот пафос, и речь командира доходила до их сердец, ибо они ответили громким возгласом:

— Да здравствует революция! Да здравствует Ленин!

Эхо этого возгласа прокатилось по бездонным коридорам. На дворе загрохотали тачанки, взревели моторы.

Потом... тишина.

Ранним утром нас разбудил веселый шум возвращающегося отряда.

Венглинский постучал в дверь.

Он был без шапки. Белесые пряди прилипли ко лбу. Рябое лицо потемнело словно от дыма, за поясом торчал маузер.

— Мы захватили один особняк,— он был возбужден, от этого его варшавский говорок сделался еще заметнее,— и порядком порубали этих гадов.

Он пригляделся... сообразил, что мы только-только проснулись.

— Что вы? Уже день на дворе! Вставайте и приходите к завтраку. Кое-что найдется,— лукаво подмигнул он.— Только быстро!

И вышел, постукивая палкой.

Будзынский подтрунивает надо мной:

— Разве я не говорил, что Москва — это тоже фронт?

И снова «боевая» ночь. Мы оба настолько устали, что засыпаем во время патетической речи Венглинского. Только Будзынский не может уснуть.

— Брюхо у меня начинает болеть, когда его слушаю,— говорит он.— Что за чушь!

Бобинский защищает Венглинского (он знает его по Московскому восстанию).

— Иногда чушь несет? В голове у него новые идеи еще не улеглись, а его хлопцы хотят знать, за что сражаются и гибнут. И одно знают наверняка: что их командир первым пойдет в бой. Его надо видеть в бою! — загорается Бобинский.— Смелый? Мужественный? Он попросту одержимый! Ему все равно — погибнет он или нет. «Главное, чтобы этих сволочей юнкеров из Кремля выкурить».

Бобинский превосходно подражает произношению Венглинского.

30 марта, 11 часов вечера

Было заседание коллегии Наркомата по государственному призрению. Точно дурной сон. Высокий, холодный зал. Длинный, покрытый зеленым сукном стол. И вокруг стола — затянутые в мундиры, увешенные орденами манекены. Язвительно-учтивые и елейно-униженные лица. Типы из Салтыкова-Щедрина. (Членство в бывшем опекунском совете под эгидой самой императрицы было почетной синекурой для отставных генералов и экс-сановников, которых нужно было куда-то пристроить.) Есть, разумеется, и «батюшка» с седой бородой патриарха и тяжелым золотым крестом на широкой груди.

Все это дышит нескрываемой враждебностью; даже большой темный прямоугольник на зеленых с золотым узором обоях — след от снятого портрета императрицы. Какой-то тощий Петр Гаврилович в потертой тужурке, с седой бородкой и исполненным достоинства желтым лицом читает, заикаясь, пространный отчет о состоянии финансов Наркомата по государственному призрению. В конце доклада он называет астрономическую цифру трехмесячной задолженности по зарплате работникам комиссариата и персоналу благотворительных учреждений че-

тырнадцати губерний — и это, не считая пособий для пенсионеров и других подопечных.

Когда он закончил, Будзынский предоставил слово молодому юристу Ольге Черняк, которую недавно приняли на работу. (Вместе с доктором Фуиком, тоже молодым человеком, они положили в наркомате начало отделу по делам беспризорных детей; они — единственные живые люди на этом сборище допотопных чудовищ.)

Ольга Черняк напрасно хмурила черные брови и кусала губу, оттененную нежным пушком. Из скупого описания обследованных ею «благотворительных» приютов возникала тревожная картина. Всюду персонал саботирует; дети полураздеты, находятся в нетопленных помещениях, не видят даже горячей пищи. Везде грязь, болезни, начинаются эпидемии. Нужно спасать детей...

Она села, достала платочек и уткнулась в него лицом.

Несколько раз во время ее выступления я взглядывала на Будзынского и замечала, что тот с трудом владеет собой. Но он произнес спокойно, даже холодно:

— Первый докладчик огласил здесь настоящий обвинительный акт Советскому правительству. Мы слышали, какую огромную сумму задолжало Советское правительство работникам наркомата и персоналу многочисленных «благотворительных» учреждений.

А потом мы заслушали другой отчет. Мы увидели, как выполняли свои обязанности эти люди, как работал персонал, которому доверена жизнь тысяч бездомных сирот, увидели саботаж, направленный против беззащитных детей! Мы увидели мерзкое преступление... и давайте, господа, кончать с саботажем! (Тут он ударил кулаком по столу так, что подскочили карандаши.) Ленин сказал: «Кто не работает, тот не ест». Кто хочет честно сотрудничать с нами, того мы принимаем с открытым сердцем и ценим. А дармоедов и врагов разгоним на все четыре стороны!

Мы возвращались пешком, чтобы немного подышать свежим воздухом после такого тяжелого дня.

Будзынский еще не остыл.

— Не помню, что я там наговорил...— он потер лоб рукой и взглянул на меня с обезоруживающей улыбкой.— Может, я сказал не то, что нужно, но меня всего трясло.

Я постаралась его успокоить. Сказала, кажется, что он нашел именно те слова, которые могли дойти до сознания этой шайки (включая удар по столу).

— А все-таки надо будет разогнать всю эту вражью стаю,— вслух рассуждал он.— Но откуда взять людей? Где их искать?

Проблема осложнилась переводом столицы в Москву. Все наркоматы находятся в стадии реорганизации. И всюду не хватает людей.

Было уже темно, когда с Москворецкой мы свернули на Кремлевскую набережную. Сразу же за мостом начиналась высокая железная решетка.

Усталые от долгой ходьбы, мы присели на ее бетонное основание. Отражения далеких огней расплывались и скользили по взбудораженной поверхности реки, вздувшейся от паводка.

Будзынский начал рассказывать о том, как в Совете Народных Комиссаров чуть не со слезами на глазах умолял Ленина, чтобы тот отменил решение о его назначении.

— Объясняю ему, что я простой рабочий и ничего не умею, что не учился всем этим вещам. А Ленин на это: «Никто из нас, товарищ Будзынский, не учился руководить государством рабочих и крестьян. А пришлось — ничего не поделаешь». И смотрит мне в глаза со своей хитрой

усмешкой. «Мы должны учиться, товарищ Будзынский, все должны учиться!» Ну, что на это ответишь?

Будзынский немного помолчал, улыбаясь каким-то своим мыслям.

— Знаете, что удивительно? — обернулся он ко мне.— Несколько таких слов Ленина — и уже веришь, что мы все преодолеем, что нас ничто не остановит. И с саботажем тоже справимся!

Он вскочил, снова полный энергии. Только теперь мы заметили, что находимся в двух шагах от железных ворот «Воспитательного дома».

Воскресенье, 31 марта, 10 часов вечера

Оба Стаха на партийном собрании в «Дрездене»*. Венглинский уехал в город. Его хлопцы спят. В нашей крепости царит тишина. Слышны лишь размеренные шаги часового во дворе. Что за день! Все утро мы ездили по городу: я, Стасик и Будзынский.

В ушах еще гудит от перезвона больших и малых колоколов бесчисленных церквей, а в глазах рябит от заполнившей улицы пестрой толпы. Улицы и бульвары то взбегают вверх, то спускаются вниз. Вся Москва шумит веселыми ручейками оттепели, красуется под лучами солнца голубыми, розовыми и желтыми домишками, сверкает куполами церквей, очаровывает неожиданной прелестью извилистых переулков, тихих одноэтажных особняков.

Каждый район Москвы — как бы самостоятельное местечко. Бульвары, по которым проходят трамвайные линии «А» и «Б», двойным зеленым кольцом опоясывают прихотливое переплетение улиц.

Китай-город — большой торговый район, цитадель московского купечества, образует своеобразный городок, отгороженный от остальной Москвы зубцами высокой, серой Китайгородской стены. Позади гостиницы «Метрополь» эта стена доходит до самой Театральной площади. Дальше высятся грозные, увенчанные башнями стены древнего Кремля; за ними поблескивают золотом десятки куполов. Даже в центре улицы вымощены булыжником, как, например, Охотный ряд. Возле Дома Союзов вольготно расселась, захватив часть панели, розовая приземистая церковь. В каждом переулке мы натыкаемся на покрашенные в желтый, зеленый и розовый цвета церквушки, которые нередко стоят почти поперек мостовой.

Москва уже давно запамятовала, когда была столицей. Она превратилась в город богатых купцов и оскудевших аристократов. Низенькие особнячки отгораживались зелеными ставнями от всего мира. Жизнь в них текла лениво, сонно, под благовест храмов. Жизнь, враждебная всему новому. Но это «новое» пришло.

В тихие переулки, устланные желтой листвой, ворвался грохот оружейной пальбы, всполошив стаи галок на замшелых кровлях церквей. Уютные романтичные площади и улицы глухо загудели под ногами вооруженных рабочих.

Трудовые предместья вошли в центр города. В бывшем дворце губернатора занял оборону революционный штаб. На площадях и улицах выросли баррикады. И настал день, когда по древним стенам Кремля ударили артиллерийские залпы.

Весеннее солнце с жестокой откровенностью обнажает щербины, раны и пробоины в белых стенах «Метрополя». В зубчатой стене Кремля еще зияет широкий пролом, через который ворвался отряд Венглинского. На площади Скобелева мы выходим из машины. Стильный белый дворец — резиденция Моссовета — весь изрешечен пулями. Здесь находился штаб восстания.

* Отель «Дрезден» находился на площади Скобелева (ныне Советская площадь).

— Юнкера обстреливали нас со всех сторон,— говорит Будзынский,— и от Охотного ряда, и со Страстной площади, и из Гнездниковского переулка.

— Скажи сразу, что в самом начале мы допустили много ошибок,— хмуро вставляет Бобинский.

— Начали мы хорошо,— возражает Будзынский.— В первый же день наш 56-й полк занял Главный телеграф и Кремль. Меня послали в Замоскворечье, в казармы 55-го полка.

Только сейчас я узнала, что Будзынский служил в армии. После выхода из тюрьмы (его освободила Февральская революция) он явился в Московский комитет партии большевиков.

— Что мне делать?

— Вступайте в армию,— отвечают мне.— Керенский призывает политических заключенных вступать в армию. Мы должны этим воспользоваться.

Будзынский прибыл в 55-й полк.

— Разумеется, я не сделал ни одного выстрела,— с юмором рассказывает он.— Зато охрип от говорильни, потому что 55-й полк митинговал с утра до вечера. В результате меня избрали в солдатский Совет этого полка, а накануне восстания я стал председателем Совета. Тут, едва я явился, солдаты окружили меня. Узнав о восстании, они тотчас же схватились за винтовки. Но в дверях с револьверами в руках стояли офицеры. Однако не успели они и глазом моргнуть, как их разоружили и посадили под арест. Солдаты бросились ко мне: «Веди нас, Будзынский!» А я не знаю военных команд. К счастью, подвернулся Крошка, унтер-офицер. Вы не знаете Крошку? — обратился он ко мне.— Ну так представьте себе: высокий, широкоплечий детина с круглым рябым лицом... а рядом я, тощий как былинка. Вот так мы и пошли, а за нами — весь полк. Я потихоньку советуюсь с Крошкой, а тот зычным голосом отдает команды, перечисляя батальоны...

Сейчас мы идем по Тверской и сворачиваем на Тверской бульвар. Бобинский показывает мне большое пятиэтажное здание — бывшую резиденцию градоначальника.

— Мы должны были сразу же занять этот дом. Но не заняли. Позднее эта вражеская крепость в нашем тылу здорово нам насолила. Из обоих Гнездниковских переулков юнкера обстреливали наш штаб. Пришлось брать дом градоначальника штурмом. Да что тут говорить,— махнул он рукой,— мы забыли о важнейших вещах. О том, что говорили Маркс и Энгельс, что постоянно повторял Ленин: «восстание — это искусство». Не подготовились надлежащим образом к восстанию.

— В революционном комитете нам здорово гадили меньшевики. Нужно и об этом помнить,— вставляет Будзынский.

— А мы позволили им гадить! — взорвало Бобинского.— Нечего было с ними церемониться.— Он рванулся вперед. Я потянула его за рукав.

— Стасик, с тех пор прошло пять месяцев, а ты так сердишься, словно это было вчера.

Бобинский остановился. Сверкнул на меня черными глазами.

— Думаю, что и через пять лет я точно так же буду сердиться. Лишь одно меня утешает,— сказал он уже веселее,— когда в Варшаве будет революция, мы уже не совершим этих ошибок. Верно, Стах?

Потом мы поехали на Сухаревку. На Сухаревском рынке шумно и тесно. Посредине стоят лавчонки и ларьки. Несмотря на воскресенье, идет оживленная торговля. Вокруг Сухаревской башни кружат шумные стаи галок, звонят колокола.

— Видишь вон тот двухэтажный дом на углу Первой Мещанской,— говорит Бобинский.— Там помещался наш Военно-революционный комитет Московского Совета. Сухаревский рынок походил на военный лагерь. На углу Первой Мещанской высилась баррикада, вокруг были вырыты окопы. Дом напротив занимали юнкера и обстреливали нас оттуда из пулеметов. Надо было во что бы то ни стало выкурить их. Тогда мы решили втащить пулемет на плоскую крышу башни и оттуда вести огонь по юнкерам. К счастью, какой-то солдат (как выяснилось, артиллерист), видя, что мы делаем, воскликнул:

— Что вы! Воробьевы горы обстреливать хотите? Поставьте его ниже!

— Сейчас это забавно,— смеется Бобинский,— но должен вам признаться, что именно здесь, на Сухаревке, была минута, когда я горько пожалел о том, что не служил в армии. Тогда нам очень не хватало военных специалистов. Правда, наша Ольга Афанасьевна * стоит не одного спеца по военным делам.

Весь этот день описать невозможно. Ночи бы не хватило. Напишу лишь о том, что рассказывал Стасик о «поврежденной башенке».

Мы стояли на Красной площади как раз против Спасских ворот Кремля. Юнкера дольше всего держались в Кремле. Нужно было любой ценой выбить их оттуда. 29 октября перебросили из Хамовников артиллерию. 1 ноября пушки гремели уже по всей Москве. 2 ноября восставшие овладели «Метрополем», почтамтом и многими другими объектами. Но в Кремле юнкера держались, хотя их обстреливали из пушек. 5 ноября дивизион тяжелой артиллерии занял позиции на Воробьевых горах и начал обстрел Спасских ворот. Глухой раскат первого залпа прокатился над Москвой. Бобинский до сих пор еще не может говорить об этом спокойно.

— Для нас всех это была самая прекрасная музыка. Она предвещала конец упорных семидневных боев. Можно было и раньше заставить юнкеров капитулировать, бомбардируя Кремль с самолетов. Но на это наш штаб не мог пойти, опасаясь за судьбу архитектурных памятников.

— Я был в это время в Замоскворецком комитете,— вспоминает Будзынский.— Грохот первого залпа взбудоражил нас всех. Люди пожимали друг другу руки. Конец контрреволюции!

Когда оба наговорились, Бобинский сказал:

— А теперь идемте, я вам кое-что покажу.

Он подвел нас к собору Василия Блаженного. (Бобинский уже показывал мне раньше это, по его выражению, «несусветное чудо архитектуры». А теперь велел повнимательнее приглядеться к какой-то поврежденной башенке с левой стороны.)

— Видишь? — спросил он.

Я притворилась, что вижу (этих башенок там целый лес).

— Неизвестно, каким по счету залпом повредили эту башенку,— улыбаясь рассказывал он,— но каким-то чудом уже на другой день об этом узнал Луначарский в Петрограде. Словно буря, ворвался он в кабинет Ленина в Смольном. «Либо вы сию же минуту прекратите обстрел Кремля, либо я выхожу из Центрального Комитета!» А Ленин на это спокойно: «Обстрел прекратим, когда сдадутся юнкера». «В таком случае, я сегодня же выхожу из ЦК»,— горячится Луначарский. А Ленин насмешливо щурит глаза: «Что ж?.. Выходите!»

Бобинский подождал, пока мы перестанем смеяться.

— Я тоже смеялся, когда мне об этом в Питере рассказывал Дзержинский. Но,— он нахмурился,— теперь я вовсе не считаю это забавным. Подумайте только: Луначарский, старый партиец, друг Ленина,

* Речь идет об О. А. Варенцовой, которая была членом штаба Военно-революционного комитета Московского Совета.

марксист, всесторонне образованный человек, и вдруг — какая-то «поврежденная башенка», какой-то «памятник архитектуры» заслоняет от него всю революцию. Разве это не опасный симптом? — он наморщил лоб.— А разве в каждом интеллигенте, в каждом из нас,— поправился он,— нет такой «башенки», которая в решающий момент может заслонить от нас самое важное, нарушить ясность мысли и марксистского видения мира?

И, чуть погодя, уже шутливо закончил:

— Следует остерегаться таких «башенок»!

На обратном пути Будзынский рассказывал:

— 6 ноября я весь день носился по городу из одного комитета в другой. Вернулся поздно ночью. Упал на груду мешков и сразу же уснул, несмотря на грохот пушек. Утром просыпаюсь... тишина... Вскакиваю в недоумении. А Землячка похлопывает меня по плечу:

— Теперь можешь спать, Будзынский. Мы победили. Кремль взят.

2 апреля

Сегодня с самого утра неожиданная ссора с Венглинским. Мы, как всегда, сидели за завтраком в его комнате. Тут довольно тесно из-за двух кроватей. Под ногами путаются пулеметные ленты. Пулемет в оконной нише заслоняет свет, а в комнате и без того сумрачно. На краю стола, между тарелкой с копченой рыбой и стаканом чаю, Стасик заканчивает статью для «Трибуны». Со стола свисает длинная узкая полоска бумаги, исписанная его ровным, отчетливым почерком. Ни одной поправки. Я удивляюсь этой способности Стасика. Нужно обладать редким умением сосредоточиваться, чтобы писать в любых условиях. И не менее редкой способностью точно формулировать свои мысли, чтобы вот так ничего не перечеркивать. Другое дело, что он не замечает тогда, что вокруг него творится. Вот и сейчас тоже не заметил, что вошел Венглинский и с торжествующим видом положил на стол подрумянившуюся буханку. Чудесный запах свежеиспеченного белого хлеба наполнил всю комнату.

— Откуда такая роскошь?

Будзынский с наслаждением впился зубами в мягкий ломоть.

Я нюхала свой кусок, словно это была роза. Мы уже забыли, какой вкус у такого хлеба. Бобинский поднял голову только после того, как Венглинский пододвинул к нему тарелку и сказал с гордостью:

— Попробуйте, Стасик! Трофейный!

Бобинский резким движением отодвинул тарелку.

— Уберите этот спекулянтский хлеб!

— Какой он спекулянтский? — обиделся Венглинский.— Я же говорю: трофейный. У анархистов отбили.

— А анархисты где его взяли? На наших складах!

— Почему на складах? — опешил на мгновение Венглинский.— Они чаще всего спекулянтов грабят,— наивно оправдывался он. (Будзынский прыснул со смеху.) — Так что? — вспылил Венглинский.— Дарить им два мешка муки? Что мы должны были делать?

— Сдать Отделу продовольственного снабжения,— отрезал Бобинский. Эти слова окончательно взбесили Венглинского.

— Мои хлопцы,— стучал он палкой по полу,— собственной кровью добыли эту муку, сейчас у меня лежат трое раненых, а я должен был пожалеть им горстку муки, их же кровью политой?

Тут-то и началось.

Статья Бобинского уже валялась на полу, а он метался взад и вперед по узкому проходу, меча громы и молнии.

— Что будет с революцией, если мы, большевики, начнем сами топтать нами же изданные декреты? Издали мы декрет о том, что пшеничная мука предназначается только для больных и детей? Верно? Издали? — напирал он на Венглинского.— А вы, командир Красной Гвардии, большевик, сами нарушаете этот декрет!

Венглинский отмахивался от этих слов, точно от мух.

— Эх, Стасик, вы сразу из тяжелой артиллерии. «Нарушаете». Никаких наших декретов я не нарушаю,— произнес он с достоинством.— Вот вы говорите, что пшеничная мука предназначена для больных, а ведь у меня трое раненых, значит, им эта мука положена по закону? Разве нет?

— Они должны получить ее через Отдел продовольственного снабжения, а не как трофей, отбитый у анархистов.

Венглинский снова замахал руками, но Бобинский не дал ему и рта раскрыть...

Он уже не мог остановиться.

— Ленин сказал: «Социализм — это учет». Если мы возьмем на учет каждый кусок хлеба и каждый кусок железа, это будет социализм. Так сказал Ленин. А какой же может быть учет, если каждый отряд Красной Гвардии станет снабжаться мукой по собственному усмотрению? Если бы, например, ЧК брала реквизируемую у спекулянтов муку «себе» — как вы думаете, что бы на это сказал Дзержинский?

Венглинский хмуро молчал.

— По-вашему выходит, что мои хлопцы, которые пролили собственную кровь, не имеют права на эту горстку муки? — спросил он, огорченный.

— Имеют право, но через Отдел продовольственного снабжения.

— Да они скорее помрут или выздоровеют, прежде чем дождутся муки от этого отдела! — рассердился Венглинский.— Так уж лучше я сам о них позабочусь.

Бобинский остановился перед ним и резко бросил:

— Вы боретесь с анархистами, Венглинский, а сами — анархист.

Венглинский покраснел, потом побледнел. Палка выскользнула из его рук и упала под стол; он тщетно пытался поднять ее. Будзынский нагнулся и подал ему палку. Венглинский тяжело на нее оперся и пробормотал дрожащим голосом:

— Вы что? Вы что, Стасик? Такое обо мне?..

Он повернулся и вышел из комнаты, хромая больше обычного. Наступила гнетущая пауза.

Помрачневший Стасик подбирал с пола рассыпавшуюся рукопись. Будзынский сидел понурившись и машинально катал шарики из трофейного хлеба. Потом поднял голову и проговорил глухо:

— Разумеется, правда на вашей стороне, Бобинский,— но... жаль «старшого».

— Бегите за ним,— шепнула я,— его нельзя так оставить.

— Черт возьми! Надо же такому случиться! — выругался Будзынский и выскочил из комнаты. Бобинский, поджав губы, укладывал в портфель свою рукопись. Потом взялся за шапку, брошенную на кровать.

— Стасик,— сказала я.— В принципе ты прав, но подумай: мы свалились Венглинскому как снег на голову, выселили его из комнаты, а ты еще обзываешь его анархистом!

Бобинский натянул короткий тулупчик, надел шапку. В дверях обернулся:

— Ты права. Но то, что в нем есть что-то от анархиста, тоже, к сожалению, правда.

5 апреля

Не забуду этого дня. Утром мы поехали в приют купца Руковишникова. (Руковишников — известный московский богач-филантроп.) Приют для «малолетних преступников» — одно из «благотворительных» его заведений. Короче говоря, это детская тюрьма. Хмурое здание из красного кирпича, окруженное высокой стеной. У железных ворот — сторож. Когда наш автомобиль дал сигнал, он сначала выглянул в окошко, потом долго скрежетал замками. Автомобиль остался за воротами, а мы все вошли по одному через узкую калитку. Помимо меня и Будзынского была еще Ольга Черняк и доктор Функ. Пустой, голый двор, забранные решетками окна кирпичного дома, окованная железом дверь. Дверь эта приоткрылась, и нам навстречу вышел еще не старый, довольно опрятный батюшка с темной бородкой и темными длинными волосами. Он представился как попечитель этого дома. Осторожно осведомился, с кем имеет честь разговаривать. Немного опешил оттого, что «имеет честь» говорить с самим народным комиссаром по государственному призрению. И тут же беспомощно развел пухлые поповские ручки:

— Условия, условия ужасные! Персонал саботирует, три месяца не получают зарплаты... Конечно, в этих условиях...

Будзынский не слушая отстранил его рукой.

— Сами посмотрим...

Батюшка, совершенно оробевший, повел нас длинным сумрачным коридором. (Везде одна и та же промозглая, тюремная духота.) Посреди коридора батюшка остановился.

— Может быть, сперва познакомимся с работой наших воспитанников?

Он изо всех сил старался поймать взгляд Будзынского, который внимательно осматривал грязные, покрытые пятнами сырости стены. Батюшка был окончательно сбит с толку.

Этот народный комиссар в длинной солдатской шинели и вдобавок такой молодой... Как его называть? Ни «ваше благородие», ни «ваше превосходительство». Товарищ комиссар? Какой я ему товарищ? Еще обидится! На лице попа явственно отражалась душевная сумятица. Он остановился у двери в конце коридора.

— Это мастерская. Мы придаем большое значение труду как средству воспитания.

Он с некоторым усилием повернул ключ в замке. За дверью послышалась какая-то возня, потом все стихло. Тогда поп открыл дверь. На нас пахнуло холодом, вонью сырой кожи. Зарешеченные окошечки под потолком давали мало света. Не сразу в этой мрачной тюремной камере разглядели мы ребятишек в одежонке из сатина. Некоторые из них успели присесть на продавленные табуреты у рабочих мест. Остальные сгрудились серой кучкой в темном углу.

— Безобразничаете, вместо того чтобы работать, бездельники! — загремел батюшка зычным голосом.— Я вам покажу!

Но ребята, видно, воспрянули духом при виде необычных гостей.

— От холода, батюшка,— буркнул кто-то из смельчаков,— это мы чтобы согреться!

Вся серая кучка в углу принялась старательно дышать себе на пальцы и притопывать обернутыми в лохмотья ногами.

— Я вам покажу, как греться,— грозился поп,— а где дядька?

— Откуда нам знать? — отозвался тот же голос.

— Саботирует негодяй! — обернулся поп к Будзынскому и снова развел руками: — Весь персонал саботирует!

— Почему здесь такой холод? — передернул плечами Будзынский.— Почему не топите? Дров нет?

— Дрова есть,— объяснял обескураженный поп.— Но истопники саботируют. Что с ними поделаешь?

— А вы что, хлопцы,— Будзынский оглядел ребятишек,— сами не можете печи натопить? Предпочитаете мерзнуть?

— Мы хоть сейчас! Сумеем! Почему бы нет! — ребятишки оживились и придвинулись ближе.

— Только нам не разрешат,— сказал кто-то уныло.

— Почему не разрешат? — спросил Будзынский.

Наступила тишина. Ребята переглядывались.

— Боятся, что мы удерем,— выпалил кто-то и спрятался за спины товарищей.

— Вот именно,— подхватил поп.— Выпустишь во двор — только их и видели...

— Как же так? — возмутился Будзынский.— Вы их даже во двор не пускаете? Ведь в самой худшей тюрьме отводят время для прогулок!

— В тюрьме! — с завистью вздохнул батюшка.— Там охрана есть, как полагается. А у нас? Один сторож. Разве ему в одиночку управиться? Не успеет глазом моргнуть, как вот такой сорванец махнет через стену.

— А раньше мы ходили! — раздался чей-то возмущенный голос.

— Тихо там! — прикрикнул поп.— Что за разговоры? Не знаете, с кем говорите! С самим народным комиссаром говорите!

Эти слова подействовали на ребят совершенно неожиданно. В одно мгновение они окружили нас плотным кольцом. Вскочили и те, кто до сих пор послушно сидел на своих рабочих местах. Теперь мы могли вблизи рассмотреть их посиневшие исхудалые лица, их глаза, жаждущие свободы и хлеба. Ребята явно делали над собой усилие, чтобы не шмыгать посиневшими носами и не притопывать озябшими ногами. Впереди, ближе всех стоял маленький парнишка лет девяти. Он машинально прижимал к груди валенок, к которому прилаживал подошву,— валенок был почти одного с ним роста. Большие голубые глаза на посиневшем личике, исполненные неизъяснимой боли, доверия и надежды, смотрели в лицо комиссару.

Будзынский вдруг положил руку на плечо мальчугану.

— Тебе здесь очень плохо? — спросил он почти шепотом.

И тут произошло нечто непредвиденное. Валенок глухо стукнул об пол, а мальчик с отчаянным рыданием упал на грудь Будзынскому и крепко обхватил его шею худыми ручонками.

Они еще долго потом шептались вдвоем в углу, между нетопленой печью и шкафом с инструментами. Кажется, оба поплакали!

Несколько часов провели мы в этой повергающей в ужас «детской тюрьме». Ибо, как выяснилось из картотеки, там были дети от девяти до четырнадцати лет, попавшие в этот исправительный дом главным образом за воровство на улицах, в магазинах и за бродяжничество. В холодной «спальне» в грязных логовах — постелью это не назовешь — лежали больные дети. Чем они были больны? Никто не мог ответить. Ими занялся доктор Функ. В кладовой мы нашли достаточно продуктов, но кухня, холодная и полная дыма, выглядела так, словно только сейчас, второпях, начали разводить огонь. Повар еще не явился. Было одиннадцать часов. Кто-то пошел за ним, так сказал нам поп.

— Прошу весь персонал собраться в столовой,— сухо обратился к попу Будзынский.

Он ходил по этому детскому аду молча, крепко сжав губы, глаза его метали молнии.

В ожидании, пока соберется персонал, батюшка пригласил нас в

свой кабинет. Вероятно, ему хотелось похвастаться внушительного вида письменным столом и библиотекой. Он открыл шкаф.

— Здесь исключительно книги по педагогике,— он с явной гордостью выкладывал на стол толстые тома.— У меня есть труды о воспитании несовершеннолетних преступников на нескольких языках. Вы читаете по-немецки? — обратился он к Ольге Черняк, подавая ей одну из книжек.

Та отодвинула книгу порывистым жестом. Спросила, сдерживая негодование:

— Значит, столько книг надо прочесть, чтобы устроить детям каторгу?

Поп оторопело покосился на нее.

— Мы были обязаны придерживаться буквы закона. Преступления несовершеннолетних подсудны.

— Совсем недавно,— перебила его Ольга,— вышел декрет о судах для несовершеннолетних преступников. Подписывая этот декрет, Ленин сказал: «Нет детей-преступников — есть только беспризорные дети, которых следует перевоспитывать».

— Может... может, это и правильно,— пробормотал растерянный поп, пощипывая темную бородку.

Персонал сгрудился возле печи в длинной пустой столовой. Будзынский предложил всем занять места у стола. Выщербленный и исцарапанный ложками стол еще сохранял следы поспешного мытья. Плечистые «дядьки» и дородный повар в белом колпаке с трудом втиснулись между столом и спинкой прибитой к полу лавки. Батюшка занял более почетное место, ближе к нам; на противоположном конце сели истопник, банщик и помощник повара в белом фартуке. Мастера, они же наставники в мастерской, расположились по другую сторону.

Будзынский стоял и молчал, опершись посиневшими пальцами о край стола. Потер лоб рукой, снял солдатскую шапку и положил ее на стол. Его светлые волосы заблестели в свете, пробивавшемся сквозь забранные решетками окна. Мне показалось, что он осунулся и похудел за это утро. Исчезло выражение юношеской жизнерадостности, не сходившее с его лица.

— Я собрал вас здесь для того, чтобы поговорить с вами,— начал он глуховатым от волнения голосом. И снова надолго умолк. Видно было, что он до глубины души потрясен, что, блуждая взглядом по этим чужим бородатым лицам, ищет слов, которые бы задевали за живое. Он и не предполагал, что сильнее всего на них подействует его волнение. Они были ошеломлены. Обезоружены. Их вызвал «сам» народный комиссар. И они пришли, заранее зная, что ничего хорошего это им не сулит. Изругают и прогонят прочь, может, и того хуже. А сейчас они не знали, что и подумать. Выражение мрачного упрямства исчезло с их лиц; в глазах отразилось детское удивление. Кто-то вздохнул. Кто-то громко высморкался. Все в ожидании уставились на комиссара. Стена глухой враждебности, от которой отскакивают любые слова, начала рушиться еще до того, как он заговорил. И слова его били прямо в цель, разя своей жестокой правдивостью.

— Саботируете? Назло большевикам не топите печей? Назло большевикам развели здесь грязь и вшей? Назло большевикам морите детей голодом? Ведь вы не можете сказать, что вам нечем их кормить. Мы все недоедаем. Но с самого начала революции на основании специального декрета молочные продукты и белый хлеб предназначаются только для детей и для больных. Отдел продовольственного снабжения не забывает о детях. Наконец, мы видели собственными глазами, что у вас есть чем

кормить детей. Да и сами вы... неплохо выглядите,— он окинул их насмешливым взглядом.— Так почему же вы морите детей голодом? Вымещаете свою злобу на детях? Ах да, ведь у вас еще есть претензии. Вам уже три месяца не выдают зарплаты. А вы знаете почему? Потому что бастуют служащие. Так же как и вы. Но они уже убедились, что никакой саботаж не сломит революции. И капитулируют. Возвращаются на работу. Через несколько дней вы получите причитающееся вам за три месяца жалованье.

Эта новость вызвала движение среди сидящих у стола. Будзынский терпеливо ждал, пока они успокоятся.

— Советское правительство,— твердым голосом продолжал он,— вернет вам причитающееся за три месяца жалованье. Но кто возместит этим заброшенным вами ребятам долгие месяцы голода, холода и нечеловеческих страданий? Кто вернет им здоровье?

Дрожащими пальцами он разгладил какой-то листок.

— Вот что показало беглое обследование больных в спальне,— он начал читать, повысив голос: «Шесть случаев брюшного тифа; у остальных — цинга, чесотка и флегмона». И это среди тех немногих, которых успел осмотреть врач, а что покажет обследование остальных детей? Конечно,— продолжал он с горькой иронией,— для вас они — «преступники». Потому что с голоду стащили буханку хлеба или кусок колбасы. Но что значат все их преступления по сравнению с тем преступлением, которое вы совершаете ежедневно на протяжении нескольких месяцев, обрекая этих детей на голод и болезни, а может быть, и на смерть?

Трудно мне повторить, что он говорил дальше. От волнения у меня сдавило горло. Сквозь пелену слез я видела, что истопник в конце стола закрыл лицо большими закопченными руками, что широкоплечие «дядьки» всхлипывали, уронив головы на стол, поп прикрыл глаза ладонью, а мастера подозрительно долго вытирали носы. Волнение охватило всех. А когда Будзынский закончил тем, что Советское правительство не намерено наказывать саботажников, но рассчитывает на их добросовестную, честную работу,— вся эта братия вскочила из-за стола и окружила нас.

— Будем работать, товарищ комиссар!

Будзынский пожимал протянутые руки. Взгляды этих людей, еще час назад враждебные и хмурые, прояснились, исполнились доверием. Даже батюшка крепко пожимал руку Будзынского. Он буркнул, что теперь всю работу надо организовать «по-новому». Какой смысл он в это вкладывал, трудно сказать.

Наш комиссар не замедлил воспользоваться переменой атмосферы, чтобы уладить самое необходимое:

— Сегодня же нужно истопить все печи. Накормить детей. Приготовить баню. Перемепить постельное белье.

Доктор Функ добавил, что ребята должны два часа в день проводить на воздухе. Вдруг неожиданное препятствие: нет обуви. Но и тут нашелся выход.

— Разве у вас нет сапожной мастерской? Сделайте сандалии.

— А где кожа, дерево для подметок? — спросил мастер.

— За кожей и деревом явитесь завтра на Солянку с этой запиской.— Будзынский уже писал записку.— В Комиссариат по государственному призрению. Сегодня к вечеру сюда приедет доктор Функ и сиделка. Чтобы было тепло и чисто,— строго добавил он.

На обратном пути, уже в автомобиле, мы все сошлись на том, что следует в корне перестроить систему воспитания несовершеннолетних преступников.

— Тюрьма для детей! И вдобавок «благотворительная»! Богоугод-

ная! — задыхался от гнева Будзынский.— Только буржуазия могла выдумать что-либо подобное.

Он никак не мог успокоиться.

— Они такие же ребята, как и все,— упрямо твердил Будзынский.— Только нужно уметь к ним подойти — это главное. Вот Крошка — тот бы с ними поладил,— вдруг просветлел он.

Как всегда, проблема сводилась к одному и тому же: откуда взять людей?

На Лубянской площади Ольга Дмитриевна и доктор Функ вышли из машины. Было два часа дня.

— Я чертовски голоден! — вдруг спохватился Будзынский.— Коля, едем обедать в «Дрезден».

Но на Тверской он остановил машину перед большим игрушечным магазином.

— Зайдем на минутку.

Я не сразу сообразила, чего он хочет. Зачем велит показать кегли и расставляет их на прилавке.

— Пошлю им кегли. Как вы думаете? — обратился он ко мне.— Будет ребятам чем потешиться.

— Они поразбивают себе головы шарами и выбьют последние стекла,— решительно отсоветовала я.

— Тогда, может быть, футбольный мяч? (К счастью, футбольного мяча не было.)

— Тогда дайте, пожалуйста, какой-нибудь большой мяч,— не сдавался Будзынский.

Напрасно я уговаривала его (разумеется, по-польски), что неудобно посылать ребятам игрушки, когда у них нет ни обуви, ни одежды. Что подумает персонал о таком народном комиссаре? Обещал обувь, а прислал игрушки. Но народный комиссар вел себя как мальчишка, дорвавшийся до игрушек.

— Не так давно я сам был мальчишкой,— говорил он.— Ведь полагается же им хоть крупица радости.

Молодая продавщица в ботах, повязанная крест-накрест большой шерстяной шалью, с приятной улыбкой на лице и посиневшим носиком, выставляла на прилавок всевозможные игрушки, главным образом изделия народных умельцев: деревянных медведей, бьющих молотом по наковальне; кур, клюющих из мисочек; обезьян, кувыркающихся на лестнице. Всех великолепнее была карусель: ярко раскрашенные лошадки и пестрые деревянные фигурки начинали кружиться, едва дернешь за ниточку.

Я видела, что Будзынский не может оторваться от этой карусели.

— Я куплю это Аркашке,— вдруг сказал он.

— Какому Аркашке?

— Тому мальчишке.

— Сами вы дитя малое,— я уже теряла терпение.— Ведь старшие сорванцы тут же отнимут у него игрушку. Малыш только расстроится.

— Что же делать? — с грустью посмотрел на меня комиссар.

Продавщица, не понимавшая ни слова из нашего разговора, поглядывала на нас с явной симпатией. Вдруг она вмешалась:

— Эти игрушки, наверно, для детского приюта? Для малышей?

— Для приюта, но для ребят постарше,— сказала я.— Мы хотим взять их как модели для столярной мастерской.

Не знаю, как эта идея пришла мне в голову. Продавщица горячо ее одобрила, а Будзынский того пуще.

— Прекрасная идея! Пожалуйста, запакуйте все это,— обратился он к девушке.

Будзынский вышел из магазина, нагруженный, как Дед Мороз.

6 апреля

В Комиссариате по государственному призрению — происшествие с Лидией Ивановной, машинисткой и (пока что) секретаршей Будзынского. Лидочка — как зовут ее тут все,— молодая, худенькая, в бордовом свитере, старательно заштопанном на локтях. У нее пушистые темные волосы, собранные на затылке в узел, бледное личико и длиннющие ресницы.

Так вот сегодня Лидочке дали переписать ведомость на выдачу зарплаты. Некоторое время она внимательно просматривала объемистую ведомость, густо исписанную цифрами. Я стояла у окна, недалеко от ее столика, уже одетая — мы собирались ехать в «Дрезден» обедать. Будзынский укладывал бумаги в свой портфель. Лидочка положила исписанные страницы на столик и сидела без движения.

— В чем дело, Лидия Ивановна? — по-русски спросил Будзынский.— Вам что-нибудь не ясно?

Он подошел к столику. Лидочка встала, опустив голову, она машинально свертывала рукопись в трубку.

— В чем дело? — повторил Будзынский.

Тогда она посмотрела ему прямо в глаза и сказала с отчаянной решимостью:

— Станислав Янович, я этого переписывать не буду!

— Почему? — удивился тот.

— Вы им не верьте! — горячо зашептала девушка.— Они тут все наврали.— Она успокоилась и закончила уже другим тоном: — Нам нужно непременно найти своего бухгалтера! — Слово «своего» она произнесла с ударением.

Будзынский от неожиданности не сразу нашелся, что сказать.

— Не переписывайте. Найдем другого бухгалтера и все проверим. А вам, Лидия Ивановна, спасибо за помощь.— Он от души пожал ей руку.

Лидочка зарделась от радости.

В ожидании машины мы несколько минут простояли у подъезда.

— Как вам нравится наша Лидочка? — спросил Будзынский. Он был взволнован.— Молодец девушка! И не глупая! Быть может, она оказала нам серьезную услугу. Видимо, саботаж помаленьку идет на спад.

Мне захотелось подразнить его.

— Можно было предвидеть, что первыми в нашем комиссариате по саботажу ударят машинистки. Когда комиссару двадцать четыре года и он ослепительный блондин...

— Не ехидничайте,— набросился на меня Будзынский.— Для такой девушки это очень смелый шаг! Целая революция! И как она сказала: «своего» и это «нам!» Великолепно! Ведь я с самого начала думал о том, что мы должны найти своего бухгалтера. Но дело как-то откладывалось со дня на день. Да и где тут найдешь бухгалтера?

— Может, Лещинский кого-нибудь подыщет. Он знает многих.

— Правильно! — обрадовался Будзынский.— Мы наверняка поймаем его в столовой или в редакции.

В столовой из-за позднего часа было пусто. «Трибуна» помещалась в том же самом здании. Нас сразу охватила своеобразная лихорадочная атмосфера редакции ежедневной газеты. В клубах дыма я разглядела Лещинского. Он стоя диктовал что-то машинистке. Улыбнулся нам и коротко бросил: «Сейчас закончу».

Люблю я Лещинского. Люблю его невысокую, худощавую фигуру, бледное, осунувшееся лицо, мягкую улыбку и едкую шутку. Приятная улыбка и какое-то небрежное изящество не мешают ему быть очень требовательным к себе самому и к другим, когда дело касается работы.

Я грущу по фронтовой горячей работе петроградской поры! Хорошо ли я сделала, бросив «Трибуну» ради Наркомата по государственному призрению? В самом трудном деле доставляет радость ощущение: преодолею, смогу. В Петрограде Лещинский давал мне более чем достаточно поводов для такой радости. Он мог в одиннадцать часов вечера сказать со своей сдержанной улыбкой:

— Итак, пани Хелена, завтра к двенадцати мы рассчитываем получить фельетон, какой-нибудь рассказ. Обязательно.

Потом я брела через сугробы по полутемным улицам, мысленно сочиняя этот фельетон, счастливая, что справлюсь, не подведу. Работая в коллегии Наркомата по государственному призрению, я не испытывала такой уверенности.

Когда статья была закончена, Будзынский оттащил Лещинского к окну. Возле другого окна Бобинский, отчаянно жестикулируя, объяснял что-то стройному юноше в довольно поношенном френче. Задумчивый, тонкий профиль этого юноши отчетливо вырисовывался на фоне окна. Меня поразило благородство его черт. Такие лица рисовал Гротгер. Мне не хотелось им мешать. Я села к столу и взяла последний номер «Трибуны». В статье «За возвращение беженцев», помещенной в рубрике «В Польском комиссариате», я прочла, что комиссар по польским делам Лещинский и его заместитель Бобинский 30 марта посетили товарища Чичерина и просили поставить в Берлине вопрос о возможности пропуска в Польшу сотен тысяч беженцев, скопившихся на границе. «Голод, нищета и заразные болезни начинают косить беженцев. Товарищ Чичерин заверил, что в ближайшие дни он отправит по этому вопросу радиограмму в Берлин».

Вошел Бортновский и бросил на стол еще влажные гранки.

— Сделали что-нибудь для нас? — спросил он, здороваясь со мной.

Бортновский вернулся из типографии, где верстал номер. Веки у него были опухшие, улыбка — усталая. Он показался мне удивительно близким. Теперь, когда я целыми днями сталкиваюсь с чужими, часто враждебными людьми, я поняла, какое это наслаждение работать среди своих. С ними можно ссориться, но их нельзя не любить. Досадно, что я ничего для них не принесла.

Запах типографской краски, еще влажные полосы газеты, черные «шапки», кричащие большими буквами: «Товарищи! В Москве идут выборы в Совет! Меньшевики рвутся в него. Хотят подорвать власть Советов изнутри! Польские рабочие! Не допускайте предателей революции в Совет!»

Атмосфера борьбы объединяет людей, как на баррикаде.

От мокрых гранок и сентиментальных раздумий меня отвлек возглас Будзынского:

— А у нас уже есть бухгалтер!

Лещинский не преминул похвастаться:

— Я всегда держу слово: обещал бухгалтера — есть бухгалтер! А некоторые особы обещают, например, рассказ...

— Можно ли писать рассказы,— возразила я,— когда локти упираются в связки гранат?

— Можно,— серьезно ответил Лещинский.— Писатель может работать в любых условиях, за исключением одного: когда ему нечего сказать. Так говорит Норвид. А ведь вы любите его цитировать? — (Ох, язва!) И тут же без всякого перехода объявил, что меня включили в состав отдела просвещения и культуры при Польском комиссариате.

— Еще несколько дополнительных совещаний! — вздохнула я.

— Но на этих совещаниях вы познакомитесь с Крупской,— хитро улыбнулся Лещинский. (Он знал, что я очень люблю Крупскую.)

Тем временем молодой военный куда-то исчез, Бобинский подошел к нам. Я спросила его, кто это был.

— Лонгва. Очень ценное приобретение, потом расскажу, а сейчас еду с Ленским к Луначарскому.

— К Луначарскому? Зачем?

— Скоро узнаешь,— понизив голос, таинственно произнес он.

Стасик успел еще сказать, что вернется поздно и его подвезет Лещинский.

Будзынский не нарадуется на нового бухгалтера. Оно и понятно. «Наш» человек на посту главного бухгалтера в наркомате — это немало.

— Как-нибудь сдвинем с места этот воз, который зовется Народным комиссариатом по государственному призрению! — подбадривал меня Будзынский.

Я не сказала ему, что, едва увидев нескольких близких людей, едва ощутив запах типографской краски, вновь почувствовала желание работать среди «своих»,— готова была бросить его, чтобы он сам возился с этим «возом».

Я — «мягкотелый интеллигент», как говорит Ленин.

7 апреля, 3 часа дня

Чувствую, что земля вертится. Сегодня она повернулась к солнцу. Несмотря на воскресенье, Стасик вскочил рано и начал поспешно одеваться. Я совсем уже проснулась и увидела его в полушубке и в шапке. Но прежде чем успела спросить, куда он так торопится, Стасик выскочил из комнаты. Вернулся он с победным блеском в глазах и с номерами «Трибуны» в руке.

— Читай,— он положил номер на одеяло. Еще два держал в руке.— Бегу к Венглинскому!

— Что за чудеса? Что случилось?

Я торопливо схватила газету. На первой полосе бросался в глаза заголовок, набранный крупным шрифтом:

«ОТ ПОЛЬСКОГО КОМИССАРИАТА.
ДЕКРЕТ О ВОЗВРАЩЕНИИ ЦЕННОСТЕЙ
ПОЛЬСКОМУ ТРУДОВОМУ НАРОДУ

По ходатайству культурно-просветительного отдела при Центральном Комиссариате по польским делам народный комиссар просвещения издал декрет:

О возвращении польскому трудовому народу эвакуированного из Польши культурного, художественного, научного и исторического достояния.

1) Все предметы старины, искусства и науки, как то: коллекции, картины, исторические документы, архивы, церковные колокола и утварь, старинная мебель и прочее, эвакуированные во время войны из Польши, подлежат немедленному возврату польскому трудовому народу и переходят со дня опубликования настоящего постановления в ведение Комиссариата по польским делам.

(Вот зачем они ездили к Луначарскому!)

2) Все правительственные учреждения и все частные лица, в ведении которых находятся в настоящее время предметы, поименованные в пункте 1, должны немедленно заявить Комиссариату по польским делам (Москва, Поварская, Хлеб-

ный переулок, 21) количество предметов, их подробные списки и имеющуюся налицо опись.

3) Всякое укрывательство будет преследоваться по всей строгости Революционных Законов.

4) Местным Советским властям вменяется в обязанность уведомлять Комиссариат по польским делам об известных им имеющихся на местах предметах старины, искусства и науки, эвакуированных из Польши, и до времени приема названным Комиссариатом охранять их от всяких злоупотреблений.

Народный комиссар просвещения
Луначарский
Комиссар по польским делам
Лещинский».

Ниже снова крупным шрифтом: «ИНСТРУКЦИЯ К ДЕКРЕТУ О ВОЗВРАЩЕНИИ»... Не успела я прочесть ее, как вошел Стасик, все еще в полушубке и шапке.

— Ты прочла? Быстро одевайся и приходи завтракать к Венглинскому. Я иду умываться!

Сбросил полушубок и шапку, схватил полотенце. Он был в радостном настроении, возбужден, глаза его горели (таким я его люблю!). Я не дочитала «Инструкцию к декрету». Но и того, что прочла, было достаточно, чтобы все вокруг, даже черные дула пулеметов показались мне улыбающимися. И с Венглинским неожиданное перемирие. Что за день!

В комнате Венглинского (Будзынский поспешно застелил койку) праздничная атмосфера, несмотря на жалкие куски черного хлеба на столе. Откуда-то появляется колбаса, на которую жадно набрасывается Стасик. Он никак не может успокоиться.

— Вы понимаете, какой это декрет? — размахивает он газетой.— Это исторический декрет! Не только для нас. Не только потому, что речь идет о возвращении Польше бесчисленных сокровищ.

Он вскочил и по своему обыкновению принялся взад и вперед мерить шагами тесную комнату.

— Когда, где, в какую эпоху случалось такое, чтобы правительство могущественного государства возвращало более слабому народу не только независимость, но и бесценные произведения искусства, вывезенные во время войны? — Он снова схватил газету.— Вы читали «Инструкцию к декрету»? А о правительственной комиссии, в которую входят представители от четырех наркоматов и четыре представителя Польского комиссариата? Послушайте: «Параграф третий: У комиссии имеется своя канцелярия и печать с надписью: *«Правительственная комиссия по возвращению польских культурных ценностей польскому народу»*. В обязанности этой комиссии входят поиски польских ценностей на всей территории Советской России». Здорово! И в какой момент!

Он остановился перед нами.

— Всего несколько дней назад Ленин сказал, что революция переживает сейчас самые тяжелые месяцы. Приближается голод. Запасы продовольствия в Москве на исходе. Единственное спасение — подвезти хлеб из Сибири и с Украины. А между тем к Волге приближаются эшелоны восставших чехословаков, которые могут отрезать нас от Сибири, немцы в Пскове и в Курске, а японцы высадили десант во Владивостоке. На юге белые армии готовятся к наступлению, а Дзержинский снова раскрыл два опасных контрреволюционных заговора. И именно в такой момент Советское правительство издает декрет

о возвращении Польше ценностей, вывезенных во время войны, и создает комиссию для розыска и охраны этих ценностей. Понимаете?

Естественно, что в этой сердечной атмосфере сами собой улетучились былые обиды. Венглинский сиял. Мы вместе обедали в «Дрездене». Тут все ходили с «Трибуной» в руках и говорили наперебой. Пришел Дзержинский (в три часа заседание Центрального исполнительного комитета московской организации СДКПиЛ). «Юзефа» я не видела со времени его отъезда из Питера. Он еще сильнее похудел, глаза у него покраснели. Стасик говорит, что в ЧК только сорок человек (преимущественно рабочие) и Дзержинский работает ночи напролет.

6 часов вечера

Я еще раз прочла весь текст декрета. В нем есть нечто замечательное. Видимо, Ленин считает, что нет такого положения, которое бы позволило отсрочить исправление исторической несправедливости.

Сейчас за мной заедет Венглинский. Мы все идем в Художественный театр на пьесу Горького «На дне». Впервые я побываю в Художественном театре и в театре вообще после отъезда из Варшавы (в Петрограде я каждый день ходила в Мариинский театр на съезд Северной коммуны, где выступил Ленин). Я вытащила тяжелый чемодан из-под кровати, достала новое темно-синее платье, которого еще ни разу не надевала со времени приезда. Оно очень скромное, с черным бархатным воротничком. Немного помялось. Утюга, разумеется, нет. Оглядеть себя в зеркале тоже не могу. У меня есть только маленькое дорожное зеркальце. Зато в петроградской «Астории» были зеркальные стены. Может быть, именно в этом прелесть жизни?

8 апреля, 10 часов вечера

Венглинский поехал в редакцию «Трибуны» за Стасиком и Будзынским. Значит, два часа будет тихо. Приятно писать, облокотившись о стол, а не держа руки на весу, как за ночным столиком.

Сначала о Художественном театре. Это не театр. Это сама жизнь, втиснутая непонятным образом в тесные рамки сцены. Лучше всего, хоть и наивно, это подтвердил Венглинский. Стоя в ложе за моим стулом и сердитым сопением выражая свое неодобрение, он с трудом дождался первого антракта.

— Я же такие бандитские морды каждый день вижу на Ходынке! И еще должен ходить в театр, чтобы на тех же самых проходимцев глядеть. Нашли дурака!

Он демонстративно удалился после первого акта. Тщетно мы уговаривали его остаться. Он попросту обиделся на театр Станиславского, а мы были ошеломлены, потрясены этой новой для нас *правдой жизни*. Для Венглинского эта правда не нова и лишена какой-либо привлекательности. От театра он ждет того, чего *не видит* в жизни.

Для меня откровением в Художественном театре была простота не только игры, но и всей обстановки. Никакой позолоты, никакой мишуры, серые мягкие дорожки, серый занавес со знаменитой белой чайкой. Скромные стулья. Перед поднятием занавеса — торжественная тишина; после того как занавес упал — еще более глубокая тишина. Никто не аплодирует. Во время представления никого не впускают. Стасик и Будзынский опоздали (еще не случалось, чтобы заседание Исполкома продолжалось только пять часов!) и ждали в фойе.

В фойе — та же суровая простота. Ни одного зеркала. Я оглядела себя в гардеробе, внизу. Особа в зеркале показалась мне скромной и довольно симпатичной. Волосы, коротко остриженные еще в Петро-

граде (по мнению Лещинского, это было самым легкомысленным поступком в моей жизни), теперь отросли и вьются на концах. Шерстяное темно-синее платье, которое в Варшаве казалось простеньким, здесь даже слишком выделяется. Публика в театре главным образом рабочая. (Билеты раздают на фабриках.) Молодые женщины в поношенных свитерах или блузках, пожилые — в шерстяных платьях, помнящих еще довоенные времена, некоторые в платках.

Во время спектакля я украдкой рассматривала публику. На всех лицах — одна и та же сосредоточенность, увлеченность пьесой. Даже в антрактах зрители разговаривают приглушенно, как в храме. Интересно, было ли так с самого начала или Художественный театр уже успел воспитать новую публику?

Сатина играет Станиславский, Татарина — Вишневский, Луку — Москвин, Барона — Качалов, Настю — Книппер-Чехова. Нет слов, чтобы оценить уровень этой игры.

В Комиссариате по государственному призрению настоящая революция. Новый бухгалтер, по фамилии Малиновский, раскрыл крупные махинации со счетами. Старая коллегия уже распущена. Нас осталось четверо, включая Ольгу Черняк и доктора Функа. Нужно срочно искать людей. Я собираюсь пойти к Крупской и поговорить с ней о домах для беспризорных детей. Прежние «благотворительные приюты для сирот» переходят в ведение Народного комиссариата просвещения. Организуются детские дома. Почему беспризорных детей оставляют в ведении Комиссариата по государственному призрению? Ведь именно эти дети нуждаются в воспитателях. А откуда мы их возьмем?

Я навестила бывший приют Руковишникова. Там теперь все по-иному. Тепло и чисто. Доктор Функ и Ольга Черняк энергично взялись за работу. Больные в изоляторе; спальни продезинфицированы. Ребята вымыты в бане, лица их утратили синеватый оттенок. Но какие они худые и изможденные! И тюрьма осталась тюрьмой. Я осмотрела мастерские. Наши «модели» пользуются необыкновенным успехом — всем ребятам хочется мастерить карусели и «клюющих курочек», а тут срочно надо делать сандалии. Я обещала достать им футбольный мяч, когда они управятся с обувью. Может, это подействует.

Маленький Аркашка не отходил от меня, поглядывая жалобно. Наконец робко спросил:

— А комиссар придет?

Скажу Будзынскому. Впрочем, нет, не скажу. Он может тут же помчаться к Аркашке. А в комиссариате у него дел выше головы. Сейчас страстная неделя — по старому стилю. Банки работают. Банковские служащие уже кончили саботировать.

В комиссариате на Солянке кипит работа. Малиновский мобилизовал всех служащих и машинисток. Новая платежная ведомость должна быть готова к завтрашнему дню. О саботаже нет и речи. Некогда словом перекинуться и даже обронить мимоходом ядовитое замечание. Нервно дрожат пишущие машинки, словно им передалось возбуждение от бьющих по клавишам пальцев. Служащие уже не ходят, а бегают, шелестя бумагами. Только Лидочка сохраняет невозмутимое спокойствие наивной девочки, которая не вполне понимает, что вокруг нее творится.

Сегодня утром Будзынский поехал улаживать денежные дела. Я составляла список приютов, находящихся за пределами Москвы.

Этот список понадобится мне во время разговора с Крупской. Стук пишущей машинки неожиданно смолк, и я машинально подняла голову. Лидочка закончила страницу и отдыхала, уронив руки на

колени. Я встретилась с ней взглядом. Синие глаза смотрели из-под длинных ресниц вовсе не наивно. Эти грустные глаза были как бы старше самой Лидочки. У меня вдруг возникло острое желание: спросить, как она живет. Есть ли у нее родители? Может, она их содержит? На какие средства? Жалованья не выплачивали три месяца. Чем она питается, эта девушка?

А Лидочка уже стучала худыми пальчиками по клавишам, и тени ее длинных ресниц падали на бледные щеки. Я боролась с собственной робостью, которая не давала мне подступиться к ней и просто, по-женски поговорить. С мужчинами мне куда легче. Почему?

11 апреля

Я в комиссариате, в кабинете Будзынского. Он вместе с Крошкой поехал в город. Сегодня уже страстной четверг. Банки работают до двух часов дня. Потом начнутся праздники. Значит, Будзынскому надо получить деньги до двух часов. А это не просто. Чтобы требование считалось правомочным, на нем должно стоять *четырнадцать* подписей различных инстанций, вплоть до народных комиссаров. Такие сложности были созданы умышленно, из-за того что анархисты и всяческие контрреволюционные организации пускались на неслыханные мошенничества, пользуясь украденными печатями. Часть подписей Будзынский собрал вчера, остальные предстояло получить сегодня до закрытия банка. Окна кабинета выходят на Солянку. С девяти часов утра у здания стоит толпа пенсионеров, вдов, инвалидов. Весть о том, что сегодня должны выплачивать пенсии за три месяца, уже разнеслась по городу. Уезжая, Будзынский объявил служащим, что бухгалтерия и касса будут работать до позднего вечера.

Со вчерашнего дня Малиновский ввел чаепития, поскольку ни ему, ни другим служащим некогда обедать. В комнатке курьера целый день шумит самовар. Вчера наш Афанасий Гаврилович, старый портье с седыми бакенбардами и добродушным лицом, торжественно внес на сверкающем подносе стаканы с чаем. Есть и стеклянные блюдца. Все это, вместе с огромным, сверкающим, как солнце, самоваром портье оберегал в дни революции и на протяжении тех месяцев, пока саботировали служащие. Питал ли он надежду, что сюда, на Солянку, снова вернутся старые порядки времен вдовствующей императрицы? С каждым днем эта надежда таяла, и все же стаканы и блюдца не исчезали. (Бобинский рассказывал мне, что в самые горячие дни, когда у Кремля гремели пушки, в Останкине, во дворце графа Шереметьева, славящемся бесценными произведениями искусства, крестьяне по собственному почину установили охрану, чтобы ничего из этих сокровищ не пропало, поскольку «все принадлежит народу». Случай в Останкине свидетельствует о высокой сознательности этих крестьян. А чем объяснить, что не были украдены стаканы и блюдца в комиссариате на Солянке?) Тяжелый день, и конца ему не видно.

Несколько раз ко мне прибегал встревоженный Малиновский.

— Что будет, если они не успеют получить деньги? — говорил он, показывая на окно. Густая толпа окружала здание комиссариата, мешая уличному движению. Лидочка тоже приходила под разными предлогами. Ее била нервная дрожь, она останавливалась у окна, прижимая к губам кулачки, словно напуганный ребенок.

— Взгляните, что делается. А если они не получат деньги?

В два часа Афанасий Гаврилович внес поднос с чаем.

— Тяжелый день, Елена Федоровна.— вздохнул он.— Дай бог, чтобы вернулись с деньгами.

Я попросила его оставить два стакана чаю и пошла за Лидочкой. Мы обе вскочили, услышав хорошо знакомый звук автомобильного клаксона. Едут! Мы бросились к окну. Действительно ехали, вернее, стояли, окруженные со всех сторон толпой. Я отворила окно. Разноголосые выкрики доносились даже сюда. Мы видели, как Будзынский опустил стекло. Он сказал что-то стоявшим рядом. Толпа заколыхалась и расступилась. Автомобиль тронулся. Вскоре в кабинет вошел Будзынский — такой бледный, что я испугалась.

— Что случилось?

— Ничего,— коротко ответил он.— Потом расскажу.

Крошка внес объемистый чемодан. За ним бежал сияющий Малиновский. Будзынский смог выдавить из себя еще несколько слов:

— Все это пересчитать и немедленно начать выплату. Комиссариат работает до двенадцати ночи. Прошу объявить всем.

Когда Малиновский и Крошка вышли, унося чемодан, Будзынский тяжело оперся о стол и закрыл лицо руками.

— Попросите, пожалуйста, чтобы мне принесли горячего чаю,— глухо проговорил он.

Я послала за чаем Лидочку и взяла у нее стакан в дверях, делая вид, что не вижу ее встревоженного лица. Мне с трудом удалось заставить Будзынского снять шинель и сесть в кресло. Нервы у него были натянуты до предела. Когда он пил, зубы у него стучали о край стакана. Лишь много позже он рассказал мне, как добыл деньги. Сбор подписей, как легко было догадаться, затянулся. Дожидаясь в разных приемных, он уже дрожал от нервного напряжения. Он знал, что в два часа банки кончают работать. Последнюю подпись Будзынский получил в половине второго. Было без четверти два, когда он, едва переводя дыхание, вбежал к главному кассиру банка и предъявил ему требование, скрепленное всеми подписями. Кассир, человек уже немолодой, взглянул на часы.

— Весьма сожалению, но для меня уже начинается праздник.

— Но ведь только без пятнадцати два,— доказывал ему свое Будзынский с трудом владея собой.

— Именно эти пятнадцать минут нужны мне для того, чтоб подготовиться к уходу,— холодно заявил кассир и начал педантично запирать ящики письменного стола.

Напрасно Будзынский объяснял ему, что тысячи людей ждут денег, что они три месяца не получали пенсий. На это кассир ответил еще холоднее:

— Это не мое дело.

— Меня взорвало,— рассказывал Будзынский, бледнея при одном воспоминании о той минуте.— Я выхватил наган и прицелился прямо в эту выбритую циничную физиономию.

«Даете деньги или...»

Я чувствовал, что могу убить его. А этот негодяй незаметно нажал на кнопку звонка. Вбежали два красноармейца с винтовками на изготовку. Кассир показывает на меня:

— Он хотел ограбить кассу! Арестуйте его!

А я все еще стою с наганом в руке. И случаются же такие совпадения,— продолжал он, повеселев,— это были мои товарищи из 55-го полка! Видели бы вы их лица!

— Будзынский? Ты — грабитель?

Показываю им требование, объясняю, что тысячи людей дожидаются денег, а этот саботажник говорит, что для него уже настал праздник, и ничего не дает.

Тогда красноармейцы с винтовками — к нему:

— Давай, мерзавец, деньги!

Но на этом дело не кончилось. Не успел Будзынский отдать чемодан с деньгами Крошке, как прибежал служащий и сказал, что товарищ Винокуров, возглавляющий банк, просит его к себе.

— Винокурова я знал еще по Московскому Совету,— рассказывал Будзынский.— Он усадил меня в кресло и подал стакан воды — вероятно, вид у меня был неважный, а потом говорит: «Впредь, товарищ Будзынский, я не советую тебе таким способом получать в банке деньги; еще немного, и сидеть бы тебе в каталажке». Взглянул он на меня и громко расхохотался. Этим и кончилось.

Сейчас восемь часов. Будзынский заснул в кресле. Толпа на улице постепенно тает. Успеем ли выплатить всем до двенадцати?

Сквозь приоткрытое окно слышно, как звонят колокола во всех окрестных церквах. Завтра уже начинаются праздники.

3 часа ночи

Пишу, потому что о сне не может быть и речи. Над Москвой пушки гремят, как в октябре. Единственный часовой, инвалид, который остался сторожить наши полуподвалы, сказал мне, что идет большое сражение с анархистами. Я с трудом разыскала этого часового. Что было бы, если бы анархисты решили сегодня напасть на нашу крепость? В окнах торчат пулеметы, но кто бы из них стрелял? Будзынский спит как убитый после вчерашних геройских подвигов. Крошка не утерпел — побежал воевать, Стасик вовсе не ночевал сегодня. Он звонил в комиссариат, чтобы машину за ним не присылали, потому что Страстная площадь, Дмитровка и Арбат перекрыты частями Красной Армии. Ночевать будет у Лещинского. Он советовал нам немедленно возвращаться домой. Но мы не могли уйти с Солянки, пока не закончили выплату. А она затянулась до половины первого ночи.

Несмотря на напряженную работу и слухи, что в городе неспокойно, все желали друг другу весело провести праздники, и настроение было приподнятое. Кое-кто из служащих ночевал в комиссариате в креслах и на диванах. Лидочку мы отвезли на Чистые пруды, сделав небольшой крюк. То и дело нас останавливали патрули. Во втором часу мы добрались до ворот «Воспитательного дома». Из города уже доносились пулеметные очереди. Потом ударили пушки. Этому бурному дню не было конца. Собственно, уже наступило 12 апреля.

14 апреля

Столько событий произошло за эти два дня, что мне трудно уже мысленно возвращаться к той ночи, вернее, к утру 12 апреля. Кажется, я уснула одетая на софе, несмотря на грохот канонады. Было уже светло, когда меня разбудил топот и гомон возвращавшихся победителей. Венглинский шествовал как триумфатор.

—Анархистам крышка! — заявил он с порога.— Одиннадцать особняков взяли, кучу этих подлецов арестовали. Ух, жарко было!

Потом состоялось грандиозное чаепитие в канцелярии. Крошка, еще с воинственным блеском в глазах, внес пыхтящий самовар. За отсутствием вина (оно будет позднее) мы отметили победу над анархистами чаем. В этом генеральном сражении принимал участие почти весь московский гарнизон Красной Армии, военизированный отряд чекистов и Варшавский революционный полк. Двое товарищей Варшавского полка погибли, но имен их Венглинский не знал...

14 апреля, в воскресенье, в 12 часов должно было состояться большое собрание военнопленных в Политехническом музее, а в четыре часа на Лубянке — собрание польских народных учителей.

— На собрании польских учителей вы должны быть обязательно,— сказал мне Лещинский.

Я решила побывать на том и на другом. Что было дальше? Мы с Будзынским вернулись в наш полуподвал. По дороге купили несколько банок бычков, а также пасху — традиционное русское лакомство из творога, изюма и миндаля.

Венглинский презрительно оглядел наши покупки.

— Завтра уже ничего не достанешь, а тут три дня праздников!

Он решил поехать сам, чтобы купить еще что-нибудь. Будзынский и Крошка собирались в казармы 55-го полка: там было несколько раненых товарищей. Я поехала с Венглинским. Рядом с шофером Степой сел военный фельдшер; у него тоже были какие-то дела в городе. В кооперативе на Воздвиженке мы нашли только балык. По собственной инициативе я купила килограмм яблок. С этими покупками мы и сели в автомобиль. При въезде на Каменный мост Степа вдруг резко рванул вперед.

— Спятил, что ли? — Венглинский забарабанил по стеклу.

Степа обернулся и что-то крикнул. Что — мы не расслышали. Но тут же заметили, что машина полным ходом летит на фонарный столб. Конец! Я отчетливо сознавала, что это конец. А потом — страшный толчок, скрежет, удар! Придя в себя, я увидела, что вся обсыпана осколками стекла. Но жива и ничего у меня не болит. Светлые меховые манжеты и воротник запятнаны кровью, кровь капает с лица. Одновременно услышала, как вперемежку стонет и ругается Венглинский. Автомобиль стоит. Вокруг толпа народа. Кто-то помогает мне выйти. Степу и фельдшера кладут на землю. Они выглядят как мертвые. Венглинского выносят на руках. У него сломана нога. Я слышу сочувствующие голоса:

— Вот несчастье! А барышня вся в крови! Господи помилуй!

Толпа задержала проезжавшую мимо военную автомашину; в ней ехало несколько командиров Красной Армии. Я видела, как в нее перенесли на руках Степу и фельдшера. Четыре человека тащили Венглинского, он громко стонал. Я села рядом с шофером. Кто-то из толпы подал мне мою фетровую шляпку, изрезанную стеклом, другие старательно подобрали рассыпавшиеся яблоки и побросали их к нам в машину; кто-то сунул мне в руки мою сумочку.

— Ох, сердечные! Вот беда! — вздыхали женщины.

Позднее у меня было достаточно времени, чтобы припомнить эту сцену. Тогда я только радовалась тому, что жива. Венглинский отчаянно стонал, значит, тоже был жив. Но те двое лежали без сознания.

Едва открылись тяжелые ворота «Воспитательного дома», как по всему отряду Венглинского разнеслась весть, что анархисты в отместку бросили бомбу в их «старшого». Одни понесли Венглинского, другие бросились к грузовикам, чтобы ехать «добивать этих гадов».

К счастью, «старшой», несмотря на боль, понял, к чему идет дело, и пригрозил своим хлопцам, что велит немедленно расстрелять тех, кто поедет без приказа. Это охладило их боевой пыл.

Между тем к нам уже бежал Бобинский. Как потом выяснилось, он вернулся домой и лег спать, потому что всю ночь не сомкнул глаз. Его разбудил топот в коридоре и крики, что анархисты напали на Венглинского и что двое убиты. В страшной тревоге Бобинский выбежал во двор (он знал, что я поехала с Венглинским) и наткнулся на такую процессию: впереди несколько красноармейцев волокут Степу и фельдшера, которые вываливаются у них из рук, точно мертвые, следом на носилках

несут Венглинского, а в хвосте этого шествия иду я, с растерзанной шляпкой в одной руке и с сумочкой в другой. Все лицо у меня в крови. Вероятно, выглядела я ужасно, потому что побледневший Стасик кинулся ко мне:

— Ты ранена? Почему идешь?

— Это не раны, это от стекла,— попыталась я успокоить его.

В комнате он стащил с меня окровавленное пальто, уложил на кровать и поочередно проверил, не сломаны ли руки и ноги. Потом принес смоченное водой полотенце и приложил мне к лицу.

— Полежи немного, я должен сбегать к Венглинскому — он страшно стонет.

Так я и лежала, прикладывая к лицу мокрое полотенце, счастливая от сознания того, что осталась жива и отделалась лишь царапинами. Порой мне чудилось, что я опять лечу на фонарный столб, и я заново переживала ту минуту. Только гораздо острее. Лишь сейчас, когда все уже было позади, меня охватил безудержный страх.

Вбежал Стасик.

— Те двое живы. У Степы слегка помяты ребра, но это не опасно. Ребята поехали за хирургом. К тебе сейчас придет сиделка. Дай мне это ужасное полотенце.

Дверь приоткрылась, и в комнату бесшумно проскользнула высокая худощавая сестра милосердия в белом халате и белой косынке с красным крестом. Она положила на столик свою сумку с перевязочными материалами и наклонилась ко мне.

— Ничего серьезного — поверхностные порезы, заживет быстро. Можно сказать, что вы сухой вышли из воды,— улыбнулась она.

У нее были усталые глаза и красивые черные брови. Она очень осторожно начала прикладывать холодные примочки к моим ранам. Вошел Стасик с ненужным уже полотенцем.

— Шрамы останутся?

Сестра взглянула на него.

— Это ваша жена? Она в сорочке родилась. Через две недели от этих ран следа не останется. Только бы не воспалились.

Стасик повеселел.

— Полежи еще,— сказал он.— Мне надо вернуться к Венглинскому, сейчас приедет хирург.

После его ухода сестра положила мне компресс на лоб. Сильнее других кровоточила ранка над правым глазом.

— Чуточку ниже, и вы бы остались без глаза,— качала она головой.

И вдруг спросила:

— Вы с супругом поляки? А может, знаете Дзержинского?

Она присела на край постели и сказала, что ее фамилия Загоскина, а ее муж, генерал Загоскин, вот уже месяц, как арестован.

— Неделю назад мне сказали, что на следующий день его освободят, но его до сих пор нет, я уж сама не знаю, что и подумать. Муж мой стар, у него больное сердце. Если бы попасть к Дзержинскому...

Прежде чем я успела ответить, в дверь постучали. Вошел Дзержинский в своей длинной солдатской шинели.

— Сестра,— сказала я тихо,— это и есть Дзержинский. Выйдите на минутку!

— Неужели он? — прошептала она.

Оторопело взглянула на Дзержинского и быстро вышла, оставив все свои бинты.

— Вы выглядите как после боя,— пошутил Дзержинский.— Легко отделались, могло быть гораздо хуже.

Он улыбнулся, но вид у него был нездоровый. Я спросила, как он здесь очутился. Оказалось, что по городу разнеслась весть о покушении анархистов на Венглинского. Он приехал, потому что не слишком верил этим слухам. Я в двух словах рассказала ему о Загоскине.

— Генерал Загоскин,— он провел рукой по лбу,— погодите, Загоскин уже неделю, как должен быть дома. Видимо, о нем забыли в суматохе борьбы с анархистами. Это надо немедленно исправить.

Он тут же достал блокнот. Вошла Загоскина. Дзержинский обратился прямо к ней:

— Вы жена генерала Загоскина? Генерал Загоскин уже неделю, как должен быть на свободе. Я сегодня же выясню, почему произошла эта задержка,— он взглянул на часы.— Сейчас семь часов. Самое позднее завтра утром ваш муж будет дома.

Дзержинский записал что-то в блокнот, попрощался и вышел.

Загоскина стояла ошеломленная.

— Так это и есть Дзержинский? — Она бросилась ко мне: — Как мне вас благодарить!

Подобные ситуации всегда затруднительны. Особенно, если у тебя на лице примочки. Придерживая их обеими руками, я старалась объяснить, что тут нет никакой моей заслуги и что она с таким же успехом могла сама обо всем рассказать Дзержинскому. Порезы на лице все больше давали о себе знать, мне трудно было говорить. Я с облегчением вздохнула, когда Загоскина собрала свои вещи и, строго наказав мне менять примочки всю ночь, ушла.

Видимо, я вздремнула, потому что не услышала стука в дверь. В ней вдруг появилось испуганное лицо Будзынского. Он остановился возле кровати и всплеснул руками.

— Что они с вами сделали!

Я попыталась улыбнуться, но это далось мне с трудом. Поэтому я только и сказала:

— Ничего со мной не случится, Стах, заживет.

— Шрамы останутся.— Он по-детски скривил рот.

— Ничего не останется. На мне все заживает, как на собаке. Но... так хочется пить.

— Там варят кофе! — рванулся он с места.— Сейчас принесу.

Будзынский вскоре вернулся, неся на тарелке стакан кофе, да еще с молоком (молока мы вообще не видывали). Присел на кровать и принялся поить меня с ложечки, энергично на нее дуя. В разгар этой идиллической сцены вошел мой Стасик.

— Нашелся хоть один человек, который подумал о тебе,— сказал он с раскаянием.— Все крутятся возле Венглинского. Только что уехал хирург. Ну и сцена была, доложу я вам!

И он рассказал, что произошло.

— С самого начала все было довольно забавно. Ребята из кожи вон лезли, чтобы доказать «старшому» свою любовь. Двое по собственной инициативе поехали за хирургом, остальные привели оркестр (ни в одном полку нет такого оркестра, как у Венглинского). И вот оркестр со всеми трубами, барабанами и кларнетами ввалился в канцелярию, где на топчане лежал Венглинский, и грянул бравурный марш. Я пытался выпроводить музыкантов,— рассказывал Стасик,— но Венглинский не позволил. «Пусть ребята играют,—сказал он.—Мне так легче!» Тем временем приехал хирург. Высокий, худой, в военной шинели, с седой бородкой и строгим взглядом.

— Где больной? — И начал пробираться между трубами, барабанами и флейтами.— Что это? Шуточки? — гаркнул он на солдат.

Ребята оторопели, показывают, что больной, мол, там, за оркестром. Тогда хирург коротко распорядился:

— Убирайтесь отсюда!

Оркестранты поспешно ретировались.

Хирург обнаружил трещину надколенной чашечки. Сказал, что нужна операция и что больного надлежит перевезти в госпиталь.

Венглинский перестал стонать и заявил, что никуда отсюда не двинется и не позволит делать операцию.

— Эта нога не сгибалась в колене,— принялся он втолковывать врачу,— а теперь сломалась, так, может, будет сгибаться...

Хирург взглянул на него, явно развеселившись.

— Вот чудак! Такого еще не видал!

Но ему пришлось уступить. С нашим «старшим», если он заупрямится, никто не сладит. Дело кончилось тем, что на ногу наложили лубок. Во время этой операции Венглинский проявил большое мужество. Хирург под конец оттаял и рассказал нам, как его сюда доставили.

Ребята Венглинского ввалились к нему в дом и заявили без обиняков:

— Вы хирург? Поехали!

На вопрос, куда его везут, они отвечали, что он узнает по дороге. Только в машине ему сообщили, что их командир сломал ногу в автомобильной катастрофе. Хирург выругал солдат за то, что не сказали этого сразу, и велел возвращаться за инструментами.

— А дома меня встречает заплаканная жена, она думала, что меня арестовали. Объясните своим солдатам,— сказал он, прощаясь,— что так вот, «за шиворот», врачей не приводят.

Венглинский расстроился.

— Извините, доктор, но они простые солдаты — им хотелось сделать как можно лучше.

А хирург на это сухо возразил:

— Я три года был на фронте. Такого солдата, как русский, во всем мире не найти! А то, что он простоват, это уж наша вина.

— Нравится мне этот хирург,— закончил свой рассказ Бобинский.

17 апреля

Ночь была тяжелой. Я не разрешила Стасику дежурить возле меня: он не спал всю предыдущую ночь, попросила только поставить на стул миску с водой и не гасить свет. Сама справлюсь. Но едва я начинала засыпать... как тут же снова летела на фонарный столб и просыпалась, дрожа всем телом. Вероятно, я вскрикивала во сне, так как вдруг увидела возле своей кровати Стасика.

— Ты что кричишь? Наверно, у тебя жар?

Может, и действительно меня немного лихорадило.

Наконец эта ужасная ночь миновала. Шофер Степа почувствовал себя лучше и смог рассказать, как все произошло. При въезде на Каменный мост он увидел анархиста с бомбой в руке — и нажал на газ. Потом хотел затормозить, но тормоза отказали. Он нарочно наехал на столб, чтобы автомобиль не упал в реку.

Все это походило на сказку. Стасик и Будзынский отправились на место происшествия, чтобы собственными глазами увидеть, как все было. Вернулись они потрясенные. Стасик сел на диван и сказал:

— Если бы не столб, вы бы сорвались в реку — спуск к ней был совсем рядом. Фонарный столб лежит на земле, словно поваленный ствол дерева. Передняя часть машины разбита вдребезги. Просто невероятно, что все вы остались живы!

Он был взволнован больше вчерашнего. И смотрел на меня так, словно я вернулась с того света.

Вскоре пришла Загоскина. Она вся сияла. Ее муж вернулся домой еще накануне. Дзержинский отправил его на собственной машине и извинился за «необоснованное», как он выразился, задержание.

— Что за человек! — восхищалась Загоскина.

Когда она ушла, Стасик сказал:

— Знала бы она, сколько работы было у Дзержинского вчера и нынешней ночью! Арестовано более четырехсот анархистов. Теперь предстоит выяснить, кто из них обыкновенный бандит, а кто идейный анархист. Идейные анархисты подлежат немедленному освобождению. Кроме того, им должно быть возвращено оружие. Но, как говорил нам Дзержинский, под черным флагом анархистов находят убежище различные контрреволюционные организации. Поэтому он никому не мог доверить такое ответственное дело. Но сам уже едва на ногах держится.

Сегодня похоронили товарищей, погибших в бою с анархистами. Все были на похоронах. Отряд Венглинского также. В обширных полуподвалах «Воспитательного дома» остались только часовые, я да Венглинский. «Старшой» был очень удручен, сильная боль досаждает ему, а вынужденное затворничество — того пуще. Я навещаю его по нескольку раз в день.

Лещинский прислал мне большой букет ландышей и записку; желает, чтобы все раны поскорее зажили, и надеется, что я все-таки напишу для «Трибуны», пользуясь своим вынужденным домоседством.

Я ему благодарна за ландыши (в комнате сразу запахло весной) и за то, что он не отказывается от моего сотрудничества, и за то, что не пришел. «Непостижима женская суетность»,— сказал бы на это Стасик. Что поделаешь, если я сама без смеха не могу смотреться в зеркало. Раны уже зарубцевались, все лицо у меня словно растрескавшееся. Я похожа на фарфоровую куклу, которую всердцах швырнули оземь.

В тот же день

...Я вспомнила, как возникла мысль писать этот дневник. Это было еще в Питере. Наступали немцы. Фабричные сирены звали по ночам к оружию. Группки плохо одетых рабочих с винтовками на плечах брели через сугробы по темным улицам. И каждую ночь в гостинице «Астория» раздавался стук в застекленные двери:

— Товарищи! Экстренное заседание Центрального Комитета!

В одну из таких ночей Стасик сказал:

— Мы переживаем знаменательные дни в мировой истории: попробуй изо дня в день записывать хотя бы самое важное.

Я не записывала. Слишком горячие дни мы переживали. И только после приезда в Москву начала делать записи. Но записывала ли я самое важное или то, что было мне ближе?

В прямоугольнике окна (пулемет уже убрали) я вижу клумбу посреди двора. Кусты сирени потемнели. Они стали коричневыми от набухших почек...

УИЛЬЯМ СТАЙРОН

Долгий марш

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского В. ГОЛЫШЕВА

1

Однажды в полдень, в разгар безоблачного лета в Каролине по сухому игольнику, по листьям плюща и веткам сосен разметаны были останки восьми молодых солдат. Это зрелище еще не вызывало даже мысли об ушедшей жизни — казалось, не люди погибли здесь, а гигантский шланг распылил по опушке осколки костей, клочья кишок и лоскутья одежды. Люди, конечно, исчезли в мгновение ока — прежде, чем успели что-либо понять, прежде, чем в их душах шевельнулся страх или мелькнула искра догадки и удивления. Страшен был взрыв для тех, кого не убило, думал лейтенант Калвер, прячась в тени санитарной машины, для той дюжины уцелевших солдат морской пехоты, которые лежали теперь на земле под одеялами, мыча от боли и ужаса, а всего час назад терпеливо стояли в очереди у походной кухни, когда две шальные мины — откуда? почему? Этот вопрос уже висел, накаляясь звенящей яростью в горячем воздухе полдня,— накрыли очередь, оглушив людей и швырнув их на землю, где они валялись до сих пор, живые, но изувеченные, в месиве крови, мозга, давленой картошки и тающего мороженого. Несколько минут назад, в суматохе — перед тем как он отбежал украдкой от полковника и сблевал за деревом — Калвер мельком увидел молодое, грязное от пыли и пота лицо и услышал голос, который поразил его, несмотря на подступавшую тошноту, своей спокойной рассудительностью: «Я и говорю, майор, я сидел на наблюдательном пункте; я и говорю, как только они вылетели из ствола, я сразу понял, что будет недолет, и крикнул...» Конечно, это — несчастный случай. И все же, почему он произошел? До него донесся возглас майора, но тут началась рвота, и больше он ничего не слышал — ни крика и стона раненых, ни рева продирающихся сквозь подлесок грузовиков и санитарных машин.

Вырвало его не потому, что он боялся крови, и не из-за плохого желудка. Желудком своим он, наоборот, гордился, а что до крови — Калвер видел, как она лилась на Окинаве, и сам (хоть и не совершив геройского подвига) получил осколок в ягодицу — ранение, в котором он, не в пример жене, и по сей день не находил ничего смешного. Сейчас он в какой-то мере был сам виноват, что позволил себе распуститься. На войне зрелище смерти — дело обыденное, и ты внутренне готов к нему, чем-то его оправдываешь или хотя бы стараешься не замечать — как нищего, как насморк или социальную проблему. Но на учениях, здесь, в Штатах, в мирное время (по крайней мере, многие считали мирным это знойное лето в начале 50-х годов) такая самозащита была не нужна. И поэтому от вида голых, влажно блестевших разорванных кишок, раздробленных голубоватых костей, среди которых жуткими металлическими цветами торчали вилки и ложки, живот у Калвера противно свело, словно от удара кулаком. Вдобавок ко всему пульсирующая боль в висках, когда он блевал на свои башмаки, словно вколачивала ему в голову мысль, которую он отгонял вот уже столько месяцев,— он постарел, он больше не тот горячий юнец, который ползал в Куантико с ножом в зубах. Ему шел тридцатый год, он был стар и напуган.

Калвера призвали из запаса ранней весной. Когда в субботнее утро жена бросила ему на кровать коричневый конверт с повесткой, на него напала такая тоска, что он целые дни напролет слонялся, растерянно бормоча и не находя себе места. Как и большинство резервистов, Калвер не вышел в отставку после войны. Тогда ему было

все равно, хотя в глубине души он верил, что этот красивый жест сослужит ему службу, если вдруг, лет через тридцать, начнется новая мировая война. И, конечно, такого случая, как операция по поддержанию порядка в Корее, он не предусмотрел. Произошло это слишком внезапно, так что ему показалось, будто он заснул в бараке в 1945 году и проснулся только сейчас, а шесть лет свободы, возмужания и безмятежности были затянувшимся прекрасным сном. Его охватило возмущение — он давно выбросил войну из головы, и недолгие годы после Окинавы были самыми полными в его жизни. Они дали ему любящую, нежную жену, подарили дочь с таким же мягким, как у матери, характером и с такой же, как у нее, копной золотистых волос; они принесли ему диплом юриста и репутацию одного из способнейших молодых адвокатов солидной юридической фирмы в Нью-Йорке — положение, все преимущества которого (кроме материальных) он только-только начал ощущать. Среди прочих, менее важных его приобретений за эти годы были: добряк гончий по кличке Говард, с которым он гулял по Вашингтон-сквер, кошка, которую он терпеть не мог и не удостаивал звать по имени, и проигрыватель, исполнявший ему Гайдна, Моцарта и Баха.

До того дня, когда пришла повестка — дня, который он силился забыть, а его жена Бетси с горечью называла «днем, когда земля ушла из-под ног»,— они жили в просторном доме с палисадником в Гринвич-Вилледж, предавались прозаическим удовольствиям сытой жизни, мирным городским развлечениям и родительским утехам. Это вовсе не значит, что они забурели и превратились в обывателей. У них были живые умные друзья — большей частью молодые адвокаты, журналисты, врачи и их жены. Они устраивали вечеринки и изредка — воскресные поездки за город, когда напивались в лоск. Случались порой и семейные ссоры, но быстро наступало примирение. Оба они были слишком разумны, чтобы мелкое семейное недоразумение могло перерасти в распрю, они прекрасно ладили и, хотя медовый месяц давно прошел, чувствовали, что любят друг друга. Позже, в лагере, увязнув в какой-нибудь входящей или исходящей липучке, Калвер, бывало, поднимал глаза от стола и смотрел невидящим взглядом на окутанный маревом сосняк, на раскаленные песчаные пустоши, ища спасения от неизбывной скуки в мечтах об утраченной простоте и радости. И всякий раз его мысли возвращались к одному и тому же видению: зима, воскресенье, конец дня; закутавшись потеплее, толкая весело подпрыгивающую коляску, в сопровождении меланхолического пса они выходят на прогулку. В эти часы бешеное сердцебиение города утихало, прикрытый грязноватыми лохмотьями снега, он обретал мирный облик Старого Света, а прохожие в сумерках казались румяными и довольными, какой бы тревогой ни разгорались красные шапки газет в киосках и какие бы зловещие слухи ни ползли из репродукторов. Меркнущий вечерний свет сулил Калверу не уныние трудового утра, а рабочий азарт будней — не потому, что он был делягой, просто он был счастлив. Он был счастлив, гуляя в холодные зимние сумерки с женой, ребенком и собакой. И был счастлив, когда возвращался домой, в тепло, к привычным запахам толченого арахиса и ливерной колбасы, к теплым объятиям засыпающего ребенка, к веселым стычкам собаки с кошкой, к музыке перед сном. Иногда Калверу казалось, что именно музыка была ключом к прежней его жизни, теперь такой далекой, как будто тонущей в темной глубине веков, и он с тоской вспоминал зимние вечера, когда он сидел за пивом и слушал какие-то позабытые вещи Гайдна. Теперь он помнил только один такт, дюжину ясных, радостных нот, которые уводили его к еще более далеким, ничем не омраченным дням — последним дням его детства. Там, словно ожившие цветы на залитой солнцем лужайке, с движениями такими же воздушными, как эта музыка, две маленькие девочки играли в теннис, махали ему, звали беззвучными голосами.

Убогий городишко поблизости от лагеря был до отвращения знаком Калверу — поначалу он жил там. Оставив ребенка у сестры, они с женой приехали сюда и сняли клетушку в туристской хижине. Там они прожили две недели. Напрасно искали они другое жилье — ничего больше близ лагеря не было. Они отказывались от грязных конур, за которые хозяева заламывали бешеные цены; люди с умильными деревенскими лицами и алчным огнем в глазах расписывали им свои хибары и курятники. Пожилая владелица туристской хижины была сварлива и жуликовата. И в конце концов они сдались. Бетси уехала домой. На прощание он целовал ее; а кругом на автобусной станции валялись конфетные обертки, плакали под дождем напуганные дети, толпились солдаты с фибровыми чемоданами — кошмарно знакомые приметы тревоги и разлуки. Приметы войны. Щека его намокла от ее слез. То был зловещий день, и дождь, струившийся по сконным стеклам, скрадывавший очертания далекой серой вереницы сосен, нудно бубнил свои пророчества и напоминания — о тропических морях, бурных просторах, о чужих берегах.

2

Он сам слышал взрыв. Они обедали на командном пункте в рощице, когда справа донесся звук, как будто далекий, но слишком уж отчетливый: два удара подряд, от которых вздрогнула земля: трам, трам. Через несколько мгновений в тишине полдня, когда даже птицы молчали и только изредка слышались приглушенные голоса

людей, на минуту переставших жевать, колыхнулся кустарник, словно от дуновения горячего ветерка. Это было предупреждение, но никто его не понял. Листья прошелестели и замерли, и Калвер, сидевший на корточках у дерева, поднял голову и увидел полсотни лиц, обращенных туда, откуда пришел звук, и застывшие на весу ножи и вилки. Потом тишину разбил звон — на кухне среди деревьев упал котелок или сковорода, кто-то засмеялся, а полковник, сидевший поблизости, сказал майору...— что же он сказал? Калвер не мог вспомнить, но какое-то беспокойство было в голосе полковника — еще тогда, когда никто ни о чем не догадывался, за десять минут до того, как радист — капрал Хоббс, шут из Оклахомы, с вечной жвачкой во рту — подбежал к ним, отирая рот и держа в толстой лапе полевую книжку. В штабе батальона он был своим человеком — из тех простаков, к каким всегда питает слабость начальство и кому дозволяется фамильярность не по чину; озабоченное выражение его шутовского лица всех напугало.

— **Отвес** на проводе, полковник. Никакая там не учебная тревога. В третьем батальоне ад кромешный. Мины попали в полевую кухню — санитаров просят, врача и священника. Господи, вы бы послушали, что там творится.

Сначала полковник ничего не сказал. Тень беспокойства, мелькнувшая на его лице, пропала, и если он положил вилку на место и поднял глаза, то затем только, чтобы вытереть руки платком и прищуриться на солнце, словно он получил самое обыденное донесение. До чего же это похоже на него, подумал Калвер. Жест как будто бы привычный, но слишком уж обдуманный, чтобы выглядеть естественно,— сколько лет, сколько усилий пошло на то, чтобы довести этот жест до совершенства? Вот он, Темплтон, в ударе: себя не превзошел, но аплодисментов заслуживает бесспорно, продолжал фиксировать Калвер, худое, тонкое, почти красивое лицо, обращенное кверху с задумчивым выражением; под кожей загорелой щеки движется язык, аккуратно извлекающий из зубов остатки пищи, маленькие руки спокойно разворачивают платок — во всем этом, как в искусстве Сары Бернар, умевшей заворожить публику самым неприметным своим движением, было гораздо больше законченности, власти, чем в напыщенной манерности какого-нибудь армейского новичка. Прошло, наверно, секунд пятнадцать, прежде чем он заговорил. Калвера охватило раздражение — и от того, что сам он сидел как на иголках, и от жуткой тишины, которая вдруг нависла над этими пятью людьми, будто отрезанными от шумного командного пункта,— над полковником, Хоббсом, над начальником штаба майором Лоуренсом, который сидел с мокрой нижней губой, в почтительном ожидании глядя на полковника, над капитаном Маниксом и над ним самим. В зарослях пронзительно и переливчато пел пересмешник, а издали, из глубокого безмолвия вдруг словно донесся тихий страшный крик. Хоббс сплюнул на песок темно-рыжую табачную слюну, и полковник заговорил.

— Давайте сюда рацию, Хоббс, вызовите мне Отвес-первый,— произнес он ровным голосом и затем, не меняя тона, обратился к майору: — Билли, пошлите за доктором Патерсоном и вместе с ним и со священником отправляйтесь в третий батальон. Возьмите мой джип. Скажите доктору, чтобы снял всех санитаров. И пошевеливайтесь.

Майор вскочил. Моложавый, статный, в начищенных башмаках, в безупречно отглаженных брюках, надетых, как заметил Калвер, только сегодня утром, он выглядел образцовым офицером морской пехоты. Красота его была того типа, который особенно любят в армии — лицо правильное, с тонкими чертами, спортивная фигура,— но мирная, домашняя округлость щек придавала его рту капризное выражение, и порой, когда он сидел, задумавшись над картой операции или программой учений, его молодое глуповатое лицо походило на лицо избалованного пятилетнего мальчика.

— Есть, сэр! — сказал он, почтительно склоняясь над Темплтоном.— Все распоряжения полковника о наших собственных учениях остаются в силе? — Эта форма обращения в третьем лице, по мнению Калвера, опасно граничила с подхалимством и считалась давно устаревшей, особенно среди офицеров запаса. Майор был кадровым офицером.

Хоббс поставил рацию на песок, и полковник взял у него наушники.

— Да, Билли,— сказал он, не глядя на майора.— Все остается по-прежнему. Мы выступаем в назначенное время. Пусть О'Лири передаст, чтобы все роты снялись в тринадцать ноль-ноль.

— Есть, сэр! — И майор унесся, вздымая сверкающими башмаками облачка пыли и сухого игольника.

— Господи Иисусе,— сказал Маникс. Он бросил вилку и локтем толкнул Калвера в бок.

Капитан Маникс, командир штабной роты, был другом Калвера — ближайшим другом в последние пять месяцев. Этот черноволосый дюжий бруклинский еврей, сверстник Калвера, тоже пришел из запаса, продав свой радиомагазин и оставив дома жену с двумя детьми. Язык у него был острый и злой, и его шутки часто приносили облегчение не только ему самому, но и одинокому, отчаявшемуся Калверу. Маникс был озлобленный человек и порой слишком громко выражал свое озлобление. Он давно забыл о вежливых интонациях и разговаривал теперь как заправский солдат. Он утверждал, что так ему легче.

— Господи,— прошептал он, опять слишком громко.— Что на это скажет конгресс? А посмотри, как наш Билли пошевеливается.

Калвер ничего не ответил. От души у него отлегло, и он огляделся. На командном пункте, по-видимому, ничего не знали: люди вставали, чистили у кухни котелки, возвращались в тень и, положив под голову вещмешки, укладывались вздремнуть. Полковник спокойно и доверительно разговаривал с командиром другого батальона; Калвер сообразил, что именно там и произошел несчастный случай. Этот батальон почти целиком состоял из молодых резервистов, и Калвер вдруг обрадовался, что не знает там ни души. А полковник все так же спокойно обещал помочь санитарами, обещал вскоре приехать.

— Тяжелое зрелище, Люк? — услышал Калвер.— Ничего, держись, мальчик.— И все это лениво, с прохладцей, почти со скукой, голосом человека, которому неприятнее всего было бы выказать малейшее волнение, человека, которому в разгар упорных жестоких боев дали кличку Каменный Старик. Ему не было и сорока пяти, но прозвище Старик подходило ему — в волосах блестела седина, а твердый, невозмутимый, отрешенный взгляд, какой бывает у молодых священников, говорил о преждевременной старости и, может быть, даже мудрости. Калвер увидел, как он положил наушники, встал и пошел к палатке оперативного отдела легким, пружинистым, мальчишеским шагом, бросив через плечо:

— Маникс.

Просто «Маникс». Голос был не резкий, не властный, но и не слишком мягкий — просто голос человека, привыкшего приказывать, и Маникс, тяжело оперевшись о плечо Калвера, оторвался от земли и пробормотал:

— Черт, дал бы хоть обед переварить!

Маникс презирал полковника. Грузно, не сгибая ног, он вошел за полковником в палатку, и, глядя ему в спину, Калвер подумал, что Маникс вообще презирает морскую пехоту. В этом он был похож почти на всех запасных, он лишь более шумно и открыто выражал свое мнение. И Темплтона презирал не за надменность и не за самодурство, а просто за то, что Темплтон был полковник и кадровый офицер, за то, что после шести лет свободы он, Маникс, оказался в полной его власти. Маникс возненавидел бы любого командира, будь тот благодушен, как Дед Мороз, и сетования его, порой шутливые, но всегда слишком громкие (как и сейчас) и смешили Калвера, и пугали. Калвер улегся головой к дереву. Пока что делать ему было нечего. Над ним в тишине гудел самолет. На опушке заворчал грузовик с разомлевшими санитарами и скрылся; вокруг в причудливых позах, с вещмешками под головой застыли спящие. Дремота охватила его, глаза слипались. Как школьника в классе в солнечный майский день, его вдруг неодолимо потянуло ко сну. Вот уже три дня шли учения, и спал он урывками, часа по четыре в сутки, а последнюю ночь вообще почти не спал; и сейчас он подумал: слава богу, хоть сегодня отосплюсь. Он задремал, ему грезился дом, белые коттеджи, летний отпуск у моря. **«Хорошая будет ночью прогулка».** Он вздрогнул — слова эти были как запоздалое эхо тихого истошного крика, который он слышал недавно,— и с ужасом вспомнил, что спать сегодня не придется. Никому. Прошло всего несколько секунд.

— Хорошая будет ночью прогулка,— повторил голос.

Калвер открыл глаза и сквозь ослепительное кружево листвы и света увидел широкое розовое улыбающееся лицо сержанта О'Лири.

— Черт,— сказал он,— не напоминайте мне, О'Лири.

Сержант, улыбаясь, двинул плечом в сторону палатки оперативного отдела.

— Нашему-то, никак, вожжа под хвост попала!

Он хихикнул, нагнулся и, притворно застонав, схватился за ногу.

Тоска, вдруг охватившая Калвера, была почти осязаемой, смеяться ему не хотелось.

— Вы еще подержитесь за ногу завтра утром,— сказал он,— и будет вам не до шуток.

О'Лири улыбался.

— Не стоит огорчаться, мистер Калвер,— сказал он.— Обычный марш-бросок. Вы и моргнуть не успеете, как все кончится.— Он помолчал, ковыряя носком башмака в сухой хвое.— Скажите, что там болтают насчет недолета в третьем батальоне?

— Почем я знаю, О'Лири? В газетах ничего не написано.

Проехал еще один грузовик с санитарами, а за ним джип, где сидел майор Лоуренс в каске, с выражением мрачной надменности на лице, руки его были скрещены на груди, как у легионера, въезжающего в завоеванный город.

— Но насколько я понимаю,— продолжал Калвер, снова поворачиваясь к сержанту,— кое-кому там досталось.

— Вот свинство,— сказал О'Лири.— Спорить могу, что стреляли барахлом, которое валялось на Гуаме с сорок пятого. Неужели у них мозгов не хватает? Да я сам видел эти мины в прошлом году — лежат в штабелях с меня высотой, и дождь их поливает каждый божий день, и ржавчина их ест... И, видишь ты, брезентом их накрыли — а что в нем толку, если они там шестой год валяются. Помню, раз...

Калвер не прерывал его и почти не слышал — он опять засыпал. О'Лири был сверхсрочник, «старик» (хотя летами лишь немного старше Калвера) и только недавно

записался еще на четыре года; не любить его было нельзя. На Гвадалканале он был совсем еще юнцом, но за прошедшие годы морская пехота сформировала его по своему образу и подобию, и он, наверно, не противился — он прирос, прижился к ней, как приживается пересаженная хирургом ткань руки или ноги. Он был сердечным человеком, добрым и в то же время — ревностным и опытным служакой. Он мог саркастически заметить: «Нашему-то, никак, вожжа под хвост попала»,— а потом пожать плечами и ухмыльнуться, выражая этим безразличным жестом то, что укладывается в голове только у профессионального солдата: «Конечно, я малость сомневаюсь в его решениях, но выполнять все буду охотно». И так же, как Хоббсу, ему многое сходило с рук. Калвер вспомнил прошлый вечер, когда полковник объявил о предстоящем завтра ночном броске, в котором они должны за тринадцать часов покрыть пятьдесят восемь километров — расстояние от теперешнего лагеря до главной базы. О'Лири свистнул — громко, протяжно, недоверчиво, прямо в лицо полковнику — и в ответ получил лишь снисходительную улыбку; и в той же самой затемненной палатке, буквально через несколько мгновений, когда Маникс пробормотал: «Господи помилуй, пятьдесят восемь километров»,— и в голосе его было не больше горечи и недоверия, чем в свисте О'Лири, улыбка сошла с тонкого лица полковника и сменилась тенью легкого, сдержанного раздражения.

— Вы находите, что это слишком много? — спросил полковник, слегка повернувшись к Маниксу. В его словах не слышалось ни враждебности, ни даже укора, а лишь прямой вопрос — быть может, потому, что в палатке находились двое нижних чинов: О'Лири и какой-то сморщенный безликий солдатик, трясшийся возле рации. Лето было в разгаре, но по ночам на болотах стояли свирепые, необъяснимые холода, и в палатке, где они сидели тем вечером — на клочке раскисшей топкой земли,— казалось, что сырость клубится вокруг, обволакивая их, пронизывая до костей, и никакие свитеры, куртки, шерстяные рубашки ей не преграда. Палатку освещала калильная лампа, висевшая над головой; она ревела, как закупоренный в банке маленький керосиновый ураган, но тепла от нее было, как от свечки. В ее мрачном, мертвенном окоченелом свете — такой бывает, наверно, в камере пыток,— потупленное лицо полковника, безучастно ожидавшего, что ответит Маникс, выглядело таким же меловым, изысканным, отчужденным, как лицо манекена в ночной витрине.

— Нет, сэр,— сказал Маникс. Он быстро пришел в себя. Он сидел на складном стуле, спокойно глядя на полковника.— Нет, сэр,— повторил он,— я не нахожу, что это слишком много, но переход все же будет порядочный.

Полковник пошевелил губами. Как будто улыбнулся. Он молчал — задумчивый и загадочный, облекшийся в загадочность, словно в плащ. В тишине неукротимо бушевала лампа, где-то в болотах полыхнул и коротко треснул минометный выстрел. О'Лири нарушил молчание: он громко чихнул, хихикнул, точно извиняясь, и сказал:

— Ну, полковник, кое-кто набьет себе мозоли в субботу.

Полковник не ответил. Он засунул большие пальцы за пояс и повернулся к майору, который сидел за складным столом, задумавшись и подперев щеки руками.

— На днях я сидел у себя в палатке, Билли,— сказал полковник,— и думал. Я думал о разных вещах. Я думал о батальоне. Я спросил себя: «А что творится у меня в батальоне? В каком состоянии мой батальон? Достиг он настоящей боевой готовности? Если завтра нам нужно будет отразить Агрессора, как мы справимся с этой задачей?» Вот какие я задал себе вопросы. И я попытался дать на них ответ.

Он замолчал, глаза его блестели, а губы кривились в усмешке, будто он снова бился над теми вопросами, которые сам перед собой поставил. Майор был весь внимание — он смотрел на Темплтона детскими голубыми глазами, раскрыв рот, и на розовой нижней губе у него блестела капелька слюны.

— И скрепя сердце,— медленно продолжал полковник,— скрепя сердце я вынужден был признать: батальон — в спячке.— Он снова замолчал.— В спячке. Особенно,— сказал он с сухой улыбкой, резко поворачиваясь к Маниксу,— та его часть, которая зовется штабной и хозяйственной ротой.— Он откинулся на стуле и медленно провел рукой по своим блеклым волосам.— Я решил, что небольшой марш завтра ночью после учений будет очень кстати. Вместо того чтобы возвращаться на базу в грузовиках. Как вы считаете, Билли?

— По-моему, это великолепная мысль. Великолепная. Честно говоря, я и сам собирался предложить полковнику что-нибудь в этом роде. В целях укрепления товарищеской спайки.

— Вот именно, Билли.

— В полной боевой выкладке, сэр? — озабоченно спросил О'Лири.

— Нет, это, пожалуй, было бы слишком.

— А-а,— сказал О'Лири с облегчением.

Вдруг Калвер услышал голос Маникса:

— И даже так...

— Что «даже так»? — перебил полковник. И опять в его голосе была не враждебность, а только вежливое ожидание, словно у него заранее был готов ответ на все, что Маникс мог сказать или предложить.

— Даже так, полковник.— Маникс говорил спокойно, а Калвер вдруг напрягся, затаил дыхание.— Даже без вещмешков пятьдесят восемь километров для кого угодно путь нелегкий, а тем более для ребят, которые порядком изнежились за эти пять-шесть лет. Я согласен, моя рота — не лучшая на свете, но ведь большинство в ней — резервисты...

— Минутку, капитан, минутку,— сказал полковник. Опять в его голосе, холодном и ровном, как те болота, что их окружали, не слышно было и намека на укор, он просто объяснял: — Я не хочу, чтобы вы думали, будто я затеял марш только из-за вас, вернее, из-за штабной роты. Но они не резервисты. Они — солдаты морской пехоты. Понятно? — Он поднялся со стула.— По-моему,— продолжал он бесстрастно, почти ласково,— все мы сегодня склонны делать одну и ту же ошибку. Мы слишком большую роль отводим различию между двумя группами людей, из которых состоит морская пехота. С формальной точки зрения верно, что большинство новых людей у нас резервисты — в военных билетах у них действительно стоит слово «запас». Но это — лишь формальная разница. Ибо прежде всего — они солдаты. И я не хочу, чтобы мои солдаты сосали лапу. Они должны вести себя как солдаты. Они должны быть в форме. Если через неделю на нас нападет Агрессор, им придется проделать большой-большой путь. И я хочу, чтобы завтрашний марш научил их этому. Понятно?

На лице его появилось подобие улыбки, и он тихо опустил руку на плечо Маниксу — то ли успокаивая его, то ли ободряя — трудно сказать, что именно символизировал этот сдержанный жест. Картина была странная, но только Калвер видел одновременно оба лица. В гнетущем, резком свете лампы они казались греческими масками, выбитыми из жести, и контраст между ними был почти театральный: мимолетная улыбка, отчеканенная на безмятежном лице полковника, а под ним — омраченное, потупленное лицо капитана, на котором проступило вдруг и сразу стерлось выражение муки и бессильной ярости. Торжества, недружелюбия не было в улыбке полковника. Казалось, он достиг не победы, а только равновесия, восстановил благочестивое, предписанное уставом единодушие, которое поколебали слова Маникса. В тот миг полковник почти нравился Калверу — впрочем, это ничего общего не имело с симпатией: самым подходящим словом — хотя Калвер его ненавидел — было бы здесь «уважение». По крайней мере это была честная улыбка, пусть едва заметная. Улыбка человека, может быть, пустого, может быть, позера, но по природе своей не злого и не самовластного — человека, который хотел бы услышать о себе от какого-нибудь сержанта: «Строг, но справедлив». В людях, подобных Темплтону, всякое чувство — гнев, удовольствие — рождается из священного трепета, благоговения перед четким строевым шагом, слаженным топотом сапог. Сила этой страсти без промедления карает отступников, но иногда дарует прощение усомнившимся — смотря по тому, каков сам пастырь: склонен он к милосердию или уповает на инквизицию и военный трибунал. Полковник был благочестив, но склонен к милосердию. Он не был тираном, и улыбка его означала, что сомнения капитана прощены и, может быть, даже забыты. Но только Калвер видел взгляд капитана — вспышку бешенства и боли, словно на трагической античной маске или в глазах закованного раба. Потом Маникс побагровел.

— Да, сэр,— сказал он.

Полковник направился к двери. Казалось, он уже забыл об этом столкновении.

— Калвер,— сказал он,— если сможете связаться по радио с ротой А, скажите им, чтобы снимались в шесть ноль-ноль. Если не сможете, пошлите до зари связного, чтобы узнать, получили ли они приказ.— Без видимой причины, как будто от неловкости, он слегка шлепнул себя по бедру.— Ну, спокойной ночи.

Ему ответили хором «Спокойной ночи, сэр», потом из палатки вышел майор и по пятам за ним — О'Лири. Калвер посмотрел на часы — было около трех.

Маникс поднял голову:

— Собираешься спать, Том?

— Я пробовал, слишком холодно. Да все равно, мне надо сменить его у рации. Как вас зовут, радист?

Парень у рации, вздрогнув, поднял глаза: он по-прежнему весь трясся от холода.

— Макдональд, сэр.

Он был совсем мальчишка, прыщавый, с приятным серьезным лицом и остриженный почти наголо — его, наверно, только что прислали из учебного лагеря.

— Сматывайтесь-ка спать да найдите себе кучу игольника потеплее.

Парень сонно снял наушники и вышел, застегнув за собой клапан палатки.

— Слишком холодно,— повторил Калвер,— отвык я спать на голой земле. Старость одолевает и ревматизм. А тут еще Каменный Старик сидел два часа до того, как ты пришел, и, вместо того чтобы дрыхнуть, мы с майором и О'Лири слушали его рассказы о Шанхае.

— Сукин сын.— Маникс мрачно подпер подбородок рукой и, замигав, уставился на голую парусиновую стену. Он жевал окурок сигары. Свет лампы еще больше подчеркивал плоский монгольский склад его лица, вид у него был угрюмый и до предела измученный. Поежившись, он плотнее запахнул ворот куртки, и Калвер увидел, как на лице его появилась насмешливая сердитая улыбка, возвещавшая очередной при-

ступ злости — на морскую пехоту, на армию, на собственное бессилие, на положение дел в мире; его циничные тирады были бы невыносимы, не произноси он их с таким смаком, злорадством и мрачным юмором.

— Пятьдесят... восемь километров,— сказал он раздельно, с неожиданным блеском в глазах.— Пятьдесят... восемь! Господи, спаси и помилуй! Ты понимаешь, что это такое? Это как от Нью-Йорка до Стамфорда в Коннектикуте. А я и ста метров подряд ни разу не прошел с сорок пятого года. Пятьдесят восемь километров я на санках с горы не проеду. И притом форсированным маршем. Это уже не прогулочка, а скорей на кросс смахивает. Это значит — уставных четыре километра в час с десятиминутной передышкой. Вот и выходит: штабная рота — дерьмо. Может, оно и так. Но нельзя же проделывать такие штуки с новичками. После парочки десяти- пятнадцатикилометровых тренировок еще куда ни шло. И то если солдаты молодые. Свеженькие. Прямо из бараков. Чего он, сукин сын, добивается — чтобы эти сырые, рыхлые старики валялись на земле, как дохлые селедки, после первых же трех километров? Черт бы его взял со всеми его потрохами!

— Он не плохой малый, просто вояка,— сказал Калвер.— Помешан на своей морской пехоте — вот и писает кипятком. Они же все тронутые.

Но Маникс напугал его — скрывать нечего: если раньше поход был для Калвера абстракцией, чем-то вроде большой вечерней прогулки, то теперь он ощутил, как вместе с ночным холодом в душу ему заползает страх. Он невольно поежился. Он почувствовал себя растерянным, сбитым с толку, словно у него вдруг открылось второе зрение, проснулось седьмое чувство и сдвинуло, исказило весь мир вокруг, перенесло его в другие измерения пространства и времени. Может быть, он просто устал. Ледяное дыхание болот, вместо пола — трава под ногами, необъяснимая стужа среди лета, уродливая угловатая тень Маникса на голой стене, лампа, ревущая злобно, как ураган над морем,— от всего этого ему почудилось на миг, что он действительно в море, заперт в глухом ящике и не знает, где он, куда плывет, и нет никакой возможности узнать это. Казалось, все, что у него было в последние годы — жена, ребенок, дом,— существовало давным-давно, а может, и не существовало вовсе, а только снилось ему; все, что он делал вчера и накануне, устало кочуя вместе с этой палаткой по незнакомым лесам, неизведанным топям, по непролазным дебрям глухих лощин, было бессмысленно, словно бред горячечного больного. Чудилось ему, что все время и пространство мира втиснуто в эту палатку, которую несет без руля и без ветрил по темному бескомпасному океану.

И хотя рядом с ним был Маникс, он ощущал беспросветное одиночество. Что-то случилось сегодня вечером, что-то сказанное или недоговоренное Маниксом, а может, и того меньше — что-то мелькнувшее у него в глазах, в знакомом выражении муки и клокочущей ярости и усугубило одиночество Калвера, добавило к нему невыносимую ношу. Этой ношей была тревога, безымянная пока и оттого еще более гнетущая. Не просто тревога перед тяжелым маршем. Он был изнурен, и поэтому его одолевали миллионы призрачных, безликих страхов — страхов, с которыми он боролся бы, если бы чувствовал себя хоть немного крепче, свежее или моложе. Возраст давал себя знать. В двадцать три года все это было бы просто. Но сейчас ему было тридцать, и трое суток, проведенных почти без сна, надломили, обезоружили его. И еще одну злую шутку сыграл с ним возраст: он словно принес прозрение, заново открыл ему мир — и в этом-то лежала причина всех страхов.

Да, все дело было в этом потрясении, когда после шести лет упорядоченной, тихой жизни — тем более тихой, что он решил, будто война навсегда ушла в прошлое,— Калвер вдруг очутился в новом мире, мире ледяных ночей и полдневного зноя, суматохи, кочевья, погони за несуществующим врагом, который вечно ускользает, но не дает покоя, зловещей гонки по болотам, по изрытым воронками полям, по долинам чужих ленивых речек. На картах, разрисованных яркими стрелками, воображаемыми танками и пушками, этот враг назывался Агрессором, и, хотя никакой агрессии в помине не было, он убегал от них, а они все гнались и гнались за ним и слали ему вдогонку мины и снаряды. Пятичасовая передышка, пять часов в палатке среди рощи, под конец такой обжитой, знакомой, как будто всю жизнь в ней провел,— и снова он покидал командный пункт, чувствуя себя одиноким, от всего оторванным, снова пускался за призрачным врагом в неизведанные чащобы и топи. Усталость давила на его плечи, словно тяжелая рука, он даже утром просыпался усталый — если вообще удавалось заснуть. Из-за их беспрерывного кружения солнце металось по небу, как шальное, и он, измученный до одури, никогда толком не знал, утро сейчас или вечер. Переходы и сумятица наполняли его тревогой, которая была бы немыслима шесть лет назад, а теперь еще больше увеличивала усталость. Даже палатка с ее преходящей, минутной оседлостью ничем не напоминала ему дома, по которому он так стосковался,— слишком в ней было холодно, слишком похожей на гроб казалась она, когда он сидел в ней, то и дело вздрагивая от страха.

Потом он подумал, что и в самом деле боится марша, пятидесяти восьми километров — не из-за расстояния, оно вообще не укладывалось в голове — просто он знал, что не выдержит. Маникс заразил его страхом. И он спросил себя: похож ли страх Маникса на его собственный страх; ведь как бы ни проклинал он армию, морскую пехоту, вполне может статься, что извращенная гордость, которую вливали в них по

капле, заставит его идти до тех пор, пока он не свалится, и боялся он не расстояния, а того, что свалится. Он поглядел на Маникса и спросил:

— Эл, ты сможешь пройти?

Маникс тяжело хлопнул себя по колену. Казалось, он не слыхал вопроса. Головокружение прошло, Калвер встал и поднес застывшие руки к лампе.

— Если в полку и в дивизии пронюхают про это дело, наверняка вставят фитиль паршивцу,— сказал Маникс.

— Они уже знают. Сказали — валяй.

— Брось. Откуда ты знаешь?

— Он сам сказал, еще до твоего прихода. Говорит, что радировал на базу, просил разрешения.

— Паршивец.

— Сам бы он не посмел,— сказал Калвер.— Не пойму только, почему они согласились.

— Свинья. Поросячья рожа. Это он не из-за штабной роты. Сам знаешь. Отличиться хочет. Прослыть боевым малым, **служакой.**

— Все же есть одно утешение,— помолчав, сказал Калвер.— Если только оно тебя утешит.

— Какое еще утешение?

— Каменный Старик, или как там его зовут, сам пойдет с нами.

— Ты думаешь? — с сомнением спросил Маникс.

— Конечно. И ты так думаешь. Он не посмеет ехать на машине.

Маникс помолчал. Но он, казалось, был одержим идеей, что в каждом поступке Темплтона кроется злой умысел.

— Ну и сукин же сын. Он в этих походах — как рыба в воде. Он шесть лет по лагерям бегал, в форму входил, пока нормальные люди, вроде нас с тобой, сидели дома и жили в свое удовольствие. Он да Билли Лоуренс. Два сапога пара. Где уж штатским тягаться с ними. Господи! А Хоббс? Ты только посмотри на этого радиста, на Хоббса. Да он через две минуты ноги протянет...

Он вдруг встал, потянулся и голосом, сдавленным от зевка, сказал:

— Ааа, ну их на... Пойду покемарю, что ли.

— Давай.

— Постель больно хороша. Плащ да куча иголок. У меня зад стал от песчаных блох как шахматная доска. Вот бы Мими на меня посмотрела.— Он замолчал и потер воспаленные глаза.— Да,— сказал он, мигая и вглядываясь в циферблат часов,— пойду, пожалуй.— Без особой сердечности он хлопнул Калвера по спине.— До завтра, браток. Не тужи.— И, мурлыча «Сидел я там полвека», неловко, по-медвежьи, выбрался из палатки.

Калвер отвернулся от лампы. Он сел за стол и нацепил на голову черную гирлянду проводов и наушников. Дикий, затерянный вой позывных ударил ему в уши, смешавшись с настырным ревом лампы; холодный замкнутый мир палатки, созданный как будто для слепого гнома, казалось, вот-вот разорвется под напором взбесившихся звуков. Спать хотелось Калверу до тошноты; не сняв наушников, он уронил голову на руки. Рации слали только позывные; далеко в болотах среди холода и мрака спали беспокойным сном загнанные взводы и отделения. Радио лозило лишь их позывные — жалобный многоголосый вой, захлестнувший одурманенное усталостью сознание Калвера. И слышались ему вопли душ, горящих в аду, жуткий хруст, визжанье, лай, вой — и сквозь эти дебри звуков нитью безумия тянулся слабый долгий плач джазового кларнета, откуда-то из Нью-Йорка или Флориды, из какого-то немыслимо далекого места. Его вселенная стала еще теснее, она ограничивалась уже не стенами палатки, а этим почти осязаемым звуком. Спать было невозможно. И вдобавок что-то тяготило Калвера — что-то он забыл, что-то он должен был сделать...

И вдруг он вспомнил распоряжение полковника. Он откашлялся и, не поднимая головы со стола, сонно забормотал в микрофон.

— Я — Узел Три, вызываю Узел А. Я — Узел Три, вызываю Узел А! Я — Узел Три, вызываю Узел А. Вы слышите меня? Прием...

Он замолчал. Ответа не было. Он начал опять: — Я — Узел Три, вызываю Узел А, я — Узел Три, вызываю Узел А, я...— И вдруг он увидел себя со стороны: сидит и твердит, как мальчишка, бессмысленное: «У попа была собака...», и он подумал о Маниксе, подумал: к черту все,— и резко выпрямился.

Он **не будет** спать. И он снова подумал о Маниксе. Потому что Маникс стал бы над ним смеяться. Маникс издевался над всем, в чем видел символ армии. В том числе над радиокодами. Он с яростным презрением относился к этой бойскаутской тарабарщине, заменявшей военным нормальную человеческую речь. Для Маникса это был тайный язык сообщества кретинов, кретинов, которым дан безответственный и опасный разум. Он презирал и другую сторону армейской жизни — пот, напряжение, опасность. Это он сказал однажды: «Не нужно мне ваших хемингуэевских штучек», он не желал быть «паршивым героем». И, однако, думал Калвер, кто же тогда герой, если не он? Отречение от веры уже само по себе вычеркивало Маникса из категории героев в общепринятом смысле этого слова, но если страдание — одна из сторон героизма, то Маникс был героем не меньше любого другого. На плече у него был глубокий

мертвенно-бледный шрам, страшная глянцевитая борозда, особенно заметная и уродливая оттого, что она была окружена густой порослью волос. Шрамы поменьше покрывали все его тело. Маникс не гордился ими, но и не скромничал — он был просто откровенен; однажды, когда они мылись в душе после полевых учений, он рассказал Калверу про тот день, когда получил эти раны на Пелелю.

— Я был тогда сержантом. Сидел в воронке впереди своего взвода. Как я туда залез — один бог знает, помню только, что там был телефон. Вдруг — бам! — япошки из минометов — и сразу мне осколок вот сюда.— Он показал на лоснящуюся треугольную ямку над коленом.— Я схватил трубку и ору им, чтобы они Христа ради подтащили восьмидесятки и вышибли этих япошек. Но они не торопились. Господи, до чего же они не торопились! Японцы, наверно, меня заметили, потому что мины сыпались дождем, и от каждой этой штуки мне что нибудь перепадало. Помню только, как ору в телефон, а кругом — мина за миной, и осколки жужжат. Я ору, прошу восьмидесяток — и получаю осколок в руку. Ору, чтоб дали хоть паршивую ружейную гранату, и получаю осколок в зад — прямо вот сюда. Ору: давайте шестидесятки, давайте артиллерию, самолеты. И только заору, как получаю еще кусок железа. Ох и страшно мне было. И больно! Господи Иисусе, в жизни мне не было так больно. Потом мне попало сюда,— и он, скривившись, ткнул куском мыла себе в плечо,— и тут я откинул копыта. Помню, только подумал: «Все, Эл, каюк»,— и успел взглянуть на телефон. Понимаешь, этот чертов провод, оказывается, был порван, прямо у меня за спиной.

Нет, Маникс, видно, не был героем — не больше чем все они, захваченные последними войнами, в которых вот уже пятнадцать лет боец был крепостным у телефона, радара и реактивного самолета — у целого племени замысловатых и оттого вероломных машин. Но Маникс однажды пострадал, и этого «однажды», по его словам, было на один раз больше, чем надо. Страдание озлобило его, заставило пристальней, даже циничней разглядывать свои новые цепи, обострило его нюх, и он уже чуял в тяжелом затишье те ветры, которые, поднявшись однажды, швырнут их всех в новую бойню. Он смущал Калвера. Он не просто брюзжал — он восставал неукротимо и открыто; его бунт казался Калверу и смелым, и опасным.

Калвер впервые столкнулся с бунтарем пять месяцев назад, вскоре после того, как их призвали. Тогда они еще не знали друг друга. Шли обязательные лекции, которые должны были познакомить младших офицеров с последним словом «новой земноводной доктрины». Обстановка лекций была пугающе знакомой: душная аудитория, битком набитая осоловелыми лейтенантами и капитанами, ярко освещенная кафедра с огромными картами и схемами, диапозитивы (когда гасили свет, можно было вздремнуть украдкой, совсем как в офицерской школе семь лет назад), череда майоров и полковников с указками и картами и их мучительно нудные, зазубренные лекции — дух ученой серьезности, тем более зловещий и многозначительный, что никто ничего не понимал, кроме самих майоров и полковников, да и не желал понимать. Калвер сел в темноте, когда показывали диапозитив, и очутился рядом с большой разомлевшей массой, в которой распознал капитана; масса храпела. Свет зажегся, но Маникс продолжал спать, наполняя воздух громким спокойным храпом. Калвер толкнул его локтем. Маникс заворчал спросонок, но потом сказал: «Спасибо, друг». На кафедру поднялся молодой полковник. За ту неделю он прочел уже много лекций. Голос у него был необычайно густой и по-мужицки хриплый, но читал он размеренно, со сдержанной страстью, мрачно и торжественно перегибаясь через кафедру,— тощий опрятный человек, остриженный так коротко, что издали казался почти лысым.

— Эсэсовец,— шепнул Маникс,— сейчас подойдет и оттяпает тебе яйца. Ты еврей небось? — Он ухмыльнулся, снова навалился на стол, подпер лоб рукой и тихо погрузился в сон.

Калвер не мог вспомнить, о чем толковал полковник,— движение боеприпасов, материально-техническое обеспечение, снабжение прибрежных плацдармов, перспективное планирование — все абстрактное, необъятное,— и глаза его загорались огнем каждый раз, когда он упоминал о «грандиозной доктрине», сформулированной за то время, пока все они были в запасе.

— Это уж как пить дать,— прошептал вдруг Маникс из темноты. Он как будто совсем очнулся от сна и внимательно слушал лекцию; обращался он не к Калверу и не к полковнику, а в пустоту.— Как пить дать грандиозная, хоть ты, может, и не знаешь, что значит «грандиозный». Ты же душу продашь, чтоб сбросить на кого-нибудь бомбу.— И, передразнивая разговор полковника с капралом — одним из тех холуев, что разносили по рядам после каждой лекции стопки печатных или стеклографированных схем, таблиц и тезисов, которые тут же незаметно выбрасывались, прошептал хрипло, с издевательским воодушевлением: — Будьте добры, капрал, пустите по рядам образцы атомных бомб.— И громко, так, что было слышно по всей аудитории, хлопнул по ручке кресла; все головы повернулись к нему, но полковник как будто ничего не заметил.— Черт бы вас всех побрал,— яростно грохотал Маникс, а полковник хрипло бубнил:

— Назначение нашей группы, объединяющей наземные, морские и воздушные силы перед лицом противостоящего Агрессора...

Позже, к концу недели Маникс спокойно и во всеуслышание изложил свое кредо, это сделало его популярной личностью среди резервистов, хотя внушило им опре-

деленный страх и сомнения в его психической уравновешенности, Калвера же заставило долго ломать голову над тем, почему это сошло ему с рук. Может быть, это объяснялось его физическим превосходством, монументальностью манер. В его речи слышалось порой какое-то тяжеловесное, громоздкое величие. Он был огромный человек, и, казалось, этим объяснялась его прямота, его громогласная честность, подобно тому как звук, идущий от деки, тем глубже, чем больше ее размеры. К тому же он пострадал на войне, и страдание придало его глазам то непокорное, неистребимо презрительное выражение, которое, словно кровавое пятно на рубашке или рана, издали предупреждает беспечного: обращайся с осторожностью. Он был огромен, в нем чувствовалась сила. И Калвер понял, что тощий, стриженный ежиком полковник даже не подумал о выговоре и тем более о наказании потому, что был ошеломлен, физически подавлен тем непреложным фактом, что перед ним стоял не просто курсант, не просто капитан, его подчиненный, а упрямый и разгневанный человек. Случилось это после лекции о транспортировке боеприпасов, когда полковник задал какой-то отвлеченный, гипотетический вопрос и наугад по списку вызвал Маникса, а тот встал и коротко ответил: «Не знаю, сэр». По аудитории пронесся удивленный шепоток — ибо полковник предупредил, что требует не обязательно точного ответа, а хотя бы догадки, предположения, даже если они незнакомы с предметом. Но Маникс ответил только: «Не знаю, сэр»,— и полковник с легким раздражением, словно Маникс неправильно его понял, перефразировал вопрос. Наступила тишина, и все обернулись, чтобы взглянуть на человека, который ведет себя так вызывающе.

— Я не знаю, сэр,— повторил он громко, но спокойно.— Я не знаю, о чем бы я позаботился в первую очередь, составляя такую таблицу распределения. Я — пехотный офицер. Моя военная специальность 0302.

Лоб полковника порозовел:

— Я же сказал, капитан, что хочу услышать хотя бы самый приблизительный ответ. Я и не рассчитываю, джентльмены, что вы знаете этот вопрос до тонкости, от вас требуется лишь высказать свои предположения.

Маникс стоял, огромный, неподвижный, и, мигая, глядел на полковника.

— Могу только повторить,— сказал он наконец,— что у меня нет ни малейшего представления о том, что здесь следует учитывать в первую очередь. Я не кончал транспортного училища. Моя специальность 0302. И осмелюсь почтительно заметить, сэр, что едва ли тут найдется человек, знающий ответ. Они забыли даже то, что знали семь лет назад. Большинство из них винтовку не сможет разобрать. Они стары для этого. Им полагалось бы сидеть дома, с детьми.

Он говорил с жаром, но сдерживался, стараясь не выказать злости и непочтительности. В словах его была суровая простота неоспоримого факта — словно перед судьями выступал адвокат, настолько убежденный в невинности своего подзащитного, что ему не нужно было горячиться и краснобайствовать. Он умолк, и воцарилась мертвая тишина; глаза у полковника полезли на лоб, казалось, от изумления он лишился дара речи. Потом несколько неуверенно он назвал другую фамилию, и Маникс сел, глядя перед собой остановившимся взглядом.

Дело пахло трибуналом, по меньшей мере взысканием, однако все обошлось. Ничего не было — никакого резонанса, никакой отдачи, ровно ничего. История либо была забыта, либо запечатлелась где-то в коллективной полковничьей памяти, где все подобные происшествия сортируются на предмет грядущего воздаяния. Но как бы ни подействовала эта история на полковника и какие бы высокие инстанции ни прослышали о ней, на Маникса она повлияла определенно. И результат был неожиданный. Маникс как будто не отвел душу, а, наоборот, еще больше ожесточился, еще охотнее срывал злость — на себе, на начальстве, на ком угодно.

В то время в глазах Калвера его образ был неразрывно связан с «Райскими Вратами» — так прозвали злоязычные рядовые дом офицеров, воздвигнутый чьей-то прихотливой рукой прямо посреди болотистой равнины. Они с Маниксом жили наверху, в комнатах для холостяков. Место это своим беспечным изобилием напоминало средиземноморский курорт, и зеркалом, воплощением его роскоши, был плавательный бассейн, сверкающий, будто овальный сапфир, в оправе песчаных дорожек, цветников и причудливой поросли пляжных зонтиков. Здесь ежедневно в десять минут пятого, едва успев сбросить форму, появлялся Маникс — огромная понурая фигура с бокалом джина в руке, в цветастой рубахе навыпуск, по которой в типично гражданском беспорядке порхала эскадрилья чудовищных бабочек. И Маникс, и Калвер ненавидели это место — его поддельную роскошь, атмосферу пьянства и тупой праздности, танцы, пустой служебный разговор кадровых офицеров и томные напевные голоса их жен, которые надменно прогуливались перед резервистами, красивые и зазывно-неприступные. Здесь все дышало скукой, неприкаянностью, разложением. «Тюрьма какая-то,— говорил Маникс,— все к твоим услугам, кроме счастья». Однажды ночью, напившись, а он редко позволял себе такую роскошь, Маникс вытащил из комнаты все бумаги, книги, мебель и, запинаясь, но решительно заявил, что намерен спалить это заведение. Калвер отговорил его, хотя в душе с ним соглашался: они проводили здесь время от безвыходности — на сотню миль вокруг не было другого места, и некуда было податься, даже если бы они захотели.

— Черт возьми, это **унизительно,**— сказал однажды Маникс, как будто желая

выразить все одним этим словом.— Это как с женщинами. Вернее, без женщины. Малолетку какому-нибудь, может, и ничего — обходится без этого дела, но если тебе под тридцать — это унизительно. Просто-напросто унизительно. Если бы не Мими, я бы давно уже подцепил одну из этих гарнизонных шлюх. И вся эта петрушка — сплошное унижение. Я знаю, сам виноват, что не уволился вчистую, тут и говорить нечего. Болван был. Да разве я думал, что меня будут призывать из-за всякой вонючей международной склоки? Но, черт побери, это унизительно,— и жестом мрачного отчаяния выплеснул в рот остатки из своего стакана.— Унизительно человеку моих лет ползать на брюхе, как псу. А еще унизительней,— он окинул презрительным взглядом сверкающую хромом террасу у бассейна, где гроздьями матовых лун висели японские фонарики и в вялых приморских сумерках вился серебристой канителью пустой и пронзительный женский смех. Стояла тихая южная ночь, обсыпанная звездной пылью, и отдаленное блеяние саксофона казалось печальным и нерешительным, как это удушливое лето и страна, застывшая на пороге войны и мира.— А еще унизительней приходить каждый день с полигона и **торчать** в таком вот ночном клубе, когда тебе только одно нужно — вернуться домой. К жене и детям. **Не могу** я здесь, понимаешь?

Но под этим бунтом, чувствовал Калвер, у Маникса, как и у всех у них, крылось смирение. Ведь Маникс был из поколения безропотных, он и сам сознавал, наверно, что бунт его — не общественный, а личный и потому безнадежный, даже бессмысленный, что силки, в которые все они попали, не разорвешь в одиночку, только затянешь еще туже.

— Зчаешь,— сказал он как-то,— я, наверно, только раз как следует испугался в прошлую войну.

В его словах было какое-то покорное равнодушие, и сказаны были они равнодушно, как «в прошлое воскресенье» или «прошлый раз, когда я был в кино». Разговор происходил на пляже, куда они отправлялись каждую субботу, когда стояла жара. Здесь на берегу моря, в мрачном уединении, соприкоснувшись со стихией более значительной и более долговечной, чем война (по крайней мере так им казалось солнечным полднем), они ощущали почти полный покой. Маникс был умиротворен и кроток — чуть ли не впервые с тех пор, как Калвер с ним познакомился,— и звук его голоса после долгих часов, напоенных тишиной и солнцем, поразил Калвера.

— Да, черт возьми,— сказал он задумчиво.— Испугался я всего один раз. То есть по-настоящему испугался. Мы жили в Сан-Франциско, в отеле. Знаешь, ближе к смерти, чем тогда, я, наверно, ни разу не был. Мы напились в дым — свиньи свиньями. Человек пять нас было — только что из учебного лагеря. Щенки. Сидим, значит, в этом номере на десятом этаже, и такие пьяные, что дальше некуда. Я в ванную пошел — принять душ. Было поздно уже, за полночь; ну, принял я этот самый душ и вхожу в комнату голый, в чем мать родила. Я вхожу, а двое из этих ребят меня уже ждут. Схватили и тащат к окну. А я так нагрузился, что даже отбиваться не могу. Выпихнули меня в окно и за пятки держат, а я вишу в воздухе, вниз головой, голый, в чем мать родила, и до земли мне лететь — десять этажей.— Он замолчал и отпил пива.— Представляешь, что я чувствовал? — медленно продолжал он.— Я сразу сделался трезвый, как стеклышко. Представляешь, что значит висеть на десятом этаже вниз головой, когда за ноги тебя держат двое пьяных? А я, понимаешь, тяжелый был, ну как сейчас. Помню только огоньки внизу — крохотные, людишки словно муравьи ползут, и держат меня за мокрые скользкие щиколотки два пьяных идиота, ржут — помирают и никак не договорятся, отпускать меня или нет. Помню, холодный ветер меня обдувает и темная, знаешь, конца ей нет, темнота кругом и ноги мои потихоньку выскальзывают, выскальзывают. Веришь или нет, но я действительно увидел Смерть — и единственное, о чем я тогда думал: эти гады вот-вот меня выпустят, я сейчас упаду и разобьюсь об эту твердую, твердую мостовую. Я, наверно, молился. Помню только, как стучит в голове кровь, как выскальзывают ноги, и еще какой-то жуткий звук. А я, понимаешь, руки тяну, за воздух цепляюсь. А потом подумал: что это за звук такой, громкий, высокий, и понял: это я сам ору благим матом, на весь Сан-Франциско.— Он умолк и стал ковырять песок заскорузлой пяткой.— В общем, втащили обратно. Другие двое, которые вроде были потрезвее, они меня и втащили. И теперь, как вспомню об этом, мурашки по спине бегают — вверх и вниз, здоровые такие, холодные мурашки.

Он засмеялся, невесело, безразлично, пожевал кончик сигары и снова замер, уперев локти в песок и глядя на море. И злость, и горечь его как будто растворились в горячем соленом воздухе; распростертый на песке, с лицом, тоскливо обращенным к морю, густо заросший волосами, в темных очках, с сигарой во рту и жестянкой пива в руке, он казался Калверу сонным, добродушным, словно громадный мохнатый младенец, убаюканный прибоем и приемлющий все на свете,— все готовый вместить в тот гигантский вакуум, который оставили после себя гнев и ожесточение, все — и новые муки, и даже смерть. В воздухе пахло войной. Белоснежные гребни волн, словно венки в темных волосах девушек, мерно катились на восток, к Африке, и издалека, из-за дымчатых ее гор долетали отзвуки моря — то ли эхо дальней грозы, то ли раскат пушечного грома. Калвер вдруг дернулся на песке, и боль захлестнула его горячей волной. Боль одиночества, тоска по дому, страх. На окраине его памяти

две маленькие девочки играли в мяч, звали его, махали ему и потом исчезли, скрылись за дождевой пеленой полузабытых звуков музыки. Маникс молчал, и от этого одиночество становилось еще беспросветней. Вдруг Калвер сам почувствовал себя как Маникс — опрокинутым в ночи, беспомощно повисшим над бездной,— и в голову ему бросилась кровь, горло сдавил ужас...

■

Багрово-красный в полуденном свете, над ним стоял О'Лири и все еще говорил. Калвер, вздрогнув, открыл глаза. О'Лири улыбнулся.

— Ночью вы совсем загнетесь, лейтенант, если сейчас на ногах не держитесь.

Калвер пытался заговорить; время раскручивалось вокруг него огромной спиралью, и он, все еще опутанный обрывками кошмара, не мог сообразить, что с ним. Ему казалось, что сейчас еще ночь и он лежит в палатке.

— А? Я спал, О'Лири? — спросил он, моргая.

— А как же, сэр,— усмехнулся О'Лири,— ясное дело, спали.

— Долго?

— Да с полминуты.

— Ох и устал я. Вчерашняя ночь мне снилась,— сказал Калвер.

Он встал. По вырубке в облаке пыли проехал грузовик. На командном пункте опять началась суматоха. Калвер и О'Лири разом повернулись к палатке — оттуда к ним шагал полковник с Маниксом.

— Калвер, давайте свой джип и шофера,— бросил он, не глядя, и направился к дороге. Тон его был сух и энергичен, он прошел мимо мелким четким шагом, и трость — шлеп-шлеп — шлепала в такт по грубой бумажной штанине.— Вы и капитан Маникс поедете со мной в третий батальон. Посмотрим, чем им можно помочь.— Голос его замер.

Маникс молча плелся за ним, и его лицо показалось Калверу еще более измученным и хмурым, чем час назад.

Пыльный проселок, беспрерывно петляя, терялся в тощих заброшенных пашнях. По сторонам его разбросаны были лачуги, тоже давно покинутые. Сели в машину: Маникс и Калвер — сзади, полковник — рядом с шофером. Ехать было недалеко, километра полтора, но Калверу дорога казалась бесконечной. весь мир — судорожная карусель звуков, слышимых сквозь сон, движений, лишенных смысла,— казался ему разорванным и устрашающе далеким, как будто он смотрел на него глазами крота или наркомана. Мимо тучами проносилась пыль. В синем голом небе в зените застряло солнце и молотило жаром по земле, не суля дождя ни днем, ни ночью. Маникс безмолвствовал, Калвер повернулся к нему. Тот смотрел прямо перед собой, сверля взглядом затылок полковника. Загнанный зверь, в глазах — ярость и боль, почти отчаяние; эти глаза вдруг напомнили Калверу о том, что ему предстояло увидеть, голова у него закружилась, он отвернулся, и перед ним в пыльном облаке проплыли развалины негритянской халупы: расщепленная дверь, обгорелый фасад, развороченные стены — мишень, которую на миг словно заслонили тени изгнанных и мертвых, траурные тени, прокравшиеся в этот бредовый полдень, чтобы отнять у руин горячий запах жимолости и кухни, густое жужжание пчел. Калвер закрыл глаза и задремал; подбородок его отвис, тело обмякло, живот чуть-чуть вздымался от дыхания.

■

У одного глаза были закрыты и на длинных черных ресницах блестели слезы, будто он устал плакать и заснул. Когда они наклонились над ним, то увидели, что он совсем еще мальчик. Ветерок, принеся с болот запах гари и пороха, шевельнул его волосы. Прядь упала ему на лоб, словно и в этой вечной неподвижности он должен был остаться самим собой — взъерошенным, застенчивым парнишкой. В траве вокруг курчавой головы скакали кузнечики. От нижней части лица у него ничего не осталось. Калвер поднял голову, и глаза его встретились с глазами Маникса. Капитан плакал. Он бросил взгляд, полный муки, на полковника, стоявшего на дальнем краю поляны, потом снова на мальчика, потом на Калвера.

— Когда же они оставят нас в покое, сукины дети? — прошептал он, всхлипывая.— Когда же нас оставят в покое?

3

В тот вечер, перед самым началом марша, в башмаке у Маникса вылез гвоздь.

— Видал? Везет, как утопленнику,— сказал он Калверу.

Они сидели на насыпи над дорогой. В синих сумерках уже зажглись звезды, но жара не спадала. Душная, влажная, липкая, она облегала людей, как пальто. Батальон — тысяча с лишним человек — был готов к маршу. Построенный двумя шеренгами по обеим сторонам дороги, он растянулся почти на два километра. Калвер заглянул в башмак — гвоздь каблука проткнул стельку и торчал наружу — злобное, острое

жало. Маникс изучал подошву своей громадной грязной ноги. Он оторвал кусочек кожи, задранный гвоздем.

— Тьфу ты, пропасть,— сказал он,— дай мне перевязочный пакет.

— Эл, он все равно вылезет,— отозвался Калвер,— ты лучше достань другие ботинки. Или попробуй забить его штыком.

Маникс постучал по гвоздю и с досадой выпрямился.

— Не входит до конца. Ну, ты дашь, наконец, пакет?

На рукаве его куртки виднелись ржавые пятна крови, которой он испачкался днем. В голосе слышалось раздражение. Всю вторую половину дня он ходил унылый и подавленный — зрелище бойни потрясло его, наверно, не меньше, чем Калвера. Он был то задумчив и рассеян, то вдруг впадал в беспричинную ярость. Словно что-то сломалось в нем. Настроение у него стало неровное, и сказать, что с ним случится через минуту, было невозможно — кислое, угрюмое молчание то и дело сменялось вспышками гнева. Калвер никогда еще не видел его таким капризным и резким с солдатами, к которым он всегда относился по-дружески. Весь день он то придирался к ним, ворчал, рявкал, то, вдруг замолкнув, погружался в тягостное раздумье. Два часа назад, пока они ели, сидя на корточках в высокой траве, он не произнес ни слова, если не считать отрывистого и бессвязного, как показалось Калверу, бормотания насчет того, что пусть его люди «лучше возьмут себя в руки». Этот взрыв как будто сорвал с него кожу, оголил нервы.

А сейчас он опять был раздражен, взвинчен, и в голосе его звучала досада и нетерпение. Наклеивая на ногу пластырь, он ворчал:

— Скорее бы уж началось это представление. Вечная история с морской пехотой: ты тут стоишь, гниешь полночи, а они в это время изобретают свою грандиозную доктрину. И почему я не пошел в армию? Да если бы я знал тогда, в сорок первом, куда я попаду, я бы в окошко выскочил из призывного пункта.

Он поднял голову и посмотрел туда, где во главе колонны стояло штабное начальство. Три или четыре офицера собрались на дороге. Полковник был среди них, подтянутый, почти франтоватый, в новых брюках и ботинках. Его фуражка с блестящим серебряным листиком была сдвинута на затылок. На боку висел револьвер калибра 9,65, отделанный серебром и перламутром. По обыкновению он был заряжен, но зачем — неизвестно, ибо никто еще не видел, чтобы полковник из него стрелял; впечатление создавалось такое, что это просто эмблема, символ власти, как золото на фуражке или граната на погонах. Как трость, как кличка Каменный Старик, как задумчиво-важное выражение лица, пистолет был лишь принадлежностью спектакля, и слава богу, думал Калвер, спектакль не так помпезен и оскорбителен, как можно было бы ожидать. Ты просто должен поверить, что полковник одинаково немыслим без пистолета и без клички Каменный Старик, а раз так, раз спектакль безобиден и просто тешит его тщеславие — стоит ли винить человека, спрашивал себя Калвер, за то, что ему жалко расстаться с аксессуарами?

Маникс тоже наблюдал за ним, наблюдал, как с легкой улыбкой, скраденной сумерками, засунув большие пальцы за пояс, полковник постукивает носком башмака по песку — моложавый и свежий, беспечный, как атлет посреди гудящего стадиона, уверенный в своей победе задолго до начала состязания. Маникс откусил кончик сигары и со злобой выплюнул.

— Ты только посмотри на этого сморчка. Думает, мы сдохнем на полдороге.

Калвер перебил его:

— Слушай, Эл, что же делать с гвоздем? Ты бы сказал полковнику, он разрешит тебе сесть з...

— Ну нет уж,— яростно прохрипел Маникс.— Садист, недомерок, Эла Маникса он с дерьмом не смешает. Сколько этот сукин сын пройдет, столько и я пройду, и еще милю. Он говорит, штабная рота в спячке. Ладно, я ему покажу. Я по битому стеклу пойду — не попрошусь в машину. Я...

Они молча посмотрели друг другу в глаза и смутились: каждый прочел во взгляде другого свои мысли. Затем оба отвернулись, Маникс что-то пробормотал и начал шнуровать ботинок.

— Правильно, Эл,— услышал Калвер свой голос. И почувствовал, что силы его — на исходе.

Наступала ночь. В оцепенении он смотрел на дорогу: там, опираясь на винтовки, стояли люди, курили, переговаривались тихими усталыми голосами, над ними в сумерках огромным сизым облаком подымался дым, взвивались и падали в панической суматохе тучи мошкары. В болоте лягушачий хор завел свою безумную песню, в звуке ее Калвер слышал отголоски своего отчаяния. И чувствовал, что силы его — на исходе. Значит, и в Маниксе жил этот инстинкт — не страх перед физическим страданием, не тот ужас, что обуял их на залитой кровью поляне, а нечто другое — атавистический голос, который вновь приказывал им: ты должен. Как глупо было думать, будто у них есть своя философия,— она оказалась хлипкой, как карточный домик, и этот голос, гудящий в мозгу,— **ты должен** — разнес его в прах. Они были беспомощны, как дети. Та бесконечно далекая война осквернила их ум навеки. Шесть лет они провели в блаженных снах о мире, чтобы проснуться в холодном поту, понять, что они по-прежнему солдаты, и подчиниться прежним приказам. Солдаты. Даже если они не молоды.

Банковские служащие, торговцы, юристы. Даже если они устали сверх меры, как сейчас. **Ты должен** пройти пятьдесят восемь километров — и заглушить этот голос они так же не могли, как не могли превратиться в русалок. Калвер боялся, что не пройдет, и знал теперь, что Маникс тоже боится; одного он не знал — презирать себя или ненавидеть за то, что этот страх борется в нем с крохотной, еле теплящейся гордостью.

Маникс поднял глаза от ботинка и поглядел на полковника.

— Да, черт возьми, все правильно. Пройдем,— сказал он,— и вся моя рота пройдет, даже если мне придется тащить их волоком.— В голосе его были нотки, которых Калвер никогда прежде не слышал.

Вдруг в тишине раздался монотонный голос полковника:

— Ну что ж, Билли, давайте подыматься.

— Батальон, стройсь! — Команда майора, нетерпеливая и пронзительная, многократно повторяясь, прокатилась по дороге.

— Кончай курить! — Синее облако растворилось в воздухе, рой мошкары ринулся вниз.— Стройся, стройся,— неслось по цепи, и батальон поднимался на ноги — не разом, а мерной неторопливой волной, как поднимается после порыва ветра пшеница. Маникс выпрямился и, взбивая пыль, стал боком съезжать с насыпи к своей роте. Рота стояла в голове колонны, прямо позади штаба. Калвер тоже стал спускаться и еще на полпути услышал команду Маникса. Она звучала властно и намеренно грубо:

— А ну, строиться, штабная рота, строиться! Поднимайте задницу, живо!

Калвер прошел мимо него, направляясь к штабу. Маникс, окруженный тучами мошкары, высился над всей ротой. Уперев руки в бока, наклонившись вперед всем телом, он подгонял, подхлестывал людей, словно какой-нибудь бешеный генерал времен гражданской войны.

— Сегодня вы должны пройти пятьдесят восемь километров. Пройти, а не проехать — понятно? Первому, кто сойдет с дороги,— пятнадцать нарядов вне очереди. Поблажек никому не будет. А если кто думает, что я шучу,— пусть попробует. Тут будут грузовики для тех, кто очень переутомится, так вот — чтоб духу вашего там не было! Я старше вас и мяса на мне — побольше, и раз уж я выдержу, то вам сам бог велел...

В его голосе слышалось что-то похожее на отчаяние. И пока Калвер шел вдоль цепи грязных угрюмых людей, ничем уже не похожих на солдат легендарной морской пехоты, голос звенел все надрывнее, все неистовее — голос не командира, призывающего выполнить обычное задание, но человека, одержимого одной мыслью — выдержать.

— И смотрите не придуривайтесь! Воду беречь. Ногу стер, подвернул — иди к санитару, ко мне не суйся. Когда придем, я хочу, чтоб вы все были в строю.

Не потому, что он видит в марше пользу или смысл, думал Калвер, а потому, что хочет одержать моральную победу, словно кандальник, который переносит побои без единого стона — лишь бы досадить мучителю. Присоединившись к офицерам, он услышал, как полковник сказал майору:

— Что ж, Билли, штабная рота en masse * как будто бы справится.

Этого и боялся Калвер: сами по себе слова были благожелательны, зато глаза полковника смотрели на Маникса пронзительно и испытующе, как будто и он уловил в голосе капитана интонацию высокомерного, непокорного подчинения — бунта навыворот; но произнес он эти слова без выражения и тут же отвернулся, глянул на часы и добавил:

— Давайте двигаться, Билли.

Они двинулись не мешкая. Впереди поехал джип с зажженными фарами. Полковник с майором, а следом за ними Калвер зашагали по пыльной дороге. Полковник шел по-спортивному, почти не сгибая ног, подняв плечи, мерно двигая согнутыми руками; ничто не нарушало ритма его шагов — ни рытвины, ни глубокие колеи,— и Калвер был поражен, даже напуган темпом, который он задал. Это был шаг опытного пехотинца — решительный, розный, скорее даже рысь, чем шаг,— и через несколько минут Калвер стал задыхаться. Ноги вязли в рыхлом песке. Он прошел метров двести, не больше, а подмышки у него уже взмокли, и пот струился по лбу. Его охватило смятение, бессмысленный страх. Он и раньше боялся марша, но тогда страх был смутным, абстрактным, теперь же, устав буквально от первых шагов, он почувствовал, что не выдержит и часа — Маникс был прав. От страха кровь бросилась ему в лицо, он судорожно вздохнул, едва сдерживая крик,— кровь отхлынула. Мозг ощупью искал причину, страх отступал; он понял — надо втянуться в ходьбу и все будет в порядке. Паника прошла, он почувствовал, что дышит свободнее. Полковник вышагивал впереди с уверенностью заводного солдатика. Сквозь собственное пыхтение Калвер услышал его голос, такой спокойный, ровный, как будто полковник сидел за письменным столом.

— Мы выступили ровно в девять, Билли. К десяти мы должны быть у шоссе и сделать привал.

— Так точно, сэр,— ответил майор,— еще раньше придем.

---

* В целом *(франц.)*.

Калвер подсчитал: по штабной карте, которую он знал наизусть, расстояние было пять с половиной километров — на полтора километра больше, чем полагалось по уставу для часового перехода. Это скорей походило на бег. С трудом выдергивая ноги из песка, он ощутил безысходность, такую головокружительную, что даже развеселился; он услышал между своими шумными вдохами странный звук — не то смешок, не то всхлипывание. Пять с половиной километров — расстояние от Гринвич-Вилледж чуть ли не до Гарлема, изнурительное даже на машине. Он измерял в уме эту бесконечную вереницу городских кварталов. Он мысленно брел по надежным твердым мостовым Пятой авеню, переходил Четырнадцатую улицу, унылые просеки Двадцатых и Тридцатых; в боку у него как будто нож поворачивался, но он все шагал и шагал: на север, мимо библиотеки, еще двадцать кварталов, мимо отеля «Плаза», и дальше — по зеленым лужайкам Сентрал-парка... Мысль остановилась. Пять с половиной километров. А за ними — еще пятьдесят два. Перед мысленным взором возникла фигура Маникса. Калвер спотыкался, смотрел в безжалостную спину полковника и думал: господи, помилуй.

Они спешили. Ночь спустилась внезапно, как в тропиках; теперь, когда они шли по заболоченному лесу, им светили лишь фары джипа. Дыхание у Калвера наладилось, но грудь и спина были мокры от пота, и ему хотелось пить. Он испытывал смутное удовлетворение от того, что остальным не легче: он слышал, как сзади из чехлов выдергивались фляги, звякали крышки и задушенно, жадно булькала в чьем-то горле вода; потом донесся сердитый окрик Маникса:

— Отставить, черт возьми! Сказано: берегите воду! Убрать фляги к черту, пока не станем на привал.

Калвер выворачивал шею, пытаясь разглядеть Маникса, но видел лишь тени солдат, бредущих по песку,— неясную двойную цепочку, исчезающую в черном зеве ночи. Сзади что-то крикнул солдат — пошутил, должно быть,— раздался смех, долетел отрывок песни «На старой вершине, оде-етой туманом...» И снова все звуки перекрыл сердитый голос Маникса:

— Можете горланить сколько влезет, но лучше поберегите дыхание. Мне наплевать — болтайте хоть всю дорогу, но если выдохнитесь — пеняйте на себя...

Его голос стал отрывистым и злобным — так командовали, наверно, древние сатрапы и надсмотрщики на галерах. Голос был словно колючая проволока, он жалил, хлестал людей, как кнут, и, хотя пение и разговоры сразу смолкли, Маникс не унимался. А ведь не прошло еще и часа с начала марша, Калвера охватила досада, ему захотелось вернуться назад и утихомирить Маникса.

— А ну, подтянитесь, задние! Шии, ты куда смотришь, черт возьми, заставь их сомкнуться! Они отстают, им придется бегом догонять! Слышите, подтянуться, черт возьми! Тебе говорят, Томпсон, ты что, оглох, черт бы тебя взял! **Подтянуться,** говорю! — Этот голос, грубый и яростный, сопровождал Калвера всю дорогу.

И из всей дороги именно первые часы запомнились ему как самые кошмарные, хотя конец принес более изощренные мучения. Калвер объяснял это тем, что вначале ум еще более или менее служил ему и духовные страдания были так же остры, как физические. Потом мозг выключился, все вокруг происходило само по себе, почти не затрагивая сознания. И еще в первые часы над ним тяготело присутствие Маникса. К больной игре воображения, к злости и отчаянию (да и к редким минутам просветления, когда Калвер мог рассуждать спокойно) примешивалось еще и то, что он все отчетливее видел перемену, происходившую с капитаном. Позже поступки Маникса смешались у него в голове, стали частью общего кошмара. Но вначале Калвер достаточно ясно воспринимал мир: превращение Маникса открылось ему отчетливо и внезапно (хотя его и обдало холодом предчувствия судного дня) — так человек, вдруг обернувшись посреди разговора к зеркалу, видит рядом с собой не старого друга, а оборотня — чужое, жуткое лицо проступает в стекле перед ним.

Они подошли к шоссе ровно в десять. Полковник, посмотрев на часы, остановился, майор поднял руку и крикнул: «Перекур! Десять минут!» Калвер сошел с дороги и опустился в траву. Кровь стучала в висках, билась в глазницах, жажда была такая, что он, забыв обо всем, выпил треть фляги. Он закурил сигарету и тут же отшвырнул — она отдавала медью. Его ноги одеревенели от усталости. Он медленно вытянул их в росистой траве и посмотрел на тихое звездное небо. Он обернулся. По дороге, шагая через ноги и ружья, двигалась фигура. Это был Маникс. Он остановился над Калвером и сел, не переставая бормотать.

— Сукины дети, ни за что не идут вместе. Все время нужно на них гавкать. Им придется всю дорогу бежать, чтобы догнать передних. Дай закурить.

Он тяжело дышал и стирал пот со лба тыльной стороной руки.

— Почему ты не оставишь их в покое? — сказал Калвер, давая ему сигарету.

Маникс закурил и, закашлявшись, выдохнул дым.

— Черт,— буркнул он, кашляя,— нельзя их оставить в покое. Не желают идти. Только и думают, как бы отвалиться в сторону, чтобы их грузовик подобрал. Пятнадцать нарядов их больше устраивают. Резервисты они, понимаешь? Им плевать, перед кем они опозорятся — передо мной, перед кем угодно...

Со вздохом он повалился на траву и прикрыл глаза руками.

— ...твою мать,— сказал он.

Калвер смотрел на него сверху вниз. Желтый свет фары косо упал на его подбородок. Угол рта у него нервно кривился, словно он сосал что-то кислое. Он лежал измученный, обессилевший, но видно было — даже сейчас, во время отдыха,— что он никогда не признается в этом. Он стиснул зубы. Казалось, его ярость и неистовство помогали ему, как Атланту, нести бремя его усталости.

— Господи,— пробормотал он вдруг,— целый день не могу забыть про этих ребят — как они лежали на опушке.

Калвер не шевелился — он тоже вспомнил. Потом он посмотрел на часы, и сердце у него упало: шесть минут из десяти прошли так быстро, как будто их и не было. Он сказал:

— Слушай, Эл, а почему они должны идти? Если бы тебя мурыжили, как этих рядовых, ты бы захотел идти, не плюнул бы на все? Перестань ты их подгонять. Скажи по-честному: тебе разве не все равно, дойдут они или нет? Сам ты — другое дело. Или я. Но остальные... Какого черта? — Он замолчал, подыскивая слова, потом слабо повторил: — Не все ли тебе равно?

Маникс приподнялся на локтях.

— Нет. Не все равно,— сказал он внятно.

Они оглянулись на полковника, стоявшего неподалеку. Полковник и майор, державший фонарь, склонились над картой, Маникс откашлялся, сплюнул. Овладев наконец голосом, он сказал:

— Видишь, сморчок стоит? Думает, что устроил нам баню. Пятьдесят восемь километров. В Штатах никто столько не проходил. **Никто.** Мы не проходили столько даже с Эдсоном в ту войну. А он себе имя хочет сделать — Темплтон, Каменный Старик. Инициатор самого большого марш-броска в истории морской пехоты...

— Но...— начал было Калвер.

— Он в восторге будет, если штабная рота окажется дерьмом,— продолжал он с жаром,— в восторге. Это польстит его самолюбию. Теперь я его наскозь вижу,— и, кисло усмехнувшись, он повысил голос: — Что, капитан Маникс, вчера у вас, кажется, не все шло гладко? Чуть побольше esprit * вашим людям не помешало бы, а? — Голос его понизился, но по-прежнему был полон яда.— Ну так... ему. Я приведу мою роту, даже если придется тащить их на горбу, слышишь?

Спорить с ним было бесполезно. Калвер молчал, дожидаясь, пока он даст излиться своей ненависти и желчи. И как только Маникс кончил и перевернулся на спину, снова раздался крик: «Стройся! Стройся!»

Они двинулись дальше. Теперь песок не мешал — три километра им предстояло пройти по шоссе до следующего поворота на проселок. Короткая передышка не принесла облегчения Калверу — ноги стали чужими, гудели, он шел сгорбившись, подавшись вперед, словно старый подагрик, и снова потел, снова, не пройдя и ста шагов, изнывал от жажды. Каким чудом, подумал он, взглянув на мирное звездное небо, каким чудом мы продержимся до утра, почти до полудня? Мимо пронесся длинный автомобиль — на Север, к городскому веселью, может быть, даже в Нью-Йорк; он пробежал легко, почти неслышно, красные хвостовые огни ужалили мрак, ночь сомкнулась за ним, и Калвер еще острее ощутил свою оторванность от нормальной человеческой жизни. Он шагал сейчас среди теней, пришельцев из иного мира, и люди в машине, укутанные дремой и тьмой, промчались и не увидели их, как не видят пассажиры на пароходе рыбьих боев, кипящих в черном безмолвии океанской пучины.

Они шли и шли. Полковник по-прежнему шагал впереди, но уже медленнее, и у Калвера мелькнула отчаянная надежда — а вдруг он устал? Мысли диким хороводом закружились в его мозгу: ведь рано или поздно Темплтон должен устать, выбиться из сил, вдруг он переоценил себя и через час или два остановит колонну и посадит людей на машины, словно строгий отец, который едва приступит к наказанию, как жалость или раскаяние удерживают его руку. Но Калвер знал, что это пустая надежда. Они неуклонно шли вперед — мимо темных сосновых рощ, полей, залитых густым ароматом ковыля и земляники, мимо заколоченных домов и ветхих брошенных лавчонок. Но скоро и эти следы цивилизации остались позади — и уже навсегда, потому что батальон опять свернул на песчаный проселок. Калвер снова обливался потом, но не он один — даже у полковника на чистых брюках выступил под поясом темный треугольник. Калвер слышал свое хриплое дыхание, прежний страх возвращался к нему: он ни за что не выдержит, сойдет на обочину. Это неминуемо, он слишком стар. Но тут в ночи загромыхал голос Маникса: «Эй, задние, подтянитесь, черт вас дери! Мы опять на песке! Шевелите ногами, подтягивайтесь! Подтягивайтесь, говорю! Лидбетер, у тебя что... слиплась? Сомкнуться! **Сомкнуться,** говорю!» Эти крики подстегнули и Калвера, но он услышал, как в ответ на них раздался слабый многоголосый стон, угрюмое ворчание. Ропот доносился лишь из роты Маникса, стон Калвера вторил ему, и Калвер сам не знал, что выражает этот стон — ярость, отчаяние или страх перед судьбой. Он плелся за полковником, словно овца на бойню за вожаком — тупая и покорная, слишком испуганная, чтобы негодовать или ненавидеть.

---

* Дух *(франц.)*.

К исходу второго часа — еще четырех с половиной километров — Калвер всхлипывал от изнеможения. Он повалился в траву, чувствуя, что одна нога уже стерта и горит, будто кожу срезало бритвой.

Маниксу было не лучше. На этот раз он подошел хромая. Он молча сел и снял ботинок. Калвер, жадно припав к фляге, следил за ним краем глаза. Оба они так запыхались, что не могли ни курить, ни разговаривать. Они лежали около какого-то русла — не то канала, не то ручья; шары купальницы призрачно светились среди косматого мха, тьма наливалась тяжелой вонью — но не от болотной гнили, как сообразил Калвер, а от ноги Маникса.

— Смотри,— вдруг буркнул Маникс и зажег фонарь.— Гвоздь прямо в пятке у меня сидит.

Калвер увидел на пятке маленькую кровоточащую ямку, воспаленную по краям и окруженную белым тестом — остатками содранного пластыря.

— Как я с ним дойду, не знаю,— сказал Маникс.

— Попробуй еще раз забить гвоздь.

— Я пробовал — все равно вылезает. Хоть на части разбирай этот чертов башмак.

— А если подложить тряпку, кусок от рубашки?

— Тоже пробовал — нога подворачивается. Это еще хуже, чем гвоздь.— Он помолчал.— Господи, твоя воля.

— Слушай-ка,— сказал Калвер,— отрежь кусок от ремня и подложи.

Они резали, примеряли, перебрасывались отрывистыми словами, и оба не заметили полковника, который подошел к ним в темноте и теперь стоял рядом.

— Что случилось, капитан? — спросил он.

Вздрогнув, оба подняли головы. Он спокойно стоял над ними, по обыкновению (а Калверу хотелось сказать «заученным жестом») засунув большие пальцы за пояс. Лицо его было багровым от напряжения, все еще мокрым от пота, но в общем казалось, он устал не больше, чем если бы пробежал несколько шагов к отходящему автобусу. В углах его рта пряталась легкая усмешка. И опять она была не самодовольной и не высокомерной, а скорее доброжелательной; опять его тонкие, нервные, почти прозрачные пальцы и лицо, багровое в резком свете фонаря, делали его похожим не на солдата, а на священника, в котором страсть и вера слились в чистейший сплав благих намерений; поднявшись над мелочной злобой и хитростью, он вел батальон к спасению, и в его улыбке и заботливых словах сквозило сдержанное сочувствие.

— У меня гвоздь в ботинке,— ответил Маникс.

Полковник присел и стал рассматривать ногу Маникса, бережно придерживая ее пальцами. Маникса так и передернуло от этого прикосновения.

— Плохо дело,— сказал полковник, помолчав,— вы показались санитару?

— Нет, сэр,— напряженно произнес Маникс.— Вряд ли он чем-нибудь поможет. Разве что достанет другие ботинки.

Полковник размышлял, потирая одной рукой подбородок, а другой все еще придерживая ногу капитана. Его взгляд искал чего-то в болотистой равнине, припорошенной серебряным светом восходящей луны. Вопили лягушки среди темных кипарисов, на прогалинах и совсем рядом у дороги и в стоячей воде канала, вдоль которого плясали, вспыхивая и угасая, огоньки — сигареты в невидимых пальцах невидимых, измученных людей.

— Так,— сказал наконец полковник,— так.— И умолк. Очередной этюд: нерешительность перед решением, раздумье.— Так,— позторил он и опять умолк. Раздумье. В этот миг и жажду, и усталость Калвера, и тупое отчаяние захлестнула волна ненависти; он почувствовал, что нет и не было на свете человека отвратительнее, чем полковник. Злоба его возросла еще больше, когда он понял, что ненавидит не самого Темплтона с его безвредным чванством и хитрым взглядом — не этого человечка, который тщится создать впечатление глубокой и тайной мудрости, а Полковника, морского пехотинца. Ненавидит не из-за себя и не из-за этого бессмысленно жестокого марша. Бывали испытания и похуже — сейчас по крайней мере они шли по мирной местности, не под пулями. За идиотский противоестественный жест ненавидел его Калвер: он, кого армия обкатала настолько, что ему не под силу было совершить самый простой человеческий поступок, оставаясь при этом естественным, он сидел на корточках и с почти непристойной нежностью гладил ногу Маникса. И верно, толстая была у него кожа, если он не понимал, что среди бессмысленного надругательства, которому он сам же был виной, этот жест, столь обнаженный в своей человечности, это прикосновение станет для Маникса злейшей пыткой. Потом он заговорил. Калвер знал, что он скажет. Ждал этих безобразных слов.

— Так,— сказал полковник,— пожалуй, вам лучше сесть на грузовик.

Если раньше была хоть малейшая надежда, что Маникс согласится сесть в машину,— теперь она исчезла. Маникс отдернул ногу, как будто ладонь полковника жгла или разъедала ее.

— Нет, сэр! — сказал он резко, слишком резко, уже не в силах скрыть враждебность.— Нет, сэр! Я не сойду в этой вшивой гонке.

Он яростно стал напяливать ботинок. Полковник поднялся на ноги, засунул большие пальцы за ремень и безразлично поглядел на него сверху.

— Думаю, что вам придется пожалеть об этом,— уронил он,— из-за вашей ноги.

Капитан встал и заковылял к своей роте, харкнув через плечо свинцовым плевком слов, от которых глаза у полковника чуть не выкатились из орбит. Он объявил войну.

— Кому интересно, что вы думаете,— сказал он.

4

Если полковник и помышлял о каре, то решил ее отложить, потому что в четверть пятого, когда зеленый свет зари полоснул по небу, Калвер опять услышал злой и хриплый голос Маникса, подгонявшего солдат. Он потерял Маникса из виду несколько часов назад. Что же до полковника, то разнесся слух, будто он уже не ведет колонну, а находится где-то в хвосте. В сумеречном сознании Калвера блеснула надежда: если полковник выдохся и сидит где-то в своем джипе, то у них по крайней мере будет то утешение, что командира они победили. Но он знал, что это — зыбкая надежда. Полковник вернется и опять будет вести их за собой. Этот ублюдок даст сто очков вперед таким, как он или как Маникс со всем его неистовством.

Колонна расстроилась и растянулась, но ходу не убавила. Калвер от усталости, жажды и боли в стертой ноге отставал все больше и больше. Временами ему удавалось сократить разрыв, один раз он даже догнал штабную роту, но ему уже все было безразлично. Он был один — наедине с ночью, болью, жаждой и изнеможением, гасившим всякий проблеск мысли.

Рядом проревел грузовик, нагруженный оцепенелыми бесчувственными телами. Проехал еще один и еще — так продолжалось всю ночь. А далеко впереди спустя долгое время после того, как проезжал грузовик, слышался крик Маникса:

— Кати отсюда! Мы идем на своих двоих!

Они брели сквозь ночь, остекленелыми глазами вперясь в землю — расхлестанная толпа людей, насквозь промокших от пота. После полуночи Калвер почувствовал, что ум его справляется лишь с самыми непосредственными впечатлениями, да и те, отрывочные и бессвязные, крутятся в дикой чехарде, словно фильм, смонтированный идиотом. Из памяти выпало все, кроме вчерашнего дня; ни о чем отдаленном он думать не мог, даже о доме. Конец марша представлялся ему несбыточной, бредовой мечтой, все душевные силы были обращены на одно: выдержать ближайший час, дожить до блаженства — десятиминутного отдыха и глотка теплой воды. Лишь одна картина преследовала его неотступно — кровавый кошмар, раскромсанные тела, трупы, где он видел их? Когда? Неделю, год назад, при свете какого допотопного солнца? Сколько он ни пытался отвлечь воображение какой-нибудь мирной сценой — домом, музыкой перед сном,— все заслоняло это видение: растерзанный подросток с дремотой в глазах, кровь, полдень, зной.

На следующем привале — шестом или седьмом, восьмом, Калвер давно потерял им счет — он увидел Маникса, который лежал позади своей роты, возле прицепленной к джипу водяной цистерны. Рядом валялся О'Лири, и дыхание со стоном и свистом вырывалось из его горла. Калвер, кряхтя, опустился между ними и тронул Маникса за руку. Малярийно-зеленый свет зари лежал на его лице, искаженном болью. Глаза его были закрыты.

— Как дела, Эл? — сказал Калвер, протягивая флягу к крану цистерны.

— Нормально,— выдохнул тот,— нога только, будь она неладна. А ты как? — Голос у него был вялый.

Калвер посмотрел на его ногу: ботинок был снят, и носок сочился темной кровью, как ламповый фитиль.

— Ох,— сказал Калвер,— садись в машину, Эл, ради Христа.

— Гвоздя уже нет. Увел наконец плоскогубцы у какого-то радиста. Потом догонял как полоумный.

— Все равно,— начал Калвер. Но Маникс его не слушал. У дороги отдыхали люди из его роты. Почти все валялись в траве неподвижно, как мертвые; лишь немногие сидели, тяжело опершись на ружья, курили и пили воду; тихое злое ворчание слышалось среди них. У тех, кто сидел поблизости, на лицах можно было прочесть муку и безмолвное негодование. Казалось, они ищут глазами капитана, виновника их бед. Это были лица рабов, похоронивших всякую надежду на избавление. В траве тяжелое дыхание Маникса мешалось с прерывистым храпом О'Лири, который уснул мертвым сном.

Снова начиналась жара. Никто не разговаривал. Внезапно рассвет наполнился грохотом, тела у дороги зашевелились, головы повернулись туда, откуда с ревом катилось на них облако пыли. Из пыли возникла грузовая машина. Громыхая, она проехала мимо и остановилась посреди роты.

— Кто тут готов? — раздался голос.— Могу взять еще десяток.

В роте началось движение: пятеро или шестеро, сидевших неподалеку, поднялись и, закинув за плечи ружья, заковыляли к грузовику. Калвер напряженно следил

за ними и слышал, как рядом возится Маникс, натягивая башмак. О'Лири проснулся и сел. Все трое смотрели на процессию, тянувшуюся к грузовику: колченогие люди, жалкие и беспомощные, словно скот, гонимый овчарками, ползли к маячившему в дымке экипажу — огромному, зеленому, чьи колеса сулили им свободу, сон, забвение. Маникс следил за ними отсутствующим воспаленным взглядом; казалось, он так отупел от усталости, что уже не в силах понять происходящего.

— Куда делся полковник? — рассеянно спросил он.

— Уехал на джипе часа два назад,— ответил О'Лири,— сказал вроде, что хочет проверить колонну на марше.

— Что? — спросил Маникс.

И опять казалось, что он ничего не понял: как будто и этот ответ и скорбное шествие солдат к грузовику не сразу отпечатались в его мозгу, а медленно просачивались сквозь толстый слой войлока.

Еще человек десять поднялись и захромали к машине. Маникс смотрел на них, моргая.

— Что? — повторил он.

— Проверить колонну, сэр,— повторил О'Лири.— Он так сказал.

— Сказал? — Маникс сердито повернулся к сержанту.— Кто же ведет колонну?

— Майор Лоуренс.

— Майор? — Маникс тяжело, неуклюже поднялся на ноги, боясь наступить на больную пятку — он балансировал на пальцах и с трудом удерживал равновесие. Он, моргая, вглядывался в смутные очертания грузовика, возле которого копошились солдаты и медленно карабкались в кузов.

Калвер смотрел на него снизу и думал, что он похож на большого загнанного медведя, разъяренного, окровавленного, побежденного не силой, а хитростью. Он кусал губы — может быть, от боли, но скорее от бессильной ярости, и, когда он заговорил, в голосе его слышалась скорбь, казалось, он вот-вот заплачет.

— Он смылся! **Смылся!**

Внезапно, как разбуженный лунатик, Маникс вернулся к жизни. Он ринулся вперед с диким ревом:

— Эй вы, слезайте к черту с машины!

Одним махом он выскочил на дорогу и уродливо запрыгал в пыли, вихляясь, волоча больную ногу, неистово размахивая руками. Казалось, он беспомощен, как инвалид, прикованный к коляске, его нелепые скачки выглядели бы смешно, не будь в них такой угрозы и страдания.

— Вон из машины, будьте вы прокляты. Вон из машины! Строиться! Строиться, говорю! — орал он.— Слезайте, живо! Слезайте к черту с машины, пока я не дал вам коленкой под...

Его крик вселил в них ужас: долгий испуганный стон повис в воздухе, как будто порожденный самим рассветом. В кузове началась суета, солдаты посыпались вниз, покидая грузовик, как крысы — тонущую баржу.

— Вали отсюда,— заорал он, выпучив глаза, тощему капралу-шоферу, и тот испуганно нырнул в кабину.— Убери свою колымагу!

Грузовик взревел, прыгнул, исчез в смерче пыли и синего дыма. Капитан, скособочась, стоял посреди дороги и махал руками, как ветряная мельница.

— А ну, строиться! Другие пусть смываются, но не вы — слышите? Вы слышите? Понятно или нет, черт возьми? Шии, гони людей на дорогу! Вам осталось пройти еще двадцать девять километров, и зарубите это себе на носу...

Калвер попробовал остановить его, но солдаты уже бежали.

Они были в отчаянии, на грани бунта, но страх перед Маниксом гнал их, и они бежали на запад, бежали панически, забыв о стертых до крови ногах и усталости. Вдогонку им лился свет нового душного дня. Шел и Калвер; рядом с ним сосредоточенно пыхтел О'Лири, сзади мерно топали остатки батальона. Пыль взвивалась впереди столбом, облачным, как в пустыне Египетской, тяжко сушила воздух. Она садилась на губы и потные лбы, покрывая их белой коркой, затвердевала как гипс, и, словно изморозь среди летнего зноя, обволакивала губительной бледностью пустые поля, деревья, кустарник. Солнце поднималось все выше, палило спины, и людям казалось, что за плечами у них не мешки, а печи, которые раскаляются все больше и больше по мере того, как солнце выползает из-за спасительной стены деревьев. Они уже не старались ступать полегче, не берегли разбитых ног, а топали по земле с тяжелым упорством потерявших управление роботов. У них, должно быть, как и у Калвера, давно пропало ощущение ходьбы, осталась лишь пульсирующая боль в ногах — боль от ссадин и волдырей, бунт измочаленных, досуха выжатых мускулов.

Однажды Калвера обогнал полковник на джипе. В клубах пыли мелькнуло его лицо — потное и усталое, вовсе не отдохнувшее, и Калвер подумал, что Маникс, может быть, напрасно ярился и обвинял его в дезертирстве. Пусть полковник и не вел колонну, кто его знает — он мог идти где-нибудь сзади,— и словно в ответ на эти мысли Калвер услышал измученный голос О'Лири:

— Очень уж взъелся на полковника наш капитан Маникс.— Голос умолк, слышалось только свистящее дыхание.— Не знаю, может, зря он... Старый полковник просто так не сел бы в машину. Он хоть и строг порой, но солдат своих не бросит.

Калвер не ответил. В душе он проклинал сержанта. Как можно быть таким болваном? Как можно, погибая в муках, найти лишь слова покорности и почтения, чуть ли не восторга перед изобретателем этой дикой казни? Только человек, намертво приросший к военной машине, мог не усомниться сейчас и сказать то, что сказал О'Лири,— и все же... И все же, бог его знает, устало подумал Калвер, вдруг он прав, а капитан, и сам я, и все остальные ничего не понимаем? Мысли его мешались. Поднятая джипом пыль подплыла и забилась в легкие. Зачем же Маникс закручивает гайки? Калверу захотелось подбежать к нему — каких бы усилий это ни стоило,— отвести его в сторону и сказать:

«Кончай, кончай, Эл, ты все равно проиграл». Ни буйство, ни гордость, ни терпение — ничто не поможет. Он лишь калечит себя в этом хлыстовском и бессмысленном бунте: кем бы ни был полковник — трусом и деспотом или твердым честным командиром, все равно он одержал верх, одолел и подмял Маникса. И Маникс сделал худшее, что он мог сделать, усугубив неизбежное (так казалось Калверу) несчастье своим ожесточением. «Оставь их хотя бы в покое — им и без того хватает!» Но мысли путались. Почки болели так, будто по ним били молотком, и Калвер шел, согнувшись, прижав к пояснице ладони — точь-в-точь, как расхаживает профессор на лекции, спрятав руки под фалдами сюртука.

Он впервые почувствовал, что стало невыносимо жарко, жара подогрезала вскипавшую в нем ярость. Ночью холод приносил облегчение, потели они от самой ходьбы, но сейчас утреннее солнце резало его тысячей бритв и физическая боль переросла в ощущение краха. Калвер вдруг понял, что движет им не его свободная воля, что он как человек не выдержал испытания, не смог сказать «к черту», не вышел из колонны; у него не хватило мужества отречься от гордости и терпения, сбросить свой крест и тем объявить о своем презрении к походу, к полковнику, ко всей проклятой морской пехоте. Нет, он не настолько был человеком и еще меньше — свободным человеком; он был всего-навсего морским пехотинцем, как Маникс и многие другие,— все они были морскими пехотинцами, всю свою жизнь, и навсегда останутся ими, и от отчаяния при этой мысли Калвер чуть не заплакал. И Маникс? Он содрогнулся. Да, в глубине души Маникс тоже был солдатом — настолько, что в любой миг мог превратиться в маньяка. Порча пошла с ног, на строевой, много лет назад, но она ползла все выше и незаметно добралась до мозга. Калвер всхлипывал от возмущения и обиды за себя. Солнце хлестало его по спине. Сознание его гасло в лихорадочном сумраке, ловя мелькающие, слепленные кое-как ребусы внешнего мира: голос Маникса далеко впереди, теперь хриплый и прерывающийся; долгие мгновения тишины, стоянки, безветрие над полями и наконец канава на привале, в которой он валялся и бредил ярмарочным шатром, где продавали лед из бочек — колотый, битый лед, пиленый кубиками и пластинами — лед всех форм и размеров. Его разбудил все тот же страшный крик: «Стройся, стройся!» И он снова шел. Солнце поднималось выше и выше. О'Лири упал со стоном и исчез позади. Проехали два грузовика, в которых лежали тела в зеленом, оцепенелые, как трупы. Фляга оторвалась от пояса — неизвестно, где и когда,— но Калвер с удивлением чувствовал, что больше не потеет и не хочет пить. Это опасно, вспомнил он из какой-то лекции, но в ту минуту молодой солдат, которого рвало у обочины, был для него гораздо важнее и интереснее. Он остановился, чтобы помочь, но передумал, пошел дальше — сквозь странный рой бледных, крохотных бабочек, похожих на обесцвеченные лепестки, медленно кружившиеся над пыльной дорогой. Потом радист Хоббс проехал на джипе с длинной антенной; он смеялся, дразнил солдат песней «Штаны мои тлеют от любви» и весело махал им толстой рукой. Над распаренным лесом взвилась алая танагра, кругами взлетела ввысь, спустилась и села на дальнем лугу; на какой-то страшный миг Калверу померещилось, что там бок о бок лежат восемь искромсанных трупов и по траве течет кровь. Но видение исчезло. Конечно, это было вчера, сообразил он. Вчера ли? Тогда он начал вспоминать имя Хоббса, вспоминал несколько минут, но не вспомнил; посмотрел на часы и, обнаружив без всякой радости и удивления, что скоро девять, стал методически заводить их; потом он поднял глаза и увидел на обочине огромную фигуру Маникса.

— Вставай,— говорил Маникс. Голос у него был сорван, из горла выходил только скрип, шепот.— Поднимай задницу. Вставай, говорю.

Калвер остановился. В траве лежал солдат — толстый и обросший трехдневной щетиной. На его разутой, задранной кверху ноге вздувался волдырь, большой и мертвенно-серый, как поганка; солдат бережно снял с него лоскут кожи, под которым открылось огромное пятно нежного, девственно-розового мяса. Голос у солдата был деревенский, терпеливый:

— Не могу я больше идти с таким огромным волдырем. Не могу, капитан,— и все тут.

— Можешь, будь ты проклят,— сипел Маникс.— Я пятнадцать километров шел с гвоздем в ноге. Я шел — и ты сможешь. Вставай, говорю. Ты — солдат...

— Капитан,— мирно отвечал тот.— Я же не виноват, что у вас гвоздь в сапоге. Я, может, и солдат и еще кто, но не дурак же я полоумный...

Капитан наступил на больную ногу и сделал быстрое неловкое движение, словно желая силой поднять солдата; Калвер схватил его за руку и исступленно закричал:

— Кончай, Эл! Кончай! Кончай! Хватит!

Он замолк, встретив тупой и бешеный взгляд Маникса.

— Хватит! — сказал он спокойно.— Хватит.— И совсем тихо.— Все, Эл, хватит. Хватит с них.

Конец был близок, Калвер знал это наверняка. Колонна опять остановилась, люди лежали на раскаленной обочине. Он посмотрел на капитана: тот помотал головой и вдруг провел дрожащими пальцами по глазам.

— Ладно, да... да...— пробормотал он бессвязно и горестно, и Калвер почувствовал, как по щекам у него потекли слезы. Он так устал, что только одно мог подумать: бедняга Эл Маникс. Проклятье.

— Хватит с них,— повторил он.

Маникс отдернул руку от лица.

— Ладно,— прохрипел он.— Господи. Ладно, слышу. Хватит с них, хватит с них. Ладно, я тебя слышу. Пусть садятся. Я прав... делал...— Он замолчал, отвернулся.— К черту все.

Маникс заковылял прочь. Полковник стоял неподалеку, засунув большие пальцы за пояс, и внимательно разглядывал капитана. Сердце у Калвера упало — камнем. Бедняга Эл, подумал он. Ты просто не мог победить. Старый, добрый, израненный медведище.

■

Если поражение и надломило его, он все же сохранил в себе ту искру жизни, которая позволит ему выстоять до конца,— ярость. Она его поддержит. Так человек, которого гонят сквозь строй, проклинает и бесит своих палачей и падает лишь в конце шпалеры. Да, Калвер должен был понять это с самого начала — ярость его неодолима; костер, издавна тлевший в его душе, вспыхнул сегодня ночью. Огонь вышел из повиновения несколько часов назад, когда Маникс впервые бросил вызов полковнику, и теперь стало ясно, что в этом огне сгорят они оба. По крайней мере один из них.

Калвер лежал ничком в траве и сквозь стук крови в висках услышал ледяной голос полковника:

— Капитан Маникс, будьте добры, подойдите сюда на минутку.

Калвер лежал ближе всех к нему. Оставалось пройти еще десять километров. Привал был продлен до пятнадцати минут, потому что последние километры им предстояло пройти без остановки. Полковник отдал это распоряжение при Калвере.

— Еще один привал,— сказал он с кривой усмешкой,— и их никакими силами не поднимешь с земли.

Калвер застонал — очередная выходка садиста,— но потом устало подумал, что полковник, скорей всего, прав. Наверно. Может быть. Кто знает? Он слишком устал, ему было все равно. С перекошенным лицом, зажмурив глаза от боли, к ним приближался Маникс. Он двигался довольно быстро, но невыносимо было наблюдать за его чудовищным ковылянием — за жуткими рывками, судорогами тела, тщетно пытавшегося подавить или хотя бы оградить, не затронуть огромные очаги боли. Позади него на краю дороги рядами лежали почти все его солдаты и ждали грузовиков. Они поняли, что Маникс смирился,— и рухнули. Десять минут он равнодушно собирал тех, кто еще соглашался идти; их набралось меньше трети роты: твердокаменных служак, спортсменов и просто таких же, как Маникс — готовых идти из одной лишь гордости и упрямства. Из ярости. Это была жалкая колонна, потрепанная и грязная: цепочка зеленых лиц, провалившихся остекленелых глаз, ртов, разинутых в изнеможении; позади стояли остатки батальона — не больше двухсот человек. Маникс дотащился до полковника и встал — одна нога на носке, руки на бедрах.

Полковник посмотрел на него пристально и бесстрастно. Маникс был уже не просто усомнившимся, а еретиком, и его ждало наказание. И все же в голосе Темплтона звучала почти родительская снисходительность, когда он медленно и очень тихо, так, чтобы не слышали остальные, сказал капитану:

— Капитан Маникс, я приказываю, чтобы вы сели на грузовик.

— Нет, сэр,— прохрипел Маникс.— Я кончу марш на ногах.

Вид у полковника был измученный, под глазами набухли серые мешки. Казалось, у него нет уже сил, чтобы изобразить обычную свою улыбку; напряженная, сгорбленная поза, согнутые колени безошибочно выдавали человека со стертыми ногами, и Калвер, испытывая глубокое отчаяние, вынужден был признать, что полковник все же шел вместе с ними — где-то сзади, в хвосте, по причинам, лишь ему одному известным, но шел — и только Маникс в своей слепоте мог не понять это.

— Черт,— услышал Калвер свой шепот,— если бы только он не шел с нами.

И затем спокойный голос полковника:

— Нет, вы не дойдете с такой ногой.

Калвер посмотрел вниз. Шиколотка капитана вздулась над башмаком рыхлой молочно-пурпурной опухолью, он не смог бы наступить на землю пяткой, даже если бы захотел.

— Вы не дойдете с такой ногой,— повторил полковник.

Маникс тяжело дышал, словно собирая силы для новой схватки. Он и полковник смотрели в глаза друг другу — два темных профиля, выбитых на бастионе сосен и утреннего голубого неба.

— Слушайте, полковник,— проскрежетал он,— вы сами затеяли этот проклятый марш, и я буду идти, даже если у меня ни одного солдата не останется. Вы можете смыться на полдороге...

Калвер хотел остановить его — как угодно, любым способом — не потому, что Маникс навлекал на себя беду, а потому, что вся его война не имела смысла. Неужели он не видит, что полковнику она безразлична? Что для него марш не имеет ничего общего ни с мужеством, ни с жертвенностью, ни с гордостью, для него это просто задание, которое надо выполнить, и он кто угодно, но не трус, он шел всю дорогу — или большую часть, любому дураку это ясно; он так же далек от соперничества, примитивной войны, которую пытается навязать ему Маникс, как самая далекая, самая холодная звезда. Все это ему безразлично. Калвер напрягся в тяжелом, болезненном усилии, желая подняться, встать между ними, но Маникс продолжал атаку:

— Вы гоните солдат. Хорошо. Прекрасно. Но почему вы сами смызаетесь?..

— Постойте, капитан,— зловеще начал полковник.— К вашему сведению...

— Иди ты на... со своими сведениями,— сказал Маникс хриплым придушенным голосом. Он чуть не рыдал.— Ты думаешь...

Но он не успел кончить, потому что полковник сделал странное, неуловимое движение; это был жест почти по-актерски выверенный, как будто взятый из старого ковбойского фильма: его ладонь скользнула к рукоятке пистолета и настороженно замерла там, а холодный, угрожающий взгляд остановился на капитане. И в этом жесте была такая сила, что перед ней спасовал даже Маникс. Лицо его побелело, как будто до него только сейчас дошел смысл слов, сказанных им так опрометчизо; он стоял немой и угрюмый и, мигая, смотрел на блестящую перламутровую рукоятку пистолета.

А полковник продолжал:

— К вашему сведению, капитан, не вы один проделали этот марш. Но мне **не интересны** ваши умозаключения, слышите? Извольте взять себя в руки. Ступайте на свое место. По приходе я запрещаю вам покидать расположение батальона, понятно? Я предам вас военному трибуналу. Понятно? Вас будут судить за тяжелое нарушение воинской дисциплины. Я добьюсь вашей отправки в Корею. **Потрудитесь молчать!** Отправляйтесь в свою роту.— Он трясся от гнева, его серые глаза горели благочестивым мщением.— Ступайте в свою роту,— прошептал он.— Ступайте в свою роту!

Затем он повернулся к Маниксу спиной и крикнул майору:

— Пора, Билли, давайте строиться!

Итак, все было кончено — кроме марша. Последние десять километров тянулись до полудня. Маникс брел, припадая на больную ногу, и оттого, что он не мог наступить на пятку, все его тело содрогалось тяжко и непроизвольно, словно в пляске святого Витта. Лицо его свела судорога; когда Калвер мог отвлечься от своей боли настолько, чтобы взглянуть на это лицо, он видел выражение глубокой, почти молитвенной сосредоточенности — обращенные к небу глаза, лихорадочно дрожащие губы,— агонию, которую посторонний счел бы, наверно, религиозным экстазом. Искаженное лицо его так же мало походило на человеческое, как страдальческая раскрашенная маска клоуна; его уродливая поступь, плечи, ходившие ходуном, разболтанные руки выглядели гнусной пародией на калеку. Полковник и майор давно скрылись из виду, и Калвер с Маниксом шли в одиночестве. Когда впереди показалась база, Калвер был уверен, что они не дойдут. Они доковыляли до лагеря. По голым — ни кустика — улицам шли обедать опрятные, подтянутые солдаты, они провожали взглядом растерзанное чудовище — капитана, который, видимо, лишился рассудка и брел, вознося к небу дикие, безмолвные молитвы. Маникс вдруг остановился и схватил Калвера за руку.

— Что за черт,— прошептал он,— мы дошли.

5

Калвер долго не мог заснуть. Казалось, он уже много часов лежит голый в кровати, но забытье все не приходило; перед закрытыми глазами плыли бесконечные дороги, лесные чащи, луга, палатки, беспорядочно мешались дневной свет и ночь, и с мучительной неотвязностью вновь и вновь вставала одна картина: мертвые мальчики под полуденным солнцем. Как он ни старался, сон все не шел. Тогда он сполз с постели, встал и подтащился к окну,— на это ему понадобилась целая минута, и, словно фантомная боль после ампутации, Калвера не покидало ощущение, будто ноги его еще идут, еще топчут пыль бесконечных проселков. Он опустился в кресло и закурил. Внизу миниатюрой безоблачного неба синел бассейн, на поверхности его плясали

зайчики, блестящие и круглые, как серебряные монеты. Красотки в купальных костюмах, офицерские жены, стайками плескались в воде или лакомились на лужайке мороженым с фруктами, оглашая воздух благовоспитанным смехом. Было жарко и тихо. За сосновыми лесами над далеким покоем городов вспухали дымчатые зловещие очертания грозы.

Калвер уронил голову на руки. Да, они свое получили, эти восемь ребят, подумал Калвер,— уж это точно. Глухие ко всему, объятые вечным сном... Ничто им неведомо. Они и не успели ничего изведать — даже жалости и сострадания, и кто знает, может, в этом их счастье? Теплый ветерок налетел с реки, принеся с собой аромат нагретой сосны и болота, деревья пошептались и замерли, а Калвер вдруг ощутил лютую сосущую пустоту в груди — голод, тоску о чем-то, чему он не знал названия. Он почувствовал с небывалой остротой, что всю свою жизнь искал чего-то ускользающего, невыразимо прекрасного, как радостный танец девочек на далекой лужайке или тот единственный музыкальный такт, который жил на окраине памяти; чего он искал — безмятежности? мира? — он не мог передать словами, он знал только, что это всегда оставалось недостижимым. И голод зрел, распускался в нем, и казалось, что не было минуты в его жизни, когда бы он не маршировал в строю, не давился от одиночества и страха.

Ну что ж, думал он, все они получили свое и каждый по-своему. Полковник получил свой марш и свою победу, и Калвер никак не мог понять, почему он не вызывает ненависти. Может быть, потому, что полковник был из другой породы людей, настолько чуждой Калверу, что он вообще казался не человеком, а набором понятий и поступков, не поддающихся объяснению, и ненавидеть его было так же бессмысленно, как ненавидеть людоеда за то, что он людоед. Как бы то ни было, свое он получил. А что до Маникса — ну он-то уж наверняка получил свое, в этом не было сомнения. Старик Эл, с нежностью подумал Калвер. Где он сейчас, несокрушимый и обездоленный странник, заблудившийся в ночи цивилизованного века, в дебрях нескончаемых войн?

Голод его утих, умер. Он поднял голову и посмотрел в окно. На фоне неба бесстыдным распятьем мелькнуло тело ныряльщика и с тяжелым всплеском упало в воду бассейна. Облако закрыло солнце, и тень его омрачила лужайку. Голоса женщин стали тише и мягче, слились. Далеко за деревьями на горизонте рос шторм, гремели черные тучи. Позже на закате они ринутся к земле, заклубятся над гаснущими просторами вод, набегут на берег, затопят тьмою дикую зелень кипарисов, сосен, пальм, а женщины, что щебечут и играют здесь, беспечные, в легкомысленных своих костюмах, поднимут к небу вдруг потемневшие глаза и с пронзительным криком помчатся домой, словно пестрые клочки бумаги в порыве ветра, и молодые их голоса утонут во мраке и гуле бури. Одно несомненно, думал Калвер, гроза их не минует. По всему побережью зажгутся штормовые сигналы.

Он вдруг почувствовал палящую, нестерпимую жажду. Он встал, натянул халат и поплелся по коридору к бачку с водой. За углом он увидел голого Маникса, который ковылял по холлу, придерживая на бедрах полотенце. Волосатый, огромный, он медленно, сантиметр за сантиметром, двигался к ванной, цепляясь за стену, и лицо его — стиснутые, сползшие к подбородку губы, зажмуренные глаза — выражало чудовищную, нечеловеческую муку. Лиловая опухоль на его щиколотке была величиной с грейпфрут, и нога волочилась мертвым бесполезным грузом.

Калвер направился было к нему, чтобы помочь, и уже окликнул его, но тут негритянка уборщица, которая шла навстречу, размахивая шваброй, тоже увидела Маникса, застыла и оборвала свою песенку.

— Ах ты боже мой! Бедненький, как же это тебя угораздило? Больно? — сказала она.

Калвер остановился.

— Больно? — повторила она.— Наверно, больно. Еще как!

Маникс смотрел на нее, мигал и молчал. Калвер запомнит эту сцену: двое, разделенные пропастью в несколько шагов, смотрели друг на друга через эту пропасть, и она вдруг исчезла, преодоленная безмолвным, невысказанным состраданием, и черная женщина в очках и яркой косынке повторила: «Еще как». В тот же миг, даже раньше, полотенце медленно сползло с бедер Маникса и с мягким шлепком упало на пол; Маникс стоял, пьяно покачиваясь, цепляясь за стену, исполосованный шрамами, нагой, как в тот день, когда он был исторгнут материнской утробой, и кусок мыла выскальзывал из его слабеющих пальцев. У него не было сил нагнуться и поднять полотенце; он просто стоял, огромный и голый, в косом предвечернем свете, моргал и улыбался женщине угрюмой виноватой улыбкой, и в словах его Калвер слышал не жалобу, а откровенность человека, который выдержал, вынес все, слишком устал и ничего уже не мог сказать, кроме правды.

— Еще как,— сказал он.

ДЖОН ОСБОРН

НЕПОДСУДНОЕ ДЕЛО

ПЬЕСА В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

Перевод с английского С. МАЙЗЕЛЬС

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

БИЛЛ МЕЙТЛЕНД.
ХАДСОН.
ДЖОНС.
ШЕРЛИ.
ДЖОЙ.
МИССИС ГАРНСИ.
ДЖЕЙН МЕЙТЛЕНД.
ЛИЗ.

Действие первое

Биллу Мейтленду снится сон. Настроение полной беспомощности, тоски, внутренней раздвоенности. Место действия — пустая, словно вымершая, контора стряпчего. Письменный стол, папки с делами, бумаги, пыль, книги, кожаные кресла, большая вешалка в викторианском стиле; в глубине — приемная, где сидят клерки, секретари, телефонистка. На авансцене на скамье подсудимых сам Билл Мейтленд. На заднем плане высоко над приемной королевский герб. Впереди — зеленые судейские скамьи, на одной из которых восседает судья Ее Величества. В центре секретарь суда читает обвинительное заключение. Сначала немая сцена; потом актеры постепенно начинают подавать признаки жизни, нарушая оцепенение сна.

Секретарь. Уильям Генри Мейтленд, вы обвиняетесь в том, что противозаконно и злонамеренно издали и предали гласности, вызвали к жизни и предали... гласности нечто злонамеренное, непристойное и скандальное. Имея целью...

Билл. Нечто?

Секретарь. Нечто. Имея целью осквернить и развратить нравы верноподданных Ее Величества, пробудить и разжечь в них похоть и ввергнуть означенных подданных в пучину... порока, скверны и разнузданности. Признаете ли вы себя виновным?

Билл. Нет, не признаю.

Молчание.

Секретарь. Положите правую руку на Библию и повторяйте за мной: «Клянусь всемогущим богом...»

Билл. Клянусь... Ваша честь, я хотел бы заявить...

Судья. Пожалуйста.

Секретарь. Вы заявляете под присягой?

Б и л л. Заявляю под присягой. *(Молчание. Затем он начинает говорить быстро, хриплым голосом. Изредка откашливается.)* Заявляю под присягой. Клянусь своей... Честью? Своей верой. Верую в... в... техническую революцию, в насущную, неуклонную, насущную, острую потребность в том, чтобы было все больше и больше ученых и еще больше ученых и... больше... школ и университетов, университетов и... школ, в необходимость перемен и здравых решений на основе... на основе глубокого научного познания общества, принятых людьми, которые действительно знают свое дело, и верую в то, что нам давно уже пора научиться приспосабливаться к различным условиям, и в необходимость ускорить близкие перемены, перемены, близкие... *(Что-то бормочет. Судья ободряет его взглядом, и он продолжает.)* Верую в девяносто семь, девяносто семь процентов всех ученых, когда-либо живших на земле со времен Эвклида, Пифагора и Архимеда. В тех, кто... кто живет и работает сегодня, сегодня, сейчас, сию минуту, в условиях неминуемой автоматизации и все возрастающей потребности, потребности, да, потребности — о господи! — в укреплении современной семьи, в тех, кто заново придумывает, переживает, внедряет автомобиль, сорок миллионов на девятнадцать, верую в прозорливую, всевидящую, прогрессивную, автоматизированную электронно-вычислительную машину. Которая обладает, д-да, обладает памятью и умом, далеко превосходящими возможности бедняги человека... Любого человека или человеческого коллектива, когда-либо существовавшего на земле.

Молчание.

С у д ь я. Я вас слушаю.

Б и л л. Верую в факты, в железные факты прежде всего. Анна — моя жена, Хадсон — мой старший клерк, Джой — телефонистка, уровень жизни растет, я, кажется, потерял рецепт, Джейн, отец, слава богу, слишком стар, чтобы быть здесь, наша национальная наука, исследовательский центр, доклад Тейлора, доклад Нейлора, доклад о крахе, доклад о прахе, проект бюджета на пятьдесят тысяч миллионов, миллионы на все это, реальная опасность добрачных связей с высоты полной деградации наших снижающихся идеалов...

С у д ь я. Идеалов?

Б и л л. Идеалов? Да, я полагаю, что так, ваша честь. Именно это я и хотел сказать. *(Продолжает.)* Необходим реалистический подход к важнейшим, главнейшим, кардинальнейшим проблемам, к социальным переменам, к основным назревшим проблемам.

С у д ь я. По-моему, это очевидно.

Б и л л. Я бы хотел, чтобы это стало еще очевиднее.

С у д ь я. Превосходно.

Молчание.

С е к р е т а р ь. Милорд, я должен был защищать обвиняемого. Однако после долгих переговоров со мной и моими учеными коллегами он выразил желание вести свое дело самолично.

С у д ь я. Понятно. А вы пытались убедить его отказаться от этого решения?

С е к р е т а р ь. Да, ваша честь. Но он непреклонен. Мистер Мейтленд, вы полностью отдаете себе отчет в последствиях вашего решения?

Б и л л. Да.

С у д ь я. Мой долг предупредить вас о трудностях, которые могут возникнуть в связи с отказом от услуг квалифицированного адвоката...

Б и л л. Это мне известно. Я сам хотел бы, да никак не могу.

С у д ь я. ...и предостеречь вас от бесповоротного решения, которое почти наверняка...

Б и л л. Я никогда не умел принимать решений.

С у д ь я. ...приведет к тяжким затруднениям, учитывая сложности, с которыми мы здесь столкнулись. Хотя, разумеется, вы, как практикующий стряпчий, имеете определенный опыт и имя и, без сомнения, лучше, чем кто-либо другой, подготовлены для ведения собственного дела.

Билл улыбается.

Я спрашиваю последний раз: вы настаиваете на этом решении?

Б и л л *(глядя на секретаря)*. Да, ваша честь.

С у д ь я. Превосходно.

Молчание.

Дальше.

Б и л л. Простите, что вы сказали?

С у д ь я. Продолжайте, мистер Мейтленд.

Б и л л. Я, ваша честь?

С у д ь я. Да, вы, мистер Мейтленд.

Б и л л. А что же они?

С у д ь я. Но разве вы не сами ведете свое дело?

Б и л л. Да, но они? Они-то как же?

С у д ь я. Мистер Джонс, я полагаю, будет поддерживать обвинение.

С е к р е т а р ь. Совершенно верно, ваша честь.

С у д ь я. Итак, давайте дальше.

Б и л л. Но ведь он должен был защищать меня.

С у д ь я. Мистер Мейтленд, мы ведь, кажется, только что выяснили, что вы отказались от услуг мистера Джонса?

Б и л л. Да.

С у д ь я. И предпочли вести свою защиту сами.

Б и л л. Ну и что же, предпочел. Но тогда это должен быть не я.

С у д ь я. Не вы?

Б и л л. Нет.

С у д ь я. Как же не вы?

Б и л л. Пусть так. Но почему же он не начинает?

С у д ь я. Не начинает?

Б и л л. Ну да.

Молчание.

С у д ь я. Да ведь вы уже начали.

Билл раздумывает.

Б и л л. Но... я, кажется, допустил какую-то ошибку... Вы не согласны со мной? По-моему, начинать должен он. Такова процедура.

Молчание.

С у д ь я. Это верно. Но... вместо него это сделали вы.

Б и л л. Ну, а как насчет...

С у д ь я. Таково мое решение. Возможно, оно будет пересмотрено или изменено, но в другое время и в другом месте.

Б и л л. А как же насчет последнего слова?

С у д ь я. Предлагаю вам начать.

Б и л л. Но я не должен выступать первым.

С у д ь я. Возможно, но вы уже начали, и решение принято.

Б и л л *(растерян, пробует собраться с мыслями)*. Я обязан. Взять. Последнее слово.

С у д ь я. Это, без сомнения, станет ясным по ходу дела.

Б и л л. Какого дела? Я ведь здесь, чего же еще надо?

С у д ь я. При вашем образовании и опыте вы должны знать, что в подобных случаях закон весьма гибок.

Б и л л. Как вам будет угодно, ваша честь. Вы же сами сказали, что в общем это все равно.

С у д ь я. Безусловно.

Б и л л. Прежде чем...

С у д ь я. Ну?

Б и л л. Могу я попросить стакан воды?

Судья делает знак Секретарю, тот наливает воду. Билл внимательно вглядывается в его лицо

Ваша честь, который здесь мистер Джонс?

С у д ь я *(с некоторым раздражением указывает на Секретаря)*. Вот он.

Секретарь подает Биллу стакан воды.

Б и л л. Ради бога, простите. У меня голова болит. Может, потому я и попал сюда. Перепил вчера вечером. Вот и все. Я вовсе не хочу сказать, что выпил намного больше, чем обычно. Чем каждый вечер. Ладно, положим, пью я крепко. Что значит крепко? В общем, как говорится, горький пьяница. Это значит — раз начал, так уж всерьез... раз начал. Да что там — начал! Я всегда пьян. Могу выпить целую бутылку виски. Плохо для сердца, скажете? Тяжко ему приходится, покуда выкачает из меня весь угар, и слабость проклятую, и все такое. Но я еще молодец. Пока. Иначе я б не мог пить, а раз я могу... Прошу прощения, никак не найду свои пилюли. Всегда ношу при себе штуки три-четыре в кармашке. Вот досада!

Молчание.

Если бы вы меня знали, если б знали, так знали бы, что я не выхожу без них. Из дому. Вот досада. Простите. У меня гланды, или как их там, вот эти комки в глотке, кажется, сейчас разорвут мне шею. Вот здесь. Так и лезут наружу. Как расколотые мраморные шарики, прямо кляп. И края отбитые. Видно, забыл в кармане пальто. Может быть, вы позволите констеблю принести мне пальто или пошарить в левом кармане? Или во внутреннем? Это ведь минутное дело. Пустяк. Вот ведь как сверлит в голове. У самых глаз. А тут еще эти осколки в глотке.

Молчание.

Я понимаю, все это никому не интересно, но ведь дело в том, что я справлялся бы куда лучше... куда лучше и сумел бы оправдаться... сумел бы оправдаться. Да, похоже, их и в пальто нет, этих пилюль. Или таблеток, или как их там... не все ли равно. Только мне очень нужно хотя бы штучки три. Больше ничего не помогает. Ну, а если держать голову прямо, не вертеть ею и говорить помедленней, тогда, в надежде на ваше терпение и снисходительность, ваша честь, я мог бы начать. Уж как-нибудь.

С у д ь я. Вы полагаете, что можете продолжать?

Б и л л. Мне кажется, ничего другого не остается. Так что я постараюсь, ваша честь. Вы, ради бога, не подумайте, что из-за такой мелочи... и... я пришел сюда неподготовленным. Я давно этого ждал и потому старался подготовиться как можно лучше.

С у д ь я. Я слушаю.

Б и л л. При... С... позволения вашей чести, я... попробую как-нибудь.

С у д ь я. Пожалуйста.

Б и л л. Посмотрим, что получится. По ходу дела. Только вот хорошо бы открыть глаза. Разлепить веки. Они точно створки устрицы. Но это уж моя забота. Сейчас я что-нибудь придумаю. *(Прижимает пальцы к глазам.)* Я Уильям Генри Мейтленд. Мне тридцать девять лет, я стряпчий и поверенный, адрес моей конторы: Флит Чэмберс, 34, Северо-Восток — три. Служу закону — если можно назвать

практику стряпчего служением закону — без малого двадцать пять лет. В сущности, начал в этой самой конторе и в этом самом суде, когда мне и пятнадцати не было. А может, и раньше. *(Указывает на судейскую скамью.)* Вот место моего прежнего хозяина. Он потом передал мне свою контору. Мой старший клерк, старина Хадсон, уже тогда работал здесь. Не то чтобы он был намного старше меня. Просто всегда выглядел солиднее. А теперь он работает у меня. Сам толком не знаю, почему я стал юристом. По-моему, особых причин и не было. Во всяком случае, сейчас не могу объяснить и тогда — тоже. Может, надеялся, что доберусь до судейского кресла. Или стану квалифицированным адвокатом. Как мистер Джонс. Нет, я ведь никогда всерьез не считал себя настолько уж талантливым и достойным, чтобы стать на равную ногу хоть с кем-нибудь из этих людей, у которых лица такие румяные, потому что они занимаются спортом, а голоса звонкие, и речи они произносят так непринужденно, и у них уютные кабинеты, портные, рестораны и колледжи Оксфорда, и в оперу они ездят и бог знает куда, одним словом, четыреста семей, как мне тогда казалось. Теперь уж не помню. Я всегда был не слишком способным.

Судья. Всегда что?

Билл. Способным. Не слишком способным, ваша честь. Ведь с самого начала пределом моих возможностей была только безнадежная серость. Даже в пятнадцать лет, когда я только вступил на это поприще. Хотя нет, еще раньше. Раньше. Вы подумайте. Мне лишь случайно, хотя и довольно часто, приходило в голову такое простое, несложное, да, именно простое объяснение. Я знал: для того, чтобы стать мелким стряпчим — не то что уж клерком высшего класса, управлять делами крупной, солидной фирмы,— надо попотеть, сдать экзамены для вступления в ...эту самую, как ее ...Ассоциацию адвокатов; и все это между делом, в беготне: то копию завещания найди, то купчую, то сбегай за чаем и за сигаретами для других клерков или в аптеку для телефонистки.

Судья. Для телефонистки.

Билл. Все они одинаковые, ваша честь. Мою зовут Джой. Ту, что работает у меня теперь. А тогдашнюю звали Джилл.

Судья. Что с вами?

Билл. Я, кажется, потерял нить, ваша честь. А что делает здесь моя жена? Впрочем, разве без нее обойдется? Хотя нет, это — Шейла, моя бывшая жена. А я понятия не имел, где она теперь. Как же она узнала? Уж они-то всегда пронюхают, когда что случается. Всегда пронюхают. Наверно, и мой старик тоже здесь, но что-то я его не вижу. Хорошо бы его здесь не было. Ему это тяжело. Но я, видно, все-таки потерял нить, ваша честь.

Судья *(мягко)*. Вы говорили о своей серости.

Билл. Да, да. Ну, не стану слишком долго на этом останавливаться, чтобы не увести вас в сторону. Я хотел только обратить ваше внимание.

Судья. Времени у вас достаточно, мистер Мейтленд.

Билл. Мне, правда, многое легко давалось. Но и только. Острый ум, как говорится, но неглубокий, все как бы вспышками — меня точно осеняло, хотя вы-то, наверно, скажете даже — не острый, а бойкий. Все говорили, что моего бойкого ума хватает на покупку сигарет да еще на то, чтобы удерживать в голове кое-какие сведения, например, когда надо сдать экзамен. Острый ум — штука полезная, я это не о себе, но просто такое качество очень помогает в нашей профессии, ваша честь, вы ведь сами знаете, нашему брату торопиться некуда, и только несчастный, измученный клиент жаждет поскорей

узнать, получит ли он вожделенный дом, новый кредит или развод и что ему присудят — штраф или полтора года тюрьмы. Впрочем... впрочем, ваша честь! У меня мало что удерживается в памяти. Очень мало, по правде сказать, почти ничего. И это меня тревожит. Потому что я просто не представляю себе, как дальше работать: сейчас я справляюсь, но ведь наверняка все пойдет хуже и хуже. Даже с работой хуже, а ведь это лишь одна, и отнюдь не главная, из причин, которые привели меня сюда, на скамью подсудимых. Ведь и клиенты, и коллеги мои считают или по крайней мере считали раньше, что у меня прямо талант придумывать внезапные смелые ходы и решения. И так оно и было до поры до времени. Но я-то всегда знал, что характер у меня очень нерешительный. Вы это сами видите, ваша честь. Мне скоро сорок, а я за всю жизнь ни разу не принял решения, о котором бы не пожалел: то оно оказывалось слишком простым или половинчатым, то поспешным и недостаточно твердым или же нелепым в угоду какому-нибудь дураку, а то, бывает, и вовсе ничего не решишь. Судите сами. А если спросить, как же я все-таки попал сюда, то должен признаться, что... должен признаться в том, что я всегда жил за счет других. Да иначе и быть не могло, и в душе я всегда сознавал, что только этим и существую — так уж какие тут смелые решения или острый ум и вся прочая чепуха, которую мне приписывали... Да я сроду не умел даже отличить друга от врага, хотя изо всех сил старался, как мне казалось, научиться разбираться в людях. Понять разницу. Так я и не понял, а разница-то ведь есть, и по мере того как я становился старше и пробивал себе путь вверх... вверх, к моему нынешнему положению... все труднее было в чем-нибудь разобраться, просто невозможно. Немыслимо, я бы сказал. И кроме того... кроме того, я всю жизнь боялся разоблачения.

Судья. Разоблачения?

Билл. Да.

Судья. Какого же именно?

Билл. Простите, ваша честь. Я и сам не знаю. Я всегда был уверен, что кончу именно так, и столько раз представлял себе, как все это будет — и вас на судейском месте, и суд в полном составе. Вон там, там. И там... Все, все, вплоть до камеры. В тюрьму, сдать часы и деньги, раздеться догола, ванна, осмотр... Раздеться догола на холоде... И вот уже дверь запирают за тобой. Можно, я сяду? Мне нехорошо. А ведь я мечтал только об одном: чтобы изведать счастье дружбы и радостное волнение любви, особенно женской любви. И добивался этого, как мог. Но в дружбе мне совсем не повезло. Совершенно. Нет. Нисколько. А в любви — тут я, можно сказать, преуспел, но лишь в том, что причинил больше горя, чем радости. Я не создан ни для того, ни для другого. А ведь я не могу обойтись без этого, не могу выкинуть из головы. И начать все сначала тоже не могу. Понимаете?

Он тихонько стонет. На сцене темнеет. Освещен только Билл. Судья и секретарь неторопливо снимают парики и мантии, входят в контору и вешают одежду на вешалку в глубине сцены. Судья, который оказывается Хадсоном, старшим клерком, разговаривает с клерком по фамилии Джонс. Билл остается неподвижен. Изображая его мучительное возвращение к сознанию, актеру не следует быть слишком натуралистичным: Билл часто дышит, усилием воли пытается сбросить тяжесть, которая его давит, сердце его трепещет, как рыба, выброшенная на сушу. Наконец воля берет верх. Сон, сковавший его бессилием, на время отступает, но не совсем. Свет, направленный на Билла, слабеет, он медленно выходит из освещенного круга. Потом проходит через приемную в контору.

Хадсон *(Джонсу)*. Ну и вид у тебя.

Джонс. Да...
Хадсон. В чем же дело? Поздно заснул?
Джонс. Да нет, не особенно.
Хадсон. Как твоя девушка?
Джонс. О'кей.
Хадсон. Не раздумал жениться?
Джонс. Как будто нет. Но сперва надо сдать выпускные экзамены. Я и вижу-то ее только по воскресеньям.

Шерли, секретарша, приносит почту и передает ее Хадсону.

Шерли. Это все вам.
Хадсон. Спасибо, Шерли. Как дела?
Шерли. Благодарю вас, жду пятницы.
Джонс. Мне есть что-нибудь?
Шерли. А вам лень самому взглянуть? *(Выходит.)*
Хадсон. Что это с ней?
Джонс. Не знаю. Говорит, собирает вещички.
Хадсон. Как, опять?
Джонс. По-моему, на этот раз всерьез.

В приемную торопливо входит Билл.

Билл. Доброе утро!
Джонс. Видно, придется самому разобрать почту.
Билл *(входя)*. Простите, я, кажется, опоздал.
Хадсон. Ты хозяин.
Билл. Никак не мог поймать такси. Впервые в жизни со мной такое. У всех горит этот чертов глазок, и все идут в парк. Просто не знаю, чем только они занимаются!

Проходит к своему столу. Ухо у него залеплено пластырем.

Хадсон. Порезался?
Билл. Да.
Хадсон. Не понимаю, почему ты...
Билл. Почему я не люблю электробритву? В мире и так слишком много шума, и я не желаю, чтоб у меня жужжало под ухом с самого утра.
Хадсон. Зато никаких хлопот.
Билл. Нет уж, увольте. У нас в доме две ванные, но стоит мне начать бриться в свое удовольствие, как жене сразу нужна именно моя ванная. Она любит поболтать.
Хадсон. Но не утром же, когда столько дел.
Билл. А вечером и того хуже.
Хадсон. Крепко вчера хватил, а?
Билл. Да уж будьте уверены.

Шерли вносит почту Билла и кладет перед ним.

Привет, крошка. Это все?
Хадсон. Не беспокойся — на твою долю хватит.
Билл. Что это ты сегодня не намазана?
Шерли. Вы, конечно, помните, что в 9.30 придет миссис Гарнси?
Билл. Да, я совсем забыл, что девушки теперь обходятся почти без косметики, верно? Намажут ресницы, а носы красные... Пойди подкрась губы, лапочка. Что случилось? Он был недостаточно пылок?
Шерли. Вы кончили?
Билл. Только не говори, что слишком пылок. Все равно не поверю...
Шерли. Может, хватит?
Билл. Чего это ты надулась с утра? Ни за что не поверю, что у растяпы бухгалтера, твоего жениха, хоть раз достало пороху...
Шерли. У вас только одно на уме.

Б и л л. Вовсе нет. Меня это занимает куда меньше, чем тебя.
Ш е р л и. Меня?
Б и л л. Просто я люблю долго и нудно дразнить нудных, капризных и глупых девчонок. Особенно когда они не намазаны.
Ш е р л и. Да вы не только дразнить, но и к делу умеете перейти. С ходу.
Б и л л *(Хадсону)*. Слышишь, Уолли! Как, по-твоему, должен я терпеть такой тон?
Х а д с о н. Пусть идет и займется своим делом. Я сейчас приду, Шерли.

Она кивает и выходит.

Б и л л. И намажь губы!
Х а д с о н. Я думал, еще минута, и она тебе все выложит начистоту.
Б и л л. Что это с ней?
Х а д с о н. Да Джонс вон говорит, что собралась уходить.
Б и л л. Она каждый месяц уходит.
Д ж о н с. По-моему, на этот раз всерьез.
Б и л л. Но почему? *(Он разговаривает с Джонсом слегка враждебно, но куда вежливее, чем со многими другими.)*
Д ж о н с. Ну, просто говорит, что сыта по горло.
Б и л л. Ну?
Д ж о н с. Вот и уходит.
Б и л л. А что еще?
Х а д с о н. Давай выкладывай.
Д ж о н с. Больше она мне ничего не сказала.
Б и л л. Из него вышел бы отличный свидетель, а? Не завидую вам, если вы попадетесь в лапы к кому-нибудь вроде старика Уинтерса.
Д ж о н с *(слегка уязвленный)*. Вчера вечером, когда мы закрывали, она сказала, что ее тошнит от одного вида мистера Мейтленда и ей невыносимо быть с ним в одной комнате.
Б и л л. Как-как?
Х а д с о н *(Джонсу)*. Ладно, можешь не повторять.
Д ж о н с. Но ведь вы сами хотели услышать, что она сказала.
Х а д с о н. Ты же знаешь этих девчонок. Чуть что — сразу на дыбы. А Шерли с гонором...
Б и л л. Какая ерунда. Ты думаешь, она это серьезно?
Д ж о н с. Не знаю. Я не очень-то вникал.
Б и л л *(раздраженно)*. Я с ней еще поговорю. Пусть поостынет. *(Хадсону.)* Напомнишь мне.

Хадсона это, видимо, забавляет.

Чего ты там ухмыляешься? А? Мол, нечего заниматься этим на работе и все такое? Послушай, я уже который месяц ее не трогаю, больше полугода. Чем я ее обидел? Если ей плохо, я тут ни при чем. К тому же она помолвлена.
Х а д с о н. Как будто это тебя остановит.
Б и л л. Конечно нет, но ведь я ж ее не трогаю. Это все ее хилый счетовод, с ним умрешь с тоски. Водит девушку на обеды с танцами в Кингстонский тупик. Она как придет после такого обеда, так целую неделю и ходит с красными глазами.
Х а д с о н. А на вид такой приятный, тихий юноша... мне он показался очень серьезным.
Б и л л. Приятный, тихий, серьезный. Под эту мерку как раз подойдет любой трус, любой слюнявый молодожен, который на сто голов ниже нашего среднего духовного уровня. Этот проклятый остров просто наводнен надутым, тупым, блудливым зверьем. Знаете, кто они такие? Этот ее жених и все прочие? Людишки, которые в праздник отправляются в машине на лоно природы. И вешают талисманчики на заднее стекло.

Хадсон. Ну и что ж такого? Это их жизнь.

Билл. Да, нам бы только побольше праздников, чтоб они передавили друг друга на всех приморских шоссе — от Блэкпула до Брайтона.

Хадсон. Неужели ты хочешь, чтобы всех их передавили только потому, что они тебе не по душе?

Билл. Я просто надеюсь, что они сделают это сами.

Хадсон. Еще немного, и у тебя опять начнется мигрень.

Билл. Успокойся. Она уже началась. А знаешь ли ты, что это за птицы?

Хадсон. Нет. Только, ради бога, не забудь про миссис Гарнси.

Билл. К черту миссис Гарнси. Она, наверно, одного с ними поля ягода. Эти люди почитают священным долгом глазеть каждый год на рождественскую иллюминацию на Риджент-стрит. Они вывозят семьи миль за пятьдесят от города, в лес, ставят машины у шоссе, по десятку в ряд, вытаскивают термосы, складные стулья и примусы, и знаете, чем занимаются? Сидят и смотрят, как мимо проносятся грузовики, проезжают инвалидные коляски и такие же идиоты, как они сами, чтобы тоже где-то остановиться и пялить глаза.

Хадсон. Вот бы когда-нибудь поглядеть, как ты со стариком Уинтерсом схлестнешься в суде. Тебе, я думаю, было бы приятно.

Билл. Что ж, пожалуй. Подумаешь, гений. Просто он носит парик, а я — нет.

Хадсон. Ну, ладно, раз так...

Билл. А ты бы тут совсем иначе дело поставил, верно, Уолли?

Хадсон. Всякий работает, как может. У тебя вот свои методы.

Билл. Конечно, но мои методы не то, что твои. Они недостаточно благопристойны для стряпчего. Я ведь не благоговею перед законом, как ты. И вообще не считаю, что закон требует уважения. Он существует, чтоб его эксплуатировать. Точно так же, как он эксплуатирует нас.

Хадсон. Эдак ты отучишь юного Джонса работать.

Билл. Ну, ему это не грозит.

Хадсон. Так вот, у каждого свои методы. И свой взгляд на вещи.

Билл. Сделай одолжение, Уолли. Воздержись хоть раз и не вздумай говорить эти твои «с должным уважением», «как бы то ни было» и все такое. Я-то думал, что отвадил тебя от этой гнусной привычки. Так вот, наш юный Джонс не из тех, кто тискает телефонисток и задирает юбки секретаршам. Не говоря уж о том, чтобы подделать справку или решиться на тайный сговор. Ну как, сладил наконец со своей девочкой?

Джонс смущен.

Простите, пожалуйста. Вопрос, конечно, бестактный. Беру его назад.

Джонс. Но...

Билл. Ну ничего, ничего. А все-таки ведь я был прав насчет...

Джонс. Да, да. Пожалуй.

Билл. Так в чем же дело?

Джонс. Я просто считаю...

Билл. Что же именно?

Джонс. Что игра не стоит свеч.

Билл. Разумеется, не стоит. Ты совершенно прав. Не стоит. Мы-то свое отсветили, но не пропадать же твоей свечке! Предложи-ка ее Шерли. Ей, вероятно, понадобится. У тебя есть чем заняться?

Джонс кивает.

Тогда за дело. За дело, за дело, за дело. Тебе ведь именно это надо, верно? Ведь ради этого ты и поступил ко мне, только ради этого.

Чтобы узнать, каков он, бизнес, сколько дает денег, какие бывают трудности и все прочее. Правильно?

Джонс. Да, мистер Мейтленд. *(Уходит.)*

Хадсон. В чем же все-таки дело?

Билл. Не понимаю, что ты имеешь в виду. *(Зовет.)* Шерли!

Хадсон. Ты, кажется, на него рассердился.

Билл. Он дубина, и ничего больше. «Сделано в Англии». У него хоть кол на голове теши.

Входит Шерли.

Шерли. Вы меня звали?

Билл. Что? Ах, да, Шерли, принеси мне стакан воды.

Шерли *(помолчав)*. А своих рук нет?

Выходит. Хадсон и Билл переглядываются. Хадсон очень доволен.

Хадсон. А по-моему, ты ошибаешься. У него хорошая голова. На твой взгляд он чуть туповат, но ты его недооцениваешь.

Билл. Вовсе нет. У него все задатки хорошего, послушного работяги, вполне довольного нашей демократической страной, вроде дружка этой дряни, которая даже не соблаговолит подать мне стакан воды, когда ее просят. Он раздражает меня. И сам меня тоже не переваривает. Что его здесь держит?

Хадсон. А почему ты его не прогонишь?

Билл. Чего ради? Он неплохо работает. Ведь правда?

Хадсон. Очень даже.

Билл. Вот видишь. Джой! Его даже смешат мои плоские остроты. Во всяком случае он трясет своими тощими плечами. А вообще предпочитает помалкивать.

Входит Джой.

Джой, дай мне стакан воды, пожалуйста.

Джой. Ладно.

Билл. И попроси Шерли... или нет, лучше сделай это сама. Разыщи там папку с делом миссис Гарнси.

Она выходит.

Билл. Одно я должен сказать в твою пользу, Уолли: ты никогда не притворялся, будто тебе смешно. Даже если остроты были удачные.

Хадсон. Не у всех же есть твое чувство юмора.

Билл. Ну, ну, не ехидничай. Какое уж там у меня чувство юмора. Я сто лет не смеялся от души. Кстати, мистер Джонс может скоро обнаружить, что ни экзамены, ни работа у меня ни черта ему не дадут. Он тут ничего не добьется. Да и ты тоже.

Хадсон. Как это понимать?

Билл. Говорю тебе: скоро все мы вылетим в трубу. А уж если кто одержим мыслью, что жить — значит работать, так это наш юный Джонс.

Хадсон. О чем ты говоришь?

Билл. О Джонсе.

Хадсон. Скажи, ты здоров?

Билл. Вполне. А теперь насчет миссис Гарнси, почему ты спихиваешь ее мне? Нет, пожалуй, я все-таки не в себе! Все идет как-то не так. Не понимаю, почему я не мог поймать такси. Зеленый огонек — значит свободно.

Хадсон. Ты же знаешь этих таксистов.

Билл. Конечно, но со мной так никогда не бывало. Да еще с утра.

Хадсон. Выглядишь ты хорошо. Но если хочешь...

Б и л л. И швейцар повернулся ко мне спиной. Я поднимался по лестнице и хотел спросить его — вполне вежливо,— почему не работает лифт. А он мне спину показал.

Х а д с о н. Видно, не заметил.

Б и л л. Нет, он смотрел прямо на меня. И повернулся спиной.

Х а д с о н. Значит, он просто старый хам.

Б и л л. Но раньше он мне не хамил.

Х а д с о н. Я подарил ему соверен на рождество, так он даже спасибо не сказал.

Б и л л. А я — пять. *(Виновато.)* Сам знаю, что много, но мы с ним вместе выпили в «Птичьем пере».

Х а д с о н. Да, пять — это многовато.

Недолгое молчание.

Б и л л. Скоро мы станем не нужны. Никому не понадобятся адвокаты. Ты читал утренние газеты? Любой математик затолкает все наши прошения, заявления и свидетельские показания в пасть какой-нибудь ревущей вычислительной скотины, и рта не успеешь раскрыть, как выскочит ответ — виновен или не виновен. Никаких процедур, все будет зависеть только от циничных операторов. Всех адвокатов по боку! Ни в ком не будет нужды.

Х а д с о н. Сомневаюсь, чтобы до этого дошло.

Б и л л. Откуда ты знаешь, до чего может дойти? И когда? Иной раз хочется быть стариком, тогда меньше шансов до этого дожить. *(Хлопает по газете.)* Вот, полюбуйся, что настрочил здесь какой-то нерадивый ублюдок: «Международное положение Великобритании». Видал? А каково мое положение? Мы голосуем за ловкого краснобая, а он только и ждет, чтобы нас всех оболванить, превратить в стадо рабочих скотов, заставить вертеть колесо своей машины: производство — потребление, производство — потребление, будь они прокляты! Пускай катится со своей наукой на Красное море или куда подальше и забирает с собой кого угодно, и Джонса в том числе. Пускай море расступится и сомкнется за ними, чем скорее, тем лучше. И пускай Джонс въедет в землю обетованную на своей малолитражке.

Х а д с о н. Оставь парня в покое. Что он тебе сделал? Кстати, у него мопед.

Б и л л. Это даже лучше. Великолепный способ выдвинуться в выдвигающейся стране. Почему бы им всем не уехать и не выдвинуться? Пусть выдвигаются!

Х а д с о н. А сам ты почему ничуть не стараешься выдвинуться?

Б и л л. Я для этого не гожусь.

Молчание.

Х а д с о н. А надо бы попробовать. *(Шутит.)* Пока не пустили в ход счетную машину.

Билл не поддерживает шутки.

Б и л л. Джой! Что ты там возишься?

Д ж о й *(за сценой)*. Иду!

Х а д с о н. Ты давно видел Бетти?

Б и л л. Где же вода? Какую Бетти?

Х а д с о н. Разве их несколько?

Б и л л. Я знаю трех с этим именем. Или нет, четырех.

Х а д с о н. Вот это жизнь! Тогда не знаю которую.

Б и л л. Она вышла замуж за какого-то пузатого финансиста.

Х а д с о н. Кто?

Б и л л. Бетти.

Джой приносит стакан воды и папку.

Я часто вижу его имя на строительных участках. Живет не тужит, сносит старые кварталы, а на их месте возводит бетонные глыбы по последнему слову техники. Они похожи на наземные бомбоубежища. Или на общественные уборные. А она славная девочка. Только я ее теперь редко вижу. Встречал на каких-то премьерах, он это обожает. Вокруг так и вьются всякие подхалимы. На ней такие пушистые меха, что она его и не видит. Так вот о Джонсе...

Д ж о й. Простите, пожалуйста. Шерли ни за что не хотела сказать, где лежит папка.

Б и л л. Джонсу на него бы работать. Как-никак — надежда Британии. Старик, безусловно, один из лучших архитекторов. Что это, детка?

Д ж о й. Вы же просили воды.

Б и л л. А, спасибо. Хоть одна добрая душа нашлась.

Д ж о й. А вот дело миссис Гарнси. Шерли...

Б и л л. Д-да, конечно. Как поживаешь?

Д ж о й. Хорошо, спасибо. Нужно еще что-нибудь?

Б и л л. И даже очень. Она сегодня дивно выглядит, правда, Уолли?

Х а д с о н. Да. Вполне.

Б и л л. Когда порезвимся?

Д ж о й. Нельзя резвиться сразу с двумя.

Б и л л. Можно начать с тебя.

Она улыбается и выходит.

Погляди-ка на нее сзади — прелесть. Мордашка, пожалуй, похуже. Но задик под узкой юбкой просто чудо Как по-твоему, Уолли?

Х а д с о н. Да, пожалуй, она мила.

Б и л л. Чудо! Интересно, какова она в постели?

Х а д с о н. Ты это скоро узнаешь, не сомневаюсь.

Б и л л. Как сказать. Может, и нет. Откуда это? Кажется, из Джонсона, из этого, как бишь его, «Потерянного рая»: «Здесь больше красоты, чем наслажденья». Но на вид она кое-чего стоит. И шарики прыгают очень соблазнительно. Джой... Она, верно, чаще крутит любовь, чем обедает.

Х а д с о н. Ну, уселся на своего конька! Так как же насчет миссис Гарнси?

Б и л л. Меня всегда тянет к блондинкам. Это моя слабость. Даже если они крашеные. Моя первая жена была блондинкой. Настоящей! Светлой-светлой! Это было красиво. Ни у кого не видал таких прекрасных волос. Ну, к делу: займемся миссис Гарнси.

Х а д с о н. Послушай, дай ей оглядеться и обвыкнуть немного. Это я о Джой. Она только-только освоила наш маленький коммутатор. Если ты примешься за нее, все опять полетит к черту.

Б и л л. Ты прав. Отставить Джой. Во всяком случае пока. Это не по Инструкции. А Инструкция — святая святых. Итак, за дело, за дело. Миссис Гарнси. Но где ж мои таблетки? Они должны быть здесь. Я всегда ношу штуки три в кармашке. Куда же они запропастились? Джой! Не надо было напиваться. Ох, как спать хочется. В конце концов принял таблетку в четыре утра, в пять — забылся, а потом никак не мог продрать глаза. Пошевельнуться даже не мог.

Входит Джой.

Меня словно связали по рукам и ногам. Дорогуша, ты не видела моих таблеток от головной боли?

Д ж о й. К сожалению, нет.

Б и л л. Ладно, вот они. Мне б только быть в форме к приходу этой миссис Гарнси. Когда придет, попроси ее подождать минут пять. И предложи чашечку пойла, которое вы с юным Джонсом пьете вместо чая.

Д ж о й. О'кей. *(Выходит.)*

Б и л л. А в общем, я и сам не пойму, нравится мне эта беленькая дурочка или нет. Правда, она вся поет и играет, если ты понимаешь, что я хочу сказать... Уолли, не давай мне пить за завтраком. Ладно?

Х а д с о н. Постараюсь.

Б и л л. «И коль я пью, чтобы забыться, то этим умаляю сокровища души». А это кто сказал? Какой-то псих — Блейк, кажется. Лимонный сок, а больше ни-ни, ладно?

Х а д с о н. Ладно.

Снова входит Джой.

Д ж о й. Да, как раз перед тем как вам прийти, звонила ваша жена. Я сказала, что вы ей позвоните попозже.

Б и л л. Ладно, спасибо.

Д ж о й. Соединить?

Б и л л. Нет, не сейчас. Напомнишь потом.

Джой уходит.

Она знает, сколько времени мне надо, чтобы доехать.

Х а д с о н. Но ты же не мог взять такси. Помнишь?

Б и л л. Я всегда умел устраивать так, чтобы все было шито-крыто, чтобы все шло своим порядком; работал, резвился, любил общество, интересовался всем на свете. Даже читал — и не только по специальности. Я и сейчас стараюсь изо всех сил, но круг все суживается. Если Анна позвонит, поговори с ней ты, скажи, что я занят с миссис Гарнси.

Хадсон кивает.

Это она насчет воскресенья...

Х а д с о н. Ведь ты, кажется, собирался ехать в Блэкпул. По делу.

Б и л л. Да, с Лиз. Мы уговорились еще до рождества. Давно не проводили воскресенье вместе, с прошлого лета, когда Анна ездила с детьми в Девон.

Х а д с о н. Так в чем же дело?

Б и л л. Не знаю. Анна размахнулась на субботу и воскресенье: устраивает грандиозный прием по случаю дня рождения дочки.

Х а д с о н. Сколько ей?

Б и л л. Не знаю. Семнадцать. Или восемнадцать. В общем, уже взрослая, искушенная и слишком много себе позволяет, так что мне вовсе незачем целых два дня торчать здесь ради ее дня рождения!

Х а д с о н. А жена знает про Блэкпул?

Б и л л. Она говорит: не езди. Неужели для тебя существуют только дела? Доставь дочке удовольствие.

Х а д с о н. Она знает, что ты едешь с Лиз?

Б и л л. А иначе к чему ей затевать это дурацкое празднество? Она не больше моего любит дружков нашей дочери. Весь вечер — джаз, и крики, и вся эта сопливая муть, и лапанье, и о-о-х...

Х а д с о н. Словно ты сам никогда не лапал...

Б и л л. Муть! Я, может, и сам этим занимался, но не получал особого удовольствия, меня никогда не возбуждала вся эта мура, я оставался в стороне. В жизни не был таким, как эта свора, с которой путается моя дочь, так что нечего и сравнивать.

Х а д с о н. Прошу прощения.

Б и л л. Да и лапаньем я тоже не увлекался никогда, ведь я, слава богу, не старик, не ничтожество и не мямля, к чему мне эти затас-

канные приемчики? Хочешь? Можешь? Вот и все, что меня интересует. Думаешь, вру? Я говорю сущую правду, как на духу. К тому же у меня всегда были слабые пальцы, потому-то я и фортепиано бросил.

Хадсон. Как же ты теперь?

Билл. А?

Хадсон. Ну, в воскресенье?

Билл. Понятия не имею. Ума не приложу, что хуже: одно другого стоит. Передо мной все время их лица. Анны. И Лиз. И других. А когда они звонят, так совсем впору повеситься. Правда, Лиз звонит не часто. У нее правильные понятия о правах любовницы. Мне хочется быть нежным, хочется утешать, ободрять, развлекаться, строить планы на будущее и все такое. Но сейчас я чувствую только одно: что голова у меня пухнет и раскалывается, того и гляди, отвалится. Она мне мешает, давит. Игра не стоит свеч, верно?

Хадсон. Да, пожалуй, не стоит.

Билл. Это точно. Но уж не знаю, что тогда стоит! Эти ваши благословенные свечи, твоя и Джонса, прямо чаша святого Грааля, только неизвестно, для чего их беречь?

Хадсон. Не в том дело, просто для некоторых секс, например,— это что-то... ну что-то вроде средства отвлечься, а не самоцель.

Билл. Да, я понимаю, о чем ты. Я и сам об этом думал. Но ведь можно уйти и в работу! Ну, пусть мы сейчас не работаем, но ведь это только на минуту, а вообще мы трудимся на совесть. Ты-то уж наверняка, Уолли, хотя тебе не больно много за это перепадает. Но согласись, что и я, если уж возьмусь, то работаю не меньше других.

Хадсон. Да, конечно.

Билл. Но разве это цель в жизни? Что это — удовольствие, долг, обязанность, необходимость или же просто борьба за существование, борьба, чтобы оттянуть конец, каков он ни есть?

Хадсон. Не знаю. По-моему, все это не имеет значения. По крайней мере до тех пор, пока твое дело тебе хоть сколько-нибудь интересно. Зачем слишком много требовать?

Билл. И тогда не придется разочаровываться. А ведь миссис Гарнси будет разочарована, если мы не добьемся для нее развода. Ты, как всегда, прав, Уолли. Но все-таки почему вы спихнули мне эту миссис Гарнси? До сих пор ею занимались вы с Джонсом. Там что, возникли какие-нибудь трудности?

Хадсон. Нет, ничего особенного.

Билл. Так в чем же дело?

Хадсон. Мы сейчас перегружены.

Билл. А я не перегружен? В половине двенадцатого мне надо быть в тюрьме, повидать этого мальчишку Беннета.

Хадсон. Что там? Изнасилование?

Билл. Да. Покамест мы ничего не добились. Он был слишком взволнован. Его раздели, отобрали вещи под расписку, потом ванна, медицинский осмотр на сквозняке, звон ключей. Он совсем раскис и никуда не годился. Я вообще не понимаю, зачем мы беремся за уголовные дела.

Хадсон. Да, твоя правда.

Билл. Слушай, я займусь миссис Гарнси, а ты сходи к Беннету. Или это не по твоей части?

Хадсон. Не совсем.

Билл. Такие дела тебе неприятны?

Хадсон. Нет. Просто я их не люблю.

Б и л л. И разводы тоже терпеть не можешь.

Х а д с о н. Ну, это чересчур сильно сказано. Мне просто надоело без конца слушать всякие россказни и гадать, что же там произошло на самом деле. А в общем работа есть работа. Только я не стану вон из кожи лезть, чтобы заполучить эти дела, вот и все.

Б и л л. А что б ты предпочел? Ясное, как день, дело о запутанной передаче имущества?

Х а д с о н. Я бы сказал, что разводы — это твоя стихия. Ты любишь соваться в чужую жизнь.

Б и л л. Как это понять?

Х а д с о н. Мне казалось, тебе это по вкусу.

Б и л л. Что по вкусу?

Х а д с о н. Ну, ты сам знаешь: копаться, вмешиваться...

Б и л л. Ты хочешь сказать, что я недостаточно беспристрастен?

Х а д с о н. Нет, совсем не то.

Б и л л. Мне даром не нужно чужой жизни. Ничьей. Я боюсь таких клиентов, как эта миссис Гарнси. У меня своих забот хватает. Ты в самом деле никак не можешь сходить к Беннету?

Х а д с о н. Боюсь, что нет.

Б и л л. Неужели он тебе настолько мерзок?

Х а д с о н. Никто мне не мерзок. Во всяком случае теперь. Просто меня не занимают и не трогают подобные люди и подобные дела. И кроме того, мне надо в одиннадцать пойти к адвокату с миссис Роуз. И я наверняка проторчу там до завтрака. Я пытался сам свести концы с концами, но она на каждом слове себе противоречит.

Б и л л. А что? Валит все на мужа?

Х а д с о н. По-моему, да.

Б и л л. Что же он сделал, по ее словам?

Х а д с о н. Дал ей пинка в зад тяжелым сапогом, выставил на ночь из дому и запер дверь, так что ей пришлось в одной сорочке ночевать в машине.

Б и л л. А что еще?

Х а д с о н. Пустяки. Плетет что-то насчет украденных столовых ложек. Ничего путного.

Б и л л. А ночью было холодно?

Х а д с о н. Что? Ах, в машине-то? Да, как раз ударили заморозки. Говорит, что схватила грипп и едва не заболела воспалением легких.

Б и л л. Едва?

Х а д с о н. И плевритом.

Б и л л. Тоже едва. Что ж она не поехала прокатиться? Включила бы печку!

Х а д с о н. В ночной сорочке в два часа ночи?

Б и л л. А что, по-моему, это очень романтично. Могла бы проехаться по Большой западной дороге, а потом в какой-нибудь забегаловке взяла бы бутерброд с ветчиной и чашку чая. Ее бы встретили криками «ура».

Х а д с о н. Ключи-то от машины были у мужа. Я вижу, тебе она не нравится?

Б и л л. Мне? Да я ее и в глаза не видел. Я просто слушаю.

Х а д с о н. Конечно. Но ведь ты не стал бы разбиваться ради нее в лепешку. Вот я и взялся за это дело.

Б и л л. Ты старый добряк, Уолли. Она с тебя сто потов сгонит. Но Уинтерс ее обработает, и ты получишь свое. Мне, понимаешь ли, жаль ее мужа. Старые тяжелые сапоги... Каков он по ее рассказам?

Х а д с о н. Трудно понять. Чрезмерные супружеские притязания. И все в таком роде.

Б и л л. Да-да. Павиан, если судить по ее словам.

Хадсон. Извращенец.
Билл. Что-нибудь интересное?
Хадсон. Нет. Обычная история.
Билл. Ну, а она? Ручаюсь, что пучеглазая, вены вздуты. Во всяком случае, он выглядит обычным человеком. Он не оригинален.
Хадсон. Да, ничего особенно плохого в нем нет... Хотя...
Билл. Изменял ей, что ли?
Хадсон. Она говорит, что да, но прямых улик нет. Уинтерс смотрел бумаги. Он не высокого мнения о деле. Боюсь, что под трехсотую не подвести. Но если он научит ее не путаться в показаниях, мы притянем мужа к суду за побои.
Билл. Потребуете алиментов?
Хадсон. Ясное дело.
Билл. Не повезло бедняге! Ну ладно, может, тогда Джонс?
Хадсон. Что Джонс?
Билл. Поедет вместо меня в тюрьму.
Хадсон. Что ж, это можно. Если ты настаиваешь.
Билл. Нет. Ты прав. Лучше уж я сам. Не думаю, чтобы Джонс сумел подвигнуть беднягу Беннета на подачу апелляции.
Хадсон. И кроме того, он сегодня очень занят.
Билл. Может, мне позвонить Анне... и покончить с этим до прихода миссис Гарнси. Покончить... О чем это я?
Хадсон. У него сегодня опять этот поляк. Третий раз за неделю.
Билл. Поляк?
Хадсон. Ну да, Зубуцкий или что-то в этом роде.
Билл. Джой, соедините меня, пожалуйста, с миссис Мейтленд. А что у него?
Хадсон. Добивается развода.
Билл. Основание?
Хадсон. Измена.
Билл. Ну и что же?
Хадсон. А то, что факт налицо, улик предостаточно, сомнений никаких. Но он выставляет свои условия.
Билл. Что значит свои условия?
Хадсон. Очень просто. Требует, чтобы до окончания процесса жена жила с ним.
Билл. Ну, а жена?
Хадсон. Согласна.
Билл. Вот и прекрасно! *(Смеется.)*
Хадсон. Потеха, правда?
Билл. Да.
Хадсон. Мы оба пытались его отговорить. Но он и слушать не хочет, только злится.
Билл. Что же он намерен делать? Пожаловаться на нас в Ассоциацию адвокатов? Но всего потешнее здесь вы с Джонсом.
Хадсон. Да, положение дурацкое.
Билл. Еще бы.

Его смех прерывают зуммер и голос Джой за сценой.

Джой. Миссис Ивз у телефона.
Билл *(помолчав)*. Я... нет, скажите ей, я сам позвоню, как только освобожусь.
Хадсон *(довольный)*. Номер два наступает с тыла! Трудовое утро.
Билл. Брось. Надо быть справедливым. Лиз звонит не так уж часто. Не то что Анна в последнее время.
Хадсон. Есть все-таки...

Б и л л. Знаю, знаю: Анна моя жена. Я никогда не сомневался, на чьей ты стороне.

Х а д с о н. Ни на чьей.

Б и л л. Рассказывай. Ты на стороне жен и ангелов. А я — за любовниц и дьяволов. Только это неправда. Я не из тех, кто берет чью-либо сторону. Сам не знаю, где я и с кем. А ведь никому не хотел причинять боли — старался изо всех сил, хоть ты и не веришь, только никак не умею объяснить, что со мной. Внутри словно что-то сломалось. И в памяти ничего не удержать, во всяком случае надолго. Хорошо бы начать все сначала, только все равно будет то же самое. А ведь когда-то хвалили, у меня-де острый ум.

Х а д с о н. Что ж, так оно и есть.

Б и л л. Ерунда! У меня крошечный, вялый, неповоротливый умишко. Просто я прогоняю все через него на большой скорости, как киноленту перематывают, он, бедняга, мечется и бьется, но воспринимает плохо и ничего не удерживает. Что делать, Уолли? Посоветуй.

Х а д с о н. Насчет воскресенья? Скажи Лиз всю правду.

Молчание.

Б и л л. Я всегда пытаюсь это сделать. Хорошо бы хоть разок порадовать ее — войти открыто, без спешки и сказать, что впереди у нас целых три дня вместе.

Х а д с о н. Так сделай это, ради бога!

Б и л л. Благодарю за совет. Теперь я понял, почему ты избрал такую профессию. Ну-с, что там у вас, миссис Гарнси? Понятно! Так вот, с точки зрения юридической можно поступить так. А можно иначе. Я бы посоветовал сделать так. Впрочем, вы, может быть, предпочтете иначе. А с точки зрения моральной или эмоциональной — вы вольны поступать как угодно.

Х а д с о н. Не понимаю.

Б и л л. Что? Как она меня терпит?

Хадсон кивает.

Кто? Анна или Лиз?

Х а д с о н. Обе.

Б и л л. Но особенно Анна, так ведь?

Х а д с о н. Нет худа без добра. У тебя двое славных детей.

Б и л л. Дети как дети. Только не думаю, чтобы они считали нас такими же славными, как мы — их. Мальчишка просто мечтал сбежать из дому в пансион. Я ему говорил, что он рехнулся. А он каждую минуту считал. Каждую минуту. А теперь шлет идиотские, заляпанные чернилами писульки, и все про состязания и общества любителей фотографии да про то, как они каждое утро встают бог знает в какую рань и ходят купаться — в феврале-то. В семье словно поп завелся.

Х а д с о н. Сколько ему?

Б и л л. Одиннадцать! В его годы я уже думал о девчонках. О Мадлен Кэрол.

Х а д с о н *(с подчеркнутой иронией)*. Может быть, он еще не развился.

Б и л л. Разовьешься там, как же!

Х а д с о н. Но ведь он доволен?

Б и л л. Блаженствует. Не понимаю. Я бы скорее согласился сесть в тюрьму. Никакой разницы, ей-богу. Капелланы, мерзкая жратва, каторжный труд, свет тушат рано и девочек нет.

Х а д с о н. Он повзрослеет.

Б и л л. Да. У вас с Анной одна песня. Надо было ей выйти за тебя. У вас много общего.

Х а д с о н. Спасибо, мне и так хорошо.

Б и л л. Да. Тебе-то хорошо. Хотя Анна, кажется, не так носится с детьми, как твоя жена. Я хочу сказать, что она не превращает их воспитание в затянувшееся первое причастие, хотя к пятидесяти годам чаша все равно опустеет и останутся одни приливы.

Хадсону, как видно, не по себе.
Молчание.

Я ведь тебя уже спрашивал: может, лучше мне ее бросить?

Х а д с о н. А я тебе уже говорил: это ничего не изменит. Для тебя.

Д ж о й *(по телефону)*. Ваша жена, мистер Мейтленд.

Б и л л. Сейчас. *(Делает Хадсону знак подождать.)* Одну минуту. *(В трубку.)* Алло. Алло, детка. Прости, я немного опоздал. Не мог поймать такси. Очень странно. Да. Впервые в жизни. Не помог даже мой знаменитый свист... Разве? Нет, не думаю... Здесь только старина Уолли. Копаемся в делах... Мне очень жаль, дорогая, если тебе так кажется. Ты же знаешь, я не спал, ну, может, чуть вздремнул... да, мне немного не по себе, и это слышно по голосу, вот и все. С минуты на минуту войдет клиент — я его жду...

Уолли выходит, несмотря на знаки Билла.

Нет, конечно, все в порядке. Потому я и звоню. К делам еще не приступал, сегодня все идет со скрипом... А что?.. Да... Ну, я знаю. Ну, прости... Если б я мог... Что-что?.. Не слышу... Я говорю, прости. Телефон не в порядке... Плохо тебя слышу... Да, так лучше... Слушай-ка, может, мне перезвонить... скажем, во время завтрака... Нет, домой не приду... Надо ехать в тюрьму... Больше некого послать, и надо еще повидать адвоката, а потом я до вечера проторчу в суде, а потом... Да, Беннет... Ну, мне это видней... Что ж, с тобой многие согласятся, особенно судьи... Наверно, задержусь... Еще не знаю... Ты же понимаешь, что с утра нет смысла об этом спрашивать... Часов в восемь, в девять. Не знаю. Может, и позже. Если ты так считаешь... если уверена, зачем задавать вопросы... Слушай, перестань, пожалуйста, я тебе еще позвоню. Может, сбегу пораньше, посмотрим... Еще не решил... На этом я уже обжегся, обещал быть в половине девятого, помнишь?.. Я же сказал: еще не знаю... Просто не знаю.... Пока не знаю, знаю только, что, вероятнее всего... Ну, положим, она это как-нибудь переживет, и мы все это отлично знаем, и ты, и я, и она тоже. Послушай, детка, тут Уолли ждет, он собрался к Уинтерсу... Почему бы тебе не выйти... Ну ладно... Мне очень жаль, что ты так считаешь... Да, болит... Как всегда, только чуть сильнее. И какое-то странное ощущение... Да... Хорошо... Береги себя... Прости, детка.. Больше не буду так говорить, обещаю...

Кладет трубку. Тупо смотрит на нее. Переводит взгляд на папку перед собой. Пьет воду. Трет глаза.

Д ж о й *(по телефону)*. Когда вас соединить с миссис Ивз?

Б и л л. Когда я скажу. Или нет. Э... э... напомни мне, лапочка. Может быть, когда уйдет миссис Гарнси...

Д ж о й. Ее еще нет.

Б и л л. Тогда будь добра, попроси ко мне снова Хадсона... И... дай еще воды.

Д ж о й. Ладно. Да, тут Шерли хочет зайти, когда у вас будет свободная минутка.

Б и л л. Хорошо, я выберу время. Ну, а как твои любовные делишки?

Д ж о й. Не жалуюсь! А ваши?

Б и л л. М-м... довольно скромно. Зашла бы.

Д ж о й. Когда?

Б и л л. После работы.
Д ж о й. О'кей.
Б и л л. И... я, кажется, что-то просил.
Д ж о й. Разве?
Б и л л. Не помню.

Входит Хадсон, Джой отключается.

Х а д с о н. Ты меня звал?
Б и л л. Да, да. Что там еще?
Х а д с о н. Кажется, ничего.
Б и л л. Подписывать нечего?
Х а д с о н. Нет.
Б и л л. Отлично.
Х а д с о н. Тогда я...
Б и л л. Ладно, действуй.

Хадсон поворачивается, чтобы уйти.

Уолли, Уолли, я хотел бы только поговорить об одном деле.
Х а д с о н. Долгий разговор?
Б и л л. Нет, но это очень важно. А что? Тебе не интересно или ты...
Х а д с о н. Да мне бы...
Б и л л. Ну хорошо, хорошо.
Х а д с о н. И потом, Шерли к тебе рвется.
Б и л л. Шерли? Гм, а то, понимаешь, сейчас бы самое время поговорить.

Молчание.

Х а д с о н. Так я зайду попозже.

Входит Шерли со стаканом воды.

Б и л л. Уолли! Уолли, выбери минутку и загляни ко мне перед Уинтерсом. Я постараюсь поскорее спровадить миссис Гарнси. В конце концов Джонс тоже может сделать запись с ее слов.
Х а д с о н. Как тебе угодно.

Уходит.

Билл сидит одинокий, потерянный. С благодарностью смотрит на Шерли. Она подает ему стакан.

Б и л л. Спасибо, лапочка, очень мило с твоей стороны.

Пьет. Она смотрит на него.

Что-нибудь случилось?
Ш е р л и. Нет, со мной ничего.
Б и л л. Правда? Все в порядке?
Ш е р л и. Все хорошо, спасибо.
Б и л л. В чем же дело? Мы ведь друзья, верно? Почему же ты такая?
Ш е р л и. Вовсе я никакая.
Б и л л. Так что же?
Ш е р л и. Просто я предупреждаю вас, что ухожу, вот и все. Хоть вы мне должны неделю отпуска, я сама вам накину неделю.
Б и л л. Но почему же?
Ш е р л и. Взяла да решила, вот и все. А вы что, против?
Б и л л. Конечно...
Ш е р л и. Тем хуже для вас.
Б и л л. Не знаю, лапочка. Думаю — для нас обоих.
Ш е р л и. За меня не волнуйтесь. И чего только я раньше не сбежала!
Б и л л. Это уже старо.
Ш е р л и. А кто меня отговаривал?
Б и л л. Но что я такого сделал?
Ш е р л и. Ничего. Я просто ухожу. Понятно?
Б и л л. Но... есть же какие-нибудь причины?

Шерли. Сколько угодно. Доложить?
Билл. Нет.
Шерли. Их более чем достаточно.
Билл. А все-таки?
Шерли. Вы думаете, из-за вас?
Билл. Не знаю. Не знаю. Право слово, не знаю. Если бы все это не так, очертя голову, я бы, может...
Шерли. Ну, уж если вам так хочется знать почему, то прежде всего — я беременна.
Билл. Ты что?
Шерли. Я жду ребенка, миленький. Вот у вас их двое. По меньшей мере.
Билл. Погоди. *(Пробует сосредоточиться.)* Я думал, ты принимала таблетки.
Шерли. Еще бы! Сыта ими по горло.
Билл. Но ты же недавно помолвлена.
Шерли. И что же?
Билл. Стало быть, собираешься замуж?
Шерли. Да, на то и помолвка.
Билл. И еще не раздумала?
Шерли. А что, прикажете просить вашего благословения?
Билл. Но это так неожиданно.
Шерли. Бывает, знаете ли.
Билл. Ты его любишь?
Шерли. Ну, вы-то обходитесь без этого.
Билл. Он знает?
Шерли. Сказала ему вчера вечером.
Билл *(раздраженно)*. Ну и что же?
Шерли. Он сказал, что предпочел бы обождать, но в общем даже доволен. Что с вами? Чего вы на меня уставились?
Билл. Просто я вижу тебя совсем по-иному... Как женщину... Я ощущаю...
Шерли. Бедняжка! Вам бы мои ощущения.
Билл. Правильно ли ты поступаешь?
Шерли. А почему нет? Не у вас ли спросить совета? Как у папаши?
Билл. Нет, Шерли, нет, не надо, ведь я тебе не совсем посторонний...
Шерли. Послушайте... Нечего тут рассусоливать. Я беременна — вот и весь сказ.

Билл в таком отчаянии, что Шерли даже смягчается.

(Помолчав, уже спокойнее.) Я выхожу замуж. И прошу меня уволить. В пятницу приду в последний раз. Понятно?
Билл. Да, лапочка.

Она ждет.

Когда это будет?
Шерли. Через две недели.
Билл. Да нет, я о ребенке.
Шерли. А-а... В сентябре.
Билл. В сентябре? Так ведь еще почти целых девять месяцев.
Шерли. Семь.
Билл. Ты можешь еще долго работать. Все так делают.
Шерли. А я решила бросить.
Билл. Ну, а как же деньги? Ведь они тебе особенно понадобятся.
Шерли. Ничего, перебьемся.
Билл. Но подумай только, как это будет кстати. Что тебе делать целыми днями — сидеть дома и ждать, пока не рассыплешься?
Шерли. Тед прилично зарабатывает.

Б и л л. Но когда работают двое... Ведь потребуется куча вещей.
Ш е р л и. Он не хочет, чтоб я работала.
Б и л л. Он не хочет!.. Да кто он такой? Годфри Уинн? * Ты сама должна решать! Хочешь прибавки? Ради бога! Ты ее вполне заслуживаешь. Больше других.
Ш е р л и. Может, я перейду на другое место.
Б и л л. Нет, оставайся у меня. Ты нужна здесь.
Ш е р л и. Вы думаете, всех можно подкупить?
Б и л л. Шерли, я обожаю тебя. То, что я узнал...
Ш е р л и. Слава богу, не от меня первой.
Б и л л. Неправда.
Ш е р л и. Во всяком случае, теперь все сказано.
Б и л л. Я ведь тебя не трогал...
Ш е р л и. Ох...

Молчание.

Хватит об этом.
Б и л л. Я ведь тебя не трогал. Ты вот меня винишь. А я тебя не трогал. Уже три месяца. Не меньше.
Ш е р л и. Премного благодарна.
Б и л л. Ради бога, оставь это дешевое, бездарное кривлянье и выслушай меня.
Ш е р л и. С какой стати? Разве вы заслужили?
Б и л л. Нет. Но мы спорим, злимся, кричим, а за всем этим, в глубине, нас тянет друг к другу. Ты мне нравилась. И в постели ты отбросила все капризы, все свое притворство, хоть и не сразу. Да и я тоже. Я ведь, кажется, не обещал, что это надолго — любовь до гроба, с обязательствами, клятвами и прочим вздором. Но если ты вспомнишь все, как было, все мелочи, неужели у тебя повернется язык назвать все ложью? А?
Ш е р л и. Нет.
Б и л л. Такими вещами не бросаются. Иначе ты тоже помогаешь... участвуешь в заговоре, чтобы убить меня.

Молчание.

Ш е р л и. Суббота и воскресенье в Лестере — по делам клиента. Два раза в Саутенде — по делам клиента. Помните тот особняк? Четыре дня в Гамбурге по делам клиента. Богатая квартира богатого клиента в Чисвике. И три раза здесь, на полу. *(Поворачивается, чтобы уйти.)* И вот еще что: пожалуйста, не подсовывайте мне бо́льше работу Джой. Я не намерена за нее работать. Хватит. Вы мне противны, вы спихиваете меня клиентам, когда сами слишком заняты женой, или этой миссис Ивз, или... И вообще забудьте о моем предупреждении за неделю. Я ухожу сегодня. Сейчас. *(Выходит.)*

Зуммер.

Д ж о й *(по телефону)*. Миссис Гарнси.

Молчание.

Я говорю, миссис Гарнси пришла.
Б и л л *(хрипло)*. Да? Попроси подождать. И пожалуйста... Пожалуйста, пошли ко мне мистера Хадсона.
Д ж о й. Он только что вышел.
Б и л л. Так задержи его.
Д ж о й. По-моему, он уже ушел.
Б и л л. Он мне нужен. Догони его.
Д ж о й. Ладно, постараюсь.
Б и л л. А потом мне надо будет поговорить с миссис Ивз.

* Известный журналист и радиокомментатор.

Молчание. Билл рассеянно листает папку с делом миссис Гарнси. Входит Хадсон в пальто.

Хадсон. Ты меня звал?

Билл. Да, да, Уолли.

Хадсон. Но я спешу. Ты же знаешь старика Уинтерса. Его и двух минут нельзя заставить ждать.

Билл. У меня минутное дело.

Хадсон смотрит на часы.

Что ты скажешь, если я предложу тебе стать моим компаньоном? А?

Молчание.

Хадсон *(кажется, очень доволен)*. Не знаю, право, не знаю.

Билл. Ну а все-таки?

Хадсон. Ты меня приглашаешь?

Билл. Да, да. Конечно.

Хадсон. Понимаю. Так вот...

Билл. Я знаю, что это несколько...

Хадсон. Да. Ну что ж. Мне надо немного подумать.

Билл. Конечно, конечно. Мы можем потолковать потом. Обмозгуй это.

Хадсон. Ладно. Идет. Обмозгую. Спасибо. А я было...

Билл. Ты не решил уходить?

Хадсон. Нет. Не совсем так.

Билл. Но все же такая мысль была?

Хадсон. Да как тебе сказать...

Билл. Так и скажи.

Хадсон. Не скрою, было тут одно предложение.

Билл. От кого?

Хадсон. По правде говоря, даже несколько.

Билл. От кого же?

Хадсон. Ну...

Билл. Да говори же, Уолли, ради бога!

Хадсон. Ну, от Пиффардов...

Билл. От Пиффардов! От этих мошенников!

Хадсон. Они мошенники высокого класса, если уж на то пошло.

Билл. Тебе известно, что я считаю их мошенниками, да ты и сам прекрасно знаешь им цену. Но, конечно, если хочешь носить брюки в полоску и работать на министерш...

Молчание.

Ты, наверно, мне возразишь, что у каждого свой взгляд на вещи. Ну ладно. А все-таки подумай.

Хадсон *(медленно, с улыбкой)*. Хорошо. Подумаю. А пока поведу миссис Роуз к инквизитору на допрос. До скорого! *(Выходит.)*

Билл. Джой, ты дозвонилась до миссис Ивз?

Джой. У нее занято.

Билл. Попробуй еще. Попроси коммутатор разъединить. А где Шерли?

Джой. Ушла.

Билл. Куда?

Джой. Не знаю.

Билл. Но она вернется, как по-твоему?

Джой. Понятия не имею. Но, сдается мне, едва ли.

Билл. Правда?

Джой. Она забрала мыло и полотенце.

Билл. И что она сказала?

Джой. Ничего, только плакала. Миссис Гарнси может войти?

Б и л л. Нет. Мне надо поговорить с миссис Ивз.

Д ж о й. Постойте, кажется, соединили. Не кладите трубку... Готово.

Б и л л *(по телефону)*. Лиз? Дорогая, я все стараюсь поймать тебя... Ну как ты?.. Да нет... Помаленьку... Я сказал: всего помаленьку... Что? Ох, начать с того, что я не мог поймать такси, или нет, еще раньше... Знаешь, если держать голову прямо, не очень трясти и говорить помедленнее... Постой, минутку терпения... Что «как»? А, это ты про вчерашний вечер... Да обычная история с Анной... еще до выхода из дому, да и потом... Конечно, скверно, но в общем все было очень странно... Трудно объяснить... Нет, кажется, не могу... к сожалению... Я как-то не могу толком вспомнить, что там было... Просто чувствовал, что со мной никто не желает знаться... не желают — и все... Знаю, что надо плевать! Я и сам их не терплю... Неизвестно, кто кого больше боится... Понимаешь, они хотят, чтобы ими все восхищались... и все такое... Уж ладно... Нет, Анна там очень веселилась... Да ну, обычная вечеринка... Все ею восхищались... Конечно, но даже больше обычного... ну я же был рядом, что там могло случиться? Да... Но в этот раз за мой счет, они все словно обкрадывали меня... Как чудесно слышать твой голос... Еще не знаю... что-нибудь ближе к вечеру... Послушай, ты-то хоть не бери меня за горло... Да. Все уладится... Может быть, и не похоже, но все будет в порядке... Ты же понимаешь, я не хочу быть на этом дурацком дне рождения... Неужели ты думаешь, я не знаю? Конечно, это все Анна... Пожалуй, я сам поговорю с девочкой... Послушай, детка, надо кончать... Можно тебе потом позвонить? Пришла клиентка и ждет уже около... Я сам позвоню... Ты будешь на месте?.. Понимаю, но ты ведь не уйдешь?.. Обещаешь? Не уходи до моего звонка... Мне очень нужно с тобой поговорить... Все будет в порядке. Не тревожься! *(Вызывает Джой.)* Просите миссис Гарнси!

Джой вводит миссис Г а р н с и. Билл встает и здоровается.

Миссис Гарнси, извините, что заставил вас ждать.

Миссис Гарнси кивает.

Вы пили чай? Джой!

Джой кивает. Выходит.

Отлично. Я был занят с клиенткой. Никак не мог с нею разделаться. Итак, у вас уже было несколько бесед с мистером Хадсоном, верно?

М и с с и с Г а р н с и. Совершенно верно.

Б и л л. Так. Я, правда, не очень хорошо знаком с делом. Видите ли, мистеру Хадсону пришлось передать его мне... на время...

Миссис Гарнси встревожена.

Он сегодня должен повидать адвоката, и, кроме того, он считает, что было бы неплохо, если б вы встретились и со мной.

М и с с и с Г а р н с и. Понимаю.

Б и л л. Факт супружеской измены можно считать установленным. Не считая всех прочих, эти три женщины... вот... оснований здесь более чем достаточно. Вы, разумеется, подали на алименты? Двое детей, все правильно?

М и с с и с Г а р н с и. Вы считаете, я должна это сделать?

Б и л л. Мистер Хадсон, наверно, уже рекомендовал вам?

М и с с и с Г а р н с и. Да.

Молчание.

Б и л л. Миссис Гарнси, я могу разъяснить вам закон и на основании ваших показаний, если они соответствуют истине и не противоречат

друг другу, могу дать вам юридический совет. Остальное — дело ваше.

Миссис Гарнси. Да. То же самое говорил и мистер Хадсон. Есть закон. И...

Молчание.

Билл. Может быть, мистер Хадсон не... Скажите, пожалуйста, каково ваше отношение ко всему этому делу? Понимаете...

Она тупо кивает.

Вас первым долгом спросят: почему расторгается брак?

Молчание.

Из-за женщин? Только ли? Имейте в виду, что с точки зрения закона этого «только» вполне достаточно.

Миссис Гарнси. Не знаю. Просто не знаю, как и быть. Он ведь хороший человек. Добрый, отзывчивый, предупредительный, всегда и во всем... во всем. Он меня любит. Я это знаю... Мы, наверно... Ну, словом, он... во мне разочаровался. Правда, не больше, чем в самом себе... У вас есть то, что записал мистер Хадсон?

Билл кивает.

Он умный. Знает свое дело. Много работает. Красивый. Очень обаятельный, по-своему, правда, и развеселить умеет, как никто. Но, понимаете, его обижают, и я не могу этого перенести...

Билл. Как это понять?

Миссис Гарнси. Все обижают. Он приходит домой, и я вижу: за что он ни возьмется, ну ничего у него не ладится, все оборачивается против. И в конторе, и с друзьями, и даже с девушками. Хоть бы с ними что вышло. Видит бог, как он старается. Я бы так хотела помочь ему. Но я не могу, а все остальные... куда бы мы ни пошли — в гости, в клуб или просто прогуляться с детьми,— все от него отворачиваются. И чем люди внимательнее, добрее и заботливее ко мне, тем они хуже по отношению к нему. Я же вижу. И вот теперь... Теперь и я туда же. Дети и так уже едва замечают его. А теперь еще и я. Не могу видеть, как его презирают, поднимают на смех и оскорбляют у него за спиной и смотрят мимо, словно он пустое место...

Последние слова с трудом можно разобрать.

И я туда же. Должна вот бросить его.

Продолжает бормотать что-то невнятное. Билл встает, хочет ее утешить, но он словно оцепенел.

Билл. Джой!

Молчание, слышно только бормотание миссис Гарнси.

Джой! Джой!

Входит Джой. Она удивлена.

Миссис Гарнси нехорошо. Уведите ее и дайте ей коньяку. Возьмите у мистера Хадсона в шкафчике.

Джой, поддерживая миссис Гарнси, уводит ее из комнаты. Они выходят.

И соедините меня с миссис Ивз.

Джой. Сейчас.

Билл. Сразу же, как только освободитесь!

Билл принимает еще три таблетки.

Джой!

Джой *(по телефону)*. Да?

Билл. Дозвонилась?

Джой. Там не отвечают.

Б и л л. Занято или не отвечают?
Д ж о й. Не отвечают.
Б и л л. Попытайся еще раз. Сейчас же! *(Ждет.)*
Д ж о й *(вскоре)*. Опять не отвечают.
Б и л л. Черт! А как там миссис Гарнси?
Д ж о й. Я дала ей виски. Коньяку не было. Просит вызвать такси, чтобы уехать домой.
Б и л л. Вызови.
Д ж о й. Ладно.
Б и л л. И еще вот что, Джой...
Д ж о й. Я слушаю.
Б и л л. Зайди на минуточку, ладно? Прямо сейчас.

Она входит.

Прикрой дверь.

Она закрывает дверь.

Как самочувствие?
Д ж о й. Нормально. А вот вы что-то приуныли.
Б и л л. Джой!
Д ж о й. Да?
Б и л л. Ты не задержишься ненадолго сегодня вечером?
Д ж о й. А это очень нужно?
Б и л л. Да.
Д ж о й. Ну, если вы просите...
Б и л л. Спасибо.

Джой хочет уйти.

Д ж о й. А как быть с миссис Ивз?
Б и л л. Постарайся до нее дозвониться.
Д ж о й. Вы будете разговаривать?
Б и л л. Нет. Но... Передай ей, что я зайду вечером.
Д ж о й. В какое время?
Б и л л. Скажи, пусть ждет, пока не приду.

Действие второе

Та же контора. Серый скупой свет раннего утра. Слышится гудок такси. На диване, укрывшись пальто, спит Б и л л, воротничок рубашки расстегнут. Он силится проснуться, как это было в начале первого действия, и борьба со сном становится все более яростной, словно он хочет стряхнуть с себя кошмар. Спасительный звонок телефона. Билл открывает глаза, садится, на лице — облегчение и усталость. Затем появляется выражение напряженного ожидания. Он подходит к телефону на своем столе, смотрит на него. Вглядывается в циферблат часов. Ничего не видит в темноте. Отдергивает занавеску, становится светлее. Выглядывает в окно, включает настольную лампу и снова смотрит на часы. Боязливо берет телефонную трубку. Аппарат отключен от коммутатора. Идет в приемную и снимает трубку на столе Хадсона. Звонки прекращаются. Тишина.

Б и л л *(выждав)*. Да?

Молчание.

Алло?

Молчание.

Кто это? Кто говорит?

Ему не отвечают, он кладет трубку. Начинает возиться у коммутатора, бормочет...

Как эта штука включается?..

Возвращается в кабинет, берет трубку. Опять ничего. Идет к коммутатору. Возвращается со стаканом воды, опять снимает трубку. Теперь все в порядке. Вынимает из ящика стола таблетки и начинает набирать номер. Затем робеет или теряет силы и дает отбой. Принимает таблетку и давится, словно в кресле у зубного врача. Идет за содовой водой, наполняет стакан, разглядывает две таблетки и снова набирает номер.

Примечание: Этот телефонный разговор и последующие, а также некоторые диалоги должны постепенно нагнетать ощущение сна и нереальности, как это было в начале первого действия, когда Билл давал показания «в суде». Иногда должно казаться, что это реальные разговоры, естественные, непринужденные, ясные, внятные. В другие минуты сильнее ощущается призрачность происходящего; например, во время телефонного разговора, который сейчас последует, зритель должен ясно чувствовать, что на другом конце провода слушают и отвечают, но порой это ощущение должно казаться обманчивым и вызывать сомнение, действительно ли у Билла есть собеседник.

Билл *(по телефону)*. Лиз? Дорогая! Я тебя разбудил?.. Прости, значит, это не ты звонила... Несколько минут назад... Кто бы это мог... А-а, наверно, Анна... Да, в конторе... Ну, это не то, что в своей постели, как говорится... Да... Точно какой-то буравчик, старая история, у самых глаз... А ты как? Принимала снотворное?.. Три таблетки! С ума сошла!.. Знаю, дорогая, прости... Да, я должен был позвонить, должен был... *(Кладет в рот таблетку и собирается запить содовой водой.)* Подожди минутку... Вторая... Третья... Прости... Да, конечно, обещал зайти... Ну перестань, Шерли вчера ушла... Да, я и сам не удивлюсь... Знаю... Мне тоже было несладко... То есть как это Джой справится не хуже? Послушай, сейчас слишком ранний час для упреков и подозрений... Подожди минутку. *(Зажимает рукой рот.)* Одну минуточку! Не клади трубку. *(Выбегает в приемную. Слышен звук спускаемой воды в уборной. Возвращается, вытирая лицо.)* Прости. Что? Нет, просто пропали три таблетки... Вот придется принять еще три. Я по рассеянности запил первую простой водой... Послушай, я знаю, что должен был позвонить, но никак не мог. Но я тебя люблю и больше всего на свете хотел бы сейчас быть с тобой... Конечно, все расскажу... только прошу тебя, не надо этих шпилек насчет Джой. Пожалуйста... Мало ли что сам: мне можно... Ладно, я тоже не буду... Вчера выдался плохой день, Лиз, с самого утра... Я все собирался позвонить тебе, рассчитывал, что у меня будет добрых три четверти часа до встречи с Анной... Работы было по горло... И вдруг она заявляется в половине восьмого... Нет, входная дверь внизу была заперта... Швейцар всегда ее запирает... Нет, вряд ли... Дорогая, я же просил: не надо о Джой... А что я мог сделать? Не звонить же при ней... Да-да, знаю, в нашем положении это уже не имеет значения, но я не мог себя заставить... Не думаю, чтобы и ты была в восторге от такого разговора... Она условилась, что мы пойдем в гости к этим ее нудным Уотсонам... Да-да, те самые, что пишут в соавторстве... Социология и секс. Не знаю... «Рождаемость и гонка вооружений, исследование»... Одни таблицы и диаграммы, читать невозможно... Да. В конечном счете все сводится к одному: рожать или не рожать. Ну и рожают... Так и есть: как только она в очередной раз разрешается от бремени, он тут же в комнате, в марлевой маске щелкает камерой... Вот именно... Ободряет... Смотреть на эту парочку тошно... Конечно, обед был отвратительный... Эти деревянные миски, еда по рецептам из приложения к «Санди таймс», неопримитивизм!.. Очень невкусно... Алло... Ты слушаешь?.. Ох!.. Мне все кажется, ты куда-то исчезла... Ты молчишь, а мне вдруг... Алло... Алло... О, черт! ...Так вот, она вдруг является сюда... Я знаю, ты бы так не сделала... Ты слишком умна для этого... Я совсем не о том... И только вошла, еще от дверей за-

вела свою песню о дне рождения... Да, открыла Джой... Нет, по моему, ее это обрадовало. Она чувствует, что если что-то начинается, то хуже будет тебе, а не ей... И в общем-то это верно... А я еще подвыпил, ну, все ей и выложил: так, мол, и так, мы с тобой неделями не видимся и твердо решили спокойно, без беготни провести три дня... а Джейн, что же делать, не повезло ей. Она славная девочка и рослая для своих семнадцати лет, но она больше чем вдвое моложе нас, над ней трясутся и балуют бог знает как. Она молода, у нее есть юность, отбоя нет от поклонников. Пусть не умна и не так уж красива, но молодость-то не отнимешь... Будь у меня это — я б и горя не знал!.. Она-то не влипнет, как мы с тобой... А если и влипнет — не беда, она не сломится и не согнется... Клянусь, я так прямо и сказал... Да... Сказал, что мы поедем непременно... И что я тебя очень люблю... Да, так и сказал... Что такое? Плохо слышно... Да, пошли в гости, не спрашивай зачем, лучше б я поехал домой... Конечно, напился, а ты как думаешь... Странная вещь: мне кажется, меня там с трудом терпели... Конечно, они все жалеют Анну и считают, что я грубая скотина, но это бы полбеды, тут примешивалось что-то еще... Не знаю... Лиз... Лиз... Алло, Лиз!.. Мне страшно... Выходило так, будто я существую только благодаря ей, пока ей хочется, но вот она повернет выключатель... повернет выключатель и... кто знает? Повернет — и я умру. И они пройдут мимо, словно я пустой щит для объявлений, или надгробный камень, или куча мусора у железной дороги... И только... А тут еще эта миссис Гарнси... Миссис Гарнси, помнишь?.. Не знаю, как с ней быть... Нет, в самом прямом смысле, право... Конечно едем. А зачем же я поднял весь этот шум? Она все знает. И раньше знала... Поверь... О, сцена началась еще за столом, и мы рано уехали... Конечно хотела остаться... Я увез ее домой, она не унималась, и тогда я вернулся в контору. Машина была в гараже, такси не было, и я шел пешком... Хотел было, но почему-то страшно было врываться к тебе... Знаю, что должен был, да не мог! Вот... Послушай, я приду, как только удастся улучить минутку. Просто умираю хочу тебя видеть, не могу дождаться и очень боюсь сегодняшнего дня... Как-нибудь разобью день и выскочу... Алло... Алло... Никуда не уходи, слышишь? Не уходи, я еще позвоню. Пока!

Кладет трубку. Затем несколько раз проверяет, работает ли телефон. Вынимает бритву, кисточку и зеркало, тупо смотрит на них. Снова набирает номер.

Больше, чем когда-либо, ощущается смутность всего происходящего, неясно, работает ли телефон, есть ли кто-нибудь на другом конце провода. В поведении Билла то просветление и ясность, то он мямлит, путается, разговаривает сам с собой.

Порой отпускает шутки, бодрится, иногда чувствуется, что разговор идет с настоящим собеседником.

Билл обращается с телефоном то заискивающе, то высокомерно, равнодушно, оскорбительно или со страхом. Больше всего боится, что его прервут, боится молчания на другом конце провода.

Б и л л *(по телефону)*. Анна? Ну как ты?.. Прости... А ты не принимала таблетки?.. Тогда ничего удивительного... Значит, ты мне звонила... О, брось, пожалуйста, дорогая, я знаю, что это была ты. Я чувствую, когда ты бросаешь трубку... Нет, я ночевал здесь, хочешь — верь, хочешь — нет... Такси не было, и я шел пешком... Ты, видно, звонила, чтобы узнать, где я, а не что со мной... Ах, отлично, особенно после этого милого визита и после твоих друзей... Не так уж было весело, верно? Да, ты имела успех, как всегда... Вовсе я не злюсь — ты его вполне заслуживаешь. Просто чем больше они меня презирают, тем более восхитительной, смелой и благородной выглядишь

ты... Порой мне кажется, что ты — моя единственная опора: прогони меня, и я исчезну, вынужден буду исчезнуть, ничто мне не поможет, и я буду, словно в капсулу закупоренный, мотаться в космосе, невесомый, спеленатый и беспомощный, как слепой младенец, вырезанный вместе с больной маткой из чрева... Нет, я не уйду от тебя... Я же говорил, что не уйду... Это ты от меня уходишь. А насчет воскресенья — это исключено, исключено, говорю тебе. Да, да. Насчет Лиз не знаю. Она тоже меня бросит рано или поздно... Конечно, едет со мной... Потому что я не видел ее месяца полтора, черт возьми, и не могу без нее... А я таков и есть и этого не отрицаю... Джейн я вижу каждый божий день, и уж кто-кто, а она будет рада от меня отделаться, когда придут ее дружки... Наверно, потому, что я для нее настырное, злобное ничтожество, да к тому же и джинсы эти срамные стянул с нее... Что ты все твердишь «любовница»?.. Из простой вещи делаешь мелодраму... и слово-то это у тебя звучит, как «птеродактиль»... Эдак, чего доброго, наживешь рак легких... Или что-нибудь еще... А знаешь, она почти то же самое говорит о тебе... только, я бы сказал, немного... остроумнее... Да, она очень остроумна... О, что-то о твоей раззолоченной прическе... И еще о платьях: как это она их называет — помесь дерюги с бархатом. Не знаю, кто-то, видно, описал ей... Нет, не я... Ладно, обе вы не умеете одеваться... Знаю, знаю, но эти «любовницы», как ты их называешь, обычно менее терпимы, чем жены. И заметь, менее деспотичны, зато уж и великодушия нет никакого... Нет, это я наговариваю на нее... Да, конечно, и на тебя тоже. Послушай, а Джейн ушла? Ты не передашь ей трубку?.. А затем, что я хочу с ней поговорить... Пусть я никудышный отец, но лучше многих, и, в конце концов, могу я кое о чем спросить у дочери по телефону? Ведь если она не захочет, то может сама отказаться. Только не настраивай ее против меня.

Молчание.

Джейн? Привет, дорогая, как дела?.. Да я ничего, по старому, более или менее... Все же скорее менее, чем более. Ну а как твоя драма? Я не про сердечную драму, если она у тебя уже есть, я про твои уроки — дикция, импровизация и все такое... Ну что ж, прекрасно, я рад. Ты этого заслуживаешь. Вот увидишь, я еще доживу до того дня, когда ты заблистаешь. Ну, когда тебе будет лет тридцать... Я хотел спросить, ты не заглянешь ко мне сегодня?.. Утром, в любое время... Нет, ничего особо важного, просто доставь мне удовольствие, найди для меня минут десять... Мы бы вместе позавтракали, если ты... Ну, а нельзя прогулять урок дикции или что там у тебя? Ты и так прекрасно говоришь... Совсем не льщу... И не подкупаю. Честно говоря, от этих народных песен и декламаций стихов у меня уже по коже мурашки бегают: прошу тебя, зайди хоть на несколько минут перед уроком... Вот и прекрасно! Я куплю тебе надувную подушку для следующего марша в Олдермастон. Да и на Трафальгар-сквере пригодится, будет мягче отсиживать свою... Ну, извини меня, уже девять, а диван здесь не больно-то удобный... Большое спасибо, дорогая... Долго я тебя не... Что? Ладно, давай ее.

Молчание.

Алло... Право, не знаю... Нет, верно... Хлопотный день. Хадсон теперь почему-то все время пропадает в суде. А от Джонса мало проку... Конечно, все дело в том, что я его недолюбливаю. Ну, ладно, куда ни шло — пусть себе работает, но я бы запел совсем другое, вздумай он жениться на моей дочери. Молю бога, чтобы она этого не захотела... Конечно, не пьян, просто вчерашний угар понемногу

выветривается под действием трех таблеток, вот и все. Впрочем, Джейн наверняка выскочит за какого-нибудь пробуждающегося африканца. Может, чуть-чуть, не знаю. Конечно, если она еще не заплатила девственностью за убеждения... Говорю тебе, не знаю. Мне нужно еще раз повидать миссис Гарнси. Конечно, все испорчу и уже испортил, но она еще придет ко мне хныкать, а потом эта Тонкс против Тонкса — не то домогательство, не то насилие — не помню сейчас, и один директор банка, отъявленный жулик, и еще... Конечно, мы видимся, ты это должна знать и знаешь... Я тебе сообщу и приду... когда смогу... Знаю, что будешь... Я тебя люблю. Только от этого радости мало, правда?.. Слушай, прими таблетку и ложись в постель... Ну ладно, как знаешь. И еще вот что — не отговаривай Джейн идти ко мне. А это уже ни к чему. Ну, если так уж хочешь, если сможешь... Пока.

Кладет трубку. Из приемной доносится шум. Он зовет.

Джой!

Ответа нет. Он встает, выглядывает за дверь. Там никого. Возвращается, смотрит на часы. Снимает трубку, набирает номер. Ждет. Никто не отвечает. Он ждет, потом начинает разглядывать свой большой палец. Кладет трубку. Не знает, чем заняться. Из приемной снова доносится шум. На этот раз кто-то действительно вошел. Билл вслушивается. Никто не появляется, и, не в силах этого вынести, Билл кричит:

Джой! Джой!

Входит Хадсон, на ходу снимая плащ. Взглянув на диван, сразу обо всем догадывается.

Хадсон *(многозначительно)*. Привет ранней пташке!

Билл. Ох...

Хадсон. А где же дама?

Билл. Упорхнула.

Хадсон. Ну и как она?

Билл. Великолепна.

Хадсон. Славно, славно.

Билл. Еще бы. Она любого вымотает в пять минут, скажу тебе.

Хадсон. Приятно слышать.

Билл. Ну, а что же будет с Шерли?

Хадсон. А что такое?

Билл. Как, по-твоему, она вернется?

Хадсон. Нет. Поминай как звали.

Билл. Правда?

Хадсон. Вчера вечером она звонила Джой и просила прислать ее трудовую карточку.

В приемной снова шум.

Билл. Это Джонс, не пускай его сюда, не желаю его видеть.

Хадсон. Кажется, ты наконец нашел достойную партнершу.

Билл. Ты это о чем?

Хадсон. Может, отдохнешь денек?

Билл. Слишком много дела.

Хадсон. Что у тебя с пальцем?

Билл. Просто смотрю на него. Побаливает. Но смотреть интересно. Я еще ни разу не разглядывал его как следует. А ты? Может, это рак?

В комнату заглядывает Джонс.

Джонс. Здравствуйте!

Хадсон. Здравствуй. Ты на своем мопеде?

Джонс. Да.

Хадсон. Тогда иди погрейся.

Джонс. Значит, Шерли нет?
Хадсон. Нет. И не будет.
Джонс. А где Джой?
Хадсон. Проспала, наверно.
Джонс. Так я разберу почту.
Хадсон. Да, на твоем месте я бы так и сделал.
Джонс. А что тут у вас?
Хадсон. У шефа с утра рак.
Джонс. Где?
Хадсон. На большом пальце.

Джонс выходит.

Билл. Слава богу, убрался. А ты, наверно, опять весь день в суде?
Хадсон. Боюсь, что да.
Билл. Почему вы все взваливаете на меня?
Хадсон. А что прикажешь делать?
Билл. Не знаю.
Хадсон. У тебя есть Джонс.
Билл. Благодарю покорно. Можешь забрать его себе.
Хадсон. Ну, ладно, я пошел. Кстати, как у тебя с миссис Гарнси?
Билл. Ничего не выходит.
Хадсон. Так я и думал.
Билл. Да?
Хадсон. После ее ухода мы получили ответ от мужа.
Билл. И что же?
Хадсон. По-моему, ей нечего тревожиться.

Билл смотрит на него и начинает смеяться. Снова шум в приемной.

Это, наверно, Джой.
Билл. Пришли ее ко мне.
Хадсон. Ладно.
Билл. Уолли, ты обдумал мое предложение?

Молчание.

Мое предложение, Уолли. Стать моим компаньоном.
Хадсон. Как же. По правде сказать, я все раздумываю.
Билл. Ну?
Хадсон. Надо еще чуть-чуть подумать. Если ты не возражаешь.
Билл. А что Пиффарды?
Хадсон. Они не торопят.
Билл. Да? Конечно, это крупная фирма. Что ж, ладно, раз так.

Молчание.

Джой!

Она входит.

Хадсон. А вот и она.
Джой. Вы меня звали?
Хадсон. Цветет, как роза.
Билл. Принеси почту, пожалуйста.
Джой. Мистер Джонс ее разбирает.
Билл. Тогда принеси то, что разобрано.
Джой. Сейчас.
Билл. И позвони миссис Гарнси.
Джой. Так что же?
Билл. Как что?
Джой. Что дальше?
Билл. А... Миссис Гарнси. Как бы ее не упустить.

Джой кивает и выходит.

Хадсон. Судя по твоему тону, ты потерял клиентку. Ну, я не прощаюсь.

Уходит. Билл говорит с Джой по телефону.

Билл. Джой, соедини меня с миссис Ивз.

Джой. А с этой как же?

Билл. Что? Ах, ты разговариваешь с миссис Гарнси. Договорись о встрече, пускай придет поскорее.

Джой. Ладно.

Билл. А как насчет Шерли?

Джой. Что такое?

Билл. Она не придет?

Джой. С какой же стати?

Билл. Ты думаешь, она на самом деле ушла?

Джой. Конечно.

Билл разглядывает свой палец. Зуммер.

Билл *(снимает трубку)*. Лиз? Прости, пожалуйста. Это все потому, что будет трудный день. Я уже вижу... Да, все в порядке. Только палец побаливает... Ясное дело, рак. Но послушай-ка, ты ведь никуда не уйдешь? Что бы ни случилось, жди меня и не уходи, поняла? Прекрасно. Спасибо... Но не уходи... Пока.

Джой приносит несколько писем.

Джой. Вот пока все, что есть. Вы же знаете, как он копается.

Билл. Ладно. Давай сюда. Ты дозвонилась миссис Гарнси?

Джой. Да, я с кем-то там говорила. Кажется, с сестрой.

Билл. Закрой дверь.

Она закрывает дверь.

Джой. Говорит, что она передумала.

Билл. Передумала?

Джой. Говорит, что да.

Билл. А ты объяснила, что мне очень важно еще раз повидать ее?

Джой. Конечно. А она попросила, чтоб вы прислали счет.

Билл. Но я хотел бы повидать ее еще раз.

Молчание.

Джой. Так послать счет?

Билл. Что? Ах, да, пожалуй. Или нет. Не посылай.

Джой. Все равно без толку.

Билл. Как ты себя чувствуешь сегодня?

Джой. Превосходно.

Билл. Оно и видно, скажем прямо.

Джой. Благодарю вас, мистер Мейтленд.

Билл. Добралась благополучно?

Джой. Да ведь было всего полвосьмого. Это не то что на весь вечер.

Билл. Извини меня.

Джой. За что? Мы прекрасно провели время. Разве нет?

Билл. По-моему, да.

Джой. Только немножко дуло из-под двери. И хорошенький был номер, когда я открыла дверь вашей старухе!..

Билл. Но ты не жалеешь?

Джой. Может, у нас будут еще встречи в других местах. А если нет, что ж... Она очень интересная.

Билл. Ты находишь?

Джой. А вы — нет?

Билл. Да, да. Конечно. Среди вас так много интересных.

Джой. Я жалею только об одном, но это для меня не новость.

Билл. О чем же?

Джой. Билл.
Билл. Да, Джой?
Джой. У меня есть один недостаток. Конечно, не только один, но этот всего заметней. Понимаете, мне все время нужен мужчина, я хочу сказать — всегда, каждую минуту.
Билл. Джой, поверь, женщине вовсе не грех признаваться в этом.
Джой. А на деле как раз наоборот. Ведь правда? Мужчины тебя не уважают, сама себя не уважаешь, и всякая прочая дребедень. Верно?
Билл. Верно.
Джой. То-то и оно. Поэтому я всегда чувствую себя виноватой. Глупо, но факт. И потому мне обязательно надо добиться признания: «Я вас люблю». И тогда... тогда я тоже говорю: «Я вас люблю».
Билл. И что это дает?
Джой. Что дает? На душе легче.

Молчание.

Понимаете?
Билл. Прости.
Джой. Не за что. Ведь вы меня не любите. И я вас не люблю. Но это неважно. Верно? *(Небрежно целует его.)* Вы забавный Только запуганный, да?
Билл. Да.
Джой. Ладно, Джой вас не оставит. До поры до времени. С чего начнем трудиться?
Билл. Не знаю. Просто будь рядом.
Джой. Идет.
Билл. У меня дело этой Тонкс. И того парня. Домогательство, кажется, или насилие?
Джой. Спросить мистера Джонса?
Билл. Нет. Сиди на коммутаторе.
Джой. Хорошо, милый.
Билл. Да, тут придет моя дочь.
Джой. Когда?
Билл. В течение утра. Пропустишь ко мне сразу.
Джой. Ладно. До скорого! *(Выходит.)*
Билл *(кричит вслед)*. Да, попробуй-ка все-таки связаться лично с миссис Гарнси, я хочу поговорить с ней. А если не выйдет, то напомни послать ей письмо.

Входит Джонс.

Билл. Что у тебя?
Джонс. Джой сказала, чтобы я принес остальную почту.
Билл. Отлично.
Джонс. Тут не очень-то много.
Билл. Да, не богато. Поступили какие-нибудь деньги? Новые дела? Или неприятности?
Джонс *(тупо смотрит на него)*. Вот, больше ничего нет. Хадсон велел мне разобрать для вас почту.
Билл. Разобрать? Да, конечно. Как ты считаешь, старик Уолли уйдет от нас?
Джонс. Понятия не имею. Правда, Пиффарды предлагают ему место.
Билл. А твое мнение?
Джонс. Что ж, это солидная фирма. Разве не так?
Билл. Очень даже.
Джонс. Уголовных дел немного.
Билл. Да.

Джонс. Все больше клевета?
Билл. Этого полным-полно. Тебе нравятся такие дела?
Джонс. О клевете? Нет, не особенно.
Билл. А что тебе особенно нравится?
Джонс. Не знаю. Все одинаково, когда вникнешь в суть.
Билл. Ну, а если бы эти... Пиффарды предложили работу тебе, ты бы пошел?
Джонс. Мне вряд ли предложат, кто я такой?
Билл. Да, конечно.

Молчание.

Джонс. Я что-нибудь напутал?
Билл. Отнюдь. Признаюсь, я пытался поймать тебя на удочку. Но ты, как всегда, вывернулся. Хоть и не сразу. Ты человек упрямый, упрешься — и ни с места. Зато смотреть вперед умеешь — истый сын ракетного века, нового века свершений, с его обтекаемыми устоями, ясным сознанием целей, предвидением новых научных горизонтов... А если мистер Хадсон уйдет, как ты считаешь, ты сможешь занять его место?
Джонс. Не знаю. Может быть.
Билл. А вдруг нет? Тогда уйдешь в другую контору?
Джонс. Опыта у меня еще маловато, посижу здесь, поучусь.
Билл. Ты прав. Это здравая мысль. Что там у тебя?
Джонс. Тонкс против Тонкса, Андерсон против Андерсона и Мэплс. Да еще вот сопроводительное заявление.
Билл. А что это за Мэплс?
Джонс. Домогательство.
Билл. Так чего ж ты мне его суешь?
Джонс. Мистер Хадсон считает, что этим лучше заняться вам.
Билл. Понятно. Дело посылали адвокату?
Джонс. Мистер Хадсон сказал, что, может, вы захотите сами побеседовать с мистером Уинтерсом, но он считает, что Уинтерс его не возьмет.
Билл. Возьмет, если я попрошу.

Оба настроены недоверчиво.

Джонс. Что ж, если вам угодно, я сегодня же утром передам дело мистеру Уинтерсу.
Билл. Нет, я сам. Только сначала поговорю с Мэплсом. А то, если послать его сразу к Уинтерсу, он начнет копаться в мелочах. Что ты можешь сказать о нем?
Джонс. О Мэплсе? Да почти ничего.
Билл. Почему же?
Джонс. Он только мычит да хмыкает. И заикается.
Билл. Видно, просто нервничает. Ведь полиция возбудила против него дело.
Джонс. И потом, он какой-то фальшивый.
Билл. Тебе кажется, что он хитрит?
Джонс. Да, пожалуй.
Билл. Ты веришь его версии?
Джонс. Она звучит сомнительно, не правда ли?
Билл. Да.
Джонс. Вот попади он к старику Главеру, ручаюсь — он пропал. Зачинщик и все прочее — шесть месяцев тюрьмы.
Билл. Будем надеяться, что старая скотина сломает себе ногу. Хотя он, кажется, за всю жизнь не пропустил и дня. Сэр Уоткин Главер, заместитель председателя,— З. П., что значит Злобный Проходимец.
Джонс. И еще мистер Симли.

Б и л л. А это кто? Ах, да, директор банка, жулик. Хотелось бы что-то сделать для Мэплса. Когда ему назначено прийти?

Д ж о н с. В одиннадцать.

Б и л л. Устрой так, чтобы я не заставлял его ждать.

Д ж о н с. Меня не будет.

Б и л л. Ах, да. Тогда скажи Джой. Нам бы только найти надежного человека.

Д ж о н с. Что?

Б и л л. Ну, свидетеля.

Д ж о н с. А-а.

Б и л л. Такого нет?

Д ж о н с. Нет.

Б и л л. Ладно, посмотрим. Мне нравится фамилия Мэплс. Больше, чем Пиффард. Пусть Джой принесет мне воды.

Д ж о н с. Хорошо.

Б и л л. Эти уголовные дела обычно решают люди, которые ни во что не хотят вникать. Они лишь «знакомятся» с показаниями, да и не только они. Как ты думаешь, в один прекрасный день донесут на меня в Ассоциацию? Кто-нибудь пошлет анонимку, и придет повестка: пожалуйте оправдываться в нарушении профессиональной этики. Интересно, кто это сделает? Но кто-нибудь непременно сделает, это уж как пить дать. Удивительно, что этого до сих пор не случилось. Понимаешь, мне уже грозили. Кто-то от Пиффардов, ясное дело. Но пока все ограничилось угрозами. Непонятно почему. Это, конечно, Милсон, а не старик, тот не хотел со мной связываться. И теперь найдется какой-нибудь молодчик, интересно, кто? Кто-нибудь...

Молчание.

Д ж о н с. Я слыхал, вы упустили миссис Гарнси.

Б и л л. Что значит «упустил»?

Д ж о н с. Ну, мы упустили миссис Гарнси. Наша фирма.

Б и л л. Фирма? Я как раз пишу ей письмо. Это недоразумение. Я ее чем-то спугнул. Так и чувствовал — ускользнет. Не гожусь я для таких дел. Это для вас с Хадсоном. Вы умеете к ним подойти, а я — нет. Я чем-то отталкиваю клиентов, и они, видно, правы, что отворачиваются... *(Листает бумаги на столе.)* А ты никак не сможешь взять это дело?

Д ж о н с. Вы же знаете, чем мы заняты. Ну ладно, я пойду. Вы, кажется, просили стакан воды?

Б и л л. Когда ты женишься?

Д ж о н с. Еще не знаю. По правде сказать, не задумывался об этом. В таких вещах торопиться не следует. Ведь правда?

Б и л л. Да. Если не тянет...

Джонс выходит. Билл достает ходатайство о разводе и начинает негромко его читать.

«В Верховный суд, ведомство по разводам, ходатайство. Составлено для апелляции в Верховный суд, января 27 дня, 1964 года. Морин Шейла Тонкс покорнейше просит...» Морин. Помню, помню. Обычно — не каждый раз, но почти всегда, когда мы бывали вместе,— носила вязаные костюмчики, ей мать вязала. Они садились после стирки и были отвратительного цвета, и юбки слишком короткие, ее это волновало. И меня тоже, но она вечно скулила, жаловалась на боль, да, на боль в самом прямом смысле. С ней ничего толком не вышло. А право, жаль, у нее были такие удивительные синие глаза и волосы черные, как вороново крыло. Чисто английская красота, так говорила ее мать. Английская красота. Шейла. Да, я помню их

обеих. Шотландка, белокожая, с веснушками. Она ездила на мужском велосипеде, и плевать ей было на всех. Лезла с кулаками, как мальчишка, но тоже распустила нюни, когда дошло до дела.

Джой *(входит)*. К вам миссис Тонкс.

Билл *(встает)*. А, добрый день.

Входит миссис Тонкс. Это та же самая женщина, что и миссис Гарнси. Ее играет та же актриса.

Садитесь, пожалуйста. Чаю или кофе?

Миссис Тонкс. Большое спасибо, я не хочу.

Билл. Хорошо. Вы свободны, Джой.

Джой выходит.

Так. Прекрасно. Я вам сейчас дам эту бумагу, пожалуйста, взгляните. Читайте очень внимательно. Это ваше ходатайство, а вторая бумага покороче — дополнительное заявление. Мистер Хадсон только что подготовил его, и тут могут быть кое-какие...

Молчание.

Хорошо?

Миссис Тонкс *(кивает, начинает читать)*. «Морин Шейла Тонкс покорнейше просит». Так. «Двадцать первого апреля 1958 года истица, Морин Шейла Тонкс, урожденная Морин Шейла Уильямс, незамужняя, вступила в законный брак с Ричардом Джорджем Тонксом, ниже именуемым ответчик, в церкви прихода св. Хильды в графстве Лестер». Все так. «После вышеупомянутого бракосочетания истица и ответчик совместно проживали по нескольким адресам, а приблизительно с октября 1960 по август 1963 года в доме 42 по Макуильям-стрит...»

Билл. «Совместно проживали».

Миссис Тонкс. «Покуда в связи с жалобой истицы на жестокое обращение ответчика 12 августа 1963 года Кингстонский суд не постановил, что истица не обязана более жить совместно с ответчиком и что последний обязан выплачивать ей еженедельно два фунта семнадцать шиллингов содержания».

Билл. Переходите к пункту девятому.

Она ищет.

Вот он, здесь.

Миссис Тонкс. Ага. «Поскольку ответчик регулярно и систематически предъявлял к истице супружеские требования, которые она, как ему было известно, считает чрезмерными и недопустимыми».

Билл. Регулярно и систематически. Простите... Ваш муж, давая объяснения, кстати, не слишком последовательно, показал следующее. Вот. «С первого по седьмой пункт все верно. Пункт восьмой я отрицаю, так как не был жесток с женой». И вот, пункт девятый. «Я отрицаю, что являюсь человеком с повышенной чувственностью. Наши отношения всегда были построены на взаимности».

Молчание.

Вам нехорошо?..

Она отрицательно качает головой.

Тогда продолжим.

Миссис Тонкс. Вот. «Во многих случаях... случаях предъявлял свои требования по три, а то и по четыре раза в день. У него вошло в систему...»

Билл. Пункт двенадцатый. Ваш муж утверждает, что в заявлении содержится грубое преувеличение подлинных фактов.

Миссис Тонкс. «Ответчик предъявлял супружеские требования также во время недомогания у истицы, что имело место в доме 42

по Макуильям-стрит и в доме 11 по Уикер-стрит, невзирая на все просьбы...»

Билл. «Между нами возникали трения. Моя жена бывала неудовлетворена».

Миссис Тонкс. Так. «Во многих случаях в ответ на все просьбы он...»

Билл. «Моя жена не менее трех раз обращалась в женскую консультацию, и ей сказали, что все осложнения объясняются ее холодностью».

Миссис Тонкс. «И хотя он знал, что истица находит его обращение возмутительным и отталкивающим...»

Билл. Ну при чем тут холодность? Конечно, попадаются женщины, вроде Морин, и даже с тобой у нас бывали осложнения, но ничего возмутительного или отталкивающего... Во всяком случае, мне так кажется... Ты не была холодна и заслуживала счастья, ты не цеплялась за свое сокровище, была великодушной, любящей, веселой. Тебе надо было стараться... Мне надо было стараться...

Миссис Тонкс. «Он говорил истице, что ему нравятся звуки...».

Билл. «Родить еще одного ребенка. Еще одного ребенка. Но она не последовала этому совету».

Миссис Тонкс. «Он решил вступить в связь с женщиной, жившей на той же улице, и называл ее...»

Билл. «Потому что она сказала, что это мерзость. Мерзость и грязь».

Миссис Тонкс. «...он постоянно называл ее «толстая рыжая шлюха».

Билл. Интересно, крашеная или натуральная? Но это так, между прочим.

Миссис Тонкс. «...Не менее одиннадцати раз за время супружества он пытался...»

Билл. «Я отрицаю, что настаивал».

Миссис Тонкс. «И добивался своего».

Билл. «Во всем этом нет ни слова правды...»

Миссис Тонкс. «Силой вынуждая истицу удовлетворять...»

Билл. «Я всегда уважал чувства моей жены и особенно...»

Миссис Тонкс. «Свои постыдные притязания». Так. «В марте 1961 года, когда истица была беременна на седьмом месяце дочерью Лаурой, ответчик жестоко избил сына Эдварда тяжелой щеткой, приобретенной...»

Билл. «Во всех этих обвинениях нет ни слова правды...»

Миссис Тонкс. «После упомянутого события, имевшего место 19 июля 1961 года...»

Билл. «Все вышеизложенное совершенно не соответствует действительности. Я допускаю, что в ряде случаев. В ряде случаев...»

Миссис Тонкс. «Истица покинула ответчика».

Билл. «...был не на высоте своих супружеских обязанностей. Жена ушла от меня 12 сентября 1963 года».

Миссис Тонкс. «В связи с чем истица покорнейше просит, чтобы суд решил дело в ее пользу и вынес следующее постановление: 1. Что упомянутый брак расторгается. 2. Что под ее опеку передаются дети, рожденные в этом браке. 3. Что все судебные издержки обязан покрыть ответчик».

Билл. «На протяжении всей нашей совместной жизни ее не покидало состояние нервной взвинченности. Она всегда была в подавленном настроении, обращалась к врачам, но это не помогало. Я сделал все, что было в моих силах». Подписано: Ричард Джордж Тонкс.

Молчание. Входит Джой.

Джой. Простите, но там пришла миссис Андерсон. Как с ней быть?

Билл. Мистер Джонс еще здесь?

Джой. Он собрался уходить.

Билл. Задержите его. Ему еще рано. Я его не отпускаю. Нам необходимо... Миссис Тонкс, будьте любезны, пройдите в соседнюю комнату. Вы ведь знакомы с мистером Джонсом? Тут предстоит еще кое в чем разобраться, это надо сделать непременно. Договорились?

Она улыбается.

Ко мне пришли. Но вами сейчас займутся. Сейчас. Вы не думайте, я вовсе не собираюсь передавать ваше дело другому. Договорились? Джой займется вами. Я уверен, что теперь вы не откажетесь от чашечки кофе?

Джой уводит миссис Тонкс. Билл берет другое ходатайство.

Одри Джейн Андерсон. Одри... Помню Одри. И даже Одри Джейн. Я считал ее слишком шикарной... И напрасно. Она изучала ораторское искусство, любила танцы и носила лакированные туфли. Кажется, так. Не уверен.... А ведь думал, никогда не забуду. Что же это будет дальше, просто ума не приложу. Не могу вспомнить даже таких пустяков. Как бы прекратить это? И укрепить память? Укрепить. Не получается, все напрасно. Не могу даже сосредоточиться... А к чему мне все это? Ничего хорошего тут нет. Наверно... Наверно, во мне до сих пор живет крошечный, почти угасший интерес. Где-то в глубине души. Одри Джейн Андерсон. Вот она, расплата, теперь не отвертишься.

Джой вводит миссис Андерсон. Это снова та же самая женщина.

А-а, садитесь, пожалуйста. Хотите кофе или чаю?

Миссис Андерсон. Спасибо, нет.

Билл. Как угодно. Вы свободны, Джой.

Джой выходит.

Так. Прекрасно. Вот вам бумага, миссис Андерсон. Будьте любезны взглянуть. Это просто первое черновое изложение того, что с ваших слов записывали мистер Джонс и мистер Хадсон. Полагаю, что нам потребуются уточнения. Вы понимаете?

Она кивает.

Хорошо. Тогда приступим.

Миссис Андерсон. «Одри Джейн Андерсон утверждает нижеследующее».

Билл. В чем же дело? Тебе все безразлично, я ничего тебе не даю, ты меня боишься и ненавидишь.

Миссис Андерсон. «Брак был зарегистрирован в Киддерминстере. Прежде в браке не состояла. Девичья фамилия Уолл. Муж тогда служил в почтовом отделении. Наша брачная жизнь...»

Билл. «Брачная жизнь...» Как это звучит!

Миссис Андерсон. «Наша брачная жизнь некоторое время протекала нормально и вполне счастливо. Были трудности в связи с тем, что в течение двух лет мы жили в доме моей матери, на Чэдакр-роуд, 148».

Билл мучительно силится собрать воедино и удержать в памяти факты. Это дается ему с огромным трудом.

Билл. Два года... Знаете, Одри, нечего надеяться, что к вам будут хорошо относиться. Да, нечего. И все-таки вы надеетесь и всегда будете надеяться, я знаю.

Миссис Андерсон. «Разрыв произошел, когда я была беременна нашим сыном Патриком Джоном».

Билл. Патриком Джоном.

Миссис Андерсон. «Родители убедили меня вернуться к нему».

Билл. Надо всегда спрашивать себя: это опасно или нет? А потом уж решать. Если сумеете... да, если сумеете...

Миссис Андерсон. «Когда муж переменил работу и поступил разъездным агентом в фирму, выпускающую электроприборы, жизнь стала совсем несносной. Иногда он целыми днями сидел дома, а когда уезжал на день или два, то упрекал меня потом, что я в его отсутствие гуляю с мужчинами».

Билл. Ну что ж. Она уверена, что чуть ли не все женщины в Лондоне мои любовницы. Обе они так думают. И хоть бы это была правда! А то просто обидно. Нет, слава богу, это не так.

Миссис Андерсон. «Он говорил, что мое место на панели».

Билл. Там бы мы и встретились. И я — это еще не самое худшее.

Миссис Андерсон. «Я никогда ни с кем не бывала, кроме мужа».

Билл. В том-то вся и беда, обманутые любящие дурочки! Вы слушаетесь дамских журналов, и епископов, и своих маменек. И на том стоите.

Миссис Андерсон. «А он знай твердил свое...»

Билл. Поездки, понаслушался.

Миссис Андерсон. «Видно, ничего не мог поделать с собой. Он измучил меня любовью, предъявлял свои супружеские права по два и три раза в день. Старался изо всех сил. Но беда не только в этом, и даже совсем не в этом. К этому я бы как-нибудь привыкла. Ведь я же знаю, он хороший человек, по-настоящему добрый. И ко мне был добр».

Билл. «Я люблю тебя». Он никогда этого не говорил, нет, едва ли. Он перестал, ему было трудно произнести: «Я люблю тебя». А нужно раскачать и швырнуть в лужу вам под ноги огромную глыбу этого «я люблю тебя», вот тогда вы нырнете и вынесете любовь в зубах, задыхаясь от благодарности, как глупая собака.

Миссис Андерсон. «Детей любит, всегда с ними возится и приносит им подарки. Моя сестра обычно смотрела у нас телевизор, но я и в это время редко куда уходила. Мы побывали у врача, и он заставил меня поехать на две недели в Уэймут отдохнуть».

Билл. Я часто думаю о смерти, о том, как я умру. И о ней. Как она станет вдовой. Как будет носить траур. О том, что она наденет и где закажет черное платье. У нее нет подходящего. А у Лиз — есть, но не думаю, чтобы она пришла на похороны. И это тревожит меня. Мне тяжко думать, что ее там не будет. Я просил ее прийти, и она обещала, но это страшно глупо, и я понимаю, что прошу слишком многого, особенно как подумаю, что она встретится с Анной в трауре. Интересно, до платьев ли им будет? В крематории кругом светлый дуб и медные электрические светильники, и новехонькие алые подушечки, чтоб становиться на колени, когда молишься. И румяный попик, который за тридцать монет с головы читает отходную, пока я, постукивая на маленьких рельсах, проезжаю позади него и исчезаю за черным занавесом, точно багажный вагончик призрачного поезда из царства грез в парке с аттракционами. И весь этот шум...

Миссис Андерсон. «Я получаю государственное пособие. Три фунта двенадцать шиллингов в неделю. Не работаю с начала мая».

Билл. А вам на самом деле нравилось работать? Любовь вас не привлекала. Так, может, это была новая попытка, а? Попытка за что-то ухватиться, остановить неотвратимое?

Миссис Андерсон. «Я до сих пор нахожусь под врачебным наблюдением. И все время вела хозяйство ответчика — не считая последних двух недель. Он не трогал меня с августовских праздников. Несколько недель даже спал в другой комнате, но часто плакал, и я не могла заснуть. Иногда мы оба плакали. Он сказал, что уйдет от меня. А я ответила, что если так — лучше уйду я сама. Я все-таки желаю ему счастья. Мы покупаем дом и уже выплатили деньги за телевизор. Он сказал, что намерен откладывать на машину в кредит, и по субботам мы все будем выезжать к морю. Я уверена, что он говорил правду. Я вижу, он хотел этого, действительно хотел».

Билл. Было время, когда я думал о том, что умрет она. Нет, нет, не обязательно Анна! И я пустился бы по новой дорожке, где лишь мокрая глина и цветы. Может, одному мне и удалось бы вырваться из этой дыры — одному, полагаясь только на себя. Зашел бы в «Лион», заказал чашку кофе и булочку с маслом, одну, а не две. Посматривал бы вокруг, и вдруг к горлу подкатил бы комок, и я почувствовал бы, что не могу пить кофе, и тихо улыбнулся бы цветной девушке, которая моет тарелки, просто потому, что она — цветная, горло свела бы судорога при мысли о смерти, и я стал бы внушать себе, будто мы с ней были друзьями. А потом вдруг я окончательно потерял бы голову и купил себе новый костюм. Что-нибудь слишком яркое для моего возраста и комплекции. Я смело вошел бы в бойкий магазинчик и купил что-нибудь из готового. И несколько сорочек. Выбросил бы все старые и купил бы хлопчатобумажные сорочки, от которых такой свежий запах, и целую кучу больших носовых платков. Все новехонькое. И бродил бы, пытаясь вспомнить Лондон, восстановить его в памяти, а в карманах звякала бы мелочь для уличных музыкантов.

Миссис Андерсон. «Я часто экономила. Просто обходилась без новых вещей или перекупала задешево у сестры».

Билл. А может, поехал бы автобусом. Одиннадцатым или тридцать восьмым — от конца до конца. Скажем, от Патни до Хэкни.

Миссис Андерсон. «Иногда он возвращается после работы ночью или рано утром. Прежде чем я успеваю встать и приготовить ему завтрак».

Билл. И обедал бы один, не спеша. Сигара и рюмочка кальвадоса или бургундского. Или... э... э... пошел бы в кино или в театр, совсем один, только новое пальто да новая книга, ее я почитаю, когда вернусь домой, перед сном, почитаю какой-нибудь новый роман, может написанный женщиной. Что-нибудь волнующее и неожиданное. Что-нибудь такое, о чем я и не думал не гадал, что-нибудь новенькое, но чтобы не слишком волновало. Легкое, спокойное. Новое, но про старину. Что-нибудь эдакое. Какую-нибудь пухлую биографию, что-нибудь скандальное, про маршала Холла. Или про Руфуса Айзекса. Одним словом, новенькое...

Миссис Андерсон. «Он говорит, что я ненормальная. Говорит, что женщины такими не бывают».

Билл. Моя смерть и ее. А может быть, их? Ваша. И моя. Кто же будет первым? А?

Миссис Андерсон. «Он говорит, что я тупая, безмозглая и необразованная. И не умею вести хозяйство, даже в бордель не гожусь. А я ничего этого про себя не знала, значит, я и впрямь несчастная и полоумная».

Ее голос падает, но она собирается с силами, чтобы дочитать до конца.

Билл. Так. Хорошо. Джой!

Входит Джой.

Миссис Андерсон. «Я знаю, от меня ему мало радости. Он унижает меня. И ненавидит. Я бы и рада помочь ему. Если бы можно было все вернуть...»

Джой трогает ее за плечо, и она выходит.

Молчание.

Билл. Джой!

Джой. Да?

Билл. Соедини меня с мистером Уинтерсом.

Джой. Сейчас.

Билл. Скажи ему, что дело срочное.

Джой. Внизу ждет мистер Мэплс. Пропустить его к вам?

Билл. Нет. Я хочу сначала поговорить с Уинтерсом. А уж потом... Ты позаботилась о миссис Тонкс?

Джой. Она ушла.

Билл. Ушла?

Джой. Именно. Сейчас вызову Уинтерса.

Выходит. Вскоре раздается ее голос.

Мистер Уинтерс сейчас занят.

Билл. Да, конечно. Ведь у него Хадсон, верно?

Джой. Сейчас узнаю.

Молчание.

Они говорят, что мистер Хадсон уже ушел.

Билл. Что с ними со всеми творится? Ладно, соедини меня с Робертсом.

Молчание.

Это старший клерк Уинтерса. Ну же. Ты-то хоть будь человеком.

Молчание.

Джой *(по телефону)*. Его нет на месте.

Билл. Нет на месте! Но ведь это его работа: быть на месте. Ничего другого от него не требуется.

Джой. В общем, так мне сказали.

Билл. Вот что, соедини-ка меня с ними.

Джой. Что?

Билл. Соедини, говорю. Алло! Чарли! Алло! Что там у вас происходит? Можно попросить мистера Робертса? Почему? Вышел? Никуда он не вышел. Я слышу его голос... Говорю вам: я слышу его голос... Понимаю... Хорошо... Тогда, пожалуйста, попросите... пусть он мне позвонит... когда сможет. *(Кладет трубку.)*

Джой *(по телефону)*. Пригласить к вам мистера Мэплса?

Билл. Нет. Соедини меня с миссис Ивз. Скажи Мэплсу, что я... скажи, что я освобожусь через минуту. А теперь быстренько соедини с ней, а то вдруг она уйдет.

Ждет. Очень взволнован. Зуммер.

Джой *(по телефону)*. Миссис Ивз.

Билл. Лиз! Слава богу, а то я уж думал, ты ушла. Что? Неужели? Ну, тогда мне очень жаль, но я только что звонил старику Уинтерсу. Знаешь... Словом, он не пожелал со мной говорить. Это бы ладно, но он всегда разговаривает со мной хоть полминуты, особенно если я скажу, что дело срочное, а я так и сказал. И самое забавное, я знаю, что у него сидел в это время Хадсон. Мне клялись, что его нет, а он был там... Он не мог так скоро закончить все дела. Но мы со стариком на самой дружеской ноге. Надо было в последнее время подбрасывать ему побольше работы... Вот именно... Он славный, прямой... чуть-чуть резковатый, но честный. Он даже смеется моим...

А потом еще этот его клерк Робертс. Чарли Робертс... Я снял трубку и слышу, ясно слышу, как он говорит: «Ой, скажите, меня нет или что-нибудь. Что хотите». И даже не потрудился понизить голос... Я слышал его, как сейчас тебя... Эх, Чарли. Это на него не похоже. Он туповат, вроде Хадсона. Но зато отличный работник. Знает меня пятнадцать лет... Зачем же он так... Прости, что надоедаю... Странная история... Как будет просвет — я позвоню. Нет, нет, не уходи, слышишь? А? Я должен повидать тут одного, его обвиняют в домогательстве. На это потребуется некоторое время... Да, им должен был заниматься Джонс, но он тут такого наворотил, надо все начать сызнова. И я обязан помочь... Да, трудно, конечно, трудно... Надеюсь, Джейн забежит... Скажу, что не останусь на день ее рождения. Она прекрасно знает, что я буду с тобой. Пусть наберется честности и признается, что ей наплевать, останусь я или нет, и она просто позволяет матери вертеть собой как угодно... Хорошо... Не забудь... *(Кладет трубку.)*

Джой *(по телефону)*. Можно...

Билл. Да. И постарайся все же связаться с Уинтерсом. Скажи им: я знаю, что Чарли Робертс на месте... Или нет, просто звони. А когда вернется Хадсон, немедленно пошли его ко мне.

Джой. Ладно.

Билл. И сразу же доложи. Даже если у меня клиент.

Джой. Хорошо, сэр.

Она появляется в дверях и докладывает:

Мистер Мэплс.

Входит Джонс. Джонс — Мэплс неприятен, как и Джонс, но в несколько ином стиле. Вместо наглости и узости — остроумие, воображение, даже смелость. Приступы страха у Мэплса похожи на взрывы энергии и прямо противоположны унылой неподвижности и самодовольству Джонса.

Билл. Мистер Мэплс, простите, что заставил вас так долго ждать... К сожалению... Садитесь, пожалуйста. Джой, ни с кем меня не соединяйте. Понятно?

Джой. А как же быть с Уинтерсом?

Билл. Ах, да, Уинтерс.

Джой. Ну и как?

Билл. Не знаю, слышите, не знаю. Сообразите сами. Обратитесь ко мне, если не справитесь. Но я должен заняться мистером Мэплсом, во всем разобраться. Надо довести до конца это дело.

Короткое молчание, во время которого он снова отвлекается, погружаясь в свои мысли. Они смотрят на него. Он с трудом берет себя в руки и отпускает Джой.

Ну ладно.

Джой выходит.

Наконец-то. Тысяча извинений. Вы... *(Ищет папку с делом Мэплса. Шарит среди бумаг.)* Вы... Да... вы беседовали с... мистером Джонсом?

Мэплс кивает.

Вот тут у меня довольно подробное заявление и, конечно, копия ваших показаний. И еще другие материалы... Но пока в деле много неясностей, верно? Давайте приступим...

Зуммер.

Джой *(по телефону)*. Пришла ваша дочь.

Билл. Пусть подождет.

Джой. Она говорит, что у нее нет времени. Может быть...

Б и л л. А у кого оно есть? Скажите, пусть подождет. Напоите ее чаем и обсудите вместе ваши детские глупости.

Д ж о й. Благодарю вас, я уже вышла из детского возраста!

Б и л л. Ну, этого никак не скажешь. И не отпускайте ее! Пусть непременно подождет, я должен с ней поговорить. Вот только закончу с мистером Мэплсом. Так ей и скажите. *(Дает отбой.)* Лучше все начать с самого начала. Итак, разрешите сказать вам... *(Его тревожит, что дочь ждет. Она видна зрителям в приемной.)* ...что в качестве поверенного я не требую от вас... никаких обязательств. Ровным счетом никаких. Однако, если вы хотите, чтобы я действовал в ваших интересах, вы должны видеть во мне, ну, самое королеву, что ли, предоставить мне давать вам советы, поддерживать, предупреждать, причем я даже не требую, чтобы вы говорили мне всю правду. Да это и невозможно, ведь многим, во всяком случае некоторым, трудно удержать в памяти все, как было, а уж если попал в беду — откровенно говоря, вот как вы сейчас,— и чувствуешь себя одиноким, всеми брошенным, то уж совсем теряешься, ничего не помнишь и ничему не веришь, и от человека нельзя требовать, чтобы он все рассказал по порядку... Вы не подвинетесь немного ближе к столу? Вот сюда, а то я вас плохо вижу, терпеть не могу, когда клиент сидит где-то посреди комнаты и разговаривает сам с собой. А не со мной. Давайте-ка проверим, вдруг здесь что-нибудь упущено.

Молчание.

Что вы можете сказать о себе?

Ответы Мэплса, его манера говорить постепенно становятся такими же, как и у Гарнси—Андерсон—Тонкс.

М э п л с. Что могу сказать? Человек как человек, верно?

Б и л л. Не знаю. Хотелось бы узнать вас поближе. В заявлении...

М э п л с. Там нет ничего, кроме лжи.

Б и л л. О, я знал это еще до вашего прихода.

Мэплс начинает говорить, и его речь напоминает показания самого Билла в начале пьесы. Он говорит торопливо, словно спорит с кем-то, а не просто вспоминает.

М э п л с. Ну, ладно. Меня зовут Джон Монтэгю, а Мэплсом назвали в честь моего дяди Монти Мэплса. Я женат и еще молод, хотя мне кажется, словно я никогда и не был молодым. Я всегда либо был женат, либо служил в армии, либо жил с родителями. У меня есть ребенок шести лет, девочка Дафни Сьюзен, это жена так назвала, я не хотел. Жену зовут Хильда. И это единственное имя, которого она сама не терпит, хоть тут спорить не пришлось. Я познакомился с Хильдой, когда еще служил в армии, трудное было для меня время. Но все это никому не интересно, потому что человек я самый обыкновенный, разве вот только есть у меня одна особенность, да и это не очень интересно, все равно что рост пять футов и семь дюймов или сенная лихорадка. Вообще-то я ленивый, но внутри у меня словно черт сидит. Не могу оставаться дома, а пуще смерти боюсь высунуть нос за дверь. Но иногда закатываюсь куда-нибудь, как в тот раз. То с Хильдой поссоримся, то чего-нибудь навру, мол, пришлось задержаться в магазине, и через двадцать пять минут я уже в Вест-Энде. Раньше я любил теннис и играл недурно... И бадминтон, это еще в школе. Хильда ничего этого не любит, ну и я бросил. А ведь я хорошо играл, напористо и у многих выигрывал. Нас было несколько человек, и мы играли подолгу, целые чемпионаты разыгрывали, вместо того чтобы уроки готовить. Иногда дело кончалось дракой. Бывало, я даже ревел, когда играл против одно-

го парня, его звали Шипли. Он думал, я чокнутый, но только ничего подобного. Мы были друзьями. И все. И вечно говорили о девчонках.

Билл пытается вникнуть в его слова. Мэплс замечает это и некоторое время говорит медленнее.

Простите.

Б и л л. Ничего. Продолжайте.

М э п л с. Ну так вот, с женой, Хильдой, я познакомился, еще когда служил...

Б и л л. Да, я знаю. Значит, вы...

М э п л с. У меня магазин тканей. Дело принадлежит тестю, но я его расширил. У него была старая лавка в Ричмонде, знаете, ленты, пуговицы, ситец, полотенца — всякие мелочи. Еще год, и он бы разорился. А тут мы с Хильдой обручились, я тогда еще в армии был. Я толком не знал, чем заняться, но хотел быть при деле. В армии я кое-чему научился, а вернулся оттуда — не знал, что делать. А в тканях я разбираюсь и организатор неплохой. Спровадил из лавки всех старух. По правде сказать, на моем месте это любой сделал бы. Ну, а теперь у нас три лавки — старая, магазин в Кингстоне и еще один новый — только что открыли в Хаунслоу. В ту ночь я в Хаунслоу и задержался допоздна.

Б и л л. Расскажите, как вас арестовали.

М э п л с. Ладно.

Б и л л. Чтобы мы могли это обойти.

М э п л с. Ну вот, год назад я чуть не ушел от Хильды. Влюбился. Я и сейчас считаю, что это моя первая любовь. Пусть я самый обыкновенный, но мне было невыносимо, я не мог совладать с собой, это было сильнее меня. Я всегда терпеть не мог девчонок, только сестренку любил, но и с ней было нелегко разговаривать. Она иногда становилась недоверчивой и какой-то угрюмой. А мы все время говорили о девчонках, и у нас была даже такая игра, чтоб изловчиться и заглянуть под юбку, когда они играют или поднимаются по лесенке в автобусе.

Б и л л. Бьюсь об заклад, этот Шипли в таких делах был ловкач.

М э п л с. Да. Он это ловко делал.

Б и л л. Я тоже, чего греха таить.

М э п л с. А я увлекался одним — теннисом и еще бадминтоном. Весь потом обливался, предвкушая игру, и во время игры тоже, и после; не успевал до ночи сделать уроки, и это страшно меня пугало, я и вообще-то боялся, что мне влетит из-за какой-нибудь ерунды — не смазал бутсы или не усвоил какое-нибудь грамматическое правило. И вовсе я не собирался жениться, ни на Хильде, ни на ком еще, но просто одурел от страха и вообще был дурак. Мать вечно твердила, что самое подлое со стороны мужчины — это брюхатить девчонок, и я, понятно, скоро допрыгался. И братец мой тоже. Но ему-то было плевать. У него теперь уже четверо, и он вполне счастлив, да и мать тоже. А я никогда не был к ней привязан. Отец куда лучше. Пусть он безвольный и все такое, но и она тоже тряпка, а он, по крайней мере, никому не был в тягость. Терпеть можно. Ей бы ремня дать хорошего, но сомневаюсь, чтобы от этого что-нибудь у нас изменилось. Да, я всегда недолюбливал девчонок, но и мужчин не терпел, знаете, таких, что и на мужчин-то не похожи. Я, кажется, верю в бога. И все-таки со мной это случается. Сам я никогда не начинаю, и лучше, если уже темно или погашен свет.

Б и л л. А как у вас с Хильдой?

М э п л с. С Хильдой? Сейчас лучше.

Б и л л. А... она знает об этом обвинении?

Мэплс. О да. Один из сыщиков счел своим долгом заглянуть к нам. Мы даже под конец выпили вместе, все втроем. Это я его угостил. И он согласился. Знал, что ничем не рискует,— я, даже если б хотел, не сунул бы ему взятки: не умею. Наверно, вам надо будет сказать в суде: «Жена на его стороне».

Билл. На судей производит хорошее впечатление, если сказать, что вы лечитесь.

Мэплс. Хотите знать, что мне сказал полицейский врач?

Билл. Нет, это мне известно. Вы обращались к другому?

Мэплс. Да. Он мне сочувствует. Но в остальном — все то же. Берегитесь закона, берегитесь закона, не лезьте на рожон. А я не хочу изменять себе. Хочу быть самим собой. Но я остался с Хильдой... И даже целых четыре месяца не видел Денниса, не говорил с ним. И — вдруг такое. Это произошло по дороге из нашего нового магазина в Хаунслоу. Мать Хильды хочет назвать его «салоном», но, кажется, я ее отговорил. Начал было пить, как в те времена, когда, перед тем как лечь с Хильдой в постель, напивался, и в конце концов пришлось жениться. Но и пьянство недолго мне помогало. Как вы думаете, должен я признать себя виновным?

Билл. Пока не вижу никаких оснований.

Мэплс. А это выгодно?

Билл. Признать себя виновным? Тогда дело становится ясным, вот и все.

Мэплс. Сейчас мне так этого хочется.

Билл. Ну, пока я даже этого не могу вам обещать.

Зуммер.

Джой *(по телефону)*. Простите, но ваша дочь спрашивает, долго ли еще ждать, может, ей зайти попозже?

Билл. Нет, скажите ей, пусть ждет. Я знать ничего не хочу. Пусть ждет. *(Дает отбой.)* Может быть, хотите чего-нибудь?

Мэплс отрицательно качает головой.

Мэплс. Когда-то мне казалось, что я один такой. Знаете, много лет назад. Я надеялся, что я один. Ничего подобного. Таких, как я, много. А жаль. И я ничего не мог понять. Все началось после того, как я женился, когда родилась Дафни. Однажды я по ошибке сел не на тот поезд, но в общем-то он шел почти в ту же сторону, и я остался там, стиснутый в толпе, вдруг чувствую, кто-то меня тихонько трогает... На каждой остановке люди сходили, в вагоне становилось все свободней. Нечего было так тесниться, а я не решался глаз поднять от газеты. С площадки дуло, я замерз, и тут как раз станция Ганнерсбери, недалеко от моего дома, я взял да и вышел. Иду, оглянуться боюсь, но слышу — позади шаги. Так это случилось в первый раз, я напился и очень замерз, валялся где-то на задворках недалеко от Мидлендской набережной. Был восьмой час вечера. Больше ничего не помню. Когда вернулся домой, мой обед давно перестоялся и булькал, кипел на газу, а подливка вся ушла через край, у Хильды всегда так получается: то она что-нибудь прольет, то опрокинет или сготовит слишком много, и вечно она плохо себя чувствует или не может укачать ребенка. Я тогда пошел в сад, сунул два пальца в рот, а потом все это закопал. Если б не жена, таким бы мне и остаться, переходил бы от одного к другому, хоть и не верится. Я ведь сам не ищу. Но на ловца и зверь бежит. Помню одного молодого парня, управляющего складом в Кингстоне. Знаете, что я сделал? Он был женат. На милой такой женщине, хорошенькой, они только что поженились. Ну вот, раз вечером мы

были в ресторане, напились все трое и, пока она сидела впереди...

Билл. За рулем?

Мэплс. Да, за рулем.

Билл. А вы оба сзади сидели?

Мэплс. Она и не подозревала. Да и до сих пор не подозревает, так мы были чертовски хитры. Вот и Хильда ничего не знала о Деннисе и о том, что я с ним расстался. А мы действительно расстались. Он хотел, чтобы я ушел от Хильды и начал новую жизнь. Просто умолял. Грозил, что будет донимать телефонными звонками и письмами. Но не сделал ни того, ни другого. Сдержал обещание. Я хотел со всем этим покончить и, наверно, так бы и сделал в ту ночь.

Билл. Вы и теперь не хотите с ним встречаться?

Мэплс. Хочу.

Билл. А как вы считаете, он навсегда ушел?

Молчание.

Мэплс. Да. По-видимому. А что мне за это будет?

Билл. Пока трудно сказать. Нужны еще факты. Думаю, что сэр Уоткин Главер, З. П., наверняка потребует наказания по всей строгости закона и нам обоим не сдобровать. А что там у вас вышло с полицией?

Мэплс. До этого я только раз имел с ней дело. Поздней ночью, у Тернхем-Грина. Полисмен осветил нас фонариком. Того, второго он отпустил, а у меня взял адрес и фамилию и потребовал, чтобы я с ним встретился назавтра вечером. И мы встречались, но всего три раза. Я знаю, вы думаете, что я не пытался из этого выпутаться. У меня нет больше сил. Я хочу признать себя виновным!

Билл. Нет, это невозможно, продолжайте!

Мэплс. А этот полисмен попросил у меня прикурить.

Билл. Он был в штатском?

Мэплс. Само собой.

Билл. Послушайте, постарайтесь помочь мне. Где это было?

Мэплс. На станции метро Пикадилли.

Билл. Да ведь это же безумие.

Мэпс. Конечно. Но я знал, что так будет. Вы не поверите, но бывают предчувствия. Совсем молодой, моложе меня, с копной светлых волос — у меня такие были, когда я пошел в армию, еще до Хильды и до всего этого,— он глянул на меня, ну, как обычно. Глаза у него были бесцветные, а скулы острые и какие-то хрупкие, казалось, тронешь пальцем — сломаются, но, когда он пошел, видно было, что это силач. Он пошел прямо к дому, в первый подъезд, знаете, у Риджент-Пэлес. Так оно и получилось. Там был еще один, тут меня и сцапали. Отвели в участок на Сэвайл-Роу. Вежливенько так. Я не удивился. Мы с Деннисом часто говорили о том, как это бывает. Сначала они держались очень любезно. Я было оправился от страха и забыл про осторожность, тут-то они меня и приперли к стенке. Я хотел сделать то-то и то-то. Судья скажет то-то. Им известно то-то. Тот, который попросил у меня прикурить, видел нас вдвоем с Деннисом. Он сказал, что они все знают про Денниса. И про нас обоих. Надо было выручать его. Я знал, что хуже не будет. Ну и подписал протокол. Вот он перед вами. И все. Что такое, вам нехорошо?

Билл *(едва слышно)*. Нет, ничего.

Мэплс. Вы ни слова не записали. Разве...

Билл. Не беспокойтесь, мы к этому еще вернемся вместе с Хадсоном.

Мэплс. Нет уж, лучше не надо.

Билл. Вы меня еще не знаете, мой друг, перекрестный допрос поли-

цейских — это мой конек. Но мы напустим на них Уинтерса. А больше там никого не было? Жаль, что у вас нет свидетелей.

Мэплс встает.

Джой! Как там с Уинтерсом?

Джой *(по телефону)*. Я же вам сказала: стараюсь дозвониться.

Билл. Хадсон скоро должен прийти. Сразу же пошлите его ко мне. *(Дает отбой.)* Сидите, пожалуйста. Там никого нет, кроме моей дочери. Жаль, что вас никто не видел. Хотя, постойте... может быть, кто-нибудь все же видел?

Молчание.

Не беспокойтесь... мы кого-нибудь найдем.

Мэплс. Спасибо.

Молчание.

Но ведь вам надо поговорить с дочерью.

Выходит. Входит Джейн. Билл, едва взглянув на нее, знаком предлагает ей стул, на котором только что сидел Мэплс, и вызывает Джой.

Билл. Джой!

Джой *(по телефону)*. Да?

Билл. Джой!

Джой. Слушаю.

Билл. Не отпускайте мистера Мэплса.

Джой. Да, но, к сожалению...

Билл. Все. Или нет, постойте...

Джой *(сочувственно)*. Слушаю.

Билл. Дайте еще стакан воды...

Смотрит искоса на дочь. Она ерзает на стуле.

Наберись терпения, еще одна минута...

Затемнение.

Освещены только Джейн и Билл. Монолог Билла начинается стремительно, бурным потоком. Иногда он захлебывается, обуреваемый чувством. Дочь сохраняет спокойствие, но она испугана и удручена.

Билл. Все они делают вид, что им на меня плевать. Впрочем, нет, так оно и есть! И ты скоро будешь плевать на меня, если только уже не плюешь. Да, да, уже давно. Посмотри мне в глаза! Почему ты никогда не смотришь мне в глаза, как будто я пустое место, вот уже много лет, с тех самых пор, когда ты была маленькой и я водил тебя гулять за руку? Я всегда мечтал, что ты вырастешь, станешь взрослой девушкой, вот как сейчас, и я буду водить тебя обедать в большие шикарные рестораны, с мраморными колоннами, зеркалами и оркестром. Вроде «Лиона», каким он был когда-то. В мечтах я видел, как нас принимают за светскую чету, а мы держимся с холодком, разговариваем намеками, понимая друг друга с полуслова. Вокруг увиваются официанты, завидуют и восхищаются, а мы идем танцевать. *(Обнимает ее.)* Медленно-медленно. *(Молчание.)* Потом возвращаемся к столику, а когда музыка смолкнет, наклонимся и заглянем друг другу в глаза с такой, о господи, с такой настоящей радостью, что нам будет не до еды. *(Отпускает ее.)* А когда мы встанем из-за стола, окажется, что мы выпили чуть лишку шампанского и должны покрепче держаться друг за друга. И тогда — домой... Знаешь, я всегда жалел, что не рос в деревне. Скоро ведь уже никого не останется, кто мог бы сказать: я рос в деревне... Некуда мне податься, не то что тебе... Ни здесь, в конторе, ни в деревне, ни, по правде сказать, во всем городе. Мой старик живет в деревне, ты же знаешь, но он теперь не желает меня

видеть. Да я и не сержусь на него. Недавно ездил к нему, не помню уж когда, и знаешь, пытался напомнить ему о том, как он, бывало, возился со мной, но он просто не помнил, ничего не помнил, ничего. Старый черт только разозлился и сказал, что я все это выдумал. И в конце концов пришлось уехать. Он устал и хотел меня спровадить. А когда я на прощанье поцеловал его, он даже головы не повернул... А твои дедушка и бабушка с материнской стороны вообще не хотят меня признавать. Однажды, когда я вез тебя в коляске, старуха даже перешла на другую сторону, чтобы не разговаривать со мной. Я тогда удивился. Из-за тебя, конечно. Тебе-то они рады, и мать тоже там бывает, я знаю, и на рождество и в день рождения они дарят тебе дорогие подарки, но известно ли тебе, что в письмах к матери они уже лет десять даже имени моего не упоминают, не напишут: привет Биллу или как там Билл — ни словечка, они это делали только в самом начале, когда ты родилась, считали, что так надо, а то они не смогут тебя видеть! Но потом убедились, что нечего притворяться и соблюдать даже мелкие приличия. Как ты считаешь, в какой мере твое благополучие зависит от других? А? Скажи мне, в чем оно, твое благополучие? И прочно ли оно? В чем? Где?

Джейн отворачивается, ей страшно.

Хочешь от меня избавиться? Ведь хочешь, а? Да я и сам хочу от тебя избавиться.

Она идет к двери.

Б и л л *(ненадолго принимает позу холодного величия)*. Постой, Джейн! Ты не можешь так уйти. Я еще должен кое-что сказать. Про это знаменитое воскресенье.

Она досадливо пожимает плечами.

Нет, нет, ты тут ни при чем. Но так и знай, ни ради тебя, ни тем более ради твоей матери я не останусь, просто потому, что буду с Лиз, тебе это надоело, знаю, и ей тоже начинает надоедать, но мы с ней проведем вместе дня три, если, конечно, она захочет, в чем я не уверен, но я буду с ней, вместо того чтобы праздновать твое семнадцатилетие — тебе ведь стукнет семнадцать? — в общем, твой день рождения, а причина тут вот какая: когда я рядом, это вызывает у тебя только отвращение, тоску или в лучшем случае холодное и полное безразличие. Но самое глубочайшее твое отвращение не сравнится с моими чувствами к тебе. *(Короткое молчание, после чего он меняет тон.)* И к тем, кто так похож на тебя. О, я читаю о вас, вижу вас на улицах, слышу, как вы разговариваете, кричите, перебрасываетесь шутками, ощущаю раны, которые вы наносите, даже не желая уязвить, и в вас нет ни страха, ни горения, вы холодные, призрачные, юные, да, холодные, безупречные, прямолинейные, вы ничему не удивляетесь, ни к чему не стремитесь и все равно пробиваетесь всюду. Вам неведом ни стыд за ваш сегодняшний день, ни сомнение, ни даже тень сомнения в завтрашнем. И вы правы, так, по крайней мере, я считал. Они молоды, говорил я себе, их впервые выпустили на волю, дали наряды, деньги, музыку, свободную любовь — и тут уж ничего не поделаешь. Да что там, никто до вас не умел пользоваться всем этим с таким изяществом, так легко, с таким обезоруживающим простодушием. Только ты и девчонки вроде тебя сумели оживить старую любовную клячу, ленивую и загнанную, и сделать ее красивой. Именно красивой! По-настоящему шикарной. Вы взбодрили ее. Смирили в ней обременительное, низменное, слюнявое, вековечное желание и въехали на ней прямо на страницы «Дейли экспресс», где слово «насильник» допус-

кается, лишь когда речь идет о чернокожем африканце или о монахине. Вы даже не даете себе труда краситься. Волосы у вас совсем как у йоркширского терьера после дождя. И все-таки, вопреки всему, вы куда красивее и эффектнее, чем те девушки, о которых я, бывало, мечтал с утра до ночи, завитых, с липкой сладковатой помадой на губах, в шелковых чулках, купленных по талонам, в толстых, широких юбках. Я вообще не знаю, на что я нужен тебе и таким, как ты, скоро это кончится, ты хлопнешь дверью, и мы не увидимся больше. Уж в чем в чем, а в этом я совершенно уверен. Вы почти не пьете, разве что глоток вина, зато изводите кружками черный кофе. Вы бываете всюду, прошли через огонь и воду, на ваших загорелых телах только два кружочка на груди да еще два полумесяца на ягодицах. Вас не смутишь никаким меню, вы заказываете все, что вздумается, и главное, вам подают то, что вы хотите. А потом вы отставляете тарелки нетронутыми. Вы носитесь на попутных машинах и шумите на всю Европу, не думая о валюте и не зная чужого языка. И правильно. А танцуете вы так, что я бы в жизни не выучился. *(Смотрит на нее с тоской.)* Но — и в этом «но» самое главное — мне кажется, что все это никогда, ни вот настолечко, не сравнится с крошечным, несчастным, бессильным червячком энергии, который всю жизнь гложет меня изнутри. С тем червячком, что медленно съеживается во мне и скоро совсем умрет. Слава богу, этот червяк не точит ваши розовые души. Вы беззастенчивы, я — нет. Вы не знаете за собой вины, а я — кругом виноват. И неудивительно. Конечно, вы полны стороннего сочувствия к освобожденным странам, вы устраиваете марши, бойкоты и митинги, беззастенчиво лезете в поэзию, в джаз, к народным песням, умеете быть веселыми, трогательными и в то же время стильными. Но вашей доброте не хватает любви, Джейн, ни в ком из вас, если разобраться, нет ни доброты, ни жестокости, ни даже стремления причинить боль ближнему, а есть лишь необременительная горечь, с которой так легко совладать, эта «горькая радость поражения». Вы легкомысленны и дерзки, и если вы действительно так бесчувственны, как это кажется, все же никто не упрекнет вас в настоящей жестокости. И если когда-нибудь — а я надеюсь, дорогая, что этого не случится, всей душой надеюсь, потому что для меня было счастьем даже мечтать о тебе, еще до твоего рождения, а потом увидеть тебя, почувствовать твой запах,— так вот, если когда-нибудь тебе суждено постепенно превратиться в никому не нужную, жалкую прореху на человечестве, то тебя не будет мучить ни стыд, ни страх смерти, твой лоб не покроется испариной, кровь не прорвет вен, температура не подскочит, не будет ни тромбов, ни язв, ни кровоизлияний. Все будет хорошо, разумно и в лучшем стиле. Ты будешь знать, что игра не стоит свеч, что гореть не стоило. И догоришь, погаснешь, но тихо: не зачадишь, не растаешь, не оплывешь. Ты знаешь, что сказал бог, наверно, тебя учили этому в воскресной школе. Вот что он сказал: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И обладайте ею». Мне кажется, Джейн, моя маленькая Джейн, что теперь ты уже не маленькая, что ты теперь на пути к исполнению этих четырех заветов. Наконец-то. А теперь ступай.

Джейн медлит. Отец и дочь избегают смотреть друг на друга. Она выходит. Затемнение. Свет падает на Билла.

Билл. Джой! Джой! Что там у вас происходит? А? Джой? Где ты? Что же это? Джой!

Входит Джой в пальто.

Джой. Значит, он ушел?

Б и л л. Наконец-то услышала. Кто?
Д ж о й. Хадсон.
Б и л л. Да.
Д ж о й. Вот как? Он что, переходит к Пиффардам?
Б и л л. Очевидно.
Д ж о й. Я так и думала.
Б и л л. Я тоже.
Д ж о й. Ну...
Б и л л. Ты домой?
Д ж о й. Все равно здесь делать нечего.
Б и л л. Позволь мне с тобой не согласиться. А ты звонила Уинтерсу еще раз, прежде чем?..
Д ж о й. Все разошлись по домам. И мне пора. Скажите, Ассоциация адвокатов действительно до вас добирается?
Б и л л. Это тебе Джонс сказал?
Д ж о й. Да.
Б и л л. Значит, так оно и есть.
Д ж о й. Вы не пойдете к миссис Ивз?
Б и л л. Знаешь, что мне сегодня сказала одна клиентка?
Д ж о й. Нет, а кто именно?
Б и л л. Не помню. Одна из клиенток. Она сказала: когда я иду за покупками, то выбираю самые дальние магазины, чтобы подольше не быть дома и не видеть его. А потом сержусь, потому что мне тяжело нести сумки.
Д ж о й. Идиотство.
Б и л л. Не уходи.
Д ж о й. Зачем?
Б и л л. Выпьем.
Д ж о й. Нет, спасибо.
Б и л л. Ну, поговорим.
Д ж о й. Нет.
Б и л л. Я дал себе слово не упрашивать тебя.
Д ж о й. Ну чего вы от меня хотите? Чтоб я в лепешку расшиблась для вас? Знаете что? По-моему, они все правы. Мне вы тоже не нравитесь.
Б и л л. Знаю.
Д ж о й. Ну ладно, я пошла. Давно надо было уйти...
Б и л л. И все-таки мне странно это слышать. Всякий раз. Казалось бы, пора уж... Почему это так меня поражает? Почему? Ведь во мне самом больше презрения и жажды мести, чем в любом из них. Я часто, очень часто, каждый день желаю людям смерти за их промахи. Так бы и убил. Изничтожил собственной рукой. К счастью, возможности мои были невелики, как почти у всех. Но все-таки я преуспел больше других. Ты придешь завтра?
Д ж о й. Там видно будет.
Б и л л. Прошу тебя.
Д ж о й. Я беру выходной.
Б и л л. Как?
Д ж о й. Мне что-то нездоровится. Хочу немного отдохнуть.
Б и л л. Понимаю.

Входит Л и з.

Л и з. Добрый день.
Д ж о й. Здравствуйте, миссис Ивз!
Л и з *(кивает Биллу)*. Как твой палец?
Б и л л. Болит. И еще небольшая плотная опухоль. На кончике другого пальца.
Л и з. Мы, кажется, опять в меланхолии.

Билл. Да. *(Обращаясь к Джой.)* Этим она хочет сказать, что я не умею быть стойким — ни в чем. Она так чудно выражается, потому что ее отец — интеллигент, мыслитель, так сказать, а я — нет. Это сразу ясно. Нет, дорогая, мыслить — не то что торговать резинками, а ее отец именно этим и занимается. Он из тех интеллектуальных обезьян, которые болтают по телевидению о Копернике, выпаливая по две сотни слов в минуту. Только не спрашивай меня, кто такой этот Коперник. Сейчас я не припомню даже, кто у нас премьер-министр. Джой, он холодный, как рыба. Это я про ее папашу. Он, может, единственный человек на свете, чьи подсознательные желания совершенно безлики.

Джой. Ну ладно, я пошла. До свидания, миссис Ивз!

Лиз. До свидания, Джой.

Билл. До свидания.

Джой. Пока.

Она уходит. Лиз подходит к нему.

Лиз. Как ты себя чувствуешь, милый?

Билл. Превосходно.

Лиз. А почему не идешь домой?

Билл. Да так.

Лиз. Прости, что я пришла. Ты не отвечал на звонки.

Билл. Разве?

Лиз. Я не помешала?

Билл. Нет.

Лиз. Ах, брось! Почему не сказать прямо, что ты тут занимался любовью с этой девчонкой?..

Билл. Да зачем это мне?

Лиз. Я тебя не связываю.

Билл. Да я же говорю, мне это не нужно. И брось свои намеки.

Лиз. Не слишком ли много ты хочешь?

Билл. Да, конечно.

Молчание.

Лиз. Ты слишком многого требуешь от нас обеих. Это не нужно, ты только унижаешь себя.

Билл. Конечно.

Лиз. Я тебя люблю.

Билл. Ты выражаешься безупречно. Как всегда.

Лиз. Ах ты подлый, ничтожный слизняк.

Билл. Почему ж ничтожный? Потому что у тебя больше власти, чем у меня?

Молчание.

Ты и сама также ничтожна. Только умней. Изысканней, великодушней. Нежней.

Лиз. Я всегда умела избавляться от чувства вины. Кому нужны эти деревенские утехи? Разве что людям, которые сами себя плохо знают и не могут за себя постоять.

Билл. Не одним мужеством жив человек.

Лиз. А чем же еще?

Билл. Есть вот трусость, к примеру.

Лиз. Мы не виделись с четверга. Я надеялась, что мы кое-как сгладили боль от того вечера. Хотя бы разговорами по телефону.

Билл. Я тоже. И теперь уже легче. До следующего раза.

Лиз. Я так люблю тебя. Просто не нахожу слов.

Билл. Как-нибудь найдешь.

Лиз. Почему ты мне не веришь? Скажи!

Билл. Это не так легко.

Л и з. Я знаю.

Б и л л. Не так-то просто поверить: вы слишком легко предаете. Садись. Так мне тебя не видно. Терпеть не могу, когда клиент где-то посреди комнаты и разговаривает сам с собой.

Она садится. Молчание.

Л и з. Что же будем делать?

Б и л л. Что будем делать?

Л и з. Да, дорогой... делать.

Б и л л. Не знаю. Я еще не думал.

Л и з. Ты виделся с Джейн?

Б и л л. Да.

Л и з. Ну и как?

Он смотрит на нее.

Вот оно что. Понятно. И как же дальше.

Б и л л. Лиз!

Л и з. Что?

Б и л л. Мне надоело, что ты следишь за мной. Следишь, высматриваешь, не спускаешь глаз, оцениваешь, догадываешься.

Л и з. Очень мне нужно!

Б и л л. Нет, тебе это нужно. И всегда было нужно. Но больше этого не будет.

Л и з. Что ты говоришь? Ты хочешь, чтобы я ушла?.. Совсем?

Б и л л. Ты, кажется, сама требовала соблюдать, как ты выразилась, этику откровенности.

Л и з. Поверь, меня меньше всего интересует эта самая этика. Она губительна

Телефонный звонок.

Б и л л. Алло... Нет, все уже ушли.

Л и з. Нетрудно догадаться, кто звонит.

Б и л л. Я как раз собирался идти... Нет, говорю тебе, все ушли... Один... ну, хорошо, она здесь... Что ж, значит, наврал, это мое дело... Послушай, сейчас совсем не время, понимаешь... Я позвоню позже.

Молчание. Лиз смотрит на него слегка насмешливо, но молчит. Ей жаль его.

Когда я ухожу от тебя и возвращаюсь домой часа в три или в четыре, стараясь не шуметь, Анна лежит в постели и притворяется, будто спит. После свидания с тобой и долгого пути до дому я валюсь с ног от усталости, а через каких-нибудь два часа надо вставать, и вот я тоже притворяюсь, будто сплю, потому что заводить объяснения у меня нет сил. И мы оба лежим молча. А если, на мое счастье, мне удается заснуть или я просто пьян, то она лежит без сна, подавляя рыдания, до самого утра, а утром будит меня. Ты знаешь, после сегодняшнего скандала насчет воскресенья я позабыл одну маленькую подробность — не могу вспомнить, как она выглядит. Когда ты уезжала на рождество, я сел было читать «Пармскую обитель». Ты сказала, что мне понравится. Вот я и стал читать. Десять дней читал, а потом бросил на середине. И не могу даже сказать, о чем это. Ничего не соображаю. Когда-то я хорошо знал свое дело, было у меня, что называется, чутье и острый ум. Острый! А теперь не могу даже читать дела. Все стал сваливать на Хадсона, и вот он ушел, а Джонсу, даже если он останется, я и осла допросить не доверю.

Л и з. Билл. Что нам делать?

Б и л л. Наверно, уехать.

Л и з. Куда?

Б и л л. Далеко, подальше отсюда. Здесь для меня нет места.

Лиз *(шутливо)*. Ну какой из тебя путешественник?
Билл. То есть как?
Лиз. Да ведь ты никогда этого не любил, верно?

Молчание.

Или я ошибаюсь?
Билл. Черт возьми, я же ездил, тысячи миль накатал за эти годы по делам клиентов.
Лиз. Да, да. Нью-Йорк, Амстердам, Женева. Но это же все деловые поездки.
Билл. А чего тебе еще? Как мне прикажешь ездить? Как леди Эстер Стэнхоуп *, на верблюде, с судебными делами в чемодане?
Лиз. Я не считаю твои служебные поездки путешествиями...
Билл. Вон как...
Лиз. Это просто переезды с места на место с определенной целью.
Билл *(раздраженно)*. Ну, а что ты называешь путешествием?
Лиз. Ну что-нибудь вроде... вроде круиза по греческим островам.
Билл. Вот-вот, с целой толпой пронырливых снобов, которые все себе на уме и только ищут, где бы подцепить чужую жену или потаскуху.
Лиз. Куда бы ты ни поехал, ты всюду чувствуешь себя несчастным. И тебя тянет обратно.
Билл. Разве?
Лиз. Да, к твоим клиентам. Или еще к чему-то По дороге сюда я все думала...
Билл. О чем же?
Лиз. Я думала: может, ты не хочешь, чтобы я поехала с тобой в это воскресенье.

Молчание. Он смотрит на нее.

Я просто подумала... может, тебе хочется... хочется побыть одному.

Молчание.

Билл. С тех пор как ты вошла, я все жду, что ты это скажешь.
Лиз. Очень жаль, что меня так легко раскусить. Но когда знаешь и любишь человека, это часто бывает.
Билл. Вот видишь. Я тебя люблю.
Лиз. Я изо всех сил стараюсь быть честной. И все зря.
Билл. Но почему же, почему это тебе ничего не дает?
Лиз. Мне все равно, кто ты и что ты...
Билл. И чем я занимаюсь...
Лиз. Я не могу без тебя.
Билл. Ради бога, не надо таких слов.
Лиз. Ты притворяешься больным и непонимающим, чтобы избежать упреков. Прибедняешься, унижаешь себя, только бы как-нибудь выйти из игры.
Билл. Пусть так, но, знаешь, я всегда тешу себя мыслью, что даю тебе какое-то... какое-то счастье, радость, наслаждение, потому что люблю тебя. Я люблю тебя не ради наслаждения. Это я найду где угодно.

Она гладит его по плечу, целует в затылок. Он не поднимает головы.

Лиз. Ты мне позвонишь?
Билл. Но тебя же не будет...

Она не отвечает.

Ты ведь знаешь, что я тебя люблю?
Лиз. Да.

---

* Племянница Питта-младшего, известная своей эксцентричностью.

Б и л л. Я никогда не забуду твое лицо и все, все, что было. Это невозможно забыть. Конечно, это не имеет значения, но я знаю, что никого так не любил, как тебя.

Л и з. Даже Джейн?

Б и л л. Да.

Л и з. Прощай.

Она уходит. Билл глотает таблетку и запивает водой. Набирает номер.

Б и л л. Анна? Анна, который час? Не могу разглядеть... Ты считаешь, что я должен идти домой?.. Стоит ли, а?... Не плачь, милая, прошу тебя... Мне кажется, лучше тебе меня не видеть. да, не видеть... да... Не надо, прошу тебя, не надо... А то я положу трубку... Мне лучше остаться здесь... Ну, из Ассоциации или еще откуда-нибудь... Пожалуй, я останусь здесь... Прощай...

Кладет трубку, откидывается в кресле и ждет.

Занавес.

Д. ШЕСТАКОВ

МОНОЛОГИ ДЖОНА ОСБОРНА

1

Молодой человек держит при себе непроизнесенный монолог, в котором готов расквитаться на словах с тем и с теми, кто его больше всего бесит, кто больше всего надоел и с кем — бейся хоть головой об стену — ничего не поделаешь.

Вот, к примеру: «Мамашенька у нее фруктик С виду квашня — такая сырая, кисейная, благородная... А под низом у нее — броня. И душа черней Черного моря. И хамства на всех хватит... Ей подыхать пора — хоть червей покормит...»

Или еще: «И какого черта воскресенье на газеты тратить?! Ведь каждый раз одно и то же! Даже на книги рецензии одинаковые. Книги — новинки, рецензии — по старинке...»

В лицо «мамашеньке» этого не скажешь. А на газеты — кому жаловаться? Не газетчикам ведь?! Вот и получается, что жалоба не выходит из дому. Она все более язвительна — все менее сопряжена с действием. Она адресована первому встречному — и никому не адресована. Она перерастает самое себя, оставляя в стороне вызвавшие ее к жизни импульсы. Она становится универсальной.

Так рождаются монологические драмы Осборна

Мучающие его героя маленькие и большие несчастья, неурядицы, недовольства, цепляясь друг за друга, несутся навстречу беде. Настоящее горе, вызвав у героя острый приступ жалости, на мгновение рассеивает скопление прошлых обид. Но обиды сильнее горя, и все начинается сначала. Катарсиса не получается. Что-то этому мешает.

Сплав жалости и злобы оказался прочной эмоциональной основой для пьес Осборна, начиная прямо с «Оглянись во гневе». Каждая реплика героя «Оглянись во гневе» Джимми Портера, все его «портеризмы» — как назвала их английская критика, растащившая пьесу по строчке,— связаны с одним из этих чувств или с тем и другим вместе. Чем недоволен — все на сцену. Нужно все ругать, пока есть кого жалеть и пока способен на ругань и жалость, пока не атрофировались чувства.

Осборн превратил обыденный внутренний монолог в одну из лучших послевоенных пьес. Этой пьесой он открыл вторую половину века в английском театре и с тех пор удерживает за собой место первого драматурга Англии.

Осборновские мотивы проникли в английскую драму задолго до самого Осборна. Общее чувство беспокойства, разочарования, утраты больших целей в жизни, крах

идеологических, политических, религиозных и прочих систем ценностей, закреплявших структуру общественного сознания,— все эти настроения были хорошо известны и непосредственным предшественникам Осборна на английской сцене — Т. С. Элиоту или тому же Пристли. В пьесах Осборна настроение стало криком, чувства облеклись в яростные и сардонические монологи.

Пьесы-монологи Осборна преобразили английскую сцену. В Англии XX века до Осборна такое удалось сделать только одному драматургу — Бернарду Шоу. Масштабы тут бесспорно разные. И не случайно Шоу шел против течения один, а Осборн отвоевывал национальную сцену вместе с целой ватагой молодых драматургов — «осборновцев».

Осборну, так же как и Шоу, которому он наследует, гораздо важнее то, что он думает о жизни, чем сама эта жизнь. Но Шоу излагал стройную систему взглядов, все ситуации его пьес выстроены парадоксальной логикой этого изложения. У Осборна нет стройной системы взглядов и нет парадоксальной логики. Жизнь заставила его поверить по крайней мере в неколебимую истинность своей формы. Ситуации у Осборна отличаются строгим, документальным жизнеподобием. Развиваясь по логике жизни, быта, они вступают в конфликт с логикой слов, идей, взглядов.

Бытовая фактура осборновской пьесы-манифеста, ее обыденные ситуации сами по себе не могли, конечно, объяснить запальчивость, с которой она была написана, сыграна и встречена. С другой стороны, шиллеровский пафос «гнева», «рассерженная» идеология Джимми Портера сами по себе тоже едва ли объясняли успех «Оглянись во гневе».

Дело было, по-видимому, в тех особых взаимосвязях, объединивших здесь жизнь и отношение к ней, быт и идеологию, материю и дух. Дело было в том, чтобы показать, как быт поверяется идеологией и как та, в свою очередь, поверяется бытом. Быт 1950-х годов (понимая слово «быт» достаточно широко) свел на нет идеологию 30-х. Можно по этому поводу сокрушаться (Джимми Портер это делает). Можно думать о прошлом ностальгически, можно жалеть отца (Джимми и это делает). Но важен как говорится, сам факт. В свою очередь идеология Джимми, идеология «сердитого молодого человека», ставит под сомнение устойчивый, «нормальный» быт 50-х годов, сытое и регламентированное сосуществование равнодушных эгоистов. А идеализм Портера сам не выдерживает давления фактов, на которые он пытался опереться. Поединок фактов и идей сюжетно завершается победой фактов.

Герой Осборна требовал от близких «воодушевления» — любой ценой. Увидев воочию, какова эта цена, увидев страдания жены, которых он раньше желал ей как средства духовного исцеления, Джимми забывает о своем «гневе» и целиком отдается жалости.

Таков сюжетный исход основных конфликтов пьесы: между жалостью и гневом, между бытом и идеологией, между одиноким неудачником — «антигероем» и процветающей вокруг покладистой посредственностью. Сюжет, однако, завершается, а конфликты остаются.

Кроме «Оглянись во гневе» Осборн написал пьесу о неудачнике-драматурге, что продал свои способности («Эпитафия Джорджу Диллону»), пьесу о неудачнике актере, в стремлении угодить публике утратившем свое искусство («Шут»), пьесу о неудачнике вожде, оказавшемся слабее своих идей («Лютер»), пьесу о неудачнике атеисте, опередившем свое время («Скандальная история — предмет для размышлений»), пьесу о неудачнике шпионе, жертве военной машины («Вот так патриот!»), пьесу о неудачнике адвокате («Неподсудное дело»).

Неудачников окружают в пьесах Осборна те, кто судит их по законам удачи. (Сценой такого воображаемого суда над героем открывается пьеса «Неподсудное дело».) При этом неудачник — человек живой, удачники — мертвые. Неудачник — личность, удачники — оборотни. За удачниками — правда официальная, «газетная», за неудачником — правда чувства, правда собственной ненависти и своих обид.

Вспомним, что любой подлинный герой Шоу готов проповедовать и проповедовать свою правду, ибо этой правде вести людей вперед. У осборновских героев с этим как раз ничего не выходит. Им некуда за собой вести.

Осборновские неудачники одиноки, и самое, пожалуй, важное,— они являются как бы идеологами своего одиночества. Его-то они и проповедуют. В «Оглянись во гневе»

одиночество Портера декларируется с некоторой манерностью: «Самые большие, самые сильные существа в этом мире, видно, самые одинокие. Так старый медведь бредет по темному лесу — вдвоем с собственным дыханием. Ни стаи, ни стада, чтобы отогреть старика». В «Лютере» проклятие одиночества героизируется, герою открывается, что только так и нужно жить: «Никто не может умереть за другого. Не может и поверить за другого и ответить — за другого. Стоит этому произойти — и нет больше человека: есть толпа». В пьесе «Вот так патриот!» та же мысль выражена простой альтернативой: «Свобода — или принуждение, веселье — или скука, одиночество — или толпа. твоя маленькая царевна — или император Франц-Иосиф».

Пьесы Осборна об одиноких еретиках мирного времени пестрят военными сравнениями. И больше всего их в «Оглянись во гневе»: «нейтральная полоса», «заложница», «противник», «изменник», «открыть огонь», «выступить в поход», «надеть доспехи», «спустить на воду броненосец», «уйти в укрытие»...

«Частный случай» неудачника Джимми Портера уже поэтому не воспринимается как частный случай. Вокруг заброшенной мансарды хоть и сердитого, и молодого, но еще и «маленького» человека кипит невидимая битва. В этой битве Портер кровно заинтересован. Она не дает ему погрязнуть в обыденности. Он здесь инициатор, этот «одинокий медведь», противник стаи, стада и толпы, строптивый партнер своей усталой «маленькой царевны» — «пушистой белочки» Элисон. Он развязал незримую баталию с привилегированными родителями жены, с ее пошлыми друзьями, с ее подругой-богомолкой, с соседями и с квартирной хозяйкой, с Британской империей и Соединенным Королевством, с «большими целями» больших людей и с «маленькими радостями» маленького человека, со «здравым смыслом и прогрессом» и с умильной «доброй старой Англией».

Но до чего же английским героем был все-таки сердитый Портер!

Англичан дразнят их сентиментальностью. Они и сами полны угрызений по этому поводу. Но только в Англии появилась нигилистическая пьеса-манифест, автор которой сумел, не насилуя природы своего героя-отрицателя, «антигероя», отыскать в его душе неприкосновенный запас ценностей, спасенных от всеобщего краха.

Критика потратила много энергии, доказывая положительный смысл всеотрицания Джимми Портера. Стоит обратить внимание и на другое. Роман-манифест Сартра назывался «Тошнота». Джимми Портера, как и экзистенциалистского героя Сартра, тошнит от всего окружающего. Но кроме ужаса перед жизнью по инерции, жизнью «как она есть», и кроме тоски по жизни прочувствованной и продуманной, осборновский мизантроп еще ищет, даже требует человеческого участия — и находит его в полной мере. Полноте и бескорыстию человеческих отношений, которые составляют жизнь обитателей осборновской мансарды, сколько бы ни твердил Портер о своем одиночестве, могут только позавидовать персонажи Сартра или Камю. Я уж не говорю о юморе — сколько чистого веселья, помимо злобы и цинизма, в балаганных выходках Портера! Крах духовных ценностей, о котором была написана пьеса Осборна, не коснулся отношений героев, исполненных тонкой душевной привязанности, взаимной заботы, неугасимого, отзывчивого тепла.

В «Оглянись во гневе» сосуществуют два типа человеческой связи. С одной стороны, отношения истинные, пульсирующие живыми притяжениями и отталкиваниями, прерывистые и полноценные. С другой стороны, связь постоянная и «официальная» — через газеты, воскресные походы в церковь, светскую рутину и т. п. Больше всего лжи для Портера скопилось именно тут: в морщинах газетных строк, в расхожих штампах, подменяющих чувства, до неузнаваемости абстрагирующих конкретные интересы, желания, реакции, импульсы. Осборн больше всего настаивает на том, чтобы высвободить человека из-под власти слов-абстракций, из-под власти бездушного и бездумного автоматизма.

2

То же соотношение сил встречаем мы и в «Неподсудном деле», осборновской пьесе 1964 года — о новом, повзрослевшем Портере, как рекомендуют нам критики нового осборновского героя Билла Мейтленда.

Отношения между Биллом и Лиз, Биллом и Джой, а может быть, и между Биллом и Анной основаны прежде всего на искренности. В них немало взаимного участия, бережной внимательности. Но принимая это как должное, Билл Мейтленд негодует и стенает почище Джимми Портера.

Потому что в этом оазисе человеческой привязанности счет ведется на минуты, а кругом — часами, годами, десятилетиями — насаждаются официальные абстракции, приводящие всех и вся к общему знаменателю, раз и навсегда «фиксирующие» людей и их отношения по установленному шаблону. Потому что у Джимми Портера была его «белочка» Элисон, а у Билла, как выясняется, никого нет.

Тому, кто привык к искусству, направленному против искажений человеческого облика, к искусству, апеллирующему к «нормальному» порядку вещей, мечтающему о восстановлении «правильных» норм жизни,— такому трудно понять Осборна. Ибо для Осборна нет ничего ненавистнее, чем этот самый «нормальный» человек, добросовестно несущий бремя существования, доверяющий нормальному ходу вещей, убежденно или легковерно исполняющий положенные функции в давно налаженном социальном механизме.

Вот за что достается коллегам Мейтленда от их незадачливого патрона. Вот почему не устраивают Билла покладистый служака Джонс и здравомыслящий «старина Хадсон». Вот за что ополчается Билл против своих современников. За то, что они дорожат порядком, который их же сковывает по рукам и ногам, за то, что каждый из них добровольно кладет по кирпичу для той стены, что отделяет их от осуществления своих невыявленных возможностей, от свободы.

Что это за свобода, Биллу неведомо. И от этого он тоже страдает. Проблесками искомой свободы кажутся его мечты — об одинокой прогулке по городу, о нежной встрече со взрослой дочерью, о чем-то радостно-покойном, что никому не нанесет обиды и на что, увы, слишком мало надежд: «Нечего надеяться, что к вам будут хорошо относиться».

А на что же надеяться? Во всяком случае, не на «старую фирму благоразумия и прогресса», банкротство которой джазист-любитель Джимми Портер сопроводил десять лет назад траурно-бравурным маршем. Счетные машины, именем которых заставляют Мейтленда клясться на воображаемом суде, не выведут людей вперед, если будут штамповать их по образу и подобию покладистого Джонса.

«Победы прогресса» — это то, что попадает в газеты, чем клянутся краснобаи-политиканы, оправдывая свое существование. А вот издержки прогресса — это уж по части Осборна и его главного героя. То, что для газеты частный случай, для Билла Мейтленда — первое дело.

Через его контору таких случаев и таких дел за день проходит с десяток. Вот дело «Тонкс против Тонкса». Вот «Гарнси против Гарнси», «Андерсон против Андерсона». Эти случаи не подтверждают информацию о «победах прогресса». А с точки зрения официального оптимизма это все свод «неподсудных дел». Они еще не доросли до официальной правды, превращающей чувства в слова, слова — в штампы, исповедь — в показания.

Противники театра Осборна обычно видят его главную слабость в том, что драматург неохотно и неумело предоставляет слово недругам своего главного героя. Драматургия Осборна при таком к ней подходе выглядит почти что бесконфликтной. Но ведь и сила, и пафос Осборна коренятся как раз в этом.

Да, он редко дает внятно высказаться «сильным мира сего» и тем, для кого они — «сильные мира». Потому что первым и так есть где себя показать, для них существуют парламент, газеты, радио, официальные встречи, наконец — большой бизнес, а другие... что ж, дай им слово, что-то они скажут?

«Неподсудное дело» — это очередная осборновская пьеса-монолог. Молчат жена и дочь Билла, сдержанно молчаливы коллеги, быстро умолкают клиенты. Судя по всему, у них нет других слов, кроме тех, которым их обучили, кроме слов, созданных для участников раз и навсегда установленных процедур, кроме штампов. Такие слова только глубже прячут правду, только помогают от нее ускользнуть.

Помните, с каким сарказмом выплевывал герой «Оглянись во гневе» вычитанные в газетах штампы? Голос газетных строк — это и есть голос главного оппонента Портера. Оппонента невидимого, но вездесущего.

Монолог в суде в «Неподсудном деле» — такое же саркастическое цитирование чужих слов, ничьих слов. Этот кошмар, мучающий Билла и во сне, и наяву,— кошмар чужих слов, которые его хотят заставить произносить. Он произносит их как нерадивый ученик: заплетающимся языком, через си-

лу, с покорной, подобострастной интонацией тупицы.

Персонажи «Неподсудного дела» остаются живыми людьми до тех пор, пока их не заставляют говорить «по писаному», пока их не застращают машинообразным ритуалом, не вовлекут в мир анкет и готовых формул. Тут уж — никакой жизни, никакой правды, миссис Гарнси превращается в миссис Тонкс, миссис Тонкс — в миссис Андерсон, коллега становится клиентом, а сам адвокат — обвиняемым.

Все слилось воедино, обратилось в однозначный хаос, в котором запутался Билл Мейтленд. Все у него запуталось-перепуталось: клиенты все на одно лицо, а их показания не сходятся, сослуживцы разбегаются, любовью приходится заниматься на работе, а домой возвращаться, как на службу...

«Настоящий» адвокат на месте Мейтленда достиг бы определенной ясности. Он взял бы полуправду истца и полуправду ответчика, взял бы эти неприемлемые показания, заглянул в кодекс и вывел бы еще одну полуправду — для суда. Мейтленд, при всем его цинизме, на такое не способен. Во всеуслышание кается, но не может поставить себя над людьми, заставить себя манипулировать ими, как сводом показаний. Сам несчастный, сам «неприемлемый» — разве не видно?..

В своих клиентах Билл видит себя, в себе — своих клиентов. «Если бы можно было все вернуть»,— вздыхает миссис Андерсон, подавшая иск о разводе. Нельзя «начать все сначала»,— констатирует Билл, «человек, которому так везло».

Не случайно так подходит Биллу эта ироническая характеристика героя из другой пьесы. Таково второе название «Смерти коммивояжера» Артура Миллера. Пьеса «Неподсудное дело» напоминает миллеровскую «Смерть коммивояжера». Оба героя— миллеровский и осборновский — ищут опоры и не могут ни на что опереться. Оба на своей шкуре почувствовали остроту столкновения иллюзии и реальности. В «Смерти коммивояжера» этот процесс представлен во времени: шаг за шагом коммивояжер Уилли Ломэн возвращает свое прошлое, бережно прощупывает его, а обнаружив, что все его жизненные принципы терпят необъяснимый крах, он из жизни уходит. Поражение адвоката Билла имеет пространственное измерение. Телефонный провод соединяет его с десятком одинаковых «ситуаций», оставленных им без решения по всему Лондону, напоминающих о себе очередным настойчивым зуммером. Любой звонок, любая встреча — еще один свидетель капитуляции героя, еще одно доказательство того, что он с судьбой не справляется.

Миллеровский коммивояжер — без вины виноватый. Осборновский адвокат, напротив, убежден, что и сам не безгрешен, что хаос поселился и в нем, что и в его собственной душе трудно различимы правда и неправда. Билл кается в своей «посредственности», нерешительности, лености.

Но в стороне от завладевшего им хаоса его поджидает машинизированный порядок, люди-детали: «сделано в Англии». В этом порядке Биллу уготовано местечко — тепленькое местечко, профессия посредника в чужих судьбах. И он, ясное дело, бежит от этого — раз так стоит вопрос, раз выбирать можно только между тоскливой удачей — и провалом.

В монологах своего горе-адвоката Осборн выкладывает перед нами целый ассортимент человеческих слабостей. Билл горой стоит за эти слабости — свои и чужие,— потому что это тот человеческий, природный «остаток», к которому непричастна любая кибернетика. Билл хватается, как за соломинку, за все, что не подвластно безличной модернизации, за все индивидуальное, что нельзя безнаказанно профанировать, опошляя «в массовом порядке», заставляя служить богу-призраку прогрессу.

Кстати, о главной «соломинке» Билла — о сексе. Любовные «победы» Билла противостоят «победам прогресса». Это издевка человека над машиной, «частного случая»— над статистикой, это вызов Билла, та единственная правда, которой он не стыдится, которой он верен в царстве полуправды, единственное достойное употребление, которое он находит для своей недюжинной энергии.

Жизнь биологическая или жизнь механическая — не продолжение ли это конфликта «быта» и «идеологии» из «Оглянись во гневе»?

«Прогресс», о котором вещают газеты и политики, «прогресс» — главный идеологический козырь цивилизации, измеряется статистически, количественно, «в государственном масштабе». Но есть в человеке что-то, что в «прогрессе» не участвует, что «прогрессу» не подвластно. «Прогресс», судя по газетам, движется вперед семимильными шага-

ми. А Билл Мейтленд — живое существо — топчется на месте или в лучшем случае движется по кругу: от женщины к женщине, от ссоры к ссоре, от скандала к скандалу. (Так же точно не могут сойти с места в своих показаниях клиенты Билла.)

«Прогрессу» и Биллу не по пути. «Прогрессу» — лишь бы ни на минуту не останавливаться, лишь бы забыть, как было, а Биллу — лишь бы удержаться хотя бы на минуту, лишь бы что-то запомнить.

Идеология технического прогресса — в глазах Билла, в глазах Осборна — стимулирует худшие качества современников: безответственность, эгоизм, фальшь, фрагментарность сознания и чувств, укрепляет несправедливый статус-кво во всех сферах человеческой жизни.

Быт же, всегдашний противник идеологии, понимается теперь Осборном (да и всей новой английской драмой) не совсем так, как раньше. Это естественное развитие отношений между людьми — не опосредованное никакими абстракциями: ни статьей закона, ни газетной строчкой, ни любой заповедью. Это минуты счастья, минуты горя, сладкие воспоминания и несбыточные мечты. Иными словами, это моменты абсолютной искренности. Такие моменты очень близки один другому, они сгрудились, словно люди в бомбоубежище, они окутаны страхом — над ними грохочет и мчится вперед своими семимильными шагами забывшая об искренности, насквозь «условная» цивилизация. Куда ее несет, куда?!

В этих взглядах автора «Неподсудного дела» проявляется сполна асоциальность, во власти которой был и остается Осборн. Его герои столько же ненавидят «слова», сколько и «дела». Они верны своим чувствам — своему гневу, своей жалости — до тех только пор, пока общество не посягнуло на все это, не захотело этим воспользоваться. Культ одиночества, установленный Осборном, это культ верности своим чувствам, своим первым реакциям, своим нервам — всему, что «сердитые» герои, иначе как в монологах, не могут перевести в действительный залог. Осборн вместе со своим героем не умеет и не хочет вникать в вопрос о гуманистических путях прогресса, толкуя это понятие, как и все прочие, в своем духе. Как и все социальное, прогресс мерещится Осборну в пустой сети фальшивых «слов» и пустых «дел», в изобилии средств, прикрывающем отсутствие цели. Болезненная осборновская асоциальность находит объяснение в сегодняшней английской общественной ситуации.

«Осборновских героев, от Портера до Билла Мейтленда,— пишет театральный обозреватель английского журнала «Лондон мэгэзин» Элан Сеймур,— в каких бы границах ни осуществлялся их протест, объединяет ряд общих черт: отчаянное ощущение своей ненужности; сильный интеллект, гибкая энергия, порой не способные ни на чем сосредоточиться, порой сосредоточенные не на том, на чем нужно, и всегда отвергнутые и урезанные обществом... Автор, по всей видимости, разделяет ярость своих персонажей, столкнувшихся с вопиющим фактом ненужности яркой индивидуальности в обществе, которое страшится неуступчивого таланта и вполне удовлетворяется посредственностью».

Давний романтический мотив — мотив «лишнего человека» — в осборновской Англии представляется самым современным. Подобно романтикам прошлого века, Осборну прекрасно удается передать безвременье, пафос свержения идолов — будь то бастион британского патриотизма, британских традиций или ложные упования на техническую революцию.

Тоска по новому осмыслению мира, тоска по сильному и полному чувству, сопровождающая утрату веры в предначертанность сущего и в неизменную человеческую природу, вечная неудовлетворенность, неприятие автоматизма бытия — это тоже объединяет Осборна и романтиков. Но романтики это романтики, а Осборн это Осборн. Он и в романтизме разуверился.

Пьесы Осборна предоставляют доступ к широко распространенным веяниям в духовной жизни Англии, посвящают нас в специфическую сегодняшнюю атмосферу английской жизни, морали, общественных настроений. Все это мы видим в острокритическом разрезе, через восприятие героя, попавшего в гущу этой атмосферы, способного взглянуть на нее со стороны, «оглянуться во гневе» и — снова в нее окунуться.

Спор с буржуазной стандартизацией существования завязался не сегодня и не вчера. «Неподсудное дело» участвует в этом споре. Мы вновь услышали знакомый голос «сердитого молодого человека», на этот раз голос сбивчивый, в котором прорывается настоящий страх — перед несчастьем людей и тем, что его порождает. Эта искренняя озабоченность требует к себе внимания.

СИМОНА ДЕ БОВУАР

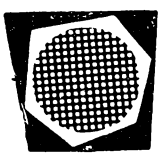
Прелестные картинки

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского
Л. ЗОНИНОЙ

Клоду Ланзманну

Глава первая

«  ктябрь в этом году... просто небывалый»,— говорит Жизель Дюфрен; они согласно кивают, улыбаются, летний жар струится с серо-голубого неба. (Что у них есть такое, чего мне не хватает?) Совершенная картинка, воспроизведенная в «Плэзир де Франс» и «Вотр мезон», ласкает их взор: ферма, купленная по дешевке, за ломоть хлеба — ну пусть хлеба с маслом,— перестройка которой Жан-Шарлем влетела в тонну икры («Миллионом больше, миллионом меньше, не обеднею»,— сказал Жильбер), розы у каменной стены, хризантемы, астры, далии, «красивейшие в Иль-де-Франсе»,— говорит Доминика; зонты и кресла — голубые и лиловые — до чего смело! — выделяются на зелени лужайки, лед позвякивает в бокалах, Удан целует руку Доминике, тонюсенькой в своих черных брюках и ослепительной блузке, светлые волосы седеющей блондинки, со спины ей дашь тридцать лет. «Никто не умеет принимать, как вы, Доминика». (В эту минуту, в другом саду, совсем ином и в точности таком же, кто-то произносит те же слова и та же улыбка приклеивается к другому лицу: «Какое чудесное воскресенье!» Почему я об этом думаю?)

Все было безукоризненно: солнце и ветерок, барбекью, толстые бифштексы, салаты, фрукты, вина. Жильбер рассказывал о путевых и охотничьих приключениях в Кении, а потом углубился в японскую головоломку — надо найти место еще шести кусочкам, а Лоранс предложила ответить на тест с паромщиком, и они загорелись, они обожают удивляться самим себе и смеяться друг над другом. Лоранс была в ударе, ее подавленность сейчас — это реакция. (Я циклотемичка). Луиза играет с двоюродными братьями в глубине сада. Катрин читает перед камином, в котором трепещет легкое пламя: она похожа на всех счастливых девочек, читающих, лежа на ковре. «Дон-Кихот» на той неделе, теперь «Квентин Дорвард», не от этого она плакала по ночам, но тогда отчего же? Луиза была потрясена: «Мама, Катрин чем-то огорчена, она плачет ночью». Учителя ей нравятся, у нее новая подружка, она здорова, дома весело.

— Опять в поисках формулировки? — говорит Дюфрен.

— Мне надо убедить людей обшивать стены деревянными панелями.

Удобно: стоит ей отключиться, все считают, что она подыскивает формулировку. Разговор идет о неудавшемся самоубийстве Жанны Тексье. Держа сигарету в левой руке и приподняв правую, точно предупреждая, чтоб ее не прерывали, Доминика говорит своим властным, хорошо поставленным голосом:

— Не так уж она умна, карьерой она обязана мужу, но все же, если ты одна из самых заметных женщин в Париже, непозволительно вести себя, как швейка!

В другом саду, совсем ином и в точности таком же, кто-то говорит: «Доминика Ланглуа обязана своей карьерой Жильберу Мортье». А это несправедливо, она пробралась на радио в сорок пятом и всего добилась собственными силами, работая как лошадь и топча тех, кто ей мешал. Почему им так нравится перемывать друг другу косточки? Они наверняка говорят — Жизель Дюфрен в этом не сомневается,— что мама заарканила Жильбера из корысти: этот дом, путешествия, не будь Жильбера, ей были бы не по карману, это верно; но он дал ей нечто большее: она ведь все-таки слегка растерялась, когда бросила папу (он бродил по дому, как неприкаянный, до чего безжалостно она покинула его, стоило Марте выйти замуж); своей самоуверенностью она обязана Жильберу. (Разумеется, можно было бы сказать...)

Юбер и Марта возвращаются из лесу с огромными охапками веток. Высоко подняв голову, она бодро вышагивает с улыбкой, застывшей на губах: святая, пьяная от радостной любви к богу, эту роль она играет с той поры, как обрела веру. Они занимают снова свои места на голубых и лиловых подушках, Юбер закуривает трубку, которую — последний человек во Франции — он еще именует «старушкой носогрейкой». Улыбка паралитика, грузное тело. Путешествуя, он надевает черные очки: «Обожаю путешествовать инкогнито». Прекрасный дантист, дотошно изучающий на досуге сферу обслуживания. Я понимаю Мартины выдумки, нужно же чем-то заполнить жизнь.

— В Европе летом вы не найдете ни одного пляжа, где можно вытянуть ноги,— говорит Доминика,— а на Бермудах пляжи огромные, почти пустынные, и никто вас не знает.

— Короче, дыра люкс,— говорит Лоранс.

— А Таити? Почему вы не хотите поехать снова на Таити? — спрашивает Жизель.

— В пятьдесят пятом на Таити было прекрасно, теперь там хуже, чем в Сен-Тропезе. Это так пошло...

Двадцать лет прошло. Папа называл Флоренцию, Гранаду; она говорила: «Все туда едут. Это так пошло... Путешествовать вчетвером в машине: семейство Фенуйяр»,— говорила она. Он ездил по Италии, по Греции без нас, а мы проводили каникулы в шикарных местах — во всяком случае, тогда Доминика считала их шикарными. Теперь она пересекает океан, чтоб принять солнечную ванну. Отмечать рождество Жильбер повезет ее в Баальбек...

— Говорят, прекрасные пляжи на Бразильском побережье, совершенно безлюдные,— говорит Жизель.— И можно заскочить в новую столицу. Мне бы так хотелось повидать Бразилиа.

— Ну, нет! — говорит Лоранс.— С меня хватает новых районов на окраинах Парижа, просто тоска берет! А тут целый город на такой манер!

— Ты вроде своего отца — пассеистка,— говорит Доминика.

— А кто из нас не пассеист? — говорит Жан-Шарль.— В эпоху ракет и автоматики люди сохраняют тот же образ мыслей, что и в девятнадцатом веке.

— Только не я,— говорит Доминика.

— Ты во всем исключение,— говорит Жильбер убежденно (или скорее с пафосом: он всегда остается актером, играющим свою собственную роль).

— Во всяком случае, рабочие, которые построили город, придерживаются моего мнения: они не пожелали расстаться со своими деревянными домами.

— У них не было выбора, дорогая Лоранс,— говорит Жильбер.— Квартплата им не по средствам.

Его рот округляется в улыбке, точно он извиняется за свое превосходство.

— Бразилиа — это теперь уже вчерашний день,— говорит Дюфрен.— Это еще архитектура, в которой крыша, дверь, стена, труба существуют самостоятельно. Теперь поиски идут по линии создания синтетического дома, где каждый элемент поливалентен: крыша сливается со стеной и ниспадает в патио.

Лоранс недовольна собой; она сказала глупость, ясное дело. Вот что значит говорить о вещах, которых не знаешь. Не говорите о том, чего не знаете, учила мадемуазель Уше. Но тогда и рта не раскроешь. Она молча слушает, как Жан-Шарль описывает город будущего. Неведомо почему, грядущие чудеса, которых он собственными глазами не увидит, приводят его в восторг. Он пришел в восторг, когда узнал, что человек сейчас на несколько сантиметров выше, чем в средние века, а средневековый был, в свою очередь, крупнее доисторического. Позавидуешь, что они могут относиться ко всему этому со страстью. В который раз и с неослабевающим пылом Дюфрен и Жан-Шарль рассуждают о кризисе архитектуры.

— Кредиты найти необходимо, согласен,— говорит Жан-Шарль,— но иными путями. Отказаться от попыток переубедить — значит выпасть из Истории.

Никто не отвечает; в тишине раздается вдохновенный голос Марты:

— Если бы все народы мира согласились на разоружение! Вы читали последнее послание Павла VI?

Доминика нетерпеливо обрывает ее:

— Мне известно от вполне авторитетных людей, что в случае войны достаточно двадцати лет, чтоб человечество вновь достигло современной стадии развития.

Жильбер поднимает голову, ему осталось пристроить всего четыре кусочка.

— Войны не будет, дистанция между капиталистическими и социалистическими странами скоро будет сведена к нулю. Мы перед лицом великой революции XX века — производство сейчас важнее, чем собственность.

Зачем же тогда тратить столько средств на вооружение? — думает Лоранс. Но у Жильбера наверняка и на это есть ответ, а Лоранс не испытывает никакого желания оказаться еще раз посрамленной. К тому же Жан-Шарль уже ответил: без бомбы мы бы выпали из Истории. А что это, собственно, значит? Очевидно, это было бы катастрофой, вид у всех подавленный.

Жильбер оборачивается к ней с милой улыбкой:

— Приходите в пятницу. Я хочу, чтоб вы послушали мою новую стереорадиолу «Хи-Фи».

— Такую же, как у Карима и Александра Югославского,— говорит Доминика.

— Истинное чудо,— говорит Жильбер.— Послушаешь — и перестаешь воспринимать музыку обычной радиолы.

— В таком случае я отказываюсь ее слушать,— говорит Лоранс.— Я слишком люблю музыку. (Ничего подобного. Я сказала это ради красного словца.)

Жан-Шарль очень заинтересован:

— Минимально, сколько стоит вся система?

— Моноустановку вы можете получить за триста тысяч, это минимум, жесткий минимум. Но это не то, совсем-совсем не то.

— А чтоб это было по-настоящему хорошо, что-нибудь около миллиона? — спрашивает Дюфрен.

— Послушайте, за хорошую моносистему надо заплатить от шестисот тысяч до миллиона. Я вам советую лучше брать моносистему, чем посредственную стерео. Стоящий многокаскадный усилитель продается за пятьсот тысяч франков.

— Я так и думал: минимум миллион,— говорит Дюфрен со вздохом.

— Есть способы потратить миллион глупее,— говорит Жильбер.

— Если Верн получит заказ в Русильоне, я сделаю нам подарок,— говорит Жан-Шарль Лоранс. Он поворачивается к Доминике: — Он родил потрясающий план городка отдыха, который там должны строить.

— У Верна всегда потрясающие идеи. Но их не часто осуществляют,— говорит Дюфрен.

— Они будут осуществлены. Вы с ним знакомы? — спрашивает Жан-Шарль у Жильбера.— До чего увлекательно с ним работать; вся мастерская живет в ощущении подъема: мы не исполнители, а творцы.

— Это самый крупный архитектор своего поколения,— ставит точку Доминика.— Он в крайнем авангарде урбанизма.

— Я предпочитаю все же работать у Монно,— говорит Дюфрен.— Мы не творцы, мы — исполнители. Зато больше зарабатываем.

Юбер вынимает трубку изо рта:

— Достойно размышления.

Лоранс встает, улыбается матери:

— Я стащу у тебя несколько далий?

— Конечно.

Марта тоже встает; она отходит вместе с сестрой:

— Ты видела папу в среду? Как он?

— У нас он всегда весел. Спорил с Жан-Шарлем, для разнообразия.

— Жан-Шарль тоже не понимает папу.— Марта взглядом советуется с небом.— Он настолько иной, чем все. Папа по-своему причащен божественному. Музыка, поэзия — для него это молитва.

Лоранс склоняется к далиям, от этого лексикона ее коробит. Действительно, у него есть что-то, чего нет у других, нет у нее (но что есть у них всех, чего у меня тоже нет?). Розовые, красные, желтые, оранжевые, она сжимает в руке великолепные далии.

— Хороший денек, девочки? — спрашивает Доминика.

— Чудесный,— пылко говорит Марта.

— Чудесный,— вторит Лоранс.

Свет меркнет, она не прочь вернуться домой. Она колеблется. Она тянула до последней минуты: попросить о чем-нибудь мать ей так же трудно, как в пятнадцать лет.

— Мне надо тебя о чем-то попросить...

— О чем же? — голос Доминики холоден.

— Это касается Сержа. Он хотел бы уйти из университета. Его привлекает работа на радио или на телевидении.

— Тебе отец дал это поручение?

— Я встретила у папы Бернара и Жоржетту.

— Ну, и как они? Продолжают разыгрывать Филемона и Бавкиду?

— О, я видела их всего минуту.

— Скажи твоему отцу, раз и навсегда, что я не контора по устройству на работу. Я нахожу просто неприличным, что меня пытаются эксплуатировать таким образом. Я никогда ничего не ждала от других.

— Ты не можешь ставить папе в вину, что он хочет помочь своему племяннику,— говорит Марта.

— Я ставлю ему в вину, что он ничего не может сделать сам.— Доминика жестом отметает возражения.— Будь он мистиком, траппистом, я поняла бы. (Вот уж нет, думает Лоранс). Но он предпочел роль посредственности.

Она не прощает ему, что он стал парламентским секретарем-редактором, а не крупным адвокатом, как она рассчитывала, выходя замуж. «Встал на запасный путь»,— говорит она.

— Уже поздно,— говорит Лоранс.— Я поднимусь навести красоту.

Немыслимо позволить, чтоб на отца нападали, а защищать его и того хуже. Когда она думает о нем, у нее сжимается сердце, точно она в чем-то виновата. Оснований, собственно, нет — я никогда не брала сторону мамы.

— Я тоже поднимаюсь, мне надо переодеться,— говорит Доминика.

— Я посмотрю за детьми,— говорит Марта.

Очень удобно: с тех пор, как Марта обрела святость, она жаждет взвалить на себя все повинности и извлекает из них столь высокое блаженство, что можно все спихнуть на нее, не испытывая угрызений совести.

Причесываясь в комнате матери — а чертовски это красиво, стилизация под испанский деревенский дом,— Лоранс делает последнюю попытку:

— Ты в самом деле ничего не можешь для Сержа?

— Нет.— Доминика подходит к зеркалу.— Ну и лицо у меня! В моем возрасте женщина, которая целый день работает и каждый вечер ведет светскую жизнь,— конченый человек. Мне бы надо поспать.

Лоранс рассматривает мать в зеркале. Безупречная картинка: женщина, которая стареет красиво. Стареет. Этого Доминика не приемлет. Она впервые сдает. Болезни, жестокие удары, ей все было нипочем. И вдруг в ее глазах смятение:

— Не могу поверить, что в один прекрасный день мне будет семьдесят.

— Ни одна женщина не держится лучше тебя,— говорит Лоранс.

— Тело в порядке, я никому не завидую. Но взгляни на это.

Она показывает на глаза, шею. Конечно, ей уже не сорок.

— Тебе уже не двадцать, конечно,— говорит Лоранс.— Но многие мужчины предпочитают поживших женщин. Доказательство — Жильбер...

— Жильбер... Чтоб его сохранить, я убиваю себя светской жизнью. Это может обернуться против меня.

— Ну что ты!

Доминика надевает свой костюм от Баленсиаги. Только не от Шанель: тратишь миллионы, а выглядишь, точно одеваешься на Блошином рынке. Она шепчет:

— Эта стерва Мари-Клер. Ни за что не дает развода: только чтоб мне досадить.

— Может быть, она уступит в конце концов.

Мари-Клер наверняка говорит: эта стерва Доминика. Во времена Люсиль де Сен-Шамон Жильбер жил вместе с женой, вопрос о разводе даже не возникал, поскольку у Люсиль были муж, дети. Доминика заставила его расстаться с Мари-Клер; разумеется, если он согласился, значит, это его устраивало, но Лоранс тогда сочла мать довольно кровожадной.

— Заметь, жить вместе с Жильбером очень рискованно. Он любит свободу.

— Да и ты тоже.

— Да.

Доминика поворачивается перед трюмо и улыбается. На самом деле она в восторге от того, что будет обедать у Вердле. Министры ей импонируют. До чего я недоброжелательна, думает Лоранс... Это ее мать, она к ней привязана. Но это и чужая женщина. Кто прячется за картинками, мелькающими в зеркале? А может, никто?

— У тебя все в порядке?

— В полном. Порхаю от успеха к успеху.

— А девочки?

— Ты видела. Процветают.

Доминика задает вопросы, так положено, но она сочла бы неприличным, если б ответы Лоранс были тревожными или даже подробными.

В саду Жан-Шарль склонился над креслом Жизель: легкий флирт, который льстит им обоим (и Дюфрену тоже, я полагаю), каждый внушает другому, что у них мог бы быть роман, хотя им обоим это ни к чему. (А если бы вдруг они завели роман? Думаю, что меня это не тронуло бы. Значит, бывает любовь без ревности?)

— Так я рассчитываю на вас в пятницу,— говорит Жильбер.— Когда вас нет, скучно.

— Полно!

— Уверяю вас.— Он с чувством пожимает руку Лоранс, точно они тайные сообщники; поэтому-то все и находят его очаровательным.— До пятницы.

Лоранс настойчиво приглашают в гости, любят бывать у нее: она сама не понимает почему.

— Чудесный день,— говорит Жизель.

— При нашей парижской жизни без отдыха никак нельзя,— говорит Жан-Шарль.

— Разрядка необходима,— говорит Жильбер.

Лоранс устраивает девочек на заднем сиденье, запирает дверцы, садится рядом с Жан-Шарлем, и они трогаются по дорожке следом за машиной Дюфренов.

— Самое удивительное в Жильбере — это то, что он сохранил простоту,— говорит Жан-Шарль.— Когда подумаешь о лежащей на нем ответственности, о его могуществе. Ничуть не важничает.

— А зачем ему?

— Ты плохо к нему относишься, это понятно. Но не будь несправедливой.

— Да нет, почему? Хорошо.

Хорошо ли? Она, пожалуй, ко всем хорошо относится. Он не разглагольствует, это правда, говорит она себе. Но ни для кого не тайна, что он руководит одной из двух самых крупных в мире компаний по производству электронных машин, он один из создателей Общего рынка.

— Интересно, в какой цифре выражаются его доходы,— говорит Жан-Шарль.— Практически они неограниченны.

— Мне было бы страшно иметь столько денег.

— Он умно ими пользуется.

— Да.

Странно: когда Жильбер рассказывает о своих путешествиях, он очень забавен. Через час совершенно невозможно вспомнить, что он говорил.

— Уик-энд в самом деле удачный.

— В самом деле удачный.

И снова Лоранс задумывается: что есть у них, чего нет у меня? О,

не стоит волноваться; бывают такие дни, когда встаешь с левой ноги и ничто не радует: к этому надо уже привыкнуть. И все же Лоранс спрашивает себя: что же неладно? Внезапно ее охватывает безразличие. Она ощущает себя отъединенной, точно чужой. Ту депрессию, поразившую ее пять лет назад, ей объяснили; немало молодых женщин проходят через подобный кризис; Доминика посоветовала ей тогда вырваться за пределы дома, работать, и Жан-Шарль согласился, увидев, сколько я зарабатываю. Теперь у меня нет никаких оснований расстраиваться. Работа, люди вокруг, я довольна жизнью. Нет, мне ничто не угрожает. Просто настроение плохое. С другими тоже так бывает, и они, я уверена, не делают из этого никаких историй. Она оборачивается к детям:

— Вам было весело, мои хорошие?

— О, да! — горячо говорит Луиза.

Запах палой листвы проникает в открытое окно; звезды сверкают на небе детства, и внезапно Лоранс становится совсем хорошо.

«Феррари» обгоняет их, Доминика машет рукой, легкий шарф полощется на ветру, она действительно великолепно держится. И Жильбер выглядит отлично для своих пятидесяти шести лет. Прекрасная пара. В сущности, она права, требуя, чтоб в положение была внесена ясность.

— Они подходят друг к другу,— говорит Жан-Шарль.— Для их возраста они красивая пара.

Пара. Лоранс рассматривает Жан-Шарля. Она любит мчаться в машине рядом с ним. Он внимательно следит за дорогой, и она видит его профиль, этот профиль, так волновавший ее десять лет тому назад, он ее и сейчас еще трогает. Когда она глядит ему прямо в лицо, Жан-Шарль уже не тот, она его видит по-другому. Лицо у него умное, энергичное, но — как бы это сказать?— остановившееся, как все лица. В профиль, да еще в полумраке, рот кажется неуверенней, глаза — мечтательней. Таким он возник перед ней одиннадцать лет назад, таким возникает и теперь, когда его нет рядом, а иногда, на мгновение, когда они сидят бок о бок в машине. Они не разговаривают. Молчание — подобие сообщничества: оно выражает согласие, слишком глубокое для слов. Возможно, это иллюзия. Но пока колеса поглощают дорогу, пока дети дремлют, пока Жан-Шарль молчит, Лоранс хочется в это верить.

От тревоги не остается и следа, когда Лоранс часом позже усаживается за свой стол: она немного устала, одурела от свежего воздуха, ее манит то плавание, которое в свое время категорически пресекала Доминика: «Нечего мечтать, займись чем-нибудь» — и на которое теперь налагает запрет она сама. Я должна найти эту идею, говорит она себе, беря ручку. Какая прелестная картинка — ее можно использовать для рекламы мебели, рубашек или цветов, она сулит надежность, счастье. Пара, шагающая по тротуару вдоль набережной, под мягкий шелест деревьев, видит через окно идеальный интерьер: под абажуром погружен в чтение журнала мужчина, молодой и элегантный, в пуловере из козьей шерсти; молодая женщина — за столом, с пером в руках; гармония черных, красных, желтых тонов, удачно подчеркнутая (счастливое совпадение) красными и желтыми пятнами далий. (Только что, когда я их рвала, это были живые цветы.) Лоранс думает о сказочном короле, прикосновение которого все превращало в золото, и вот его дочь стала великолепной металлической куклой. Все, к чему прикасается она, превращается в картинки. ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ ПОМОГУТ ВАМ СОЧЕТАТЬ УРБАНИСТИЧЕСКУЮ ЭЛЕГАНТНОСТЬ С ПОЭЗИЕЙ ЛЕСА. Сквозь черную листву она замечает журчащее поблескивание реки; идет пароход, прощупывая берега ярким глазом. Луч озаряет стекла, грубо высвечивает объятия влюбленных; для меня это картинка

прошлого, тогда как я для них — картинка нежного будущего, я и мои дети, спящие, как они догадываются, в глубине квартиры. ДЕТИ ПРОСКАЛЬЗЫВАЮТ В ОГРОМНОЕ ДУПЛО И ОБНАРУЖИВАЮТ ТАМ ВОСХИТИТЕЛЬНУЮ КОМНАТУ, ОБШИТУЮ ПАНЕЛЯМИ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ДЕРЕВА.

Она всегда была картинкой. За этим следила Доминика, с детства околдованная картинами жизни, так не похожими на ее собственную, и упрямо стремившаяся — всем своим умом и недюжинной энергией — заполнить этот ров. «Тебе не понять, каково это, когда у тебя рваные ботинки и ты сквозь носок чувствуешь плевок, по которому прошла, тебе не понять, каково это, когда подружки с чистыми, блестящими волосами разглядывают тебя, подталкивая друг друга в бок локтем. Нет, с пятном на юбке ты не выйдешь, пойди переоденься». Безупречная девочка, идеальный подросток, совершенная молодая девушка. Ты была сама определенность, свежесть, совершенство, говорит Жан-Шарль.

Определенным, свежим, совершенным было все: голубая вода бассейна, роскошный стук теннисных мячей, белые пики гор, клубы облаков на гладком небе, аромат сосен. Каждое утро, раскрывая ставни, Лоранс видела перед собой великолепную фотографию на глянцевой бумаге: в парке отеля — юноши и девушки, одетые в светлое, загорелые, отполированные солнцем, как галька. Внезапно, в один прекрасный вечер, когда мы возвращались с прогулки, в остановившейся машине, его губы на моих губах, этот ожог, головокружение. Тогда на много дней и недель я перестала быть картинкой, я была плотью и кровью, желанием, наслаждением. И снова я погрузилась в ту тайную негу, которую знавала некогда, сидя у ног отца или держа в руке его руку... И это повторилось полтора года назад с Люсьеном. Огонь в моих жилах, размягченность до мозга костей. Она прикусывает губу. Если бы Жан-Шарль знал! В сущности, между ним и Лоранс ничто не изменилось. Люсьен не имеет к этому прямого отношения. Впрочем, он уже не волнует ее, как прежде.

— Пришла идея?

— Придет.

Внимательный взгляд мужа, красивая улыбка молодой женщины. Ей часто говорят, что у нее красивая улыбка: она ее чувствует на своих губах. Идея придет. Вначале всегда трудно, нужно избежать множества использованных штампов, множества ловушек. Но она свое дело знает. Я продаю не деревянные панели: я продаю надежность, успех и капельку поэзии в придачу. Когда по совету Доминики она занялась рекламой, то преуспела так быстро, что в пору было поверить в призвание. Надежность. Дерево воспламеняется не чаще камня или кирпича: намекнуть на это, не вызвав и мысли о пожаре. Вот где нужна сноровка.

Внезапно она встает. Плачет ли Катрин и сегодня вечером?

Луиза спит. Катрин глядит в потолок. Лоранс склоняется к ней:

— Ты не спишь, мой милый? О чем ты думаешь?

— Ни о чем.

Лоранс целует ее. В чем дело? Это не похоже на Катрин, какие-то тайны. Она откровенна и даже болтлива.

— Думают всегда о чем-нибудь. Попробуй рассказать мне.

Катрин мгновение колеблется; улыбка матери помогает ей решиться.

— Мама, зачем мы существуем?

Вопрос из тех, которые дети обрушивают вам на голову в то время, как вы думаете только о продаже деревянных панелей. Ответить сразу:

— Мое сокровище, папе и мне было бы очень грустно, если бы ты не существовала.

— А если бы вы тоже не существовали?

Какая тоска в глазах у девочки, с которой я обращаюсь все еще как с младенцем. Откуда у нее этот вопрос? Вот, значит, почему она плачет.

— Разве сегодня ты не радовалась, что все мы — ты, я, люди вообще — существуем?

— Да.

Кажется, она не очень убедила Катрин. Лоранс осеняет:

— Люди существуют, чтоб делать счастливыми друг друга,— горячо говорит она. Она горда своим ответом.

Лицо Катрин замкнуто, она думает или, скорее, ищет слова:

— Ну, а те люди, которые несчастливы, зачем они существуют?

Так. Вот мы и добрались до самого главного.

— Ты видела несчастных людей? Где же, мой дорогой?

Катрин молчит, чем-то она напугана. Где же? Гойя — веселая, да она и по-французски почти не говорит. Живем в богатом квартале: ни бродяг, ни нищих; значит, книги? Товарищи?

— Среди твоих товарищей есть несчастные?

— О, нет!

Тон кажется искренним. Луиза ворочается в кровати, Катрин пора спать; она явно ничего больше не скажет, понадобится время, чтоб она на это решилась.

— Послушай, мы поговорим обо всем завтра. И если ты знаешь несчастных людей, мы попробуем что-нибудь для них сделать. Можно ухаживать за больными, дать деньги бедным, можно сделать так много...

— Ты думаешь? Для всех?

— Ты можешь не сомневаться, что я плакала бы круглые сутки, если бы знала, что есть люди, которым нельзя помочь в несчастье. Я тебе обещаю, что мы найдем, как им помочь. Я тебе обещаю,— повторяет она, гладя Катрин по волосам.— Спи теперь, моя маленькая.

Катрин натягивает одеяло, закрывает глаза. Голос, поцелуи матери ее успокоили. Но завтра? Как правило, Лоранс избегает неосторожных обещаний. А уж такого опрометчивого она никогда не давала.

Жан-Шарль поднимает голову.

— Катрин рассказала мне сон,— говорит Лоранс.

Правду она ему откроет завтра. Не сейчас. Почему? Он к девочкам внимателен. Лоранс садится, делает вид, что поглощена своими поисками. Не сейчас. Он предложит немедленно десяток объяснений. Она хочет разобраться сама до того, как он даст ответ. Что же неладно? Я в ее возрасте тоже плакала. Как я плакала! Возможно, поэтому я теперь никогда не плачу. Мадемуазель Уше говорила: «От нас будет зависеть, чтоб эти люди умерли не напрасно». Я ей верила. Она еще многое говорила: быть человеком среди людей! Она умерла от рака. Лагеря уничтожения, Хиросима — в 1945 хватало причин, чтоб выбить из колеи одиннадцатилетнего ребенка. Столько ужасов, Лоранс думала тогда, что все это не может быть пережито напрасно, она пыталась поверить в бога, в потустороннюю жизнь, где каждый будет вознагражден. Доминику нельзя упрекнуть: она разрешила ей побеседовать со священником, она даже выбрала умного священника. Да, в 1945 все это было естественно. Но если сегодня моя десятилетняя дочь рыдает, виновата я, Доминика и Жан-Шарль обвинят меня. С них станет порекомендовать мне обратиться к психологу. Катрин очень много читает, слишком много, и я не знаю в точности что: у меня нет времени. Во всяком случае, я придавала словам иной смысл, чем она.

— Можешь себе представить, в одной нашей галактике — сотни обитаемых планет! — говорит Жан-Шарль, задумчиво постукивая пальцем по журналу.— Мы похожи на кур, запертых на птичьем дворе и полагающих, что это и есть мир.

— О, даже на Земле мы загнаны в маленький круг, узкий до невозможности.

— Только не теперь. Пресса, путешествия, телевидение, в недалеком будущем мировидение, мы живем планетарно. Ошибка заключается в том, что мы принимаем планету за вселенную. В конце концов, к восемьдесят пятому году Солнечная система будет исследована... Это не возбуждает твое воображение?

— Честно говоря, нет.

— Ты лишена фантазии.

Я не знаю даже людей, которые живут этажом ниже, думает Лоранс. Про тех, что в квартире напротив, ей известно многое, через стенку: течет вода в ванной, хлопают двери, радио извергает песенки и призывы пить «Бананию», муж распекает жену, а она, после его ухода,— дочь. Но что происходит в остальных трехстах сорока квартирах дома? В других домах Парижа? В Люблинфе она знает Люсьена, немного Мону, несколько лиц, несколько имен. Семья, друзья — крошечная замкнутая система. И другие системы такие же неприступные. Мир всюду вне нас. Войти в него невозможно. И все же он проскользнул в жизнь Катрин, он ее пугает, и мой долг — ее оборонить. Как заставить ее принять, что несчастные люди существуют, как заставить ее поверить, что они перестанут быть несчастными?

— Ты не хочешь спать? — спрашивает Жан-Шарль.

Сегодня ее не осенит ни одна идея, нечего упорствовать. Ее улыбка повторяет улыбку мужа:

— Я хочу спать.

Ночной ритуал, веселый шум воды в ванной комнате, на кровати пижама, пахнущая лавандой и светлым табаком. Жан-Шарль курит, пока душ смывает с Лоранс дневные заботы. Быстро снять грим, накинуть тонкую рубашку, она готова. (Отличное изобретение — пилюля, которую проглатываешь утром, чистя зубы: все эти процедуры были мало приятным делом.) На белизне свежей постели рубашка вновь скользит по коже, слетает через голову, она отдается нежным объятиям нагого тела. Блаженство ласк. Наслаждение, острое и радостное. После десяти лет супружества совершенное физическое согласие. Да, но жизни это не меняет. Любовь тоже гладка, гигиенична, обыденна.

— Да, твои рисунки очаровательны,— говорит Лоранс.

Мона действительно талантлива: она придумала смешного человечка, которого Лоранс часто использует для рекламных компаний,— немного слишком часто, считает Люсьен, лучший мотиватор фирмы.

— Но? — говорит Мона. Она сама похожа на свое создание: лукава, язвительна и изящна.

— Тебе известно, что говорит Люсьен. Нельзя злоупотреблять юмором. В данном случае — дерево стоит дорого, тут не до шуток — цветное фото подействует лучше.

Лоранс отложила две фотографии, выполненные по ее указаниям: высокая роща, таинственная, поросшая мхом, мягкие, роскошные блики на старых стволах; молодая женщина в воздушном неглиже улыбается посреди комнаты, обшитой деревянными панелями.

— Они попросту пошлы,— говорит Мона.

— Они пошлы, но притягательны.

— Кончится тем, что меня вышвырнут,— говорит Мона.— В этой конторе рисунок уже не котируется. Вы всегда предпочитаете фото.

Она складывает свои эскизы и спрашивает с любопытством:

— Что такое с Люсьеном? Ты с ним перестала встречаться?

— Ничего подобного.

— Ты никогда не просишь у меня алиби.

— Еще попрошу.

Мона выходит из кабинета, и Лоранс снова принимается редактировать текст под картинкой. Душа у нее к этому не лежит. Вот так разрывается работающая женщина, иронически говорит она себе. (Она куда больше чувствовала, что разрывается, когда не работала.) Дома она подыскивает формулировки. На службе думает о Катрин. Вот уже три дня, как она не думает ни о чем другом.

Разговор был долгим и невнятным. Лоранс спрашивала себя, какая книга, какая встреча взволновала Катрин: Катрин хотела знать, как можно уничтожить несчастье. Лоранс рассказала ей о работниках социальной опеки, которые заботятся о стариках и неимущих. О врачах, сестрах, которые вылечивают больных.

— Я могу стать врачом?

— Если будешь хорошо учиться, разумеется.

Лицо Катрин просветлело; они помечтали вместе о ее будущем: она станет лечить детей, их мам, конечно, тоже, но главное — детей.

— А ты? Что ты делаешь для несчастных людей?

Безжалостный взгляд ребенка, который не ведает правил игры.

— Я помогаю папе зарабатывать нам на жизнь. Благодаря мне ты сможешь учиться и лечить больных.

— А папа?

— Папа строит дома для людей, которым негде жить. Это тоже один из способов оказать им услугу, ты понимаешь.

(Отвратительная ложь. Но где спасительная правда?) Недоумение Катрин не рассеялось. Почему не накормят досыта всех людей? Лоранс снова принялась расспрашивать, и девочка заговорила, наконец, о плакате. Действительно в нем было дело или за этим скрывалось еще что-то?

Может быть, в конце концов, плакат и объяснял все. Власть картинки. «Две трети мира голодают» — и голова ребенка, такая прекрасная, с непомерно расширенными глазами и сжатым ртом, таящим ужас. Для меня это только знак — знак того, что борьба с голодом продолжается. Катрин увидела мальчика своего возраста, который голоден. Я вспоминаю, какими бесчувственными мне казались взрослые,— мы столького не замечаем, то есть мы замечаем, конечно, но проходим мимо, потому что сознаем свое бессилие. Какой прок — на этом пункте, в порядке исключения, сходятся папа и Жан-Шарль — от мук совести? А та история с пытками, от которой три года тому назад я заболела, почти что заболела,— к чему она привела? Мы вынуждены привыкать к ужасам, творящимся в мире, слишком уж их много: откармливают гусей, линчуют, делают аборты, кончают жизнь самоубийством, истязают детей, создают дома смерти, калечат девушек варварскими обрядами, расстреливают заложников, репрессируют — видишь все это в кино, по телевизору и тут же забываешь. Со временем все это безусловно исчезнет. Однако дети живут в настоящем, они беззащитны. Нужно было бы думать о детях, не следовало бы вывешивать на стенах подобные фото, говорит себе Лоранс. Гнусная мысль. Гнусная — словечко из моего лексикона пятнадцатилетней давности. Что оно значит? У меня нормальная реакция матери, оберегающей дочь.

— Папа вечером тебе все объяснит,— заключила Лоранс.

Десять с половиной лет: самое время, чтоб девочка немного оторвалась от матери и сосредоточилась на отце. Он лучше, чем я, найдет удовлетворительные аргументы, подумала она.

Вначале ей было неловко от тона Жан-Шарля. Не то чтоб иронического или снисходительного — патерналистского. Потом он произнес речь, очень ясную, очень убедительную. До настоящего времени различные пункты на земле далеко отстояли друг от друга, люди не справлялись с

природой, они были эгоистами. Этот плакат — доказательство того, что мы хотим все изменить. Сейчас мы можем производить гораздо больше продовольствия, чем раньше, быстрее перевозить его из богатых стран в страны бедные: есть организации, специально занимающиеся этим. В голосе Жан-Шарля появились лирические ноты, как всегда, когда он говорит о будущем: пустыни покрылись хлебами, овощами, фруктами, вся земля стала землей обетованной; откормленные молоком, рисом, помидорами и апельсинами, все дети улыбались. Катрин слушала как зачарованная: она видела праздничные сады и поля.

— Через десять лет не будет ни одного печального человека?

— Так нельзя сказать. Но все будут сыты, все будут гораздо счастливее.

Тогда она сказала проникновенно:

— Я предпочла бы родиться через десять лет.

Жан-Шарль рассмеялся, гордый ранним развитием дочери. Он удовлетворен ее школьными успехами, слезы не принимает всерьез. Дети нередко теряются, переходя в шестой класс, а ее латынь занимает, по всем предметам у нее хорошие оценки. «Мы из нее кого-нибудь сделаем»,— сказал мне Жан-Шарль. Да, но кого? Сейчас это ребенок, у которого тяжело на душе, и я не знаю, как ее утешить.

Звонит внутренний телефон. «Лоранс? Ты одна?» — «Да».— «Я зайду поздороваться». Он будет меня упрекать, думает Лоранс. Она и правда не уделяет ему внимания; после отпуска нужно было наладить дом, ввести Гойю в курс дел, Луиза болела бронхитом. Уже полтора года прошло после того праздника в Люблинфе, на который по традиции не пригласили ни мужей, ни жен. Они много танцевали вместе — он отлично танцует,— целовались, и чудо повторилось: огонь в жилах, головокружение. Они опомнились у него в квартире. Вернулась она только на заре, притворяясь пьяной, хотя ничего не пила, она никогда ничего не пьет; совесть ее не мучила: Жан-Шарль ничего не узнает, и продолжения не будет. Потом начались бурные переживания. Он меня преследовал, он плакал, я уступала, он рвал, я страдала, высматривала красную «жюльетту», висела на телефоне, он возвращался, он умолял: оставь мужа, никогда, но люблю я тебя, он меня оскорблял, уходил, я ждала, надеялась, теряла надежду, мы вновь обретали друг друга, какое счастье, я так страдал без тебя, а я без тебя; признайся во всем мужу, никогда... Туда, обратно, туда, обратно, и всякий раз приходишь к тому же самому...

— Мне необходимо знать твое мнение,— говорит Лоранс.— Какой вариант ты предпочитаешь?

Люсьен наклоняется через ее плечо. Рассматривает две фотографии; ее трогает внимательность его взгляда.

— Трудно решить. Они играют на совершенно различных мотивировках.

— Какая действеннее?

— Я не располагаю убедительной статистикой. Доверься своему чутью.— Он кладет руку на плечо Лоранс:— Когда мы поужинаем вместе?

— Жан-Шарль уезжает с Вернем в Русильон через неделю.

— Через неделю!

— Ну пожалуйста! У меня столько хлопот дома из-за дочки.

— Не вижу связи.

— А я вижу.

Давно знакомый спор: ты больше не хочешь видеть меня, да нет, хочу, пойми, я понимаю слишком хорошо... (Может быть, сейчас, в другом конце галактики, другой Люсьен, другая Лоранс произносят те же слова? Во всяком случае, в других учреждениях, комнатах, кафе Парижа, Лондона, Рима, Нью-Йорка, Токио, возможно, даже в Москве.)

— Посидим где-нибудь завтра после работы, хочешь?

Он смотрит на нее с упреком:

— У меня нет выбора.

Он ушел рассерженный: обидно. Ему было трудно, но он заставил себя примириться с создавшейся ситуацией. Он знает, что она не разведется, но больше не угрожает разрывом. Он соглашается на все, почти на все. Он ей дорог, она отдыхает с ним от Жан-Шарля; они так непохожи: вода и огонь. Он любит читать романы с увлекательной интригой, вспоминать о детстве, задавать вопросы, неторопливо прогуливаться. И потом, под его взглядом она ощущает собственную драгоценность. Драгоценность. Она поддалась, да, и она тоже. Думаешь, что тебе дорог мужчина, а на самом деле тебе дорого некое представление о себе, некая иллюзия свободы или непредвиденности, миражи. (Неужели это правда или на меня так действует ремесло?) Она заканчивает редактуру. В конце концов выбирает молодую женщину в воздушном неглиже. Она запирает кабинет, садится в машину; пока она переодевает туфли и натягивает перчатки, ее внезапно охватывает радость. Мысленно она уже на Университетской улице, в квартире, заваленной книгами, пахнущей табаком. К сожалению, она никогда не остается там долго. Больше всех она любит своего отца, больше всех на свете, а видится куда больше с Доминикой. И так всю мою жизнь: я любила отца, а воспитала меня мать.

«Вот скотина!» Она замешкалась на полсекунды, и какой-то толстяк выхватил стоянку у нее из-под носа. Снова приходится кружить по узким улочкам с односторонним движением, где бампер стукается о бампер.

Паркинги и четырехэтажные общественные центры под землей, технический городок под ложем Сены — все это через десять лет. Я тоже предпочла бы жить на десять лет позже. Наконец-то свободное место! Сто метров пешком, и она попадает в другой мир: комната привратницы на старинный манер, плиссированные занавески, запах кухни, тихий двор, каменная лестница, гулкое эхо шагов, когда по ней поднимаешься.

— Поставить машину становится все немыслимей.

— Ловлю тебя на слове.

В устах отца даже банальности не банальны: глаза его светятся огоньком сообщничества. Сообщничество по вкусу им обоим: они любят мгновения, когда близость такова, что кажется, они живут только друг для друга. Лукавый огонек поблескивает, когда, усадив ее, поставив перед ней стакан апельсинового сока, он спрашивает:

— Как поживает твоя мать?

— В полной форме.

— Кому она сейчас подражает?

Это их традиционная игра — повторять вопрос, поставленный Фрейдом, когда он занимался одним из случаев истерии. Доминика в самом деле всегда кому-нибудь подражает.

— Думаю, что сейчас Жаклин Вердле. У нее та же прическа, и она сменила Кардена на Баленсиагу.

— Она встречается с Вердле? С этими подонками... Ее, правда, никогда не смущало, кому она пожимает руку... Ты с ней говорила о Серже?

— Она не хочет ничего делать для него.

— Я был уверен.

— Не похоже, чтоб дядя и тетя были дороги ее сердцу. Она называет их Филемоном и Бавкидой...

— Это не очень справедливо Полагаю, что моя сестра утратила немало иллюзий в отношении Бернара. Она уже не любит его по-настоящему.

— А он?

— Он никогда по-настоящему не ценил ее.

Любить по-настоящему, ценить по-настоящему. Для него в этих словах есть смысл. Он любил Доминику по-настоящему. А кого еще? Быть им любимой: существует ли женщина, умевшая быть этого достойной? Нет, конечно, иначе откуда бы взялась эта горькая складка в углах рта.

— Люди меня всегда удивляют,— возобновляет он разговор.— Бернар настроен оппозиционно, но находит вполне естественным, что его сын хочет работать на ОРТФ, являющемся вотчиной правительства. Наверно, я неисправимый старый идеалист: я всегда пытался согласовать свою жизнь со своими принципами.

— А у меня нет принципов! — говорит Лоранс с сожалением.

— Ты их не афишируешь, но ты порядочна, лучше так, чем наоборот,— говорит ее отец с жаром.

Она смеется, отпивает глоток сока, ей хорошо. Чего бы она не отдала за похвалу отца? Не способного на компромиссы, интриги, равнодушного к деньгам, единственного на свете.

Он роется в пластинках. У него нет стереорадиолы «Хи-Фи», зато множество пластинок, подобранных с любовью.

— Сейчас услышишь восхитительную вещь: новую запись «Коронации Поппеи».

Лоранс пытается сосредоточиться. Женщина прощается с родиной, с друзьями. Это красиво. Она глядит на отца: научиться его собранности. Она искала этого в Жан-Шарле, в Люсьене, но обладает этим он один: на его лице отблеск вечности. Черпать силы в самом себе; быть очагом, излучающим тепло. Я позволяю себе роскошь угрызаться, упрекаю себя в том, что недостаточно к нему внимательна, но нуждается не он во мне, а я в нем. Она смотрит на него, ищет, в чем его секрет, поймет ли она это когда-нибудь. Она не слушает. Музыка уже давно не доходит до нее. Патетика Монтеверди, трагизм Бетховена намекают на страдания, каких ей не дано было испытать: полновластные и усмиренные, пламенные. Ей знакомы горькие надломы, раздражение, отчаяние, растерянность, пустота, скука, главное — скука. Скуку нельзя петь..

— Да, это великолепно,— говорит она с жаром. («Говорите, что думаете»,— говорила мадемуазель Уше. Даже с отцом это невозможно. Говоришь то, чего люди от тебя ждут.)

— Я знал, что тебе понравится. Я ставлю продолжение?

— Не сегодня. Я хотела с тобой посоветоваться. По поводу Катрин.

Тотчас он весь внимание, чуткий, не знающий готовых ответов. Когда она умолкает, он задумывается:

— У вас с Жан-Шарлем все в порядке?

Проницательный вопрос. Может, она и не плакала бы так над убитыми еврейскими детьми, если б в доме не стояло тяжкое молчание.

— В полнейшем.

— Уж очень быстро ты отвечаешь.

— Нет, правда, все хорошо. Я не так энергична, как он; но как раз для детей полезно, что мы друг друга уравновешиваем. Если только я не слишком рассеянна.

— Из-за работы?

— Нет. Мне кажется, я вообще рассеянна. Но не с девочками, с ними, не думаю.

Отец молчит. Она спрашивает:

— Что я могу ответить Катрин?

— Отвечать нечего. Раз уж возник вопрос, отвечать нечего.

— Но я должна ответить. Зачем мы существуем? Ну ладно, это.

допустим, абстракция, метафизика; этот вопрос меня не очень тревожит. Но несчастье — несчастье для ребенка нестерпимо.

— Даже в несчастье можно обрести радость. Но, признаюсь, убедить в этом десятилетнюю девочку не так-то просто.

— Как же быть?

— А так — я попробую с ней поговорить, понять, что ее волнует. Потом скажу тебе.

Лоранс подымается:

— Надо идти, пора.

Может, папе это удастся лучше, чем Жан-Шарлю и мне, думает Лоранс. Он умеет говорить с детьми: он со всеми находит нужный тон. И подарки он придумывает прелестные. Войдя в квартиру, он вытаскивает из кармана картонный цилиндр, опоясанный блестящими полосками, точно гигантский леденец. Луиза, Катрин, Лоранс по очереди приникают глазом к одному из его концов: колдовство красок и форм, складывающихся, распадающихся, мелькающих, множащихся в убегающей симметрии восьмиугольника. Калейдоскоп, в котором ничего нет; материалом ему служит мир — далии, ковер, занавески, книги. Жан-Шарль тоже смотрит.

— Это могут отлично использовать художники по тканям, по обоям,— говорит он.— Десять идей в минуту...

Лоранс подает суп, отец съедает его молча. («Вы не едите, вы питаетесь»,— сказал он ей однажды; она, как и Жан-Шарль, совершенно равнодушна к радостям кулинарии.) Он рассказывает детям смешные истории и, не подавая виду, выспрашивает их. Вот луна, забавно было бы прогуляться там, а им не страшно было бы отправиться на Луну? Нет, ни капельки, когда люди полетят туда, все будет проверено и так же безопасно, как путешествие на самолете. Человек в космосе ничуть не ошеломил их: они нашли его скорее неуклюжим, когда смотрели телевизор; они уже читали об этом в комиксах, и как на Луну высаживаются тоже, их даже удивляет, что человек до сих пор не прилунился. Им бы очень хотелось повидать этих людей, сверхчеловеков или недочеловеков — жителей других планет, о которых им рассказывал отец. Они описывают их, перебивая друг друга, возбужденные звуками собственных голосов, присутствием дедушки и относительной роскошью обеда. А в лицее изучают астрономию? Нет. Но учиться весело,— говорит Луиза. Катрин рассказывает о своей подруге Брижитт, которая на год старше и такая умная, о своей преподавательнице французского, которая немного глуповата. «Почему ты так думаешь?» — «Она говорит глупости». Больше из Катрин ничего не вытянешь. Уписывая ананасное мороженое, они умоляют дедушку взять их в воскресенье на прогулку, в машине, как он обещал. Показать им замки Луары, те самые, о которых рассказывается в истории Франции...

— Вам не кажется, что Лоранс тревожится без всяких оснований?— спрашивает Жан-Шарль, когда они остаются втроем.— В возрасте Катрин все умные дети задаются вопросами.

— Но почему у нее возникают именно эти вопросы? — говорит Лоранс.— Она же от всего ограждена.

— Кто сейчас огражден? — говорит отец.— А газеты, радио, телевидение, кино?

— За телевидением я очень слежу,— говорит Лоранс.— И газеты мы не разбрасываем.

Она запретила Катрин читать газеты; она ей объяснила на примерах, что, когда мало знаешь, можно все понять превратно и что газеты часто лгут.

— Тем не менее всего ты не проконтролируешь. Ты знакома с ее новой подружкой?

— Нет.

— Пусть Катрин пригласит ее. Попробуй выяснить, что она собой представляет, о чем говорит с Катрин.

— Во всяком случае, Катрин весела, здорова, хорошо учится,— говорит Жан-Шарль.— Никакой трагедии нет, если девочка немного слишком чувствительна.

Лоранс хотелось бы думать, что Жан-Шарль прав. Когда она идет в комнату девочек, чтоб поцеловать их перед сном, они скачут на кроватях и, громко хохоча, кувыркаются. Она смеется вместе с ними, подтыкает одеяла. Но не может забыть тоскливого лица Катрин. Что такое эта Брижитт? Даже если она тут и ни при чем, я должна была ею поинтересоваться. Слишком многое я упускаю.

Она возвращается в living room *. Ее отец и Жан-Шарль ведут один из бесконечных споров, повторяющихся каждую среду.

— Ничего подобного, люди не утратили корней,— говорит Жан-Шарль нетерпеливо.— Ново то, что их почвой стала вся планета.

— Они теперь нигде, хотя и повсюду. Даже путешествовать разучились.

— Вы хотите, чтоб путешествие было резкой переменой обстановки. Но земля превратилась в единую страну. Поэтому даже кажется странным, что необходимо время, чтобы перенестись из одного места в другое.— Жан-Шарль глядит на Лоранс.— Помнишь наше последнее возвращение из Нью-Йорка? Мы так привыкли к реактивным самолетам, что семь часов пути показались нам вечностью.

— Пруст говорит то же самое по поводу телефона. Не помните? Когда он вызывает бабушку из Донсьера. Он замечает, как злит его ожидание, потому что чудо голоса, слышимого на расстоянии, стало уже привычным.

— Не помню,— говорит Жан-Шарль.

— Нынешние дети находят нормальным, что человек прогуливается в космосе. Ничто никого больше не удивляет. Скоро техника обретет для нас естественность природы, и мы будем жить в абсолютно обесчеловеченном мире.

— Почему обесчеловеченном? Облик человека изменится, нельзя же замкнуть его в некое недвижное понятие. Но досуг поможет человеку вновь обрести ценности, которые вам так дороги: индивидуальность, искусство.

— Не к этому мы идем.

— К этому! Возьмите декоративные искусства, возьмите архитектуру. Функциональность уже не удовлетворяет. Происходит возврат к своего рода барокко, то есть к эстетическим ценностям.

Зачем? — думает Лоранс. Время от этого не пойдет ни быстрее, ни медленнее. Жан-Шарль живет уже в 1985, папа грустит по 1925. Он, по крайней мере, говорит о мире, который существовал, был им любим: Жан-Шарль выдумывает будущее, которое, может, никогда и не осуществится.

— Согласитесь, что раньше ничто так не уродовало местность, как железная дорога. Теперь НОЖД** и ОЭФ*** прилагают огромные усилия, чтоб сохранить красоту французского пейзажа.

— Усилия скорее плачевные.

— Ничего подобного.

Жан-Шарль перечисляет вокзалы, электростанции, гармонирующие с окрестностями. Верх в спорах всегда одерживает он, побивая фактами.

---

* Гостиная *(англ.)*.

** Национальное общество железных дорог.

*** Общество электрификации Франции.

Лоранс улыбается отцу. Тот решил замолчать, но выражение глаз, изгиб рта свидетельствуют, что он остался при своих убеждениях.

Сейчас он уйдет, думает Лоранс, опять она ничего не извлекла из встречи. Что у меня неладно? Я всегда думаю не о том.

— Твой отец — типичный образец человека, отказывающегося войти в двадцатый век,— говорит Жан-Шарль через час.

— А ты живешь в двадцать первом,— говорит Лоранс с улыбкой.

Она садится за свой стол. Она должна изучить результаты недавних исследований психологии покупателя, проводившихся под руководством Люсьена. Она открывает досье. До чего нудно, просто гнетуще. Глянец, блеск, лоск, мечта о скольжении, об отполированном существовании; секс, инфантилизм (безответственность); скорость, самоутверждение, тепло, надежность. Неужели все вкусы находят объяснение в столь примитивных стремлениях? Или все потребители, которых они опрашивали, умственно отсталые? Вряд ли. Неблагодарная работа у этих психологов: бесконечные вопросники, уловки, хитрости — а ответы всегда одинаковы. Люди хотят нового — без риска, забавного — с гарантией солидности, достоинств — по дешевке... Перед ней всегда одна проблема: завлекать, удивлять, успокаивая; вот магический предмет, он потрясет вашу жизнь, ничего в ней не сдвинув с места. Она спрашивает:

— У тебя возникало много вопросов, когда ты был маленьким?

— Наверно.

— Ты уже не помнишь, какие?

— Нет.

Он снова погружается в книгу. Он утверждает, что начисто забыл свое детство. Отец — мелкий промышленник из Нормандии, два брата, нормальные отношения с матерью: никаких причин бежать прошлого. Однако он никогда о нем не говорит.

Он читает. Раз это досье нагоняет на нее скуку, она могла бы тоже почитать. Что? Жан-Шарль обожает книги, которые не говорят ни о чем. «Ты понимаешь, самое потрясающее у этих молодых писателей, что они пишут не для того, чтоб рассказать какую-нибудь историю: они пишут, чтобы писать, точно камни складывают в кучу, ради удовольствия». Она решилась однажды прочесть описание висячего моста, занимавшее триста страниц, но не выдержала и десяти минут. Что до романов, которые рекомендует Люсьен, то они говорят о людях, о событиях, столь же далеких от моей жизни, как Монтеверди.

Пусть так. Литература для меня звук пустой. Но надо же хоть просвещаться: я превратилась в невежду! Папа говорил: «Лоранс станет, как я, библиотечной крысой». А вместо этого... То, что она отстала в первые годы брака, понятно, случай классический. Любовь, материнство — резкий эмоциональный шок, в особенности если замуж выходишь очень молодой, когда ум и чувства еще не достигли гармонического равновесия. Мне тогда казалось, что будущего нет: оно есть у Жан-Шарля, у девочек, но не у меня. К чему же мне культура? Порочный круг: я пренебрегала собой, скучала и чувствовала, что все больше себя утрачиваю. Причины ее депрессии были, конечно, более глубокими, но в психоаналитике она не нуждалась: она выбрала профессию, которая ее интересовала, и вышла из депрессии, обрела себя. А сейчас? Сейчас проблема изменилась: мне не хватает времени; вечно я в поисках идеи, формулировки, это превращается в наваждение. Когда она начала работать в Пюблинфе, она, по крайней мере, читала газеты; теперь она полагается на Жан-Шарля, он ее держит в курсе происходящего; этого недостаточно. («Составляйте обо всем собственное мнение!» — говорила мадемуазель Уше. Она была бы весьма разочарована, увидь меня сегодня!) Лоранс тянется за «Мондом», который валяется на столике. Ни-

чего не получается: нельзя было терять нить — сейчас она тонет, все началось когда-то раньше. Что такое Бурунди? ОКАМ? Чем недовольны бонзы? Кем был генерал Дельгадо? Где, собственно, находится Гана? Она складывает газету, испытывая все же чувство облегчения: никогда ведь не знаешь заранее, на что рискуешь наткнуться. Как я ни бронировала свою шкуру, я далеко не так закалена, как они. «Женская склонность к содроганиям»,— говорит Жан-Шарль, хоть он и сторонник женского равноправия. Я с этим борюсь; мне собственные содрогания противны, самое лучшее — избегать всего, что может их вызвать.

Она снова принимается за досье. Зачем мы существуем? Для меня это не проблема. Существуем, и все. Главное, не обращать внимания, взять разбег, и единым духом — до самой смерти. Пять лет тому назад бег пресекся. Я снова разогналась. Но время тянется долго. Падения неизбежны. Для меня проблема в том, что внезапно все рушится, точно на вопрос Катрин существует ответ, и ответ ужасающий! Нет, нет! Думать так — значит скатываться к неврозу. Я не упаду снова. Я предупреждена, вооружена, я держу себя в руках Впрочем, подлинные причины тогдашнего кризиса мне ясны, они — в прошлом; я выяснила для себя, в чем состоял конфликт: мои чувства к Жан-Шарлю наталкивались на любовь, которую я испытывала к отцу; теперь этот разрыв меня не мучит, я откровенна с собой до конца.

Дети спят. Жан-Шарль читает. Где-то думает о ней Люсьен. Она ощущает себя внутри собственной жизни, полной, теплой, в гнезде, в коконе. Нужно только быть бдительной, и тогда ощущение надежности не даст трещины.

Глава вторая

«Зачем я понадобилась Жильберу?» Окруженные влажными садами, пахнущими осенью и провинцией, все дома Нейи напоминают клиники. «Не говорите Доминике». В его голосе звучал страх. Рак? А может быть, сердце?

— Спасибо, что пришли.

Гармония серых и красных тонов, пол, затянутый черным бобриком, редкие издания на стеллажах из дерева ценных пород, две современные картины с дорогостоящими подписями, стереорадиола со всеми аксессуарами, бар — вот такой кабинет миллиардера она должна продавать каждому клиенту, покупающему всего лишь купон репса или сосновую этажерку.

— Немного виски?

— Нет, спасибо.— У нее комок в горле.— Что случилось?

— Фруктового сока?.

— С удовольствием.

Он наливает ей, наливает себе, кладет лед в ее стакан, не торопится. Привычка чувствовать себя хозяином положения и высказываться, когда он считает нужным? Или ему неудобно?

— Вы хорошо знаете Доминику и можете мне дать совет.

Сердце или рак. Если Жильбер спрашивает у Лоранс совета, дело идет о чем-то серьезном. Она слышит слова, которые повисают в воздухе, лишенные всякого смысла:

— Я влюблен в молодую девушку.

— То есть как?

— Влюблен. От слова — любовь. В девятнадцатилетнюю девушку.— Его губы округло складываются в улыбку, он говорит отеческим тоном, точно объясняя умственно недоразвитому ребенку нечто очень

простое: — В наше время не так уж редко случается, что девятнадцатилетняя девушка любит мужчину, которому перевалило за пятьдесят.

— Значит, и она вас любит?

— Да.

Нет, беззвучно кричит Лоранс. Мама! Бедная моя мама! Она не хочет ни о чем расспрашивать Жильбера, не хочет облегчать ему объяснение. Он молчит. Она уступает, поединок с ним ей не по силам:

— И что?

— А то, что я женюсь.

На этот раз она кричит громко:

— Но это невозможно!

— Мари-Клер дала согласие на развод. Она знает и любит Патрицию.

— Патрицию?

— Да. Дочь Люсиль де Сен-Шамон.

— Это невозможно! — повторяет Лоранс. Она однажды видела Патрицию девочкой лет двенадцати, белокурой и манерной; и ее фотографию, датированную прошлым годом: вся в белом на первом балу; прелестная индюшка без гроша, которую мать швыряет в богатые руки.— Вы не бросите Доминику: семь лет!

— Именно.

Он подчеркнуто циничен, и рот его округляется, как бы выставляя улыбку напоказ. Он просто хам. Лоранс слышит, как колотится ее сердце, сильно, торопливо; она точно в страшном сне, когда не можешь понять, происходит ли все на самом деле или тебе показывают фильм ужасов. Мари-Клер согласна на развод; разумеется, она счастлива, что может напакостить Доминике.

— Но Доминика любит вас. Она думает, что на исходе дней вы будете вместе. Она не переживет, если вы бросите ее.

— Переживет, переживет,— говорит Жильбер.

Лоранс молчит. Слова бесполезны, она понимает.

— Ну, не сидите с таким удрученным видом. У вашей матери сильная воля. Она отлично отдает себе отчет в том, что женщина пятидесяти одного года старше мужчины, которому пятьдесят шесть. Она дорожит своей карьерой, светской жизнью, она примирится с разрывом. Я не знаю только — и об этом-то я и хотел с вами посоветоваться,— как наилучшим способом сообщить ей.

— Все способы дурны.

Жильбер глядит на нее с выражением готовной покорности, стяжавшим ему славу покорителя сердец:

— Я доверяю вашему уму, вашему мнению: должен ли я сказать ей только, что уже не люблю ее, или следует сразу заговорить о Патриции?

— Она не переживет. Не делайте этого! — умоляет Лоранс.

— Я скажу ей завтра, после обеда. Постарайтесь увидеться с ней в конце дня. Нужно, чтоб кто-нибудь был около нее. Вы мне позвоните и скажете, как она реагировала.

— Нет, нет! — говорит Лоранс.

— Речь идет о том, чтоб все прошло как можно менее болезненно: я даже хотел бы иметь возможность сохранить ее дружбу; я желаю ей добра.

Лоранс поднимается и идет к двери; он хватает ее за руку:

— Не говорите ей о нашем разговоре.

— Я поступлю так, как сочту нужным.

Жильбер за ее спиной бормочет какую-то ерунду, она не подает ему руки, хлопает дверью. Она его ненавидит. Какое облегчение внезапно признаться себе: Жильбер мне всегда был отвратителен. Она шагает,

наступая на опавшие листья, и страх сгущается вокруг, как туман; и одна только жесткая, ясная очевидность пронзает этот мрак: я его ненавижу! Лоранс думает: Доминика возненавидит его! Она гордая, сильная. «Непозволительно вести себя как швейка». Ей будет больно, но ее выручит гордость. Роль трудная, но красивая: женщина, приемлющая разрыв с элегантностью. Она погрузится в работу, заведет нового любовника... А что, если я сама поеду и предупрежу ее сейчас же? Лоранс сидит, не двигаясь, за рулем своей машины. Внезапно она покрывается потом, ей дурно. Невозможно, чтоб Доминика услышала слова, которые намерен сказать Жильбер. Что-нибудь стрясется: он умрет сегодня ночью или она. Или земля полетит в тартарары.

Завтра — это уже сегодня; земля не полетела в тартарары. Лоранс ставит машину прямо у перехода, плевать на штраф. Трижды она звонила с работы: гудки «занято». Доминика сняла трубку. Лоранс поднимается в лифте, вытирает влажные руки. Держаться естественно.

— Я не помешала? Никак не могла дозвониться, а мне необходим твой совет.

Все это шито белыми нитками, она никогда не спрашивает совета у матери, но Доминика ее почти не слушает:

— Входи.

Они садятся в «зоне покоя» просторного салона, выдержанного в пастельных тонах. В вазе огромный букет желтых заостренных цветов, похожих на злых птиц. У Доминики распухшие глаза. Значит, она плакала? Вызывающе, почти что с торжеством, она бросает:

— Хорошенькую историю я тебе расскажу!

— Что такое?

— Жильбер мне заявил, что любит другую.

— Глупости! Кого же?

— Не сказал. Только заявил, что «наши отношения должны теперь строиться на иной основе». Прелестная формула. Он не приедет в Февроль на уик-энд.— Визгливый голос вибрирует от ненависти.— Он меня бросает, ясно! Но я узнаю, кто эта особа, и, клянусь тебе, ей не поздоровится!

Лоранс колеблется: покончить разом? Она не в силах, ей страшно. Выиграть время.

— Просто каприз какой-нибудь.

— У Жильбера капризов никогда не бывает; у него бывают только твердые намерения.— И, внезапно, вопль: — Мерзавец! Мерзавец!

Никогда бы Лоранс не подумала, что мать может так кричать, что вообще можно так кричать: плохой театр какой-то. В театре, да, но не на самом деле, не в жизни. Взвинченный, неприличный голос пронзает «зону покоя».

— Мерзавец! Мерзавец!

Лоранс обнимает мать за плечи:

— Не кричи.

— Буду кричать, сколько хочу: мерзавец! Мерзавец!

(В другом салоне, совсем ином, в точности таком же, с вазами, полными роскошных цветов, тот же крик рвется из уст: «Мерзавец!»)

Доминика валится на диван, рыдает:

— Представляешь себе! Так поступить со мной. Он бросает меня, как швейку.

— Ты ни о чем не подозревала?

— Ни о чем. Здорово он меня охмурил. Ты его видела в прошлое воскресенье: сплошная улыбка.

— Что, собственно, он тебе сказал?

Доминика поднимается, приглаживает волосы, слезы у нее текут.

— Что он обязан сказать мне правду. Он меня уважает, он мной восхищается — обычная белиберда. Но любит он другую.

— Ты не спросила ее имя?

— Я за это не так взялась,— говорит Доминика сквозь зубы. Она вытирает глаза.— Я уже слышу всех моих милых приятельниц. Жильбер Мортье бросил Доминику. С каким удовольствием они будут чесать языки!

— Найди ему сейчас же замену, мало ли мужиков за тобой увивается.

— Стоит о них говорить — жалкие карьеристы...

— Уезжай. Покажи им, что ты прекрасно можешь обойтись без него Он — мерзавец, ты права. Постарайся забыть его.

— Он будет только доволен! Это его более чем устроит.

Она поднимается, ходит по салону.

— Я верну его. Так или иначе.— Она глядит на Лоранс злыми глазами.— Это был мой последний шанс! Понимаешь?

— Полно.

— Оставь! В пятьдесят один год не начинают жизнь сначала.— Она повторяет, как маньяк: — Я верну его! Добром или силой.

— Силой?

— Если я найду способ оказать на него давление.

— Какой способ?

— Поищу.

— Но что это тебе даст, если ты сохранишь его силой?

— Я его сохраню. Не буду брошенной женщиной.

Она снова садится. Остановившийся взгляд, стиснутые губы. Лоранс говорит. Она произносит слова, почерпнутые некогда из уст матери: достоинство, душевный покой, мужество, уважение к себе, сохранять лицо, уметь себя держать, избрать благородную роль. Доминика не отвечает. Она говорит с усталым видом:

— Иди домой. Мне нужно подумать. Будь столь любезна, позвони Петридесам от моего имени, скажи, что у меня ангина.

— Ты сможешь уснуть?

— Во всяком случае, я не намерена наглотаться снотворных, если тебя это беспокоит.

Она сжимает руки Лоранс непривычным, стесняющим жестом, впиваясь пальцами в ее запястья.

— Постарайся выяснить, кто эта женщина.

— Я не знаю никого из окружения Жильбера.

— Попытайся все же.

Лоранс медленно спускается по лестнице. Что-то теснит в груди, мешает дышать. Она предпочла бы раствориться в нежности и печали. Но в ушах звенит крик, она не может забыть злого взгляда. Ярость и оскорбленное тщеславие — страдание, столь же душераздирающее, как любовная боль,— но без любви. Кто мог бы полюбить Жильбера настоящей любовью? А Доминика, любила ли она когда-нибудь? (Он не находил себе дома места, как душа неприкаянная, он еще любил ее. И Лоранс растворялась в нежности и печали. И с тех пор Доминику навсегда окружило некое кольцо вредоносного сияния.) Даже страдание не делает ее человечной. Точно слышишь скрежет лангуста, невнятный шум, не говорящий ни о чем, кроме обнаженной боли. Особенно нестерпимой, потому что не можешь ее разделить.

Я пыталась не слышать, но лангусты все еще скрежетали у меня в ушах, когда я вернулась домой. Луиза сбивала на кухне белки под наблюдением Гойи; я ее поцеловала.

— Катрин вернулась?

— Она у себя в комнате, с Брижитт.

Они сидели в темноте, одна против другой. Я зажгла свет, Брижитт встала.

— Здравствуйте, мадам.

Я сразу заметила большую английскую булавку, которой был подколот подол ее юбки: ребенок без матери, я уже знала это от Катрин; высокая, худая, каштановые волосы, подстриженные слишком коротко, неухоженные, выцветший голубой пуловер; если ее принарядить, она была бы красивой. В комнате царил беспорядок, стулья перевернуты, подушки на полу.

— Рада с вами познакомиться.

Я поцеловала Катрин.

— Во что вы играли?

— Мы разговаривали.

— А этот беспорядок?

— А, это раньше, с Луизой, мы тут бесились.

— Мы сейчас уберем,— сказала Брижитт.

— Это не срочно.

Я подняла одно из кресел и села. Меня не беспокоило, что они бегали, прыгали, перевернули мебель; но о чем говорили они, когда я вошла?

— О чем вы говорили?

— Да, так, разговаривали,— сказала Катрин.

Стоя передо мной, Брижитт разглядывала меня, не дерзко, но с откровенным любопытством. Я ощущала некоторую неловкость. Взрослые не глядят друг на друга по-настоящему. Эти глаза меня видели. Я взяла со стола «Дон-Кихота» — сокращенное и иллюстрированное издание,— Катрин давала его почитать подруге.

— Вы прочли? Вам понравилось? Садитесь же.

Она села.

— Я не дочитала до конца.— Она улыбнулась мне красивой улыбкой, совсем не детской, даже чуть кокетливой: — Мне становится скучно, когда книжка слишком длинная. И потом я больше люблю, когда пишут про то, что было на самом деле.

— Исторические романы?

— Да. И путешествия, и то, что пишут в газетах.

— Ваш папа разрешает вам читать газеты?

Это ее огорошило; она прошептала смущенно:

— Да.

Папа прав, подумала я, я не все держу под контролем. Если она приносит газеты в лицей, если она пересказывает то, что прочла в них... Все эти чудовищные происшествия: замученные дети, дети, утопленные собственными матерями.

— Вы все понимаете?

— Брат мне объясняет.

Брат у нее студент, отец — врач. Одна с двумя мужчинами. За ней, наверно, не очень присматривают. Люсьен считает, что девочки, у которых есть старшие братья, созревают быстрее; может быть, поэтому у нее уже повадки маленькой женщины.

— Что вы собираетесь делать? У вас есть планы?

Они сообщнически смотрят друг на друга.

— Я буду врачом. Она — агрономом,— говорит Катрин.

— Агрономом? Вам нравится деревня?

— Мой дедушка говорит, что будущее зависит от агрономов.

Я не осмелилась спросить, чем занимается этот дедушка. Я посмотрела на часы. Без четверти восемь.

— Катрин должна привести себя в порядок к ужину. Вас, наверно, тоже ждут дома.

— А у нас каждый ужинает, когда ему удобно,— сказала она небрежным тоном.— Сейчас еще, наверно, никто не вернулся.

Да, случай ясный. Девочка заброшенная, привыкшая к самостоятельности. Ей ничего не запрещали, ничего не разрешали: росла как трава. Какой инфантильной выглядела рядом с ней Катрин! Было бы неплохо оставить ее поужинать с нами. Но Жан-Шарль злится, когда его не предупреждают заранее. К тому же, не знаю почему, мне не хотелось, чтоб он познакомился с Брижитт.

— Вам все же пора идти домой. Подождите минутку, я подошью вам юбку.

Уши у нее стали совсем красными.

— О, право, не надо.

— Надо, это очень некрасиво.

— Я подошью дома.

— Дайте я хоть переколю булавку как следует.

Она мне улыбнулась:

— Вы очень любезны.

— Я была бы рада познакомиться с вами поближе. Хотите пойти вместе с Катрин и Луизой в Музей Человека в четверг?

— О да!

Катрин проводила Брижитт до входной двери. Слышен был их шепот и смех. Мне бы тоже хотелось сидеть в темноте с девочкой моего возраста и шептаться и смеяться. Но Доминика всегда говорила: «Она, разумеется, очень симпатична, твоя приятельница, но так ординарна». У Марты была подруга, дочка папиного приятеля, ограниченная и тупая. А у меня не было, никогда.

— Твоя подружка очень симпатична.

— Мне с ней весело.

— У нее хорошие отметки?

— О да, самые лучшие.

— А у тебя что-то ухудшились по сравнению с началом месяца, ты плохо себя чувствуешь?

— Нет.

Я не настаивала.

— Она старше тебя, поэтому ей позволяют читать газеты. Но ты не забыла, о чем мы с тобой говорили? Ты еще мала.

— Я помню.

— Ты не нарушала обещания?

— Нет.

Казалось, Катрин чего-то недоговаривала.

— Что-то у тебя голос неуверенный.

— Нет, правда. Только, знаешь, то, что мне пересказывает Брижитт, понять совсем не трудно.

Я смутилась. Брижитт мне нравится. Но хорошо ли она влияет на Катрин?

— Быть агрономом, странное желание. Тебе оно понятно?

— Я предпочитаю стать врачом. Я буду лечить больных, а она растить хлеб и помидоры в пустыне, и у всех будет еда.

— Ты показала ей плакат с голодным мальчиком?

— Это она мне его показала.

Разумеется. Я отправила ее мыть руки и причесываться, а сама пошла в комнату Луизы. Она рисовала, сидя за партой. Я вспомнила: темная комната, зажжена только маленькая лампа, цветные карандаши, позади долгий день, поблескивающий мелькнувшими радостями, а за

окном — огромный таинственный мир. Драгоценные мгновения, утраченные навсегда. Как жаль! Помешать им взрослеть или... Или что?

— Как ты красиво нарисовала, доченька.

— Это подарок тебе.

— Спасибо. Я положу его на стол. Тебе было весело с Брижитт?

— Она учила меня разным танцам...— голос Луизы погрустнел.— А потом они меня выставили за дверь.

— Им нужно было поговорить. А ты зато смогла помочь Гойе приготовить ужин. Папа будет очень горд, когда узнает, что ты сама сделала суфле.

Она засмеялась, мы услышали звук ключа в замке, и она побежала встречать отца.

Это было вчера. Лоранс озабочена. Она видит перед собой улыбку Брижитт. «Вы очень любезны»,— это ее трогает. Такая дружба может быть полезна Катрин: она в том возрасте, когда интересуются всем происходящим в мире; я недостаточно рассказываю ей, отца она побаивается; с другой стороны, нельзя ее травмировать. Дед и бабка Брижитт по материнской линии живут в Израиле, прошлый год она провела у них, поэтому-то она и отстала от своего класса. Были ли в семье погибшие? Все эти ужасы, от которых я столько плакала, неужели она рассказала об этом Катрин? Я должна быть на страже, мне нужно быть в курсе всего происходящего и самой просвещать дочь. Лоранс пытается сосредоточиться на «Франс-суар». Еще одно чудовищное происшествие. Двенадцать лет. Повесился в тюрьме; попросил бананов, полотенце и повесился. «Накладные расходы». Жильбер объяснял, что в любом обществе существуют накладные расходы. Да, конечно. Тем не менее эта история потрясла бы Катрин.

Жильбер. «Любовь. От слова — любовь». Каков мерзавец! «Мерзавец! Мерзавец!» — вопит Доминика в «зоне покоя». Сегодня утром, по телефону, она сказала мрачным голосом, что спала хорошо, и сразу повесила трубку. Чем я могу ей помочь? Ничем. Так редко можешь кому-нибудь чем-нибудь помочь. ...Катрин — да. Значит, надо это сделать. Знать, как ответить на ее вопросы, даже опережать их. Раскрыть перед ней действительность, не испугав ее. Для этого я должна сначала сама быть информированной. Жан-Шарль упрекает меня в том, что современность меня не интересует; пусть даст мне список книг; заставить себя прочесть их. План не новый. Периодически Лоранс принимает решения, но — почему бы это? — подлинного желания выполнять их у нее нет. Теперь все иначе. На карту поставлена Катрин. Она не простит себе, если Катрин не найдет в ней опоры.

— Ты здесь, как хорошо,— говорит Люсьен.

Лоранс сидит в кожаном кресле, на ней халат; Люсьен, тоже в халате, у ее ног, глядит на нее снизу вверх.

— И мне хорошо.

— Я хотел бы, чтоб ты всегда была здесь.

Они предавались любви, потом перекусили, поболтали, опять предавались любви. Ей уютно в этой комнате: диван-кровать, покрытый мехом, стол, два черных кожаных кресла, купленных на Блошином рынке, на этажерке — несколько книг, телескоп, роза ветров, секстант, в углу — лыжи и чемоданы из свиной кожи; во всем — непринужденность, ничего роскошного; а все-таки ничуть не удивляет изобилие элегантных костюмов, замшевых курток, свитеров, шейных платков, обуви в шкафу. Люсьен приоткрывает полы пеньюара Лоранс, гладит колено.

— У тебя красивые колени. Это редкость — красивые колени.

— У тебя прекрасные руки.

Он сложен хуже Жан-Шарля, слишком худ; но руки тонкие, нервные, лицо подвижное, чувствительное, в жестах — изящная гибкость. Он живет в мире приглушенных звуков, тонких оттенков, полутонов, светотени, в то время как вокруг Жан-Шарля всегда полдень, резкий ровный свет.

— Выпьешь чего-нибудь?

— Нет, налей себе.

Он наливает себе американское виски «On the rocks», говорят, это очень редкая марка. К еде он равнодушен, но гордится своим знанием вин и спиртных напитков. Он усаживается снова у ног Лоранс.

— Готов спорить, что ты никогда не напивалась.

— Я не люблю спиртного.

— Не любишь или боишься?

Она гладит черные волосы, сохранившие детскую мягкость:

— Не играй со мной в психолога.

— Да, ты девочка, в которой с налету не разберешься. Иногда такая юная, веселая, близкая, а другой раз — ну просто Минерва в шлеме и со щитом.

Вначале ей нравилось, что он говорит о ней; это нравится каждой женщине, а Жан-Шарль ее не баловал, но, в сущности, все эти разговоры — пустое. Она чересчур хорошо знала, что интригует Люсьена, вернее, тревожит.

— Все зависит от моей прически.

Он кладет голову ей на колени.

— Дай мне помечтать пять минут, что мы останемся вместе всю жизнь. Незаметно поседеем. Ты будешь прелестной старой дамой.

— Помечтай, дорогой.

Почему он говорит глупости? Любовь, которой не будет конца,— это как поется в песенке: «Не бывает, не бывает». Но тоскующий голос будит в ней смутное эхо чего-то пережитого давным-давно, в другой жизни, а может быть, переживаемого сейчас, но на другой планете. Это неотвязно и вредно, как сильный запах ночью в запертой комнате, запах нарциссов. Она говорит довольно сухо:

— Я тебе надоем.

— Никогда.

— Не будь романтиком.

— На днях один старый врач отравился, держа за руку жену, умершую неделю назад. Случается и такое...

— Да, но чем это мотивировано? — спрашивает она смеясь.

Он говорит с упреком:

— Я не смеюсь.

Она допустила, чтоб разговор принял этот глупо-чувствительный характер, теперь нелегко будет уйти.

— Я не люблю думать о будущем; меня удовлетворяет настоящее,— говорит она, прижимая ладонь к щеке Люсьена.

— Правда? — Он смотрит на нее глазами, в которых с почти невыносимой яркостью отражается она сама.— Тебе со мной не скучно?

— Какой вздор! Меньше, чем с кем-либо другим.

— Странный ответ.

— Потому что ты задаешь странные вопросы. Разве у меня сегодня был скучающий вид?

— Нет.

С Люсьеном занятно разговаривать. Они болтают о сотрудниках Люблинфа, клиентах, выдумывают им приключения. Люсьен пересказывает прочтенные романы, описывает места, где побывал, он умеет найти подробность, пробуждающую в Лоранс мимолетное желание читать, ездить. Только что он говорил о Фицджеральде, которого она знает толь-

ко по имени, и она удивляется, что столь ирреальная история могла случиться на самом деле.

— Мы провели чудный вечер,— говорит она.

Он вздрагивает:

— Почему ты говоришь «мы провели»? Вечер не кончился...

— Уже два часа. Мне нужно идти домой, милый.

— Как? Ты не останешься?

— Дети стали слишком большими, это опасно.

— О, я прошу тебя!

— Нет.

В прошлом году, когда Жан-Шарль был в Марокко, она часто говорила «нет», уходила, а потом внезапно останавливала машину, разворачивалась и бегом взлетала по лестнице. Он сжимал ее в объятиях: «Ты вернулась!» — и она оставалась до зари. Ради этого счастья на его лице. Такая же ловушка, как всякая другая. Сегодня она не вернется. И он это знает.

— Значит, ты не проведешь со мной ни одной ночи?

Она собирается с силами. Он убедил себя, что в отсутствие Жан-Шарля они будут спать вместе. Но она ничего не обещала.

— Представь себе, что девочки поймут. Риск слишком велик.

— В прошлом году ты рисковала.

— А потом угрызалась.

Они оба поднялись. Он меряет комнату шагами, в ярости останавливается перед Лоранс:

— Всегда одна и та же песня! Согрешить мы не прочь, но при этом остаемся хорошей матерью, хорошей женой. Почему нет общепринятых слов, чтоб сказать — дурная возлюбленная, дурная любовница...— Голос его дрожит, взор увлажняется. — Значит, мы никогда больше не проведем ночи вместе: случая удобнее у нас не будет.

— Может, будет.

— Нет, потому что ты не подстроишь его. Ты меня уже не любишь,— говорит он.

— Почему же я здесь?

— Ты любишь меня не так, как раньше. После твоего возвращения из отпуска все не так, как раньше.

— Уверяю тебя, все по-прежнему. Мы и раньше двадцать раз ссорились из-за этого. Дай мне одеться.

Он наливает снова виски, пока она проходит в ванную комнату, где полочки уставлены флаконами и банками. Люсьен коллекционирует лосьоны и кремы, которые клиенты дарят Пюблинфу, забавы ради, но также и потому, что он холит себя. Конечно, если б все было как раньше, я бы подавила угрызения совести; трепет, ниспровергающий все, ночь в пламени, вихри и обвалы желания и блаженства — ради такого преображения можно предавать, лгать, рисковать. Но не ради милых ласк, не ради удовольствия, так напоминающего радости супружеской любви. Не ради зачерствелых эмоций, ставших повседневным бытом. Даже измена функциональна, говорит она себе. Споры, так волновавшие прежде, теперь выводят ее из себя. Когда она возвращается в комнату, он уже покончил со вторым бокалом.

— Я понял, все ясно. Ты завела интрижку из любопытства, не оставаться же глупой гусыней, которая никогда не изменяла мужу... Только и всего. А я, идиот несчастный, говорил тебе о вечной любви.

— Неправда.— Она подходит, обнимает его:— Ты мне очень дорог.

— Очень дорог! Мне всегда доставались только крохи твоей жизни. Я с этим смирился. Но если ты будешь уделять мне еще меньше, лучше порвать.

— Я делаю, что могу.

— Ты не можешь причинять ущерба мужу, детям, но мучить меня — это ты можешь.

— Я не хочу, чтобы ты мучился.

— Понятно! Это тебе безразлично. Я думал, что ты не такая, как другие; подчас даже кажется, что у тебя есть сердце. Но нет. Современной женщине, женщине свободной, преуспевающей — на хрен оно сдалось, сердце.

Он говорит, говорит. Когда у Жан-Шарля неприятности, он молчит. Люсьен говорит. Две методы. Я, и правда, с детства приучилась владеть своим сердцем. Хорошо это или плохо? Пустой вопрос, себя не переделаешь.

— Ты не пьешь, не выходишь из себя, ни разу я не видел тебя плачущей, ты боишься утратить самоконтроль — это я и называю отказом от жизни.

Она чувствует себя задетой, что-то — она сама не знает что — ее укололо.

— Ничего не поделаешь. Какая есть.

Он хватает ее за руку:

— Ты отдаешь себе отчет! Целый месяц я жду этих ночей. Я мечтал о них каждую ночь.

— Хорошо, я виновата. Я должна была тебя предупредить!

— Ты этого не сделала, теперь оставайся!

Она потихоньку высвобождает руку:

— Пойми, если у Жан-Шарля возникнут подозрения, наши отношения станут невозможны.

— Потому что в жертву, ясное дело, буду принесен я.

— Не будем к этому возвращаться.

— Не будем. Я проиграл.

Лицо Люсьена смягчается, в его взоре остается только глубокая печаль.

— Что ж, до завтра,— говорит он.

— До завтра. Мы проведем прекрасный вечер.

Она его целует, он не отвечает поцелуем; в лице у него страдание.

Ей не жаль его; пробираясь к своей машине, она скорее ему завидует. Как она страдала в ту ночь в Гавре, когда он заявил, что предпочитает сразу же порвать; это было в самом начале их романа, она собирала данные о продаже кофе «Мокески», и он поехал с ней. Зависеть от мужа, от детей, ждать, просить милостыни он не желал. «Я его потеряю!» Она тогда ощутила боль, острую, как от физической раны. И снова, в прошлую зиму, после возвращения из Шамони. «Эти две недели были пыткой,— говорил Люсьен,— лучше покончить разом». Она умоляла; он не уступал, десять дней он с ней не разговаривал, десять дней ада. Ничего общего с благородными страданиями, которые перелагают на музыку. Куда более низменно: сухой рот, позывы к рвоте. Но было хотя бы о чем жалеть, чему огорчаться. Ему еще знакома эта лихорадка, и отчаяние, и надежда. Ему везет больше, чем мне.

Почему, собственно, Жан-Шарль, а не Люсьен, спрашивает себя Лоранс, разглядывая мужа, который намазывает апельсиновый джем на тост. Она хорошо знает, что Люсьен в конце концов отдалится от нее и полюбит другую. (Почему, собственно, я, а не другая?) Она к этому готова и в перспективе даже желает этого. И только спрашивает себя: почему Жан-Шарль. Дети уехали накануне вечером в Февроль с Мартой, в квартире тихо. Но соседи пользуются воскресеньем, чтоб по очереди стучать в стенку. Жан-Шарль в ярости ударяет рукой об стол:

— Мне это осточертело! Я сейчас пойду и набью им морду!

После возвращения он стал раздражителен, обрывает детей, набрасывается на Гойю, ко всем предъявляет претензии. Верн — гений, ясновидец, но он так нетерпим, что в итоге Дюфрен прав: Верн ничего не осуществляет. Предприниматель не вполне согласился с его проектом, нужно было подумать о собственных сотрудниках, прежде чем отказываться от дела — теперь у нас из-под носа ушло целое состояние.

— Я попробую перейти к Монно.

— Ты говорил, что у вас замечательный коллектив, что вы работаете вдохновенно.

— Вдохновение не кормит. Я стою больше, чем зарабатываю у Верна. У Монно я получу по меньшей мере двойной оклад.

— Заметь, мы живем совсем неплохо.

— Будем жить еще лучше.

Жан-Шарль решил расстаться с Верном, который столько для него сделал (хороши бы мы были без его авансов, когда родилась Катрин), но прежде он должен посчитаться с ним на словах.

— Необыкновенные идеи, о которых все говорят, которые не сходят с газетных полос, все это прекрасно...

Почему, собственно, Жан-Шарль, а не Люсьен? Ощущение пустоты, что с одним, что с другим; но с Жан-Шарлем ее соединяют дети, дом, прочные связи; а Люсьен теперь, когда она уже ничего не чувствует, кажется совсем чужим. Ну, а если бы она вышла замуж за него? Было бы ни лучше, ни хуже, думает она. Почему, собственно, этот мужчина, а не другой? Странно. Оказываешься на всю жизнь в одной упряжке с каким-то типом только потому, что в девятнадцать лет встретила именно его. Она не жалеет, что это был Жан-Шарль, ни в коей мере. Он живой, горячий, всегда полон планов, идей, увлечен тем, что делает, блестящ, все его находят симпатичным. И верный, порядочный, красивое тело, умел и щедр в любви. Любит дом, детей, Лоранс. Любит не так, как Люсьен, менее романтично, но крепко и нежно; ему необходимо ее присутствие, ее одобрение, он сходит с ума, когда она кажется грустной или хотя бы озабоченной. Идеальный муж. Она поздравляет себя с тем, что вышла за него, а не за другого; но все же удивительно, что это так важно и в то же время — случайно. Никаких особых оснований. (Но ведь у всех так.) Существуют ли родственные души где-нибудь, кроме литературы? А старый врач, которого убила смерть жены? Это еще не доказывает, что они были созданы друг для друга. «Любить по-настоящему»,— говорит папа. Люблю ли я Жан-Шарля, любила ли я Люсьена по-настоящему? У нее впечатление, что близкие лишь сосуществуют рядом с ней, а в ней, внутри — никого; только дочери, но это уже органическое.

— Нельзя быть великим архитектором, не умея приспосабливаться.

Звонок прерывает Жан-Шарля; он раздвигает перегородку, разделяющую комнату надвое, и Лоранс проводит Мону в ту часть, которая служит ей кабинетом.

— Ты меня здорово выручила, что пришла.

— Не бросать же тебя в беде.

Мона хорошенькая, силуэт — в брюках и пуловере — мальчишеский, а улыбка и грациозный наклон шеи женственны. Вообще-то она отказывается пошевелить мизинцем после окончания рабочего дня: и без того нас достаточно эксплуатируют. Но проект должен быть сдан не позднее сегодняшнего вечера, а она знает, что представленный ею макет не вполне подходит. Она осматривается.

— Скажи-ка, роскошно ты живешь! — Она задумывается.— Конечно, вдвоем вы должны зашибать большую деньгу.

Ни иронии, ни упрека: она сравнивает. Она неплохо зарабатывает, но, говорят,— сама она не любит о себе распространяться,— что она из

очень простой среды и вся семья у нее на руках. Она садится рядом с Лоранс, раскладывает рисунки на письменном столе.

— Я сделала несколько вариантов.

Нелегко рекламировать новую марку такого распространенного продукта, как томатный сок. Лоранс посоветовала Моне играть на контрасте солнце — свежесть. Картинка, сделанная ею, была мила: яркие краски, в небе большое солнце, прижавшаяся к горе деревушка, оливковые деревья, а на первом плане банка с фирменной маркой и помидор. Но чего-то не хватало: вкуса плода, его сочности. Они долго обсуждали и пришли к выводу, что нужно надрезать кожу, слегка обнажить мякоть.

— Ага, теперь все совсем по-другому, так и хочется в него впиться.

— Да, я решила, что тебе понравится,— говорит Мона.— Посмотри остальные...

От листка к листку легкие изменения формы, цвета.

— Трудно выбрать.

Жан-Шарль входит в комнату, зубы его блестят, белые-пребелые, когда он с жаром пожимает руку Моны:

— Лоранс мне столько говорила о вас! И я видел много ваших рисунков. Я в восторге от вашей Мерибель. Вы очень талантливы.

— Стараемся быть на высоте,— говорит Мона.

— Какой из этих рисунков будит в тебе желание выпить томатного сока? — спрашивает Лоранс.

— Они очень похожи один на другой. Нет? И все красивы — настоящие маленькие картины.

Жан-Шарль кладет руку на плечо Лоранс.

— Я спущусь, пошурую в машине. Ты будешь готова к половине первого? Нужно выехать не позднее, если мы хотим попасть в Февроль к обеду.

— Я буду готова.

Он выходит, широко улыбнувшись.

— Вы едете за город? — спрашивает Мона.

— Да, у мамы есть дом. Мы ездим туда почти каждое воскресенье. Это разрядка...— Она чуть не сказала машинально, «которая так необходима», но вовремя спохватилась. Она слышит голос Жильбера: «Это разрядка, которая так необходима», видит усталое лицо Моны, ей как-то неловко. (Не стесняться, не попрекать себя, не упиваться самокопаньем.)

— Смешно,— говорит Мона.

— Что?

— Смешно, до чего твой муж похож на Люсьена.

— Ты спятила! Люсьен и Жан-Шарль — это вода и огонь.

— По-моему, это две капли воды.

— Ничего подобного.

— Оба они мужики с хорошими манерами и белыми зубами, умеют поговорить и протирают кожу после бритья афтер-шейвом.

— А, если ты об этом....

— Об этом.— Она резко обрывает фразу.— Ну? Какой из вариантов ты предпочитаешь?

Лоранс снова рассматривает их. Люсьен и Жан-Шарль употребляют лосьон после бритья. Ладно. А какой мужик у Моны? Ей хотелось бы разговорить Мону, но та уже приняла свой обычный замкнутый вид, от которого Лоранс робеет. Как она проведет воскресенье?

— Мне кажется, что лучший — вот этот. Мне здесь деревня нравится, домики хорошо карабкаются по склонам...

— Я тоже предпочитаю этот,— говорит Мона. Она складывает свои бумаги.— Хорошо. Я смываюсь.

— Не хочешь выпить чего-нибудь? Вина? Виски? Или томатного соку?

Они смеются.

— Нет. Ничего не хочу. Покажи мне твою хазу.

Мона молча переходит из комнаты в комнату. Иногда щупает материю обивки, дерево стола. В углу салона, залитом солнцем, она опускается в мягкое кресло

— Я понимаю, почему вы ничего не понимаете.

Обычно Мона дружелюбна, но иногда кажется, что она ненавидит Лоранс. Лоранс вообще не любит, когда ее ненавидят, а когда Мона — в особенности. Мона поднимается и, застегивая куртку, окидывает все последним взглядом, смысл которого ускользает от Лоранс,— во всяком случае, это не зависть.

Лоранс провожает ее до лифта и возвращается к столу.

С ощущением смутной обиды она засовывает в конверт отобранный макет и текст, составленный ею. Презрительный голос Моны. Что дает ей право превосходства? Она не коммунистка, но мистика пролетариата, как выражается Жан-Шарль, ей, должно быть, не чужда; что-то сектантское есть в ней, Лоранс замечает это не в первый раз. («Если есть на свете что-нибудь ненавистное для меня — это сектантство»,— говорил папа.) Досадно. Из-за этого-то каждый из нас и оказывается запертым в своем маленьком кругу. Если бы каждый проявил немного доброй воли, не так-то трудно было бы понять друг друга, говорит себе Лоранс с сожалением.

«Обидно,— думает Лоранс,— никогда я не помню снов. У Жан-Шарля каждое утро в запасе рассказ о том, что ему снилось; точный, немного вычурный, похожий на то, что показывают в кино или описывают в книгах. А у меня — ничего. Все происходящее со мной в толще ночи — подлинная жизнь, которая касается меня и ускользает. Если бы я знала ее, это, возможно, помогло бы мне (в чем?)...» Во всяком случае, ей ясно, почему она просыпается каждое утро в угнетенном состоянии: Доминика. Доминика, прорубившая свой путь в жизни ударами топора, подавляя и сметая все, что ее стесняло, а теперь вдруг беспомощная, барахтающаяся в слепом бешенстве. Они с Жильбером встретились «как друзья», и он не назвал ей имени другой женщины.

«Да и существует ли она?» — сказала она мне с подозрительностью в голосе.

— Зачем ему лгать тебе?

— Он такой сложный человек!

Я спросила Жан-Шарля:

— На моем месте, ты сказал бы ей правду?

— Разумеется, нет. Чем меньше суешься в чужие дела, тем лучше.

Доминика питает еще смутную надежду. Весьма шаткую. В воскресенье в Февроле, убитая отсутствием Жильбера, она заперлась у себя в комнате под предлогом головной боли с мыслью: «Он больше никогда не придет». По телефону — она звонит мне ежедневно — она нарисовала мне его портрет в столь гнусных красках, что я плохо понимаю, как может она им дорожить: наглый, самовлюбленный, садист, чудовищный эгоист, готовый принести весь мир в жертву своему комфорту, своим прихотям. А бывают дни, когда она нахваливает его ум, силу воли, блестящую карьеру и утверждает: «Он еще вернется ко мне». Она сомневается, какую тактику избрать: мягкость или насилие? Как она поступит в тот недалекий день, когда Жильбер признается ей во всем? Самоубийство? Убийство? Не могу себе представить. Мне знакома только Доминика, одерживающая победы.

Лоранс рассматривает книги, которые Жан-Шарль отобрал для нее. (Он смеялся: «А, ты решилась? Я рад. Ты увидишь, что мы все же живем

в необыкновенную эпоху». Он выглядит совсем мальчишкой, когда у него очередной приступ энтузиазма.) Она перелистала книги, заглянула в конец; они утверждают то же, что Жан-Шарль и Жильбер: все уже идет гораздо лучше, чем раньше, а потом станет еще лучше. Некоторые страны начинают неудачно: в частности, Черная Африка; беспокоит рост народонаселения в Китае и в Азии в целом; однако благодаря синтезу протеинов, противозачаточным средствам, автоматизации, атомной энергии можно рассчитывать, что к 1990 году цивилизация изобилия и досуга будет создана. Земля станет единым миром, говорящим, вполне вероятно,— с помощью автоматического перевода — на универсальном языке; люди будут есть вдоволь и работать самую малость; они забудут о страданиях и болезнях. Катрин в 1990 году будет еще молода. Но ей хотелось бы узнать нечто успокоительное о том, что происходит сейчас вокруг нее.

Нужно бы раздобыть другие книги, из которых я могла бы узнать другую точку зрения. Какие? Пруст мне не поможет. Фицджеральд тоже. Вчера я долго стояла перед витриной большой книжной лавки. «Массы и власть», «Бандунг», «Патология предприятия», «Психоанализ женщины», «Америка и Америки», «В защиту французской военной доктрины», «Новый рабочий класс», «Новый класс рабочих», «Завоевание космоса», «Логика и структура», «Иран»... С чего начать? В лавку я не вошла.

Спрашивать? Но кого? Мону? Она не любит болтать; она старается успеть сделать как можно больше в минимально короткое время, к тому же мне заранее известно все, что она скажет. Она опишет условия жизни рабочих, не соответствующие тому, какими они должны быть, тут никто не спорит, хотя благодаря надбавкам на семью почти все обзавелись стиральными машинами, телевизорами, даже автомобилями. Жилья не хватает, но положение меняется: достаточно поглядеть на новые корпуса, на все эти стройки, желтые и красные краны в небе Парижа. Социальными вопросами сегодня занимаются все. В сущности, проблема одна: делается ли все возможное, чтоб на земле стало больше комфорта и справедливости? Мона считает, что нет. Жан-Шарль говорит: «ВСЕ возможное не делается никогда, но сейчас делается необыкновенно много». По его мнению, такие люди, как Мона, грешат нетерпением, они похожи на Луизу, которая удивляется, что люди еще не высадились на Луне. Вчера он сказал мне: «Конечно, иногда приходится сожалеть о снижении духовного уровня, порождаемом концентрацией, автоматизацией. Но кто захочет остановить прогресс?»

Лоранс берет с журнального столика последние номера «Экспресса» и «Кандида». В целом пресса — газеты и еженедельники — подтверждает точку зрения Жан-Шарля. Теперь Лоранс раскрывает их без опаски. Нет, ничего страшного не происходит, если не считать Вьетнама, но во Франции американцев не одобряет никто. Она довольна, что сумела преодолеть дурацкий страх, осуждавший ее на невежество (в большей степени, чем отсутствие времени; время всегда можно найти). В сущности, достаточно посмотреть на вещи объективно. Трудность в том, что ребенку этого не передашь. Сейчас Катрин, кажется, спокойна. Но если она снова начнет тревожиться, у меня нет для нее никаких новых слов...

«Кризис в отношениях между Алжиром и Францией». Лоранс доходит до середины статьи, когда звонят в дверь. Два бодрых звонка: Марта. Лоранс просила ее сто раз не приходить без предупреждения. Но она во власти сверхъестественных сил; с тех пор как ее вдохновляет небо, Марта стала необыкновенно деспотична.

— Я не помешала?

— Немного. Но раз уж ты здесь, посиди пять минут.

— Ты работаешь?

— Да.

— Ты слишком много работаешь.— Марта глядит на сестру с проницательным видом.— Или у тебя неприятности. В воскресенье ты что-то была невесела.

— Напротив.

— Ладно, ладно! Твоя сестренка хорошо тебя знает.

— Ты ошибаешься.

У Лоранс нет ни малейшего желания откровенничать с Мартой. И потом, словами этого не выразишь. Если я скажу, что беспокоюсь за маму, не знаю, как отвечать Катрин, что у Жан-Шарля собачье настроение, что у меня роман, который меня тяготит, может показаться, что голова моя набита заботами, поглощающими меня полностью. В действительности это так и не так, это — в воздухе. Лоранс только об этом и думает, хотя думает о другом.

— Послушай,— говорит Марта.— я должна с тобой поговорить об одной вещи. Я хотела сделать это еще в воскресенье, но я перед тобою робею.

— Робеешь передо мной?

— Да, представь себе. Я знаю, что ты разозлишься. Но тем хуже. Катрин скоро одиннадцать: нужно, чтобы она занялась законом божьим и приняла первое причастие.

— Что за идея! Мы с Жан-Шарлем неверующие.

— Ты же крестила ее тем не менее.

— Ради матери Жан-Шарля. Но теперь, когда она умерла...

— Ты берешь на себя большую ответственность, лишая дочь религиозного образования. У нас христианская страна. Большинство детей принимают первое причастие. Она упрекнет тебя впоследствии, что ты решила за нее, не оставив ей свободы выбора.

— Это великолепно! Заставить ее изучать закон божий — значит предоставить ей свободу.

— Да. Поскольку сейчас во Франции это нормальное положение. Ты превращаешь ее в исключение, в изгоя.

— Хватит.

— Не хватит. Я нахожу, что Катрин грустна, беспокойна. У нее странные мысли. Я никогда не пыталась влиять на нее, но я ее выслушиваю. Соприкосновение со смертью, со злом трудно для ребенка, если он не верит в бога. Вера помогла бы ей.

— Какими мыслями она с тобой делилась?

— Я уж не помню в точности.— Марта разглядывает сестру.— А ты ничего не заметила?

— Заметила, конечно. Катрин задает много вопросов. Я не хочу отвечать на них ложью.

— Не много ли ты на себя берешь, заявляя, что это ложь.

— Не больше, чем ты, когда заявляешь, что это истина.— Лоранс кладет ладонь на руку сестры:— Не будем спорить. Это моя дочь, я воспитываю ее как считаю нужным. У тебя всегда остается возможность молиться за нее.

— Я этой возможности не упускаю.

Ну и нахалка, эта Марта! И правда, нелегко дать детям светское воспитание в обществе, пропитанном религией. Катрин в эту сторону не тянет. А Луизу привлекает живописность обрядов. На рождество она непременно попросит, чтоб мы пошли посмотреть на ясли... Они были совсем маленькими, когда Лоранс стала пересказывать им Ветхий и Новый завет, так же как греко-римские мифы и сказания о Будде. Это красивые легенды, возникшие вокруг реальных событий и людей,— объяснила она девочкам. Отец помог ей найти нужные слова. А Жан-Шарль рассказал им о возникновении вселенной, о туманностях и звездах, о

происхождении жизни на земле. Они нашли эту историю чудесной. Луиза увлекалась какой-то книгой по астрономии, написанной очень просто, отлично иллюстрированной. Продуманные долгие усилия, от которых Марта избавила себя, доверив сыновей попам, а теперь она хочет все разрушить одним щелчком, какая наглость.

— Ты в самом деле не помнишь, что именно поразило тебя в словах Катрин? — спрашивает Лоранс некоторое время спустя, провожая сестру к двери.

— Нет. Собственно, речь идет не о словах, я, скорее, что-то почувствовала интуитивно,— говорит Марта многозначительно.

Лоранс раздраженно захлопывает дверь. Только что, вернувшись из лицея, Катрин выглядела веселой. Она ждет Брижитт, чтоб заняться латинским переводом. О чем будут они говорить? О чем они говорят? Когда Лоранс спрашивает, Катрин увиливает от прямого ответа. Не думаю, чтоб она мне не доверяла: скорее, у нас нет общего языка. Я предоставляла ей полную свободу, обращаясь с ней как с младенцем, не пыталась беседовать с ней; она, вероятно, боится слов, робеет в моем присутствии. Я не могу добиться контакта. «Кризис в отношениях между Алжиром и Францией». Нужно все-таки дочитать статью.

— Здравствуйте, мадам.

Брижитт протягивает Лоранс букетик фиалок.

— Спасибо. Это мило с вашей стороны.

— Видите, я аккуратно подшила подол.

— Вижу. Так гораздо лучше.

Когда они встретились в вестибюле Музея Человека, у Брижитт в юбке все еще торчала булавка. Лоранс промолчала, но девочка заметила взгляд, уши ее вспыхнули.

— О, я опять забыла...

— Постарайся больше не забывать.

— Я обещаю вам, что зашью сегодня вечером.

Лоранс обошла с ними музей. Луиза немножко скучала; старшие совали нос повсюду, восторгались. Вечером Брижитт сказала Катрин:

— Тебе повезло, у тебя такая милая мама!

Не нужно семи пядей во лбу, чтоб увидеть за повадками маленькой женщины заброшенность сироты.

— Займетесь переводом с латинского?

— Да.

— А потом будете чесать языки, как две кумушки?

Лоранс колеблется:

— Брижитт, не рассказывайте Катрин печальных вещей.

Лицо и даже шея Брижитт наливаются краской.

— А что, я сказала чего не следовало?

— Ничего особенного.— Лоранс успокоительно улыбается.— Просто Катрин еще очень маленькая: она часто плачет по ночам; многого пугается.

— А! Хорошо!

Вид у Брижитт скорей обескураженный, чем раскаивающийся.

— А если она будет задавать мне вопросы, я должна ответить, что вы мне запретили отвечать?

Теперь в затруднении Лоранс. Я чувствую себя виновной в том, что обвинила ее, тогда как, в сущности...

— Какие вопросы?

— Не знаю. О том, что показывают по телевидению.

Ах, да, еще и это: телевидение. Жан-Шарль часто мечтает о том, каким оно может стать, но то, каково оно сейчас, вызывает в нем только сожаление. Он не включает ничего, кроме тележурнала новостей и передачи «На всю первую полосу», которую и Лоранс смотрит время от вре-

мени. По телевидению показывают сцены подчас непереносимые, и на ребенка то, что он видит, производит гораздо большее впечатление, чем слова.

— А что вы видели в последние дни?

— О, много разных вещей.

— Грустных?

Брижитт смотрит в глаза Лоранс:

— Я многое нахожу грустным. А вы нет?

— Да, я тоже.

Что они показывали в последние дни? Мне следовало смотреть. Голод в Индии? Сражения во Вьетнаме? Расистские стычки в США?

— Я не видела последних передач,— возобновляет разговор Лоранс.— Что вас поразило?

— Девушки, которые укладывают кружочки моркови на селедочное филе,— выпаливает Брижитт.

— То есть как?

— Очень просто. Они рассказывали, что целый день укладывают кружочки моркови на селедочное филе. Они немногим старше меня. Я бы лучше умерла, чем жить так!

— Они относятся к этому, вероятно, немножко по-иному.

— Почему?

— Они выросли в других условиях.

— У них был не очень-то довольный вид,— говорит Брижитт.

Идиотские профессии, скоро они исчезнут благодаря автоматике; а пока, разумеется... Молчание затягивается.

— Хорошо. Идите заниматься вашей латынью. И спасибо за цветы,— говорит Лоранс.

Брижитт не двигается с места.

— Я не должна говорить о них Катрин?

— О ком?

— Об этих девушках.

— Нет, почему же,— говорит Лоранс.— Не надо делиться с ней только вещами, которые вам кажутся действительно ужасными. Я боюсь, что Катрин будут мучить кошмары.

Брижитт перекручивает свой пояс; обычно она держится просто, непосредственно, но сейчас совершенно обескуражена. Я плохо за это взялась, думает Лоранс; она недовольна собой. Ну а как было за это браться?

— В общем, я доверяю вам. Будьте внимательны, вот и все,— неловко заключает она.

Я стала бесчувственной или Брижитт ранима сверх меры? — спрашивает она себя, когда девочка исчезает за дверью. Целый день кружочки моркови. Нет сомнения, что девушки, занятые этим, не способны выполнять более интересную работу. Но от этого им не веселее. Вот оно «снижение духовного уровня», о котором приходится сожалеть. Права я или нет, что так мало об этом думаю?

Лоранс дочитывает статью; она любит доводить начатое до конца. Потом погружается в работу: сценарий для рекламы новой марки шампуня. Она курит сигарету за сигаретой — даже идиотские вещи приобретают интерес, когда хочешь сделать их хорошо. Пачка пуста. Поздно. Из глубины квартиры доносится неясный шум. Неужели Брижитт еще не ушла? А что делает Луиза? Лоранс пересекает переднюю. Луиза плачет в своей комнате, в голосе Катрин тоже слышны слезы.

— Не плачь,— умоляет она.— Честное слово, я люблю тебя больше Брижитт.

Ну вот! И почему только радость одних всегда оплачивается слезами других!

— Лулу, я тебя люблю больше всех. С Брижитт мне интересно разговаривать, а ты — моя маленькая сестричка.

— Это правда? По-правдашнему правда?

Лоранс бесшумно отходит. Сладкие огорчения детства, когда поцелуи мешаются со слезами. Не стоит придавать значения тому, что Катрин занимается немного хуже; она созревает внутренне, постигает то, чему не учат в школе: как сочувствовать, утешать, получать и давать, различать на лицах и в голосах ускользающие оттенки. На мгновение сердце Лоранс заливает теплота, драгоценный жар, такой редкий. Как сделать, чтоб Катрин никогда в жизни не ощутила, что лишена его?

Глава третья

Лоранс пользуется отсутствием детей, чтоб навести порядок в их комнатах. Вероятно, Брижитт не рассказала о передаче, которая так ее поразила, во всяком случае, Катрин не встревожена. Она так и сияла сегодня утром, когда садилась в дедушкину машину: он увозил их на уик-энд показать замки Луары. Зато Лоранс — в конечном итоге это просто глупо — места себе не находит. Мысль о тусклом повседневном горе оказалось куда труднее переварить, чем великие катастрофы, которые случаются все же не часто. Интересно знать, как приноравливаются к этому другие.

В понедельник, обедая с Люсьеном, она задает ему вопрос. (Никакой радости от этих встреч. Он зол на меня, но не отстает. Доминика говорила лет десять назад: «Мужчины мне осточертели». Опаздывать на свидания, отменять их, соглашаться все реже и реже: в конце концов им надоедает. Но я так не умею. Придется на днях обрезать с кровью). Он этими проблемами не интересуется, но все же свое мнение изложил. Девушка, приговоренная с шестнадцати лет к дурацкому труду, лишенная будущего,— это нелепость. Но, в сущности, жизнь всегда нелепа, не из-за одного, так из-за другого. У меня есть немного денег, я порядочно зарабатываю, но на что мне это, раз ты меня не любишь? Кто счастлив? Ты знакома со счастливыми людьми? Вот ты отгораживаешься от крупных неприятностей, держа сердце на запоре: разве это счастье? Твой муж? Быть может, но, узнай он правду, не очень-то он обрадовался бы. Чуть хуже, чуть лучше, одна жизнь стоит другой. Ты сама говорила: с души воротит, когда видишь, чем мотивируются вкусы людей, их жалкие прихоти, иллюзии; они не поглощали бы в таком количестве транквилизаторов, антидепрессивных средств, если бы были довольны. Бедным худо. Но и богатым не лучше: ты бы почитала Фицджеральда, он здорово об этом пишет. Да, думает Лоранс, какая-то правда тут есть. Жан-Шарль часто весел, но он не счастлив по-настоящему: слишком уж часто и легко раздражается из-за мелочей.

И какой ад ждет маму с ее роскошной квартирой, туалетами и деревенским домом! А я? Не знаю. Мне не хватает чего-то, что есть у других. Хотя... Хотя, может, и у них этого нет. Может, когда Жизель Дюфрен вздыхает: «Это очаровательно», когда Марта растягивает в сияющей улыбке свои толстые губы, они ничего не чувствуют, так же как я. Только папа...

В прошлую среду они остались наедине, когда дети ушли спать: Жан-Шарль обедал где-то с молодыми архитекторами. («Конец вертикалям, конец горизонталям, архитектура пойдет по кривой или погибнет». Ему это показалось несколько комичным, но все же у них любопытные идеи, рассказал он ей, вернувшись.) Они болтали о том о сем, и теперь, в который раз, она пытается привести в систему его ответы. Социалистическая страна или капиталистическая — все равно человек

повсюду подавлен техникой, отчужден, порабощен, оглуплен. Все зло — от роста потребностей, человек должен был бы их ограничить; вместо того чтоб стремиться к изобилию, которого нет и, возможно, не будет никогда, человеку следовало бы удовлетвориться жизненным минимумом,— так живут люди в нищих селениях, например, в Греции, на Сардинии, куда техника еще не проникла и где деньги не оказали разлагающего влияния. Там людям ведомо суровое счастье, потому что там остались в неприкосновенности некоторые ценности, ценности подлинно человеческие — достоинство, братство, великодушие,— которые придают жизни неповторимый вкус. Порождая новые потребности, мы усиливаем чувство обездоленности. Когда начался этот упадок? В тот день, когда мудрости предпочли науку, красоте — пользу. Виновато Возрождение, рационализм, капитализм, обожествление науки. Ладно. Но раз уж мы пришли к этому, что делать теперь? Попытаться возродить в себе, вокруг себя мудрость и стремление к красоте. Ни социальная, ни политическая, ни техническая революции не вернут человеку утраченную истину, средство одно — революция нравственная. Во всяком случае, можно совершить этот переворот для себя лично: тогда придет радость, несмотря на окружающий нас мир абсурда и разлада.

В сущности, то, что говорит Люсьен и папа, накладывается одно на другое. Все несчастны, все могут обрести счастье: что в лоб, что по лбу. Могу ли я объяснить Катрин: люди так несчастны, потому что слишком дорожат жизнью? Лоранс колеблется. Это то же самое, что сказать: несчастные не несчастны. Разве это правда? Голос Доминики, пресекающийся всхлипываниями и воплями; жизнь ей отвратительна, но она вовсе не хочет умереть: вот несчастье. А бывает такая пустота, такой вакуум, от которого кровь леденеет, который хуже смерти, хотя ты и предпочитаешь его, раз не кончаешь с собой: я столкнулась с этим пять лет тому назад и по сей день испытываю ужас. Факт то, что люди кончают самоубийством,— он попросил бананы и полотенце,— значит, существует нечто, что хуже смерти. Поэтому-то и пробирает до костей, когда читаешь о самоубийстве: страшен не тощий труп, болтающийся на оконной решетке, а то, что происходило в сердце за мгновение до рокового жеста.

Нет, говорит себе Лоранс, подумавши, приходится сделать вывод, что папины ответы годятся лишь для него самого; он всегда ко всему относился стоически — к почечным коликам и операции, к четырем годам лагеря для военнопленных, к маминому уходу, хотя это и причинило ему много горя. Он один способен находить радость в той уединенной, суровой жизни, которую избрал для себя. Хотела бы я владеть его секретом. Может, если бы я его видела чаще, дольше...

— Ты готова?..— спрашивает Жан-Шарль.

Они спускаются в гараж; Жан-Шарль открывает дверцу:

— Дай я поведу,— говорит Лоранс.— Ты слишком нервничаешь.

Он добродушно улыбается:

— Как хочешь.— И садится в машину рядом с ней.

Объяснение с Верном, очевидно, было не из приятных; он не рассказывал, но был мрачен и вел машину так, что с ним опасно было ехать — гнал вовсю, резко тормозя и злясь по малейшему поводу. Еще немного, и позавчера газеты имели бы возможность в очередной раз сообщить, что автомобилисты набили друг другу морды.

Недавно, в Люблинфе, Люсьен блестяще истолковал психологию человека за рулем: ощущение неполноценности, потребность компенсации, самоутверждение, независимость. (Он сам водит очень хорошо, но на безумной скорости.) Мона прервала его:

— Я вам сейчас объясню, почему все эти хорошо воспитанные господа превращаются в скотов, когда они за рулем.

— Почему?

— Потому что они скоты.

Люсьен пожал плечами. Что она этим хотела сказать?

— В понедельник, вернувшись в город, я подписываю договор с Монно,— говорит Жан-Шарль весело.

— Ты доволен?

— Еще как. Все воскресенье буду спать и играть в бадминтон. В понедельник начинаю действовать.

Машина выезжает из тоннеля, Лоранс увеличивает скорость, не отрывая взгляда от зеркала. Обогнать, уступить, обогнать, обогнать, уступить. Субботний вечер: Париж завершает исход. Она любит вести машину, и Жан-Шарль не страдает пороком многих мужей: что б он ни думал, замечаний не делает. Она улыбается. В итоге у него не так-то много недостатков, и, когда они едут бок о бок, у нее всегда возникает иллюзия, хотя она и знает ей цену, что они «созданы друг для друга». Она принимает решение: на этой неделе поговорю с Люсьеном. Вчера он снова сказал ей с упреком: «Ты никого не любишь!» Правда ли это? Нет. Он мне нравится. Я порву с ним, но он мне нравится. Мне все нравятся. Кроме Жильбера.

Она сворачивает с автострады на узкую пустую дорогу. Жильбер будет в Февроле. По телефону голос Доминики звучал торжествующе: «Жильбер будет здесь». Зачем он приедет? Может, решил поставить на дружбу? Это ему не поможет, когда правда выйдет на свет. Или он явится именно для того, чтобы все сказать? Руль под пальцами Лоранс влажнеет. Доминика продержалась последний месяц только потому, что сохраняла надежду.

— Я спрашиваю себя, почему Жильбер согласился приехать?

— Может, он отказался от своих матримониальных планов.

— Сомневаюсь.

День холодный, серый, цветы увяли; но окна сияют во мраке, в living room дрова пылают ярким огнем; народу мало, общество, однако, изысканное: Дюфрены, Жильбер, Тирион с женой. Лоранс знала его еще девочкой — он был коллегой отца; теперь он самый знаменитый адвокат Франции. Поэтому не приглашены Марта и Юбер. Они недостаточно представительны. Улыбки, рукопожатия; Жильбер целует руку, которую Лоранс отказалась ему подать месяц тому назад; он смотрит на нее многозначительным взглядом, предлагая:

— Хотите выпить чего-нибудь?

— Немного погодя,— говорит Доминика. Она хватает Лоранс за плечо: — Поднимись сначала причесаться, ты совершенно растрепана.

В спальне она улыбается:

— Вовсе ты не растрепана. Я хотела поговорить с тобой.

— Неприятности какие-нибудь?

— Что за пессимизм!

Глаза Доминики блестят. Она немного чересчур элегантна: блузка в стиле девятисотых годов и длинная юбка (кому она подражает?). Она говорит возбужденно:

— Представь себе, что я узнала, где собака зарыта.

— Да?

Как может Доминика сохранять кокетливо-вызывающий вид, если она знает?

— Держись, ты здорово удивишься.— Она делает паузу.— Жильбер вернулся к своей старой пассии — Люсиль де Сен-Шамон.

— Почему ты думаешь?

— А меня просветили. Он все время торчит у нее, проводит уик-энд в Мануаре. Странно, правда? После всего, что он мне о ней рассказывал! Хотела бы я знать, как она сумела. Я ее недооценивала.

Лоранс молчит. Несправедливое превосходство того, кто знает, над

тем, кто не знает. Тошнотворно. Открыть ей глаза? Не сегодня, когда дом полон гостей.

— Может, это не Люсиль, а какая-нибудь ее приятельница.

— Как же! Станет она поощрять идиллию Жильбера с другой. Теперь понятно, почему он скрывал ее имя: боялся, что я расхохочусь ему в лицо. Не понимаю я этой прихоти. Но, во всяком случае, это ненадолго. Раз Жильбер бросил ее, познакомившись со мной, значит, у него были на это свои причины, они остаются в силе. Он вернется ко мне.

Лоранс ничего не говорит. Молчание затягивается. Это должно было бы удивить Доминику, но нет: она так привыкла задавать вопросы и сама отвечать на них... Она говорит мечтательно:

— Было бы лихо послать Люсиль письмо с подробным описанием ее анатомии и вкусов.

Лоранс подскакивает:

— Этого ты не сделаешь!

— А было бы забавно. Как бы у нее вытянулась физиономия! И у Жильбера! Нет. Он бы не простил мне этого до самой смерти. Я избрала противоположную тактику — быть предельно милой. Отвоевывать потерянное. Я очень рассчитываю на нашу поездку в Ливан.

— Ты думаешь, поездка состоится?

— Как? Разумеется! — Голос Доминики повышается.— Он давным-давно пообещал мне отпраздновать рождество в Баальбеке. Все об этом знают. Не может же он теперь смыться.

— Но та, другая, будет против.

— Я поставлю вопрос ребром: или он со мной едет, или я отказываюсь встречаться с ним.

— Шантажом ты его не возьмешь.

— Он не хочет меня потерять. Эта история с Люсиль гроша ломаного не стоит.

— Зачем же он тебе сказал об этом?

— Отчасти из садизма. И потом он хочет располагать своим временем, уик-эндами особенно. Но ты видишь: стоило мне проявить настойчивость, и он явился.

— В таком случае, поставь вопрос ребром.

Может, это выход. Доминика получит удовлетворение от мысли, что рвет она. А позднее, когда она узнает правду, самое тяжелое уже будет позади.

Living room гудит от смеха, раската голосов, они пьют вино, бурбон, мартини. Жан-Шарль протягивает Лоранс стакан ананасного соку.

— Ничего дурного?

— Нет. Но и ничего хорошего. Посмотри на них.

Жестом собственницы Доминика положила ладонь на руку Жильбера.

— Подумать только, что ты не был три недели. Ты слишком много работаешь. Надо уметь отдыхать.

— Я умею,— говорит он равнодушно.

— Нет, не умеешь. По-настоящему растормаживает только деревня.

Она улыбается ему с шаловливым кокетством, это ново и вовсе к ней не идет. Она говорит очень громко.

— Или путешествия,— добавляет она. И, не отпуская руки Жильбера, говорит Тириону: — Мы собираемся провести рождество в Ливане.

— Великолепная мысль. Говорят, это ослепительно.

— Да. И мне кажется любопытным встретить рождество в жарких краях. С рождеством всегда ассоциируется снег...

Жильбер ничего не отвечает. Доминика натянута как струна и может сорваться от одного слова. Он, должно быть, чувствует это.

— Нашему другу Люзаршу пришла в голову очаровательная

идея,— говорит госпожа Тирион своим певучим голосом блондинки.— Рождество-сюрприз. Он сажает двадцать пять приглашенных в самолет — и мы не знаем, где приземлимся: в Лондоне, в Риме, в Амстердаме или еще где-нибудь. Естественно, он заказал столики в самом красивом ресторане города.

— Забавно,— говорит Доминика.

— Обычно люди не слишком изобретательны, когда дело касается развлечений,— говорит Жильбер.

Еще одно слово, утратившее смысл для Лоранс. Иногда в кино ей интересно, смешно. Но развлечения... А Жильбер развлекается? Сесть в самолет, не зная, куда он летит, развлечение ли это? Может, подозрения, возникшие у нее на днях, и обоснованны?

Она присаживается к Жан-Шарлю и Дюфренам, устроившимся подле камина.

— Жаль, что в современных зданиях камин — недоступная роскошь,— говорит Жан-Шарль.

Он глядит в огонь, отблески которого пляшут на его лице. Он снял замшевую куртку, расстегнул ворот ковбойки; он кажется моложе, раскованней, чем обычно. (Впрочем, и Дюфрен в своем велюровом костюме — тоже, или тут дело только в одежде?)

— Я забыл рассказать тебе анекдот, от которого придет в восторг твой отец,— говорит Жан-Шарль.— Голдуотеру до того нравится, как горят дрова, что летом он охлаждает свой дом эр кондишн и разжигает большой огонь.

Лоранс смеется:

— Да, папе это понравится...

На журнальном столике около нее — «Реалите», «Экспресс», «Кандид», «Вотр жарден», несколько книг: Гонкуровская премия, премия Ренодо. По дивану разбросаны пластинки, хотя Доминика никогда не слушает музыку. Лоранс вновь оборачивается к ней — улыбающаяся, непринужденная, она разглагольствует, оживленно жестикулируя.

— Ну нет! Я уж предпочитаю пообедать «У Максима». Тут, по крайней мере, можешь быть уверен, что повар не харкал в кушанья и что твои колени не будут липнуть к господину, сидящему за соседним столиком. Я знаю, у снобов сейчас в моде маленькие бистро, но они не дешевле, воняют пригорелым салом, и все время об кого-нибудь трешься.

— А вы бывали «У Гертруды»?

— Да, бывала. За те же деньги лучше пойти в «Серебряную башню».

Вид у нее непринужденный. Почему приехал Жильбер? Лоранс слышит смех Жан-Шарля, смех Дюфрена.

— Нет, серьезно, вы отдаете себе отчет, что остается нам, бедным архитекторам, при всех этих предпринимателях, инициаторах, администраторах, инженерах? — говорит Жан-Шарль.

— Ох уж эти мне инициаторы! — вздыхает Дюфрен.

Жан-Шарль ворошит дрова, глаза его блестят. Не приходилось ли ему в детстве видеть, как горят дрова? Во всяком случае, от его лица исходит аромат детства, и Лоранс ощущает, как что-то в ней тает; нежность — если б обрести ее вновь, навсегда... Голос Доминики пробуждает ее.

— Я тоже думала, что не будет ничего интересного; и поначалу все шло из рук вон плохо; никакого порядка, мы целый час топтались перед входом; и тем не менее пойти стоило; там были все парижские знаменитости. Поили вполне сносным шампанским. И я должна сказать, что госпожа де Голль оказалась гораздо презентабельней, чем я предполагала, не величественна, конечно, нет, с Линетт Вердле ее не сравнишь, но держится с достоинством.

— Мне говорили, что право на кормежку получили только финансы и политика, а искусство и литература должны были удовлетвориться выпивкой, это правда? — небрежным голосом спрашивает Жильбер.

— Туда шли не для того, чтобы покушать,— говорит Доминика, принужденно смеясь.

Ну и сволочь, этот Жильбер, задал вопрос специально, чтоб досадить маме! Дюфрен поворачивается к нему:

— Правда, что электронные машины собираются использовать для создания абстрактных полотен?

— Возможно. Не думаю только, что это будет рентабельно,— говорит Жильбер, округляя рот в улыбке.

— Как! Машина может заниматься живописью! — восклицает госпожа Тирион.

— Абстрактной — почему бы и нет? — говорит Тирион ироническим тоном.

— Известно ли вам, что есть машины, создающие музыку под Моцарта и Баха? — говорит Дюфрен.— Да, да: один недостаток — она безупречна, тогда как музыкантов из плоти и крови всегда можно в чем-нибудь упрекнуть.

А ведь я читала об этом недавно, в каком-то еженедельнике. С тех пор как она проглядывает газеты, Лоранс замечает, что люди нередко пересказывают в разговорах статьи. Почему бы нет? Нужно же где-то черпать информацию.

— Скоро машины вытеснят архитектурные мастерские, и мы окажемся на мели,— говорит Жан-Шарль.

— Вполне вероятно,— говорит Жильбер.— Мы вступаем в новую эру, когда человек станет бесполезен.

— Только не мы! — говорит Тирион.— Адвокаты будут всегда нужны, потому что машина никогда не овладеет красноречием.

— Но, возможно, люди утратят чувствительность к красноречию,— говорит Жан-Шарль.

— Скажете тоже! Человек — говорящее животное, слово всегда будет его пленять. Машины не изменят природы человека.

— Как раз изменят!

Жан-Шарль и Дюфрен единодушны (они читают одно и то же), представление о человеке подлежит пересмотру, оно будет отброшено без всякого сомнения, это — порождение XIX века, устаревшее в наши дни. Во всех областях — в литературе, музыке, живописи, архитектуре — искусство отвергает гуманизм предшествующих поколений. Жильбер молчит со снисходительным видом, остальные перебивают друг друга. Признайте, что есть книги, которые сейчас уже невозможно читать, фильмы, которые невозможно смотреть, музыка, которую невозможно слушать, но шедевры остаются шедеврами, когда бы ни были созданы, а что такое шедевр? Надо отказаться от субъективных критериев, это невозможно, простите, к этому стремится вся новая критика, хотел бы я знать, каких критериев придерживаются Гонкуры и Ренодо, премии в этом году еще хуже прошлогодних, ах, вы знаете, это все издательские махинации, мне из надежного источника известно, что некоторые члены жюри подкуплены, какой срам, а с художниками — это ведь еще скандальней: из любого мазилки с помощью паблисити делают гения, если все его считают гением, значит, он — гений, это парадокс, нет, других критериев, объективных критериев не существует.

— Ну, нет! То, что прекрасно,— прекрасно! — говорит госпожа Тирион с таким пафосом, что на мгновение все замолкают. Потом все начинается сначала...

Как обычно, Лоранс путается в собственных мыслях; она почти

всегда не согласна с тем, кто говорит, но поскольку они все расходятся между собой, то, противореча всем, она противоречит самой себе.

Хотя госпожа Тирион патентованная идиотка, мне хочется сказать, как она: то, что прекрасно,— прекрасно; что правда — то правда. Но чего стоит это мнение? От кого оно у меня? От папы, из лицейских занятий, от мадемуазель Уше? В восемнадцать лет у меня были убеждения. Что-то от них осталось, немного, скорее тоска по ним. Лоранс никогда не уверена в своих суждениях, слишком они зависят от настроения, от обстоятельств. Выходя из кино, я с трудом могу сказать, понравился мне фильм или нет.

— Я могу вас отвлечь на две минуты?

Лоранс холодно смотрит на Жильбера.

— У меня нет ни малейшего желания.

— Я настаиваю.

Лоранс проходит за ним в соседнюю комнату, движимая любопытством и тревогой.

Они садятся; она ждет.

— Я хотел вас предупредить, что собираюсь все выложить Доминике. О поездке, разумеется, не может быть и речи. К тому же Патриция готова все понять, отнестись ко всему по-человечески, но она устала ждать. Мы хотим пожениться в конце мая.

Решение Жильбера неколебимо. Единственное средство — убить его. Доминика страдала бы куда меньше. Она шепчет:

— Зачем вы приехали? Вы внушаете ей ложные надежды.

— Я приехал, потому что, в силу многих причин, не желаю иметь в Доминике врага, а она поставила на кон нашу дружбу. Если, благодаря некоторым уступкам, мне удастся смягчить разрыв, это будет гораздо лучше, прежде всего для нее. Вы не согласны?

— Вы не сможете.

— Да, я тоже так думаю,— говорит он совсем иным голосом.— Я приехал также для того, чтобы понять, как она настроена. Она упрямо считает, что у меня преходящее увлечение. Я должен открыть ей глаза.

— Не сейчас!

— Сегодня вечером я возвращаюсь в Париж...— Лицо Жильбера озаряется: — Послушайте, мне пришло в голову, не лучше ли будет, в интересах Доминики, чтоб вы ее подготовили.

— А, вот она подлинная причина вашего присутствия: вы хотели бы переложить на меня эту приятную обязанность.

— Признаюсь, я испытываю ужас перед сценами.

— Вам не хватает фантазии, сцены — это далеко не самое худшее.— Лоранс задумывается: — Сделайте одну вещь: откажитесь от поездки, ничего не говоря о Патриции. Доминика так разозлится, что порвет с вами сама.

Жильбер говорит резко:

— Вы отлично знаете, что нет.

Он прав. Лоранс на мгновение захотелось поверить словам Доминики: «Я поставлю перед ним вопрос ребром», но она покричит, обрушится на него с упреками, а потом будет снова ждать, терпеть, надеяться.

— То, что вы намерены сделать, жестоко.

— Ваша враждебность меня огорчает,— говорит Жильбер с расстроенным видом.— Никто не властен над своим сердцем. Я разлюбил Доминику, я люблю Патрицию: в чем мое преступление?

Глагол «любить» в его устах приобретает нечто похабное. Лоранс подымается.

— На этой неделе я поговорю с ней,— говорит Жильбер.— Я вас настоятельно прошу повидать ее тотчас после нашего объяснения.

Лоранс глядит на него с ненавистью:

— Чтоб помешать ей покончить с собой, оставив записку, где будет сказано о причинах? Это произвело бы дурное впечатление — кровь на белом платье Патриции...

Она отходит. Лангусты скрежещут у нее в ушах; гадостный лязг нечеловеческого страдания. Она берет шампанское с буфета, наливает себе в бокал. Они наполняют тарелки, продолжая начатый разговор.

— Девочка не лишена дарования,— говорит госпожа Тирион,— но нужно было бы научить ее одеваться, она способна носить блузку в горошек с полосатой юбкой.

— Заметьте, иногда это совсем неплохо,— говорит Жизель Дюфрен.

— Гениальный портной может себе позволить все,— говорит Доминика.

Она подходит к Лоранс.

— О чем с тобой говорил Жильбер?

— А, он хотел порекомендовать мне племянницу своих друзей, которую интересует область рекламы.

— Это правда?

— Не воображаешь ли ты, что Жильбер может говорить со мной о ваших отношениях?

— С него станет. Ты ничего не ешь?

Аппетит у Лоранс отбило начисто. Она бросается в кресло и берет журнал. Она чувствует, что не способна поддерживать беседу. Он поговорит с ней на этой неделе. Кто может помочь мне успокоить Доминику? За этот месяц Лоранс поняла, как одинока ее мать. Куча знакомых — ни одной подруги. Никого, кто способен ее выслушать или попросту отвлечь. Несешь в одиночку эту хрупкую конструкцию, собственную жизнь, а угрозам числа нет. Неужели у всех так? У меня все же есть папа. И Жан-Шарль никогда не причинит мне горя. Она поднимает на него глаза. Он говорит, смеется, смеются вокруг него, он умеет нравиться, когда захочет. И снова волна нежности поднимается в сердце Лоранс. В конце концов это естественно, что он нервничал в последние дни. Он знает, сколькими обязан Верню; и все же он не может пожертвовать ради него карьерой. Из-за этого конфликта он и был не в своей тарелке. Он любит успех, Лоранс это понимает. Если работать без азарта, от скуки сдохнешь.

— Моя дорогая Доминика, мне придется вас покинуть,— церемонно говорит Жильбер.

— Уже?

— Я специально приехал пораньше, потому что не могу остаться допоздна,— говорит Жильбер.

Он быстро прощается со всеми. Доминика выходит с ним из дому. Жан-Шарль делает знак Лоранс:

— Иди сюда. Тирион рассказывает увлекательнейшие истории из своей практики.

Они все сидят, кроме Тириона, который расхаживает, потрясая рукавами воображаемой мантии.

— Какого я мнения о моих сосестрах, милая сударыня? — говорит он Жизель.— Да самого наилучшего; многие из них прелестные женщины, и многие не лишены таланта (как правило, это не совпадает). Но одно бесспорно: ни одна из них не способна выиграть дело в суде присяжных. Нутра не хватит, авторитета и — сейчас я вас удивлю — чувства сцены, без которого не обойтись.

— На наших глазах женщины овладевали профессиями, которые априорно казались недоступными для них,— говорит Жан-Шарль.

— С самой дошлой, самой красноречивой из них, клянусь вам, я управлюсь в два счета перед судом присяжных,— говорит Тирион.

— Вас, возможно, ждут сюрпризы,— говорит Жан-Шарль.— Что до меня, то я верю: будущее принадлежит женщинам.

— Возможно, при условии, однако, что они не будут по-обезьяньи копировать мужчин,— говорит Тирион.

— Заниматься мужским делом — не значит по-обезьяньи копировать мужчин.

— Не понимаю, Жан-Шарль,— говорит Жизель Дюфрен,— это говорите вы, который всегда держит нос по ветру; не станете же вы меня уверять, что вы феминист. Феминизм в наше время — пройденный этап.

Феминизм: последнее время только и говорят об этом. Лоранс тотчас перестает слушать. Феминизм, психоанализ, общий рынок, ударная сила — она не знает, что об этом думать, ничего не думает. У меня аллергия. Она смотрит на мать, которая возвращается в комнату с натянутой улыбкой на губах. Завтра, через два дня, на этой неделе Жильбер ей все скажет. Голос прозвучал, прозвучит в «зоне покоя»: «Мерзавец! Мерзавец!» Перед взором Лоранс цветы, похожие на злых птиц. Когда она приходит в себя, госпожа Тирион бурно разглагольствует:

— Меня тошнит от того, что все подвергается систематическому поношению. Разве это не было красиво задумано: 25 января на обеде в пользу голодающих детей нам подали за двадцать тысяч франков чашечку риса и стакан воды, обычное меню маленьких индусов. Так что же! Подхихикивания в левой печати. А что бы они запели, если б мы ели икру и гусиную печенку!

— Раскритиковать можно все,— говорит Доминика,— не стоит обращать внимания.

Вид у нее отсутствующий, она рассеянно отвечает госпоже Тирион, между тем как остальные четверо усаживаются за бридж; Лоранс открывает «Экспресс»: информация, разложенная на тоненькие рубрики, глотается, как чашка молока; без сучка, без задоринки, ничто не задевает, не царапает. Ее клонит ко сну, она поспешно встает, когда Тирион отходит от карточного стола, заявляя:

— У меня завтра трудный день. Мы вынуждены уехать.

— Я пойду наверх лягу,— говорит она.

— Здесь, должно быть, чудесно спится,— говорит госпожа Тирион.— Полагаю, нет нужды в снотворных. В Париже без них не обойдешься.

— А я покончила со снотворными с тех пор, как ежедневно принимаю гармонизатор,— говорит Жизель Дюфрен.

— Я испробовал одну из убаюкивающих пластинок, но она меня ничуть не убаюкала,— весело говорит Жан-Шарль.

— Мне рассказывали об удивительном аппарате,— говорит Тирион,— включаешь его в электросеть, он дает световые сигналы, монотонные и завораживающие, они вас усыпляют, а он выключается сам по себе. Непременно закажу такой.

— Ах, сегодня вечером мне ничего не надо,— говорит Лоранс.

Эти комнаты в самом деле прелестны: стены затянуты набивным полотном, деревенские кровати под лоскутными покрывалами, а на умывальнике — фаянсовый таз и кувшин. В стене — почти незаметная дверь, ведущая в ванную комнату. Она высовывается в окно и вдыхает холодный запах земли. Через минуту Жан-Шарль будет здесь: она хочет думать только о нем, о его профиле в пляшущих отблесках огня. И внезапно он уже здесь, он ее обнимает, и нежность обжигающей лавой струится по жилам Лоранс, и когда губы их сливаются, у нее от желания подкашиваются ноги.

— Ну вот! Бедная девочка! Ты не очень перепугалась?

— Нет,— говорит Лоранс.— Я была так счастлива, что не раздавила велосипедиста.

Она откидывает голову на спинку удобного кожаного кресла. Сейчас она уже не так счастлива, неведомо почему.

— Хочешь чаю?

— Не беспокойся.

— Это займет не больше пяти минут.

Бадминтон, телевизор: когда мы выбрались, уже стемнело; я ехала не быстро. Я ощущала присутствие Жан-Шарля рядом со мной, вспоминала нашу ночь, не отрывая при этом взгляда от дороги. Внезапно, с тропинки направо от меня, в свет фар выскочил рыжий велосипедист. Я резко повернула руль, машина покачнулась и опрокинулась в кювет.

— Ты как?

— В порядке,— сказал Жан-Шарль.— А ты?

— В порядке.

Я выключила контакт. Дверца отворилась.

— Вы ранены?

— Нет.

Группа велосипедистов — мальчики, девушки — окружили машину, лежавшую неподвижно вверх колесами, которые продолжали крутиться; я крикнула рыжему: «Дурак ты этакий!» — но какое облегчение! Я думала, что проехала по его телу. Я бросилась в объятия Жан-Шарля: «Дорогой мой! Здорово нам повезло. Ни царапины!»

Он не улыбался.

— Машина разбита вдребезги.

— Это да. Но лучше она, чем ты или я.

Около нас остановились машины; один из мальчиков объяснил:

— Этот идиот ехал не глядя, он бросился под колеса, милая дама свернула влево.

Рыжий бормотал извинения, остальные благодарили меня...

— Он за вас молиться должен!

На краю мокрой дороги рядом с разломанной машиной я ощутила, что во мне вспенивается радость, как шампанское. Я любила этого кретина велосипедиста, потому что не убила его, и его товарищей, улыбавшихся мне, и незнакомых людей, которые предлагали довезти нас до Парижа. Внезапно у меня закружилась голова, и я потеряла сознание.

Она очнулась на заднем сиденье «ДС». Но обратный путь она помнила плохо: шок был все же сильный. Жан-Шарль говорил, что придется покупать новую машину, что за разбитую больше двухсот тысяч франков не выручишь; он был недоволен, понятно; труднее было принять то, что он, казалось, сердился на Лоранс. Не моя же это вина, я скорее горжусь тем, как я мягко положила нас в кювет; но в конце концов все мужья убеждены, что как водители они дают сто очков вперед женам. Да, я вспоминаю, он был настолько недобросовестен, что вечером, когда я перед тем, как лечь, сказала: «Никто бы из этого не выкрутился, не раздолбав машину», он ответил: «Я не нахожу, что это так уж гениально; по нашей страховке оплачивается только ущерб, нанесенный третьему лицу».

— Что ж, по-твоему, лучше было убить этого типа?

— Ты его не убила бы. Сломала бы ему ногу...

— Прекрасно могла убить.

— Ну и поделом ему. Все свидетели были бы на твоей стороне.

Он этого не думал, сказал просто, чтоб мне насолить, так как убежден, что я могла отделаться меньшими расходами. А это неправда.

— Вот чай, специальная смесь,— говорит отец, ставя поднос на стол, заваленный журналами.— Знаешь, о чем я думаю,— говорит он,— интересно, если бы девочки были в машине, сохранился ли бы у тебя тот же рефлекс?

— Не знаю,— говорит Лоранс.

Она колеблется. Жан-Шарль — это как бы мое другое «я», думает она. Мы солидарны. Я действовала, точно была одна. Но подвергнуть риску моих девочек, чтоб спасти незнакомца, нелепость! А Жан-Шарль? Он занимал место смертника. В конце концов, ему есть из-за чего сердиться.

Отец возобновляет разговор:

— Вчера, когда дети были со мной, я бы скорее смел с лица земли целый пансион, чем пошел на малейший риск.

— А уж до чего они были довольны! — говорит Лоранс.— Ты задал им королевский пир.

— А! Я отвез их в одну из маленьких гостиниц, где еще подают настоящие сливки, цыплят, которые откормлены хорошим зерном, настоящие яйца. Ты знаешь, что в США курам дают водоросли и что в яйца приходится впрыскивать специальное химическое вещество, чтоб придать им вкус яйца?

— Это меня не удивляет. Доминика привезла мне из Нью-Йорка шоколад с химическим ароматом шоколада.

Они смеются. Подумать только, что я не провела с ним ни одного уик-энда в жизни! Он подает чай в разрозненных чашках. Старая керосиновая лампа, переделанная в электрическую, освещает стол, на котором раскрыт том «Плеяды»: у него есть вся библиотека «Плеяды» полностью. Ему не приходится терзать свое воображение, чтоб развлечься.

— У Луизы забавный ум,— говорит он.— Но похожа на тебя Катрин. В ее возрасте ты была так же серьезна.

— Да, я была на нее похожа,— говорит Лоранс. (Будет ли она похожа на меня?)

— Я нахожу, что у нее очень развилось воображение.

— Можешь себе представить, Марта меня увещевает — я-де обязана повести ее к первому причастию!

— Она мечтает всех нас обратить. Она не проповедует, но ставит себя в пример. Всем своим видом она говорит: посмотрите, как вера преображает женщину, какую внутреннюю красоту она дает. Бедняжка, не так-то легко выявить наружу внутреннюю красоту.

— Ты злой.

— Да нет, она славная девочка. Доминика и ты, вы обе сделали блестящую карьеру; существование матери семейства так тускло: вот она и поставила на святость.

— К тому же иметь Юбера в качестве единственного свидетеля твоей жизни явно недостаточно.

— Кто был в Февроле?

— Жильбер Мортье, Дюфрены, Тирион и его жена.

— Она принимает этого подлеца! Помнишь, он приходил к нам — говорит без умолку, а за душой ничего. Не хвалясь, скажу, что начинал лучше него. Вся его карьера построена на грязных интригах и саморекламе. И Доминика хотела, чтоб я стал таким!

— Ты не мог.

— Я мог бы, если б совершил все те гнусности, которые совершил он.

— Именно это я и хочу сказать.

Доминика ничего не поняла. «Он предпочел роль посредственности». Нет. Жизнь без компромиссов, время, высвобожденное для раздумий и приобщения к культуре, вместо суетливого существования, которое ведет мамина среда; да и я тоже.

— Твоя мать процветает по-прежнему?

Лоранс колеблется:

— У нее неладно с Жильбером Мортье. Я полагаю, что он собирается ее оставить.

— Вот уж полная неожиданность для нее! Она умнее мисс Планеты и на вид приятней госпожи Рузвельт: это дает ей основание считать себя выше всех женщин.

— Сейчас она очень несчастна,— Лоранс понятна резкость отца, но ей жаль мать.— Знаешь, я думала над тем, что ты мне говорил о несчастье. И все же оно существует. Ты умеешь овладеть положением, но это не каждому дано.

— То, что доступно мне, доступно любому. Я не исключение.

— А я думаю, что исключение,— нежно говорит Лоранс.— Например, одиночество, мало кого оно не тяготит.

— Потому что люди не отдаются ему всей душой. Самые большие радости были мне дарованы одиночеством.

— Ты в самом деле доволен своей жизнью?

— Я никогда не совершил ничего, в чем мог бы себя упрекнуть.

— Тебе повезло.

— А ты своей недовольна?

— Довольна! Но я себя во многом упрекаю: слишком мало занимаюсь дочками; слишком мало бываю с тобой.

— У тебя дом и работа.

— Да, но все же...

Не будь Люсьена, у меня оставалось бы больше времени; я чаще видела бы папу и могла бы, как он, читать, размышлять. Моя жизнь чересчур загромождена.

— Ты видишь, мне уже надо ехать.— Она подымается: — Твоя специальная смесь восхитительна.

— Скажи, ты уверена, что не получила внутренних контузий? Ты должна пойти к врачу.

— Нет, нет. Я себя чувствую отлично.

— Что вы будете делать без машины? Хочешь взять мою?

— Я не хочу лишать тебя машины.

— Какое же это лишение! Я так редко ею пользуюсь Мне больше по вкусу пешие прогулки.

Как это на него похоже, думает она взволнованно, садясь за руль. Ни на чей счет он не обольщается и не приведи бог попасть ему на зуб, но он чуток, внимателен, всегда готов помочь. Она еще ощущает вокруг себя теплый полумрак его квартиры. Расчистить жизнь от всего лишнего. Я должна избавиться от Люсьена.

Сегодня же вечером, решила она. Она сказала, что встретится с Моной; Жан-Шарль поверил, он всегда ей верит, ему не хватает воображения. Сам он, безусловно, не изменяет, и ревновать ему и в голову не приходит.

— Тут красиво, ты не находишь?

— Очень красиво,— говорит она.

Они провели час у Люсьена, а потом она настояла на том, чтоб пойти куда-нибудь. Ей казалось, что в общественном месте легче объясниться, чем в интимной обстановке. Он повел ее в элегантное кабаре, стилизованное под девятисотые годы: приглушенный свет, зеркала, зеленые растения, укромные уголки с диванами. Ей могло бы прийти в голову такое обрамление для фильма-рекламы какой-нибудь марки шампанского или выдержанного коньяка. Вот один из недостатков ее профессии: она слишком хорошо знает, как делаются декорации, под ее взглядом они распадаются на составные части.

— Что ты будешь пить? У них замечательное виски.

— Закажи мне, а выпьешь сам.

— Ты сегодня прекрасна.

Она мило улыбается:

— Ты мне говоришь это каждый раз.

— Это каждый раз так.

Она бросает взгляд на свое отражение в зеркале. Хорошенькая женщина, сдержанно веселая, чуть капризная, чуть таинственная — такой видит меня Люсьен. Мне это нравилось. А для Жан-Шарля я деловая, прямая, цельная. Тоже неправда. Приятная внешность, да. Но многие женщины куда более красивы. Перламутровая брюнетка с большими зелеными глазами, над которыми водружены огромные искусственные ресницы, танцует с мужчиной моложе ее: я понимаю, что от такого создания можно потерять голову. Они улыбаются друг другу, временами щека касается щеки. Любовь ли это? Мы ведь тоже улыбаемся друг другу, и руки наши встречаются.

— Если б ты знала, какая пытка эти уик-энды! Субботняя ночь... В другие ночи я еще могу сомневаться. Но тут я знаю. Это раскаленная лава в недрах моей недели. Я напился.

— Зря. Для меня это не так-то уж важно.

— Когда ты со мной, это для тебя тоже не так-то уж важно.

Она не отвечает. До чего он стал скучен! Сплошные упреки. Еще один, и я воспользуюсь. В самом деле...

— Потанцуем? — предлагает он.

— Пойдем.

Сегодня же вечером, повторяет она себе. Почему сегодня? Не из-за ночи в Февроле, ее не тяготит переход из одной кровати в другую: все так похоже. К тому же Жан-Шарль охладил ее чувства, когда она после катастрофы бросилась в его объятия, а он сухо заметил: «Машина вдребезги». Подлинная — и единственная — причина в том, что когда разлюбишь, любовь становится невыносима. Чистая потеря времени. Они молчат, как молчали нередко, но ощущает ли он, что это иное безмолвие?

Как за это взяться? — спрашивает она себя, садясь на диванчик. Она закуривает. В старомодных романах закуривают беспрестанно, это искусственно, говорит Жан-Шарль. Но в жизни часто случается прибегнуть к сигарете, когда надо преодолеть смущение.

— И ты тоже пользуешься «Крикетом»? — говорит Люсьен. — Ты женщина со вкусом. Такое уродство.

— Зато удобно.

— Как бы я хотел подарить тебе красивую зажигалку. По-настоящему красивую. Золотую. Но я лишен даже права делать тебе подарки.

— Ну! Ну! Ты позволял себе.

— Пустяки.

Духи, шарфики—она говорила, что это образчики для рекламы. Но, разумеется, от пудреницы или зажигалки из золота Жан-Шарль бы взбеленился.

— Ты знаешь, я не дорожу вещами. То, что я их рекламирую, у меня отбило интерес...

— Не вижу связи. Красивая вещь остается надолго, как воспоминание. Вот от этой зажигалки, например, я давал тебе прикурить, когда ты впервые пришла ко мне.

— Можно вспоминать и без этого.

В сущности, Люсьен тоже живет внешней жизнью, хотя и по-иному, чем Жан-Шарль. Из всех, кого я знаю, только папа другой. Он верен чему-то, что в нем, а не в вещах.

— Почему ты говоришь со мной таким тоном? — спрашивает Люсьен.— Ты хотела пойти куда-нибудь, мы пошли; я выполняю все твои желания. Ты могла бы быть полюбезнее.

Она не отвечает.

— За весь вечер ты не сказала мне ни единого нежного слова.

— Не было случая.

— Теперь никогда не бывает случая.

Вот подходящий момент, говорит она себе. Он пострадает немножко, потом утешится. Множество любовников на земле порывают как раз в это мгновение; через год они и не вспомнят.

— Послушай, ты не перестаешь упрекать меня. Лучше объяснимся откровенно.

— Мне нечего тебе объяснять,— быстро говорит он.— И я тебя ни о чем не спрашиваю.

— Спрашиваешь, только обиняком. И я хочу тебе ответить. Я к тебе очень хорошо отношусь; и так будет всегда. Но я больше не люблю тебя по-настоящему. (А любила ли? Есть ли смысл у этих слов?)

Молчание. Сердце Лоранс колотится быстрее, чем обычно, но самое тяжелое позади. Решительные слова произнесены. Остается закруглить сцену.

— Я давно это знаю,— говорит Люсьен.— Почему тебе понадобилось сказать об этом сегодня?

— Потому что мы должны сделать из этого выводы. Если это не любовь, лучше больше не спать друг с другом.

— Я тебя люблю. Множество людей спит друг с другом, не испытывая безумной любви.

— Не вижу оснований.

— Конечно! Ты всем обеспечена. А мне каково? Я-то не могу без тебя обойтись, на меня тебе наплевать.

— Напротив, я прежде всего думаю о тебе. Я даю тебе слишком мало, крохи, как ты сам часто говоришь. Другая женщина сделает тебя гораздо счастливее.

— Какая трогательная забота!

Лицо Люсьена искажается, он берет руку Лоранс:

— Ты говоришь не всерьез! Все, что было между нами — ночи в Гавре, ночи у меня, наша вылазка в Бордо,— ничто для тебя не существует?

— Ты неправ. Я всегда буду это вспоминать.

— Ты уже забыла.

Он взывает к прошлому, он сопротивляется; она спокойно подает реплики; это бессмысленно, но ей известно, что тот, кого бросают, имеет свои права; она вежливо выслушивает его, ей не трудно. У него во взгляде — подозрение:

— Я понял! У тебя есть другой!

— Ну-ну! При жизни, которую я веду!

— Нет, действительно это не так. Просто ты меня никогда не любила. Есть женщины холодные в постели. Ты хуже. Ты страдаешь холодностью сердца.

— Не моя вина.

— А если я тебе скажу, что сейчас разобью машину на автостраде?

— Ты не до такой степени глуп. Брось, не делай из этого трагедии. Одной меньше... Люди взаимозаменяемы.

— То, что ты говоришь, чудовищно.— Люсьен встает.— Пойдем. Ты вызываешь во мне желание избить тебя.

Они доезжают молча до дома Лоранс. Она выходит и на мгновение останавливается в растерянности на краю тротуара.

— Что ж, до свидания,— говорит она.

— Нет. Не до свидания. Можешь подтереться своим хорошим отношением. Я сменю контору и не увижу тебя никогда в жизни.

Он захлопывает дверцу, трогается. Она не очень горда собой. Но и не недовольна. Это было необходимо, говорит она себе. Почему — она толком не знает.

Сегодня она столкнулась с Люсьеном в Люблинфе, они не заговорили. Десять вечера. Она наводит порядок в спальне, когда слышит телефонный звонок и голос Жан-Шарля:

— Лоранс, твоя мать.

Она кидается к телефону:

— Это ты, Доминика?

— Да. Приезжай сейчас же.

— Что случилось?

— Приедешь, скажу.

— Еду.

Жан-Шарль снова погружается в книгу; он спрашивает с недовольным видом:

— Что происходит?

— Наверно, Жильбер все сказал.

— Подумаешь, какие сложности!

Лоранс натягивает пальто, идет поцеловать дочек.

— Почему ты уходишь так поздно? — говорит Луиза.

— Бабуля немного больна. Она попросила меня купить ей лекарства.

Она спускается на лифте в гараж, где стоит машина, которую одолжил ей отец. Жильбер сказал! Она дает задний ход, выезжает. Спокойствие, спокойствие. Несколько глубоких вдохов и выдохов. Сохранить хладнокровие. Ехать не слишком быстро. Ей везет, она тотчас находит место, ставит машину у тротуара. На мгновение она застывает у нижней ступеньки. Ей не хватает мужества подняться, позвонить. Что она найдет там, за дверью? Она поднимается, звонит.

— Что с тобой случилось?

Доминика не отвечает. Она причесана, накрашена, глаза сухи, она нервно курит.

— Жильбер только что ушел,— говорит она глухим голосом. Она вводит Лоранс в салон.— Он мерзавец. Мерзавец из мерзавцев. И его жена не лучше. Все одним миром мазаны. Но я буду защищаться. Они хотят добить меня, но им не удастся.

Лоранс смотрит вопросительно; она ждет; слова застревают в горле у Доминики:

— Это не Люсиль. Это — Патриция. Дуреха. Он на ней женится.

— Женится?

— Женится. Представляешь? Могу вообразить. Пышная свадьба в Мануаре, с флёрдоранжем, в церкви. С Мари-Клер он ведь не изволил венчаться. И Люсиль — взволнованная, в роли молодой матери новобрачной. Сдохнуть от смеха.

Она разражается смехом, откинув голову на спинку кресла; она смеется, смеется, с остановившимся взглядом, бледная, и толстые жилы вздуваются под кожей на ее шее, внезапно ставшей шеей очень старой женщины. В подобных случаях полагается дать оплеуху или плеснуть водой в лицо, но Лоранс не осмеливается. Она только говорит: «Успокойся. Прошу тебя, успокойся».

Дрова догорают в камине, в салоне слишком жарко. Смех замирает, голова Доминики падает на грудь, жилы на шее исчезают, лицо обмякает. Говорить.

— Мари-Клер соглашается на развод?

— С восторгом: она меня ненавидит. Полагаю, что ее пригласят на свадьбу.— Кулак Доминики расплющивается о ручку кресла.— Я боролась всю жизнь. А эта маленькая идиотка в двадцать лет — жена одного из самых богатых людей во Франции. Она будет еще молода, когда он сдохнет, оставив ей половину своего состояния. Это, по-твоему, справедливо?

— Где она, справедливость? Послушай: ты всего добилась сама, это прекрасно. Тебе никто не был нужен. Это доказывает, что ты сильна. Покажи им свою силу, покажи, что тебе плевать на Жильбера...

— Ты считаешь, что всего добиться самой — прекрасно! Ты не знаешь, каково это. Что приходится делать, что выносить, особенно женщине. Всю жизнь я терпела унижения. С Жильбером...— Голос Доминики дрожит: — с Жильбером я чувствовала себя защищенной, спокойной, наконец-то спокойной после стольких лет...

Она говорит таким голосом, что Лоранс тянет к ней. Надежность, покой. Ей кажется, что она наконец поняла сущность Доминики, столь яростно скрываемую обычно.

— Доминика, дорогая, ты должна гордиться собой. Не чувствовать себя униженной, никогда. Забудь Жильбера, он не заслуживает твоих сожалений. Конечно, это трудно, тебе понадобится на это время, но ты справишься...

— По-твоему, это не унизительно — быть выброшенной на свалку, как старая калоша? Ах, так и слышу, как они хихикают.

— Хихикать тут не над чем.

— А они будут хихикать.

— Значит, они глупы. Не думай о них.

— Я не могу. Ты не понимаешь. Ты вроде своего отца, витаешь в облаках. А я живу, живу с этими людьми.

— Не встречайся с ними.

— А с кем мне встречаться? — Слезы начинают течь по бледному лицу Доминики. — Быть старой само по себе ужасно. Но я думала, что Жильбер будет со мной, всегда со мной. И вот — нет. Старая, одинокая: это чудовищно.

— Ты не старая.

— Скоро буду.

— Ты не одинока. У тебя есть я, мы.

Доминика плачет. Под маской скрывалась женщина из плоти и крови, имеющая сердце, чувствующая, что стареет, страшащаяся одиночества; она шепчет:

— Женщина без мужчины — одинокая женщина.

— Ты встретишь другого мужчину. А пока — у тебя есть твоя работа.

— Работа? Ты думаешь, она мне что-нибудь дает? Раньше — да, потому что я стремилась чего-то добиться. Теперь добилась и спрашиваю себя: чего?

— Того, чего ты хотела. У тебя совершенно незаурядное положение, увлекательная работа.

Доминика не слушает. Уставившись в стену перед собой:

— Женщина, добившаяся положения! Издали это заманчиво. Но наедине с самой собой, в спальне, вечером... одинокая навсегда.— Она вздрагивает, точно выходя из транса.— Я этого не переживу!

«Переживет, переживет»,— говорил Жильбер. Да или нет?

— Отправься в путешествие. Поезжай в Баальбек без него.

— Одна?

— С подругой.

— По-твоему, у меня есть подруги? А где я деньги возьму? Я даже не знаю, смогу ли сохранить Февроль, содержать дом слишком дорого.

— У тебя есть машина, поезжай в Италию, перемени обстановку.

— Нет! Нет! Я не уступлю. Я что-нибудь сделаю.

Лицо Доминики становится опять таким жестким, что Лоранс овладевает смутный страх.

— Как? Что ты можешь сделать?

— Во всяком случае, я отомщу.

Доминика колеблется; ее губы кривит подобие улыбки:

— Я уверена, они скрыли от девочки, что мать спала с Жильбером. Я расскажу ей. И о том, как он говорил о Люсиль: сиськи до колен и все прочее.

— Ты не сделаешь этого! Это безумие. Не пойдешь же ты к ней!

— Нет. Но я могу написать.

— Надеюсь, ты это не серьезно?

— А почему бы нет?

— Это было бы подло!

— А то, что они со мной делают, не подло? Элегантность, fair play *, чушь все это! Они не в праве причинять мне страдания: я не намерена отвечать им добром на зло.

Лоранс никогда не судила Доминику, она никого не судит; но ее пробирает дрожь. В этом сердце чудовищный мрак, там гнездятся змеи. Помешать, любой ценой.

— Ты ничего не достигнешь; только скомпрометируешь себя в их глазах, а свадьба все равно состоится.

— В этом я как раз очень сомневаюсь,— говорит Доминика. Она задумывается, рассчитывает:— Патриция растетеха. Это в стиле Люсиль: можно иметь любовников, но дочурка не должна ничего знать, дочурочка девственница, она достойна своего флёрдоранжа...

Лоранс ошарашена внезапной вульгарностью Доминики. У нее никогда не было такого голоса, такой манеры говорить; она слышит кого-то другого, не Доминику.

— Так что, когда эта святая невинность узнает правду, это ее здорово прихлопнет.

— Но она же тебе ничего не сделала, не она виновата.

— И она тоже.— В голосе Доминики агрессивность.— Почему ты их защищаешь?

— Я защищаю тебя от тебя самой. Ты всегда говорила, что надо уметь держать себя, когда приходится плохо.Ты возмущалась Жанной Тексье.

— Я не кончаю с собой, я мщу.

Что сказать, какие доводы найти?

— Они скажут, что ты лжешь.

— Она им ничего не скажет: ненависть не даст.

— Представь, что скажет. Они будут всюду кричать, что ты написала это.

— Ну нет. Не станут они перемывать грязное белье на людях.

— Они скажут, что ты написала гнусности, не уточняя.

— В таком случае уточню я.

— Ты представляешь, что о тебе подумают?

— Что я себя в обиду не даю. Все равно я брошенная женщина; старая женщина, брошенная ради молоденькой девушки. Лучше быть отвратительной, чем смешной.

— Умоляю тебя...

— Ах, отстань,— говорит Доминика.— Хорошо, не буду. Что тогда?

Снова лицо ее уродует гримаса, она разражается слезами:

— Мне никогда не везло. Твой отец был ни на что не способен. Да, не способен. А когда наконец я встречаю мужчину, настоящего мужчину, он бросает меня ради двадцатилетней идиотки.

— Хочешь, я останусь ночевать у тебя?

— Нет. Дай мне таблетки. Я немного увеличу дозу и буду спать. Я на пределе.

Стакан воды, зеленая капсула, две маленькие белые пилюли. Доминика глотает их:

* Честная игра *(англ.)*.

— Можешь оставить меня теперь.

Лоранс целует ее, закрывает за собой входную дверь. Она ведет машину медленно. Напишет или нет Доминика свое письмо? Как ей помешать? Предупредить Жильбера? Это было бы предательством. Он к тому же не может уследить за корреспонденцией Патриции. Увезти маму в путешествие, сейчас же, завтра? Она откажется. Что делать? Как только возникает этот вопрос, полнейшая растерянность! Я всегда катилась по гладким рельсам. Ничто не было плодом моих решений: ни замужество, ни выбор профессии, ни роман с Люсьеном, он завязался и развязался сам собой. Со мной что-то случается, вот и все. Что делать? Посоветоваться с Жан-Шарлем.

— О, господи! Если бы ты знал, в каком состоянии Доминика! — говорит она.— Жильбер ей все сказал.

Он откладывает книгу, сунув предварительно закладку между страниц.

— Это можно было предвидеть.

— Я надеялась, что она легче перенесет удар. За последний месяц она мне наговорила столько дурного о Жильбере!

— Слишком многое поставлено на карту. Взять хоть деньги — ей придется переменить образ жизни.

Лоранс делает над собой усилие. Жан-Шарль ненавидит патетику, это известно; но все же, какое равнодушие в его словах!

— Доминика любит Жильбера не за его деньги.

— Но у него они есть, и это идет в расчет. Это идет в расчет для всех, представь себе,— говорит он вызывающе.

Она не отвечает и направляется в свою комнату. Он решительно не может переварить, что потерял восемьсот тысяч франков. И возлагает ответственность на меня! Резкими движениями она скидывает одежду. В ней закипает злость. Я не хочу злиться, мне нужно как следует отдохнуть. Стакан воды, немного гимнастики, холодный душ. Разумеется, нечего было рассчитывать на совет Жан-Шарля: вмешиваться в чужие дела — ни за что. Один человек мог бы помочь Лоранс— ее отец. И все же, как он ни понятлив, ни благороден, Лоранс не станет пробуждать в нем жалость к горестям Доминики. В порядке исключения она принимает снотворное. Начиная с воскресенья, на нее обрушилось слишком много волнений, как водится, одно к одному.

Из боязни разбудить мать Лоранс звонит ей в последнюю минуту перед уходом на работу. Она спрашивает:

— Как ты себя чувствуешь? Ты спала?

— Великолепно, до четырех утра.

В голосе Доминики веселый вызов.

— Только до четырех?

— Да. В четыре я проснулась.— Пауза. Потом Доминика триумфально провозглашает: — Я написала Патриции.

— Нет! О, нет! — Сердце Лоранс начинает дико колотиться.— Ты не отправила письма?

— Пневматической почтой, в пять часов. Я забавляюсь как сумасшедшая, представляя, как у нее вытянется мордочка.

— Доминика! Это безумие. Нельзя, чтоб она прочла это письмо. Позвони ей: умоли не распечатывать его.

— Как же, позвоню! И, вообще, слишком поздно, она уже прочла.

Лоранс молчит. Она кладет трубку и едва успевает добежать до ванной комнаты: живот сводит болью, ее рвет только что выпитым чаем; вот уже много лет, как ее не рвало от волнения. Желудок пуст, но спазмы не отпускают. Она лишена воображения, она не представляет себе

ни Патриции, ни Люсиль, ни Жильбера, ничего. Но ей страшно. Панически страшно. Она выпивает стакан воды и, вернувшись в комнату, падает на диван.

— Ты заболела, мама? — спрашивает Катрин.

— Немножко. Ничего серьезного. Ступай, делай уроки.

— Ты больна или огорчена? Это из-за бабули?

— Почему ты спрашиваешь об этом?

— Ты раньше мне сказала, что ей лучше, но было непохоже, что ты так думаешь.

Катрин поднимает к матери озабоченное, но доверчивое лицо. Лоранс обнимает ее, прижимает к себе.

— Она не больна. Но она должна была выйти замуж за Жильбера, а он ее разлюбил и женится на другой. Поэтому она очень несчастна.

— А! — Катрин задумывается.— Что можно сделать?

— Быть с ней поласковее. Больше ничего.

— Мама, а бабуля станет злой?

— То есть как?

— Брижитт говорит, что если люди злы, значит, они несчастны. Кроме нацистов.

— Она тебе так сказала? — Лоранс прижимает Катрин к себе еще крепче.— Нет. Бабуля не станет злой. Но будь внимательна, когда ты с ней встретишься, не показывай виду, что тебе известно, как ей тоскливо.

— А ты? Я не хочу, чтоб тебе было тоскливо,— говорит Катрин.

— Я счастлива, потому что у меня такая милая доченька. Ступай, делай уроки и ни о чем не говори Луизе, она еще слишком маленькая. Договорились?

— Договорились,— говорит Катрин.

Она чмокает мать в щеку и убегает улыбаясь. Ребенок. Нежный, искренний ребенок. Неужели неотвратимо, чтоб она превратилась в женщину, такую, как я, с камнем на сердце и адом в голове?

Не думать больше об этом, не хочу об этом думать, говорит себе Лоранс, обсуждая с Моной и Люсьеном в своем кабинете в Пюблинфе рекламу батиста Флорибель. Половина двенадцатого. Патриция получила пневматичку еще в восемь утра.

— Ты слушаешь меня? — говорит Люсьен.

— Ну конечно.

Люсьен держится натянуто, подчеркивая обиду, неприязнь. Она предпочла бы вовсе с ним не встречаться, но Вуазен его не отпускает. Невинность батиста, невинность продуманная, прозрачность, чистота ручья, но и шаловливая нескромность — надо играть на этих контрастах. Лоранс вздрагивает от телефонного звонка. Жильбер: «Я вам настоятельно рекомендую посетить вашу мать». Голос резкий, злой. Он уже повесил трубку. Лоранс набирает номер матери. Ненавистный механизм, сближающий и разделяющий людей, проклятая Кассандра, пронзительный зов которой внезапно ломает день, предвещая трагедии. Там звонок дребезжит в тишине: можно подумать, что квартира пуста. Но, судя по фразе Жильбера, Доминика должна быть дома. Кто-то в пустой квартире, но кто? Мертвец.

— С матерью несчастье. Сердечный приступ, не знаю что... Я бегу к ней.

На Лоранс, наверно, страшно смотреть, ни Мона, ни Люсьен не говорят ни слова.

Она бежит; хватает машину, мчится на предельной скорости; бросает ее там, где стоянка запрещена; поднимается по лестнице через че-

тыре ступеньки, дождаться, пока спустится лифт, у нее не хватает терпения; она трижды звонит по два раза. Тишина. Она нажимает на кнопку и не снимает пальца.

— Кто там?

— Лоранс.

Дверь открывается. Но Доминика поворачивается к ней спиной. На ней голубой пеньюар. Она заходит в спальню, где шторы задернуты. В полумраке видна ваза, опрокинутая на пол, разбросанные тюльпаны, лужа на бобрике. Доминика бросается в кресло: как в тот день, голова ее запрокинута на спинку, взор устремлен в потолок, рыдания вздувают на шее жесткие жилы. Пеньюар спереди разорван, пуговицы выдраны:

— Он дал мне пощечину.

Лоранс идет в ванную, открывает аптечку.

— Ты не принимала транквилизаторов? Нет? Тогда выпей.

Доминика подчиняется. Она говорит чужим голосом. Жильбер позвонил в десять часов, она думала, что пришел привратник, открыла. Патриция немедленно бросилась к Жильберу, выплакаться у него на груди, Люсиль кричала, он захлопнул дверь ногой, Патрицию он гладил по волосам, нежно успокаивал, а ее тут же, в передней, оскорбил, дал пощечину, схватил за ворот голубого пеньюара и поволок в спальню. Голос Доминики пресекается, она икает.

— Мне остается только умереть.

Что произошло на самом деле? Голова Лоранс пылает. В разоренной комнате — неубранная постель, разорванный пеньюар, разбросанные цветы — она видит Жильбера, его крупные холеные руки, злое лицо, слегка оплывающее жиром. Он посмел? А что могло ему помешать? Ужас хватает Лоранс за горло, ужас от сознания того, что произошло в Доминике за эти несколько мгновений, что происходит сейчас. Все прелестные картинки полетели к черту, и их уже никогда не восстановить. Лоранс охотно приняла бы сама транквилизатор, но нет, ей сейчас необходима ясная голова.

— Какой скот! — говорит она.— Все они скоты.

— Я хочу умереть,— шепчет Доминика.

— Успокойся! Нечего плакать, это доставило бы ему слишком большое удовольствие,— говорит Лоранс,— умой лицо, прими душ, оденься, выйдем.

Жильбер понял, что пронять Доминику можно только одним способом: унизить ее. Удастся ли ей подняться? Было бы легче, если бы Лоранс могла обнять ее, погладить по голове, как Катрин. Самое мучительное, что к жалости примешивается гадливость, точно она жалеет раненую жабу, не решаясь к ней прикоснуться. Ей отвратителен Жильбер, но и мать тоже.

— Сейчас он все рассказывает Патриции и Люсиль.

— Ну нет. Поколотил женщину, тут гордиться нечем.

— Он гордится: он будет повсюду хвастать. Я его знаю...

— Он не сможет объяснить, чем это было вызвано. Ты сама вчера мне сказала: не будет он звонить всему свету, что спал с матерью своей невесты.

— Паскуда! Она показала ему мое письмо!

Лоранс смотрит на мать с изумлением:

— Но, Доминика, я же тебе сказала, что она покажет.

— Я не поверила. Я думала, что ей станет противно и она порвет с ним. Она должна была так поступить из уважения к матери: промолчать и порвать. Но она нацелилась на денежки Жильбера.

Годами люди были для нее препятствиями, которые надо устранить, и она брала верх над ними; в конце концов, она забыла, что у

других есть собственные расчеты, что они могут и не подчиниться ее планам. Слепая истеричка, комедиантка. Всегда кому-нибудь подражала, не умея выработать собственную систему поведения, соответствующую обстоятельствам. Ее принимают за женщину рассудочную, волевую, дельную...

— Одевайся,—повторяет Лоранс.— Надень темные очки, я отвезу тебя обедать куда-нибудь за город, где можно быть уверенным, что никого не встретишь.

— Я не голодна.

— Тебе полезно поесть.

Доминика идет в ванную комнату. Транквилизатор подействовал. Она молча приводит себя в порядок. Лоранс выбрасывает цветы, подтирает воду, звонит на работу. Она усаживает мать в машину. Доминика молчит. Большие темные очки подчеркивают бледность кожи.

Лоранс выбрала ресторан на холме, весь из стекла, пейзаж парижских окрестностей открывается как на ладони. В глубине зала какой-то банкет. Место дорогое, но не элегантное, знакомые Доминики здесь не бывают. Они садятся за столик.

— Я должна предупредить мою секретаршу, что не буду сегодня,— говорит Доминика.

Она удаляется, слегка сутулясь. Лоранс выходит на террасу, которая господствует над равниной. Вдалеке белеет Сакре-Кер, черепицы парижских крыш блестят под ярко-голубым небом. Один из дней, когда весенняя радость пробивается сквозь декабрьский холод. Птицы поют на голых деревьях. Внизу, по автостраде, бегут, посверкивая, машины. Лоранс застывает. Время внезапно останавливается. За этим сосредоточенным пейзажем — дороги, скопления городских кварталов, деревушки, машины, которые куда-то торопятся,— проступает нечто, и эта встреча так ее волнует, что забываются заботы, тревоги: Лоранс вся — ожидание, без начала и конца. Поет невидимая птица, обещая грядущее обновление. Розоватая полоса тянется над горизонтом, и Лоранс замирает, на долгое мгновение парализованная таинственной душевной смутой. Потом она приходит в себя на террасе ресторана, ей холодно, она возвращается к своему столику.

Доминика садится рядом с ней. Лоранс протягивает ей меню.

— Я ничего не хочу.

— Выбери все же что-нибудь.

— Выбери сама.

Губы Доминики дрожат; чувствуется, что у нее нет сил. Она говорит униженно:

— Лоранс, не говори об этом никому. Я не хочу, чтоб знала Марта. И Жан-Шарль. И твой отец.

— Разумеется, не скажу.

У Лоранс сжимается горло. В ней поднимается волна участия к матери, хочется ей помочь. Но как?

— Если б ты знала, что он мне говорил! Это чудовищно. Это чудовищный человек.

За темными очками накипают две слезы.

— Перестань. Запрети себе думать об этом.

— Не могу.

— Уезжай. Поставь на этом крест. Заведи любовника.

Лоранс заказывает омлет, камбалу, белое вино. Она знает, что ей придется часами повторять одно и то же. Она готова к этому. Но она вынуждена будет, в конце концов, оставить Доминику. И что тогда?

Лицо Доминики искажает странная гримаса, злоба, одержимость.

— Все-таки брачную ночь я им подпортила, надеюсь,— говорит она.

— Для Дюфренов я хотел бы найти что-нибудь сногсшибательное,— говорит Жан-Шарль.

— Надо поискать в папином районе.

У Жан-Шарля предусмотрена специальная статья бюджета на подарки, поздравления, угощения, приемы, непредвиденные расходы, и он держит ее под контролем с той же неукоснительной тщательностью и любовью к порядку, как и все остальные. Когда они отправятся после полудня за покупками, они потратят сумму, определенную заранее, с точностью до нескольких тысяч франков. Тонкая работа. При этом ни скаредности, ни желания пустить пыль в глаза не должно быть заметно; однако подарок должен свидетельствовать не о чувстве меры, а лишь о стремлении доставить удовольствие тому, кому он предназначается. Лоранс бросает взгляд на цифры, которые выписывает муж.

— Пять тысяч франков для Гойи — это не жирно.

— Она у нас всего три месяца. Не станем же мы давать ей столько же, сколько дали бы, если б она проработала целый год.

Лоранс молчит. Она возьмет десять тысяч франков из собственных денег; хорошо иметь профессию, при которой получаешь премиальные без ведома супруга. Можно уклониться от дискуссии. Не к чему портить Жан-Шарлю настроение: отметки Катрин не обрадуют его. Нужно все-таки собраться с силами и показать их.

— Дети вчера получили табели с отметками за первый триместр.

Она протягивает ему табель Луизы. Первая в классе, третья, вторая. Жан-Шарль равнодушно пробегает его глазами.

— Дела Катрин не так блестящи.

Он смотрит, хмурится: двенадцатая по французскому, девятая по латыни, восьмая по математике, пятнадцатая по истории, третья по английскому.

— Двенадцатая по французскому! Она всегда была первой! Что с ней стряслось?

— Ей не нравится учительница.

— А пятнадцатая по истории, девятая по латыни!

От комментариев не легче: «Могла бы работать лучше. Болтает в классе. Рассеянная». (Рассеянная: не от меня ли она это унаследовала?)

— Ты виделась с учителями?

— С учительницей истории; у Катрин утомленный вид, она витает в облаках или, наоборот, не сидит на месте, дурачится. Как она мне сказала, девочки в этом возрасте часто переживают кризис: приближение половой зрелости, не стоит волноваться.

— Кризис, на мой взгляд, серьезный: она не работает, кричит по ночам.

— Два раза кричала.

— Два раза тоже ни к чему. Позови ее, я хочу с ней поговорить.

— Не ругай ее. Отметки не так уж катастрофичны.

— Не много тебе нужно!

В детской Катрин помогает Луизе переводить картинки. После того как младшая сестра плакала от ревности, Катрин трогательно заботлива. Ничего не попишешь: Луиза хорошенькая, забавная, лукавая, но я предпочитаю Катрин. Откуда этот спад в занятиях? У Лоранс на этот счет есть свои соображения, но она твердо решила их не высказывать.

— Милый, папа хочет тебя видеть. Он обеспокоен твоим табелем.

Катрин молча идет за ней, склонив голову. Жан-Шарль сурово глядит на нее:

— Что такое, Катрин, объясни мне, что с тобой случилось. В прошлом году ты всегда занимала одно из трех первых мест.— Он сует табель ей в лицо.— Ты перестала заниматься.

— Нет.

— Двенадцатая, пятнадцатая!

Она поднимает на отца удивленные глаза:

— Какое это имеет значение?

— Не дерзи!

Лоранс вмешивается веселым голосом:

— Если ты хочешь стать врачом, нужно много учиться.

— Но я буду учиться, мне будет интересно,— говорит Катрин.— А сейчас мне никогда не говорят о том, что меня интересует.

— История, литература — это тебя не интересует? — говорит Жан-Шарль возмущенно.

Когда он спорит, ему важнее взять верх, чем понять собеседника, иначе он спросил бы: а что тебе интересно? Катрин не смогла бы ответить, но Лоранс понимает: ее интересует окружающий мир, мир, который от нее прячут и который она открывает.

— Это твоя приятельница Брижитт учит тебя болтать в классе?

— О, Брижитт очень хорошая ученица.— Катрин одушевляется.— У нее плохая отметка по французскому, потому что учительница дура, но она первая по латыни и третья по истории.

— Видишь! Ты должна брать с нее пример. Мне очень больно, что моя дочурка превращается в оболтуса.

Глаза Катрин наливаются слезами, Лоранс гладит ее по голове.

— В следующем триместре она будет заниматься лучше. Сейчас она отдохнет на каникулах, забудет о лицее. Иди, милый, иди играй с Луизой.

Катрин выходит из комнаты, и Жан-Шарль говорит рассерженно:

— Если ты ласкаешь, когда я ругаю, не к чему мне заниматься ею.

— Она очень чувствительна.

— Слишком чувствительна. Что с ней случилось? Она плачет, задает вопросы не по возрасту и не работает.

— Ты сам говорил, что она в том возрасте, когда задают вопросы.

— Пусть так. Но то, что она отстала в школе, ненормально. Я спрашиваю себя, полезно ли ей дружить с девочкой, которая старше и к тому же еврейка.

— Что?

— Не принимай меня за антисемита. Но общеизвестно, что еврейские дети отличаются преждевременным развитием и чрезмерной эмоциональностью.

— Глупые россказни, я в них не верю. Брижитт рано развилась потому, что лишена матери и должна сама во всем разбираться, потому что у нее есть старший брат, с которым она очень близка; я нахожу, что она прекрасно влияет на Катрин: девочка взрослеет, думает, обогащается. Ты придаешь слишком большое значение школьным успехам.

— Я хочу, чтоб моя дочь преуспела в жизни. Почему бы тебе не сходить с ней к психологу?

— Ну уж нет! Если нужно бегать к психологу всякий раз, как ребенок отстает на несколько мест в классе!..

— Отстает на несколько мест в классе и кричит по ночам. Почему бы нет? Почему в случае расстройства эмоциональной системы не обратиться к специалисту, ведь водишь же ты дочерей к врачу, когда они кашляют?

— Мне эта идея не по душе.

— Классический случай. Родители непроизвольно ревнуют к психологам, которые занимаются их детьми. Но мы достаточно умны, чтоб стать выше этого. Странный ты человек. То ты вполне современна, то — отчаянный ретроград.

— Ретроград или не ретроград, но я вполне довольна Катрин, как она есть, не хочу, чтоб мне ее портили.

— Психолог не испортит ее. Просто попытается понять, что неладно.

— Что значит неладно? По-моему, у людей, которых ты считаешь нормальными, тоже не все ладно. Если Катрин интересуют вещи, не включенные в школьную программу, это не значит, что она тронутая.

Лоранс говорит с яростью, удивляющей ее самое. (Тише едешь, дальше будешь, не сворачивай с проложенного пути, влево, вправо не оглядывайся, всему свое время; если тобой овладевает гнев, выпей стакан воды и сделай несколько гимнастических движений. Мне это хорошо удалось, мне это удалось прекрасно; но меня не заставят проделать тот же номер с Катрин.) Она говорит с силой:

— Я не стану мешать Катрин ни читать книги, которые ее интересуют, ни встречаться с товарищами, которые ей нравятся.

— Признай, что она утратила равновесие. В данном случае твой отец был прав: информация — прекрасная вещь, но для детей она опасна. Нужно принять меры предосторожности, возможно, избавить ее от некоторых влияний. Совершенно ни к чему, чтобы ей стали немедленно известны печальные стороны жизни. Всегда успеется.

— Ты так думаешь! Вовсе не успеется, никогда не успеется,— говорит Лоранс.— Мона права, говоря, что мы ни черта не понимаем. Ежедневно читаем в газетах об ужасных вещах и продолжаем ничего не знать о них.

— Ах, не устраивай мне, пожалуйста, снова приступа больной совести, как в шестьдесят втором,— сухо говорит Жан-Шарль.

Лоранс чувствует, что бледнеет: точно он дал ей пощечину. Она не могла унять дрожь, она потеряла всякую власть над собой в тот день, когда прочла об этой женщине, замученной насмерть. Жан-Шарль прижал ее к себе, она доверчиво отдалась его объятиям, он говорил: «Это чудовищно», она поверила, что он тоже потрясен. Ради него она взяла себя в руки, сделала усилие, чтоб забыть. Ей это почти удалось. Ради него, в конечном счете, она избегала с тех пор читать газеты. А, оказывается, ему было наплевать; он говорил «это чудовищно», просто чтоб ее успокоить, а теперь злопамятно бросает ей в лицо тот случай. Какое предательство! До чего он уверен в своей правоте. Его приводит в бешенство, что мы не соответствуем картинке, его представлению о нас — примерная девочка, образцовая молодая женщина; его вовсе не интересует, что мы такое на самом деле.

— Не хочу, чтоб Катрин унаследовала от тебя спокойную совесть.

Жан-Шарль ударяет кулаком об стол; он никогда не мог вынести, чтоб ему противоречили.

— Это ты своими угрызениями и сентиментальностью превращаешь ее в психопатку.

— Я? Сентиментальностью?

Она искренне удивлена. В ней это было, но Доминика, а потом и Жан-Шарль вытравили из нее всякую чувствительность. Мона упрекает ее в равнодушии, а Люсьен корит бессердечием.

— Да, и в тот день тоже, с велосипедистом...

— Уходи,— говорит Лоранс,—или уйду я.

— Я уйду, мне нужно зайти к Монно. Но тебе не вредно бы проконсультироваться с психиатром о себе самой,— говорит Жан-Шарль вставая.

Она запирается в спальне. Выпить стакан воды, заняться гимнастикой — нет. На этот раз она отдается гневу; буря разражается в ее груди, сотрясая все клетки организма, она ощущает физическую боль, но чувствует, что живет. Она видит вновь себя сидящей на кровати, слышит голос Жан-Шарля: «Не нахожу, что это очень изобретательно; по нашей страховке компенсируется только ущерб, нанесенный третьему лицу... Все свидетели показали бы в твою пользу». И вдруг ее как молнией ударяет: он не шутил. Он упрекал меня, он и сейчас упрекает меня в том, что я не

сэкономила ему восемьсот тысяч франков, рискуя при этом убить человека. Входная дверь захлопывается, он ушел. А он сделал бы это? Во всяком случае, он зол на меня за то, что я этого не сделала.

Она долго сидит неподвижно, ощущая прилив крови к голове, тяжесть в затылке; ей хотелось бы заплакать; как давно она разучилась плакать?

В детской вертится пластинка: старинные английские песни; Луиза переводит картинки, Катрин читает «Письма с мельницы». Она поднимает голову:

— Мама, папа очень сердился?

— Он не понимает, почему ты стала хуже работать.

— Ты тоже сердишься.

— Нет. Но мне хотелось бы, чтоб ты постаралась.

— Папа часто сердится последнее время.

Действительно, у него были неприятности с Вернем, потом эта авария: он разозлился, когда девочки попросили его рассказать о ней. Катрин заметила, что он не в настроении; она смутно ощущает горе Доминики, тоску Лоранс. Может быть, этим объясняются кошмары? Если говорить правду, она кричала три раза.

— Он озабочен. Нужно покупать новую машину, это стоит дорого. И потом, он рад, что сменил работу, но ему пришлось столкнуться с рядом трудностей.

— Как печально быть взрослым,— говорит Катрин убежденно.

— Ничуть, взрослые очень счастливы, например, когда у них такие милые девочки, как вы.

— Папа не считает, что я так уж мила.

— Ну, конечно, считает! Если бы он тебя не любил, его бы не огорчали твои плохие отметки.

— Ты думаешь?

— Уверена.

Прав ли Жан-Шарль? Действительно ли я наградила ее беспокойным характером? Страшно подумать, что невольно отпечатываешься в детях. Укол в сердце. Тревога, угрызения. Смены настроений, случайно сказанное слово или умолчание, все эти мелочи повседневной жизни, которые должны были бы стираться после меня, вписываются в эту девочку, она их перебирает, запоминает навсегда, как я помню интонации голоса Доминики. Это несправедливо. Нельзя отвечать за все, что делаешь или чего не делаешь. «Что ты для них делаешь?» Счет, внезапно предъявляемый в мире, где ничто, в общем, в счет не идет. Есть тут какое-то злоупотребление.

— Мама,— спрашивает Луиза,— ты поведешь нас поглядеть на рождественские ясли?

— Да, завтра или послезавтра.

— А можно пойти к праздничной мессе? Пьеро и Рике говорят, что это так красиво, музыка, иллюминация.

— Посмотрим.

Существует множество легенд для успокоения детей: рай Фра Анжелико, светлое будущее, солидарность, милосердие, помощь слаборазвитым странам. Одни я отметаю, другие более или менее приемлю.

Звонок. Букет красных роз, карточка Жан-Шарля: «С нежностью». Она раскалывает булавки, разворачивает глянцевую бумагу, ей хочется выбросить букет на помойку. Букет — это всегда не просто цветы; это выражение дружбы, надежды, благодарности, радости. Красные розы — пылкая любовь. В том-то и дело, что нет. И даже не искреннее раскаяние, она уверена; просто соблюдение супружеского декорума: никакого разлада в семье в рождественские и новогодние праздники. Она ставит розы

в хрустальную вазу. Нет, это не пламенный порыв страсти, но они красивы и не виноваты в том, что на них возложена лживая миссия.

Лоранс касается губами душистых лепестков. Что я думаю о Жан-Шарле в самой глубине души? Что думает он обо мне? Ей кажется, что это не имеет никакого значения. Так или иначе, мы связаны на всю жизнь. Почему Жан-Шарль, а не кто-нибудь другой? Так сложилось. (Другая молодая женщина, сотни молодых женщин в эту минуту задают себе вопрос: почему он, а не другой?) Что бы он ни сделал, чего бы ни сказал, что бы ни сказала, ни сделала она, ничто не изменится. Бесполезно даже сердиться. Исхода нет.

Услышав, как ключ поворачивается в замке, она выбежала ему навстречу, поблагодарила, они расцеловались. Он светился, потому что Монно поручил ему разработку проекта строительства жилых домов из стандартных конструкций в пригороде Парижа: надежное дело, сулящее большой заработок. Он наскоро пообедал (она сказала, что поела с детьми, ей кусок не шел в горло), и они поехали на такси за подарками.

Они шагают по улице Фобур Сент-Оноре. Сухой ясный холод. Свет в витринах, рождественские елки на улице, в магазинах; мужчины и женщины торопятся или фланируют, с пакетами в руках, с улыбкой на губах. Говорят, что праздников не любят одинокие люди. Хоть меня и окружают близкие, а я тоже не люблю праздников.

От елок, улыбок, пакетов она не в своей тарелке.

— Я хочу подарить тебе что-нибудь очень красивое,— говорит Жан-Шарль.

— Не безумствуй. С этой новой машиной...

— Забудь. Я хочу безумствовать, и с сегодняшнего дня я располагаю на это средствами.

Медленно текут витрины. Шарфы, клипсы, цепочки, драгоценности для миллиардеров — бриллиантовое колье с узором из рубинов, ожерелье черного жемчуга, сапфиры, изумруды, браслеты из золота и драгоценных камней; и более скромные фантазии — тирольские, рейнские самоцветы, яшма, стеклянные шары, в которых под лучами света, переливаясь, пляшут змейки, зеркала в лучистой оправе из позолоченной соломки, бутыли дутого стекла, вазы из толстого хрусталя для одной розы, туалетные приборы из белого и голубого опалина, флаконы из фарфора и китайского лака, золотые пудреницы, пудреницы, инкрустированные самоцветами, духи, лосьоны, пульверизаторы, жилеты из птичьих перьев, кашемир, светлые пуловеры из козьей и верблюжьей шерсти, пенная свежесть белья, мягкость, пушистость домашних платьев пастельных тонов, роскошь парчи, клоке, золотого тканья, гофрировок, тонких шерстяных тканей, посеребренных металлической нитью, приглушенный пурпур витрин Гермеса, кожа и меха, контрастно оттеняющие друг друга, облака лебяжьего пуха, воздушные кружева. Все глаза горят вожделением — и у мужчин, и у женщин.

И у меня так горели глаза; я обожала заходить в магазины, тешить взор обилием тканей, прогуливаться по шелковистым лугам, изукрашенным фантастическими цветами; по моим рукам струилась нежность мохера и козьей шерсти, прохлада полотна, изящество батиста, теплота бархата. Она любила эти райские сады, устланные роскошными материями, где под тяжестью карбункулов гнулись ветви, именно поэтому у нее тотчас нашлись слова, чтоб говорить о них. А сейчас она жертва собственных формулировок. Профессиональная болезнь: если меня привлекает обстановка или вещь, я спрашиваю себя, чем это мотивировано. Она чует ловушку, мистификацию, все эти изыски утомляют и даже, в конце концов, раздражают ее. Кончится тем, что мне все опротивеет... Все же она остановилась перед замшевой курткой неуловимого цвета: цвета тумана, цвета времени, цвета платьев сказочной принцессы.

— Какая красота!

— Купи. Но это не подарок. Я хочу подарить тебе что-нибудь бесполезное.

— Нет, не хочу.

Желание уже покинуло ее; куртка утратит свой неповторимый оттенок, свою бархатистость, стоит отделить ее от труакара в тонах палой листвы, от пальто из гладкой кожи, от ярких шарфов, которые обрамляют ее в витрине; каждый из выставленных предметов притягивает Лоранс как часть ансамбля.

Она показывает на магазин фотоаппаратов:

— Зайдем. Ничто не доставит большей радости Катрин.

— Разумеется, не может быть и речи о том, чтоб лишить ее рождественского подарка,— говорит Жан-Шарль озабоченно.— Но, уверяю тебя, следует принять меры.

— Обещаю тебе подумать.

Они покупают аппарат, несложный в обращении. Зеленый сигнал показывает, что освещение достаточное; если слишком темно, сигнал становится красным; ошибиться невозможно. Катрин будет довольна. Но я хотела бы дать ей иное: надежность, счастье, радость бытия. Я продаю именно это, когда создаю любую рекламу. Ложь. В витринах предметы еще хранят ореол, который осеняет их на отлакированной картинке. Но берешь в руку — и волшебство исчезает, это всего лишь лампа, зонтик, фотоаппарат. Недвижный, холодный.

У «Манон Леско» полно: женщины, несколько мужчин, пары. Вот это — молодожены: они обмениваются влюбленными взглядами, пока он застегивает ей браслет на запястье. У Жан-Шарля горят глаза, он прикладывает колье к шее Лоранс: «Нравится?» Прелестное колье, мерцающее и строгое, но чересчур роскошное, чересчур дорогое. В ней все сжимается. Не будь утренней ссоры, Жан-Шарль не дарил бы его мне. Это компенсация, символ, заменитель. Чего? Чего-то уже не существующего, возможно, никогда не существовавшего: внутренней связи, тепла, которые делают ненужными всякие подарки.

— Оно тебе здорово идет,— говорит Жан-Шарль.

Неужели он не чувствует, каким грузом лежит между нами невысказанное? Не молчание, а пустословие. Не чувствует за ритуалом внимания, как они отъединены, далеки друг от друга.

Она снимает с себя драгоценность с какой-то яростью, точно избавляется от лжи.

— Нет, не хочу.

— Ты только что сказала, что оно нравится тебе больше всего.

— Да.— Она слабо улыбается.— Но это неразумно.

— Это мне решать,— говорит он недовольно.— Впрочем, если тебе не нравится, не надо.

Она снова берет в руки колье: к чему перечить? Лучше покончить разом.

— Да нет, оно великолепно. Я только считала, что такая трата — сумасшествие, но это, в конце концов, твое дело.

— Мое.

Она немного наклоняет голову, чтобы он мог снова застегнуть колье: безупречная картинка супружеской любви после десяти лет брака. Он покупает семейный мир, радости домашнего очага, согласие, любовь — и гордость собой. Она созерцает себя в зеркале.

— Ты хорошо сделал, милый, что настоял: я безумно рада.

По традиции Новый год празднуют у Марты: «Привилегия домашней хозяйки, у меня много свободного времени»,— говорит она снисхо-

дительно. Юбер и Жан-Шарль делят расходы: нередко возникают сложности, потому что Юбер прижимист (надо сказать, что он не купается в золоте), а Жан-Шарль не хочет давать больше, чем шурин. В прошлом году ужин был довольно жалкий. Сегодня все нормально, заключает Лоранс, обследовав буфетный стол, воздвигнутый посреди салона, которому Марта придала «рождественский» вид с помощью свечей, елочки, омелы, остролиста, цветного дождя и блестящих шаров. Отец принес четыре бутылки шампанского, полученных им от одного друга из Реймса, а Доминика перигорскую гусиную печенку, «самую лучшую во Франции, страсбургская куда хуже». Жаркое, рисовый салат, закуски, фрукты, птифуры, бутылки вина и виски — вполне достаточно, чтоб напились и наелись десять человек.

В прошлые годы Доминика проводила праздники с Жильбером. Идея пригласить ее на сегодняшний вечер пришла в голову Лоранс. Она спросила отца:

— Тебе будет очень неприятно? Она так одинока и несчастна.

— Мне совершенно все равно.

Детали никому не известны, но в курсе разрыва все. Здесь Дюфрены, которых привел Жан-Шарль, Анри и Тереза Вюйно, друзья Юбера. Доминика придает вечеру тон «семейного празднества»; она в строгом платье из джерси цвета меда, волосы у нее скорей седые, чем белокурые: стиль «молодая бабушка». Она улыбается мягко, почти робко, и говорит замедленно; лицо апатично, она злоупотребляет транквилизаторами. Стоит Доминике остаться одной, как оно сразу дряхлеет. Лоранс подходит к ней:

— Как прошла неделя?

— Неплохо; я спала довольно прилично.

Механическая улыбка: можно подумать, что она вздергивает уголки губ за две нитки; она отпускает нитки.

— Я решила продать дом в Февроле. Я не могу одна содержать эту махину.

— Обидно. Если бы можно было устроиться...

— Зачем? Кого я, по-твоему, буду теперь там принимать? Интересные люди — Удены, Тирион, Вердле — приезжали ведь ради Жильбера.

— О, они приедут и ради тебя.

— Ты веришь в это? Ты еще не знаешь жизни. Женщина без мужчины — социальный нуль.

— Ну, не ты, оставь, пожалуйста. У тебя есть имя, ты сама по себе.

Доминика качает головой:

— Женщина, даже с именем, без мужчины — полунеудачница, своего рода обломок крушения... Я отлично вижу, как на меня смотрят люди: поверь мне, совсем не так, как раньше.

У Доминики это навязчивая идея: одиночество.

Вертится пластинка, Тереза танцует с Юбером, Марта с Вюйно, Жан-Шарль с Жизель, а Дюфрен приглашает Лоранс. Все они танцуют из рук вон плохо.

— Сегодня вы ослепительны,— говорит Дюфрен.

Она замечает себя в зеркале. На ней узкое черное платье и это колье, которое она не любит. Оно тем не менее красиво, и Жан-Шарль хотел, делая этот подарок, доставить ей удовольствие. Она находит себя ничем не замечательной. Дюфрен уже немного выпил, у него в голосе — навязчивые нотки. Милый парень, показал себя хорошим товарищем по отношению к Жан-Шарлю (хотя в глубине души каждый из них не так-то любит другого, скорее ревнует), но она не испытывает к нему особой симпатии.

Меняется пластинка, меняются кавалеры.

— Сударыня, не осчастливите ли вы меня этим танцем? — спрашивает Жан-Шарль.

— С удовольствием.

— Забавно видеть их вместе! — говорит Жан-Шарль.

Лоранс следует за его взглядом; она видит отца и Доминику, которые сидят друг против друга и нежливо беседуют. Да, это забавно.

— Похоже, что она взяла себя в руки,— говорит Жан-Шарль.

— Она пичкает себя транквилизаторами, гармонизаторами, антидепрессивными средствами.

— В сущности, они должны были бы воссоединиться,— говорит Жан-Шарль.

— Кто?

— Твой отец и твоя мать.

— Ты спятил!

— Почему?

— Это люди абсолютно противоположных вкусов. Ее влечет светская жизнь, а его одиночество.

— Они оба одиноки.

— Ну и что из этого.

Марта останавливает пластинку:

— Без пяти двенадцать!

Юбер хватает бутылку шампанского:

— Мне известен отличный прием открывания шампанского. На днях его продали на бирже идей.

— Я видел,— говорит Дюфрен.— У меня есть свой прием, который еще лучше.

— Давайте...

Пробки выскакивают, оба не проливают ни капли, вид у них чрезвычайно гордый (хотя каждому было бы приятнее, если б у другого не получилось). Они наполняют бокалы.

— Счастливого года!

— Счастливого года!

Бокалы чокаются, поцелуи, смех, а под окнами разражается концерт клаксонов.

— Какой чудовищный шум! — говорит Лоранс.

— Им подарили пять минут, как мальчишкам, которым абсолютно необходимо похулиганить между двумя уроками,— говорит отец.— А речь идет о взрослых продуктах цивилизации.

— Ба, подумаешь, надо же отметить,— говорит Юбер.

Они открывают еще две бутылки, все отправляются за пакетами, сложенными около канапе, разрезают позолоченные ленточки, разворачивают обертки из яркой бумаги, разукрашенной звездами и елочками, искоса поглядывая на остальных, чтоб понять, кто взял верх в этом потлаче. На сей раз мы, констатирует Лоранс. Они отыскали для Дюфрена часы, которые показывают, который час во Франции и во всех странах мира; для ее отца — восхитительный телефон, копию старинного, который как нельзя лучше подойдет к керосиновым лампам. Другие их подарки менее оригинальны, но утонченны. Дюфрен пошел по линии «гаджетов». Он подарил Жан-Шарлю «венузик» — вечное сердце, испускающее «тук» семьдесят раз в минуту, а Лоранс — «трансовей», который она никогда не осмелится приделать к рулю своей машины, если он действительно имитирует пение соловья. Жан-Шарль вне себя от восторга: всякие штучки, которые ни на что не нужны, не имеют никакого смысла— его хобби. Она получила также перчатки, духи, носовые платки; все в упоении, кричат, благодарят.

— Берите тарелки, приборы, накладывайте, устраивайтесь,— говорит Марта.

Гул, звяканье посуды, до чего вкусно, берите еще. Лоранс слышит голос отца:

— Вы не знали этого? Вино нужно согревать, только когда оно раскупорено, ни в коем случае не раньше.

— Замечательное вино.

— Жан-Шарль выбирал.

— Да, я знаю одну отличную лавчонку.

Жан-Шарль может счесть замечательным вино, явно отдающее пробкой, но разыгрывает из себя знатока, как и остальные. Она выпивает бокал шампанского. Они смеются, шутят, а ей их шутки не кажутся забавными. В прошлом году... Что ж, ей было тоже не очень весело, но она делала вид; в этом году у нее нет желания принуждать себя, слишком утомительно. К тому же в прошлом году она думала о Люсьене: своего рода алиби. Она думала, что есть человек, с которым ей хотелось бы быть вместе; сожаление было романтическим огоньком, согревавшим ее. Почему она решила опустошить свою жизнь, сберечь время, силы, сердце, когда она не знает, куда девать время, силы, сердце? Чересчур заполненная жизнь? Чересчур пустая? Заполненная пустыми вещами. Какая неразбериха.

— И все же, если вы проследите линию жизни тех, кто родился под знаком Козерога или под знаком Близнецов, вы обнаружите, что в каждой группе есть необъяснимые аналогии,— говорит Вюйно.

— С научной точки зрения не исключено, что небесные светила влияют на наши судьбы,— говорит Дюфрен.

— Ерунда! Истина в том, что в нашу эпоху плоского позитивизма люди испытывают потребность в чудесном, как в некой компенсации. Вот они и создают электронные машины или читают «Планету».

Горячность отца веселит Лоранс: он остался таким молодым, он моложе всех.

— Это правда,— говорит Марта.— Я предпочитаю читать Евангелие и верить в чудеса религии.

— Даже в религии утрачивается понимание чудесного,— говорит госпожа Вюйно.— Я нахожу поистине огорчительным, что мессу служат на французском языке и вдобавок в сопровождении современной музыки.

— Ах, нет! Я не согласна,— говорит Марта своим вдохновенным голосом,— Евангелие должно жить в ногу со временем.

— Только до известной степени.

Они отходят и вполголоса продолжают дискуссию, которую не следует слышать нечестивым ушам.

Жизель Дюфрен спрашивает:

— Вы видели вчера по телевидению ретроспективный обзор?

— Да,— говорит Лоранс,— мы, оказывается, прожили странноватый год: я как-то не отдавала себе в этом отчета.

— Все годы таковы, и мы никогда не отдаем себе в этом отчета,— говорит Дюфрен.

Смотришь «Новости дня», фото «Матча» и тут же забываешь. Но когда они собраны воедино, это несколько ошарашивает. Окровавленные трупы белых, негров, автобусы, опрокинутые в кюветы, двадцать пять убитых детей, дети, рассеченные надвое, пожары, каркасы разбившихся самолетов, сто десять пассажиров, погибших разом, циклоны, наводнения, разорившие целые страны, пылающие деревни, расовые столкновения, локальные войны, вереницы растерянных беженцев. До того все мрачно, что под конец почти хочется смеяться. Следует заметить, что смотришь на все эти катастрофы, комфортабельно расположившись в домашней обстановке, и уж никак нельзя сказать, что мир вторгается к тебе: видишь картины, скользящие по экранчику в аккуратной рамке, лишенные своей реальной тяжести.

— Интересно, что скажут через двадцать лет о фильме «Франция через двадцать лет»,— говорит Лоранс.

— Отдельные его стороны вызовут улыбку, как и в любом произведении о будущем,— говорит Жан-Шарль.— Но в целом он правдоподобен.

После всех этих бедствий им показали, в порядке контраста, Францию через двадцать лет. Триумф урбанизма: повсюду лучезарные города, напоминающие, с поправкой на высоту в сто двадцать метров, ульи, муравейники, только залитые солнцем. Автострады, лаборатории, университеты. Один только минус: под тяжестью чрезмерного изобилия, объяснил комментатор, французы рискуют окончательно утратить энергию. Им показали, снятых замедленной съемкой, беспечных молодых людей, которые не дают себе труда передвинуть ноги. Лоранс слышит голос отца:

— Как правило, через пять лет или даже через год все обнаруживают, что планировщики и иные пророки полностью ошибались.

Жан-Шарль глядит на него с видом утомленного превосходства:

— Вам, без сомнения, неизвестно, что в настоящее время предвидение будущего становится точной наукой? Вы никогда не слышали о «Рэнд корпорейшн?»

— Нет.

— Это американская организация, располагающая невероятными средствами. Они опрашивают специалистов всех отраслей и определяют тенденцию. В работе принимают участие тысячи ученых во всем мире.

Лоранс раздражает его тон превосходства.

— Во всяком случае, когда нам рассказывают, что французы не будут ни в чем нуждаться... Нет необходимости консультировать тысячи специалистов, чтоб знать, что через двадцать лет у большинства еще не будет ванных комнат, поскольку в домах массовой застройки устанавливают по преимуществу только души.

Она была шокирована этой деталью, когда Жан-Шарль изложил ей свой проект сборных жилых домов.

— А почему не ванны?— спрашивает Тереза Вюйно.

— Система труб стоит очень дорого, это подняло бы цены на квартиры,— говорит Жан-Шарль.

— А если снизить прибыли?

— Но, дорогая, если их слишком сократить, никто не станет интересоваться строительством,— говорит Вюйно.

Жена смотрит на него неприязненно. Четыре молодые пары: и кто кого любит? За что любить Юбера или Дюфрена, за что вообще можно кого-нибудь любить, когда спадает жар первого физического влечения?

Лоранс выпивает два бокала шампанского. Дюфрен объясняет, что в делах с земельными участками трудно провести границу между жульничеством и перепродажей: приходится идти в обход законов.

— Но то, что вы рассказываете, внушает беспокойство,— говорит Юбер. Он, кажется, в самом деле огорошен.

Лоранс обменивается с отцом понимающей улыбкой, они забавляются.

— Я отказываюсь в это верить,— говорит он.— Когда хочешь остаться честным, возможности находятся.

— При условии, что выбираешь иную профессию.

Марта снова завела пластинку; они опять танцуют; Лоранс пытается обучить Юбера джерку, он старается, потеет, остальные смотрят на него с насмешливым видом; внезапно она прекращает урок и подходит к отцу, который спорит с Дюфреном.

— «Вышел из моды», у вас эти слова с уст не сходят. Классический роман вышел из моды. Гуманизм вышел из моды. Но, защищая Баль-

зака и гуманизм, я, быть может, предвосхищаю завтрашнюю моду. Вы сейчас поносите абстрактное искусство. Значит, десять лет тому назад, когда я не клюнул на эту удочку, я вас опередил. Нет. Есть нечто, неподвластное моде: ценности, истины.

Он говорит то, о чем Лоранс часто думала: не такими словами, конечно; но теперь, когда они произнесены, она узнает в них собственные мысли. Ценности, истины, сопротивляющиеся моде, она верит в них. Но какие именно?

На абстрактную живопись нынче спроса нет, но и на фигуративную тоже, в живописи кризис, чего вы хотите, была инфляция живописи. Толчение воды в ступе. Лоранс скучно. Я предложила бы им тест, думает она. У вас страховка, по которой компенсируется только ущерб, нанесенный третьему лицу, велосипедист бросается вам под колеса; что вы сделаете— убьете велосипедиста или раздолбаете машину? Кто искреннее предпочтет заплатить восемьсот тысяч франков, чтоб спасти жизнь незнакомцу? Разумеется, папа. Марта? Сомневаюсь. Что бы там ни было, она всего лишь орудие в руках божьих: если господь бог решил призвать к себе бедного мальчика... Остальные? Первая реакция, возможно, и была бы — не налететь, но потом, уверена, они бы об этом пожалели. «Жан-Шарль не шутил»,— сколько раз за последнюю неделю она повторила про себя эту фразу? И опять повторяет. Может, это я ненормальная? Тоскую, томлюсь: что есть во мне, чего у них нет? Мне на этого рыжего плевать, но если б я его раздавила, у меня на душе было бы прегнусно. Папино влияние. Для него нет ничего драгоценней человеческой жизни, хотя он и находит людей жалкими. И деньги для него роли не играют. А для меня — играют; хотя и в меньшей степени, чем для них всех. Она прислушивается, потому что говорит отец: сегодняшней ночью он куда менее молчалив, чем в прошлые годы.

— Кастрационный комплекс! Это перестало что-нибудь объяснять, поскольку им объясняют все. Представляю себе психиатра, который, войдя утром в камеру приговоренного к смерти, застал бы его плачущим. Какой кастрационный комплекс! — сказал бы он.

Они смеются и продолжают спор.

— Ты ищешь формулировку? Для какого нового продукта?

Отец улыбается Лоранс.

— Нет, я задумалась. Надоели мне их денежные истории.

— Я тебя понимаю. Они искренне убеждены, что счастье зависит от денег.

— Заметь, с деньгами легче.

— Я даже в этом не уверен.— Он садится рядом с ней.— Я тебя совсем не вижу последнее время.

— Я много занималась Доминикой.

— Она горячится меньше, чем когда-то.

— Это депрессия.

— А ты?

— Я?

— Как твои дела?

— Праздничная пора утомительна. Да еще на носу выставка-продажа белья.

— Знаешь, о чем я подумал: нам бы надо вместе поехать куда-нибудь ненадолго.

— Вместе?

Старая нереализованная мечта; сначала она была слишком мала, потом появился Жан-Шарль, дети.

— У меня отпуск в феврале, я хочу им воспользоваться, чтоб снова повидать Грецию. Тебе не удастся поехать со мной?

Радость, как фейерверк. Ничего не стоит получить две недели от-

пуска в феврале, и у меня на счете есть деньги. Неужели бывает, что мечта становится реальностью?

— Если дети будут здоровы, если все будет хорошо, я могла бы, может, устроиться. Но мне это кажется чересчур прекрасным...

— Ты попытаешься!

— Конечно. Я попытаюсь.

Две недели. Наконец у меня будет время задать все вопросы, выслушать все ответы, которых я жду годами. Я познаю вкус его жизни. Я проникну в секрет, делающий его столь непохожим на всех, на меня в том числе, возбуждающий во мне любовь, которую я не испытываю ни к кому, кроме него.

— Я сделаю все, чтоб это удалось. Но ты, твои планы не изменятся?

— Клянусь деревянным и железным крестом, солгу — так гореть мне вечным огнем,— говорит он торжественно, как когда она была девочкой.

Глава четвертая

Мне вспоминается фильм Бунюэля; он никому из нас не понравился. И все же последнее время я не могу от него отвязаться. Люди, замкнутые в магический круг, случайно повторили мгновение прошлого; они восстановили распавшуюся связь времен и тем самым ускользнули из западни, в которую неведомо как попали. (Правда, вскоре ловушка опять за ними захлопнулась.) Я бы тоже хотела вернуться назад, разрядить капканы, осуществить то, что было упущено. А что было упущено? Даже не знаю. У меня нет слов ни для жалоб, ни для сожалений. Но комок в горле мешает мне есть.

Начнем сначала. Спешить некуда. Занавески я задернула. Лежа с закрытыми глазами, я перебираю наше путешествие, картину за картиной, разговор за разговором.

Взрыв радости, когда он спросил меня: «Хочешь поехать со мной в Грецию?» И все же я колебалась. Жан-Шарль уговаривал. Он считал, что я в подавленном состоянии. К тому же я дала согласие на то, чтоб показать Катрин психологу: он полагал, что в мое отсутствие им будет легче наладить отношения.

«Проделать путь до Афин в «каравелле», обидно!» — говорил папа. А я люблю реактивные самолеты. Машина грубо взмывает в небо, я слышу, как рушатся стены моей тюрьмы, моей узкой жизни, стиснутой миллионами других, о которых мне ничего не известно. Громады городских ансамблей и крохотные домики отступают, я лечу поверх всех заграждений, освобожденная от силы тяжести; над моей головой разворачивается беспредельно голубое пространство, под ногами стелются белые пейзажи, ослепительные и несуществующие. Я вне их: нигде и повсюду. И отец принялся рассказывать о том, что он мне покажет, о предстоящих нам совместных открытиях. А я думала: «Мне нужно открыть тебя».

Посадка. Теплый воздух, смешанный запах бензина, моря и сосен; чистое небо, вдали холмы, один из которых называется Гиметт; пчелы, собирающие добычу на лиловой земле. А папа переводил надписи на фронтонах домов: вход, выход, почта. Мне нравилось детское ощущение таинственности языка, возрождавшееся во мне при виде этих букв, нравилось, что, как в детстве, смысл слов и вещей приходил ко мне через папу. «Не смотри»,— говорил он мне на автостраде. (Несколько разочарованный тем, что она заменила старую, в ухабах, дорогу его молодости.) «Не смотри: красота храма неотделима от пейзажа; чтобы оценить всю его гармонию, на него следует смотреть с определенного расстояния,

не ближе и не дальше. Соборы волнуют издалека так же, а иногда и больше, чем вблизи. А тут совсем по-иному». Эти предосторожности меня умиляли. И в самом деле, Парфенон на вершине холма был похож на гипсовые репродукции, продающиеся в магазинах сувениров. Никакого величия. Но мне это было безразлично. Мне было важно ехать рядом с папой в оранжево-серой «ДС» — у этих греческих такси странные цвета: черносмородинного шербета, лимонного мороженого — и знать, что впереди двадцать дней. Я вошла в комнату гостиницы, разложила вещи, не чувствуя себя в роли туристки из рекламного фильма: все, что со мной происходило, было подлинным. На площади, которая выглядит, как гигантская терраса кафе, папа заказал для меня вишневый напиток — свежий, легкий, кисловатый, по-детски восхитительный. И я изведала смысл слова, читанного в книгах: счастье. Я знавала радости, удовольствия, наслаждение, мелкие триумфы, нежность; но эта гармония голубого неба и отдающего ягодой питья, прошлого и настоящего, слитого воедино в дорогом лице, и душевного мира во мне — это мне было неведомо, разве что по далеким воспоминаниям детства. Счастье — точно самоутверждение жизни в собственной правоте. Оно обволакивало меня, когда мы ели барашка на вертеле в таверне. Видна была стена Акрополя, купающаяся в оранжевом свете, и папа говорил, что это святотатство; а мне все казалось красивым. Мне нравился аптечный вкус смолистого вина. «Ты идеальный спутник»,— говорил папа с улыбкой. Он улыбался назавтра на Акрополе, потому что я ревностно слушала его объяснения: сима, мутулы, гутты, абака, эхин, шейка капители, он обращал мое внимание на легкий изгиб, смягчающий жесткость горизонтальных линий, наклон вертикальных колонн, их округлость, тончайшую изысканность пропорций. Было прохладно, ветрено, безоблачно. Вдалеке я видела море, холмы, сухие домики цвета пеклеванного хлеба, и голос папы лился на меня. Мне было хорошо.

«Западу многое можно поставить в упрек,— говорил он.— Мы совершили крупные ошибки. И все же человек здесь реализовал и выразил себя с полнотой, не знающей себе равных».

Мы наняли машину; мы посещали окрестности и ежедневно, перед заходом солнца, поднимались на Акрополь, Пникс или Ликавит. Папа отказывался пойти в новый город. «Там не на что смотреть»,— говорил он мне. Вечером он вел меня, по совету старого друга, в маленькое «типичное» бистро: пещеру на берегу моря, убранную рыбацкими сетями, раковинами, корабельными фонарями. «Это куда забавнее, чем большие рестораны, которые обожает мать». По мне это была обычная ловушка для туристов, ни хуже, ни лучше всякой другой. Только вместо элегантности и комфорта здесь продавали местный колорит и затаенное чувство превосходства над теми, кто по привычке, как бараны, прут во дворцы. (Идея рекламы была бы: «Не будьте, как все»; или: «Место, не похожее на все другие».) Папа обменивался несколькими словами на греческом с хозяином, тот вел нас — как и каждого клиента, но каждый при этом считал, что ему оказана особая привилегия,— на кухню, поднимал крышки котелков; они тщательно разрабатывали меню. Я ела с аппетитом и безразличием...

Голос Марты:

— Лоранс! Необходимо, чтоб ты что-нибудь съела.

— Я сплю, оставь меня в покое.

— Хотя бы чашку бульона. Я приготовлю тебе бульон.

Она мне помешала. На чем я остановилась? Дорога в Дельфы. Мне нравился жесткий светлый пейзаж, резкое дыхание ветра над летним морем; я не видела ничего, кроме камней и воды, оставалась слепа ко всему, что мне показывал отец. (Его глаза, глаза Катрин: мир видится им по-разному, но полным красок, волнующим; а я—рядом с ними и сле-

па). «Взгляни,— говорил он мне,— у этого скрещения дорог Эдип убил Лаийя». Это случилось вчера, эта история касалась его лично. Пещера Пифии, стадион, храмы; он объяснял мне каждый камень, я слушала, я старалась изо всех сил: тщетно; прошлое не оживало. Я уже слегка устала удивляться, вскрикивать. Возничий: «Потрясающе, а? — «Да. Красиво!» Я понимала, чем может пленить этот крупный мужчина из зеленой бронзы, но потрясения не испытывала. Это рождало во мне чувство неловкости, угрызения совести. Я предпочитала часы, которые мы проводили в маленьких бистро, разговаривая за бутылкой узо. Он говорил мне о своих давних путешествиях: как ему хотелось, чтоб Доминика ездила вместе с ним, и мы тоже, когда мы подросли. «Подумать только, она видела Бермуды и Америку и не видела Греции и Италии!» И все же она переменилась к лучшему,— сказал он мне.— Может быть, оттого, что ей был нанесен жестокий удар, не знаю. Она стала шире, зрелее, мягче, стала судить умнее». Я с ним не спорила; я не хотела лишать бедную маму тех крох дружбы, которые он ей уделял.

С чего же нужно начать, чтоб раскрутить нить времени? С Дельф? Мы сидели в кафе над долиной; за широкими стеклянными окнами угадывалась ясная холодная ночь, мириады звезд. Играл маленький оркестр; было полно: американские туристы — две супружеские пары, остальные — местные: влюбленные, компании молодых парней, семьи. Одна девочка лет трех-четырех вдруг принялась танцевать, крохотная, темноволосая, с огромными черными глазами, в желтом платье, которое колокольчиком раздувалось вокруг ее колен, в белых носочках; она кружилась, подняв руки, в экстазе, точно обезумев. Она была во власти музыки, захвачена, ослеплена, опьянена, преображена. Добродушная и жирная, ее мать болтала с другой толстухой, покатывая взад-вперед коляску с младенцем; нечувствительная к музыке, к ночи, она время от времени бросала на маленькую менаду коровий взгляд.

— Ты видел девчушку?

— Очаровательна,— сказал папа равнодушно.

Очаровательная девочка, которая превратится в такую вот матрону. Нет. Не хочу. Или я выпила слишком много узо? Я тоже была зачарована этим ребенком, которого зачаровала музыка. Пусть будет нескончаемым это мгновение восторга. Пусть не растет маленькая танцовщица; пусть она кружится вечно, а я буду вечно смотреть на нее. Я отказывалась забыть о ней, стать вновь молодой женщиной, которая путешествует с отцом; я отказывалась думать, что в один прекрасный день она станет похожей на мать и даже памяти не сохранит о том, как была прелестной менадой. Малютка, приговоренная к смерти, к чудовищной смерти заживо. Жизнь убьет ее. Я подумала о Катрин, которую убивали сейчас.

Внезапно я сказала: «Я не должна была соглашаться и вести Катрин к психологу». Папа взглянул на меня удивленно. Меньше всего он сейчас думал о Катрин.

— Почему ты думаешь об этом?

— Я часто об этом думаю. Я тревожусь. На меня оказали давление, я жалею, что согласилась.

— Вряд ли это нанесет ей ущерб,— сказал папа невыразительным голосом.

— Ты послал бы меня к психологу?

— Ну, нет!

— Видишь.

— В общем, я не знаю; вопрос не возникал: ты была очень уравновешенной.

— В сорок пятом я в достаточной мере утратила почву под ногами.

— Было от чего.

— А сейчас не от чего?

— Есть, я полагаю, что есть. Вполне нормально, что у человека возникает чувство ужаса, когда он начинает познавать мир. Так было во все времена.

— Значит, когда его успокаивают, то делают анормальным,— сказала я.

До меня это вдруг дошло со всей ясностью, меня как громом поразило. Под предлогом избавления от «сентиментальности», беспокоившей Жан-Шарля, ее искалечат. Мне захотелось завтра же вернуться, отнять ее у них.

— Я тоже предпочитаю, чтоб люди выкручивались собственными силами. В глубине души я считаю — только не повторяй этого, скажут: до чего старик отстал,— я считаю, что вся эта психология — шарлатанство. Ты найдешь Катрин точно такой же, как оставила ее.

— Ты думаешь?

— Убежден.

Он принялся говорить об экскурсии, которую запланировал на завтра. Он не принимал всерьез моих тревог. Естественно. А я не так уж интересовалась древними камнями, которые влекли его. Было бы несправедливо с моей стороны на него за это сердиться. Нет, струна оборвалась не в Дельфах.

Микены. Может, это случилось в Микенах? Но в какую минуту? Мы вскарабкались по каменистой дороге, ветер вздымал вихри пыли. Вдруг я увидела эту дверь, двух обезглавленных львиц и почувствовала... Было ли то потрясением, о котором говорил мне отец? Я сказала бы скорее — смятением. Я прошла по царской дороге, я увидела террасы, стены, пейзаж, расстилавшийся перед Клитемнестрой, когда она ожидала возвращения Агамемнона. Мне чудилось, что я отторгнута от себя. Где я? Я не принадлежала веку, когда люди спали, ели, ходили по этому еще не тронутому временем дворцу. А моей жизни, сегодняшней, не было дела до этих развалин. Что такое развалины? Не настоящее, не прошлое, но и не вечность тоже: настанет день, когда они исчезнут. Я говорила себе: «Как это прекрасно!». У меня кружилась голова, я чувствовала, что меня подняло, понесло, закачало, смело, я была превращена в НИЧТО. Мне хотелось вернуться на туристскую базу и провести день, читая детективные романы. Группа американцев фотографировала. «Какие варвары! — сказал папа.— Фотографируют, чтоб не смотреть». Он говорил мне о Микенской цивилизации, о величии Атридов, об их падении, предсказанном Кассандрой; раскрыв путеводитель, он уточнял каждый клочок земли. И я подумала про себя: в сущности, он делает то же самое, что туристы, над которыми он смеется; он пытается приобщить к своей жизни руины храма, который ему не принадлежит. Они наклеят фотографии в альбом, будут показывать их друзьям. А он унесет в голове картины с соответствующими подписями и отведет им надлежащее место в своем внутреннем музее; у меня не было ни альбома, ни музея: я наталкивалась на красоту и не знала, что с ней делать.

На обратном пути я сказала папе:

— Завидую тебе.

— Почему?

— Все это так много для тебя значит.

— А для тебя?

Вид у него был разочарованный, и я быстро ответила:

— Для меня тоже. Но я понимаю хуже. Не хватает культуры.

— Прочти книжку, которую я тебе дал.

— Прочту.

Даже если бы я ее прочла, говорила я себе, меня не потряс бы тот факт, что имя Атрея было обнаружено на табличках в Каппадокии. Я не могла бы ни с того ни с сего увлечься этими историями, о которых ничего

не знаю. Нужно долго жить с Гомером, греческими трагиками, путешествовать, иметь возможность сравнивать. Я чужда всем этим умершим столетиям, они меня подавляют.

Женщина в черном вышла из сада, сделав мне знак. Я приблизилась: она протянула руку, что-то бормоча; я дала ей несколько драхм. Я сказала папе:

— Ты видел?

— Кого? Нищенку?

— Она не нищенка. Она крестьянка, и даже не старая. Это чудовищно: страна, где крестьяне нищенствуют.

— Да, Греция бедна,— сказал папа.

Когда мы останавливались в каком-нибудь городишке, меня часто стеснял контраст между непомерной красотой и непомерной бедностью. Папа однажды заметил, что людям, живущим бедно — в селениях Сардинии, Греции,— благодаря тому, что они не знают денег, доступны ценности, утраченные нами, и суровое счастье. Но ни у крестьян Пелопонеса, ни у женщин, дробивших камень на дорогах, ни у девочек, тащивших слишком тяжелые ведра, отнюдь не было написано счастье на лицах. Я старалась не обращать внимания. Мы приехали не для того, чтоб разжалобить себя их видом. Но мне бы все же хотелось, чтоб папа назвал точно место, где он видел людей, удовлетворенных собственными лишениями.

В Тиринфе, в Эпидавре минутами я испытывала то же волнение, что и в Микенах. В ночь, когда мы приехали в Андрицену, я от души радовалась. Было поздно, машина долго тряслась у самого края пропасти, по ухабам дороги, освещенной луной; папа вел с сосредоточенным видом; нас обоих клонило ко сну, мы устали, и нам казалось, что мы одни в целом мире, надежно защищены от всех опасностей в нашем движущемся доме; мягко светилась приборная доска, а фары расчищали нам путь в полумраке.

— Здесь есть очаровательная гостиница,— сказал мне отец.— Деревенская, чистенькая.

Было одиннадцать, когда мы остановились на центральной площади перед постоялым двором. Ставни были закрыты.

— Это не гостиница господина Кристопулоса,— сказал он мне.

— Поищем.

Мы блуждали пешком по пустынным уличкам; ни огонька в окнах, ни одной гостиницы, кроме той, на площади. Папа постучал в дверь, позвал, никакого ответа. Было очень холодно, перспектива спать в машине не казалась заманчивой. Мы снова принялись кричать и стучать. По улице, издалека, к нам бежал человек: иссиня-черные волосы и усы, ослепительной белизны рубашка.

— Вы французы?

— Да.

— Я услышал, что вы кричите по-французски. Завтра базарный день; гостиница забита.

— Вы хорошо говорите по-французски.

— Ну, не хорошо. Но я люблю Францию...

Он улыбался улыбкой столь же ослепительной, как и его рубашка. Гостиница господина Кристопулоса давно не существует, но он найдет нам ночлег. Мы пошли следом за ним, я была в восторге от наших приключений. С Жан-Шарлем такого никогда не дождешься: всегда уезжаешь и приезжаешь в положенный час, и номера он всегда заказывает заранее.

Грек постучал в дверь, в окне показалась женщина. Да, она была согласна сдать нам две комнаты. Мы поблагодарили провожатого.

— Мне так хотелось бы повидать вас завтра утром, чтоб поговорить о вашей стране,— сказал он нам.

— Охотно. Где?

— На площади есть кафе.

— Условились. В девять часов. Вам подходит?

— Конечно.

В комнате с полом из красных плиток, под грудой одеял я спала сном младенца, пока меня не разбудила рука отца на плече.

— Нам повезло: сегодня базарный день. Не знаю, как ты, а я обожаю базары.

— Я буду обожать сегодняшний.

Площадь была заполнена женщинами в черном, которые сидели перед корзинами, поставленными прямо на землю: яйца, козий сыр, капуста, несколько тощих цыплят. Наш друг ждал около кафе. Было холодно: торговки, наверно, промерзли насквозь. Мы вошли. Я умирала от голода, но есть было нечего. Меня утешил аромат крепкого черного кофе.

Грек принялся говорить о Франции: он бывает всякий раз так счастлив, когда случается встретить французов! Как нам повезло, что мы живем в свободной стране! Ему так нравятся французские книги, французские газеты. Он понизил голос, наверно, больше по привычке, чем из предосторожности:

— У вас никого не сажают в тюрьму за политические убеждения.

Папа неожиданно для меня посмотрел на него с понимающим видом. Он и вправду знает так много, из-за его скромности не отдаешь себе в этом отчета. Он спросил вполголоса:

— Репрессии свирепствуют по-прежнему?

Грек покачал головой:

— Эгинская тюрьма полна коммунистами. И если бы вы знали, как с ними обращаются!

— Это так же ужасно, как лагеря?

— Так же ужасно. Но им нас не сломить,— добавил он несколько патетически.

Он расспрашивал нас о положении во Франции. Папа бросил мне сообщнический взгляд и стал говорить о трудностях рабочего класса, его надеждах, его завоеваниях: можно было подумать, что он член коммунистической партии. Я забавлялась, но живот у меня сводило от голода. Я сказала:

— Пойду посмотрю, может, куплю что-нибудь.

Я блуждала по площади. Женщины, тоже одетые в черное, пререкались с торговками. «Суровое счастье» — я читала совсем иное на лицах, покрасневших от холода. Как папа, обычно прозорливый, может обманываться до такой степени? Он, правда, видел эти края только летом: когда кругом солнце, фрукты, цветы, все выглядит наверняка веселее.

Я купила два яйца, которые хозяин кафе сварил мне всмятку. Я разбила одно и почувствовала отвратительный запах; разбила второе — тоже тухлое. Грек пошел купить еще два, их сварили: оба тухлые.

— Как это возможно? Их ведь привозят из деревни.

— Базар бывает редко. Если повезет, можно напасть на вчерашние. Если нет... Лучше их есть вкрутую, я должен был вас предупредить.

— Я предпочитаю вовсе не есть.

Немного погодя на пути к храму Аполлона я сказала папе:

— Я не думала, что Греция так бедна.

— Ее разорила война, в особенности гражданская.

— Он симпатичный, этот человек. А ты отлично сыграл свою роль: он убежден, что мы — коммунисты.

— Здешних коммунистов я уважаю. Они и вправду рискуют свободой, даже головой.

— Ты знал, что в Греции столько политических заключенных?

— Конечно. У меня есть коллега, который бомбардировал нас просьбами о подписях под петициями против греческих лагерей.

— Ты подписывал?

— Один раз подписал. В принципе я ничего не подписываю. Прежде всего потому, что это совершенно бесполезно. И потом, за каждым из этих начинаний, на вид гуманных, кроются всегда политические махинации.

Мы вернулись в Афины, и я настояла на том, чтоб осмотреть современный город. Мы обошли площадь Омония. Угрюмые, плохо одетые люди, запах бараньего сала. «Видишь, тут не на что смотреть»,— говорил папа. Мне хотелось бы знать, какая жизнь идет за этими угасшими лицами. В Париже мне тоже ничего не известно о людях, с которыми я соприкасаюсь, но я слишком занята, чтоб тревожиться об этом; в Афинах у меня не было других забот.

— Надо было бы завести знакомых среди греков,— сказала я.

— Я был знаком с несколькими. Ничего интересного. Впрочем, в наши дни люди во всех странах одинаковы.

— Все же здесь они сталкиваются с иными проблемами, чем во Франции.

— Что здесь, что там, они невыносимо будничны.

Здесь гораздо больше, чем в Париже, поражал — меня, во всяком случае,— контраст между роскошью богатых кварталов и убогостью толпы.

— Наверно, эта страна летом веселее.

— Греция не весела,— сказал мне папа с едва уловимым упреком в голосе,— она прекрасна.

Коры были прекрасны, губы, изогнутые улыбкой, остановившийся взгляд, вид веселый и глуповатый. Они мне понравились. Я знала, что не забуду их, и охотно ушла бы из музея сразу после того, как их увидела. Другими скульптурами — всеми этими обломками барельефов, фризами, стелами — мне заинтересоваться не удавалось. Я ощущала огромную усталость тела и души; я восхищалась папой, его поглощенностью и любопытством. Через два дня мы с ним расстанемся, а я знаю его не лучше, чем в начале поездки: эта мысль, которую я подавляла вот уже... с какого момента?.. внезапно меня пронзила. Мы вошли в зал, где было полно ваз, и я увидела, что зал следует за залом, длинной анфиладой, и что все они полны ваз. Папа остановился перед витриной и принялся перечислять эпохи, стили, их особенности: гомеровский период, архаический, чернофигурные вазы, краснофигурные на белом фоне; он объяснял мне сцены, изображенные на них. Стоя рядом со мной, он удалялся в глубину анфилады залов, сверкавших паркетом; или это я шла ко дну, погружаясь в бездну безразличия; во всяком случае, между нами возникла непреодолимая дистанция, потому что разница в цвете, в характере рисунка пальметок или птицы изумляла и радовала его, связываясь с прежним счастьем, со всем его прошлым. А мне на эти вазы было наплевать, и чем дальше мы продвигались, переходя от витрины к витрине, тем острее завладевала мной скука, переходящая в тоску, и неотступно преследовала мысль: «Ничего у меня не вышло». Я остановилась и сказала: «Больше не могу!»

— Ты в самом деле на ногах не стоишь. Что ж ты раньше не сказала!

Он расстроился, предположив, вне сомнения, какие-нибудь женские недомогания, доведшие меня внезапно почти до обморока. Он отвез меня в отель. Я выпила хересу, пытаясь говорить ему о Корах. Но он казался мне страшно далеким и разочарованным.

На следующее утро я покинула его у входа в музей Акрополя.

— Я предпочитаю еще раз взглянуть на Парфенон.

Воздух был тепел; я смотрела на небо, на храм и испытывала горькое чувство поражения. Группы, пары слушали гидов, одни с вежливым интересом, другие с трудом удерживая зевоту. Ловкая реклама внушила им, что здесь их ждут несказанные восторги; и по возвращении никто не осмелится сказать, что остался холоден как лед; они станут взывать к друзьям, чтоб те посетили Афины, и цепь лжи потянется дальше, и, вопреки утере иллюзий, прелестные картинки пребудут неприкосновенны. И все же, вот передо мной юная пара и эти две женщины постарше, которые не спеша поднимаются к храму, разговаривая, улыбаясь, останавливаясь, глядя вокруг с видом умиротворенного счастья. Почему же не я! Почему мне не дано любить то, что, я знаю, достойно любви?

Марта заходит в комнату.

— Я приготовила тебе бульон.

— Я не хочу.

— Сделай над собой небольшое усилие.

Чтоб доставить им удовольствие, Лоранс проглатывает бульон. Она не ела два дня. Ну и что ж? Раз она не голодна. Их тревожные взгляды. Она допила чашку, сердце колотится, она покрывается потом. Она едва успевает добежать до ванной комнаты, ее рвет; как позавчера и за день до того. Какое облегчение! Ей хотелось бы опустошить себя еще полнее, изрыгнуть себя до конца. Она полощет рот, бросается на кровать, обессиленная, умиротворенная.

— Тебя стошнило? — говорит Марта.

— Я тебе сказала, что не могу есть.

— Ты обязана повидать врача.

— Не хочу.

Что может врач? И зачем? Теперь, после того как ее вырвало, она чувствует себя хорошо. На нее опускается мрак, она отдается мраку. Она думает об одной истории, которую читала: крот ощупью пробирается по подземным галереям, вылезает из них, чует свежесть воздуха; но ему и в голову не приходит открыть глаза. Она рассказывает себе это по-иному: кроту в его подземелье приходит в голову открыть глаза, и он видит, что все черно. Бессмыслица.

Жан-Шарль садится у ее изголовья, берет за руку:

— Милая, попытайся мне сказать, что тебя мучит? Доктор Лебель, с которым я советовался, думает, что ты пережила какую-то неприятность...

— Все в порядке.

— Он говорил о потере аппетита. Он скоро придет.

— Нет!

— Тогда постарайся выйти из этого состояния. Подумай. Беспричинно аппетит не теряют: найди причину.

Она отнимает у него руку.

— Я устала, оставь меня.

Неприятности, да, думает она про себя, когда он выходит из комнаты, но не настолько серьезные, чтоб это мешало встать и есть. У меня было тяжело на сердце в «каравелле», на которой я летела в Париж. Мне не удалось бежать из тюрьмы, я видела, как ее двери вновь захлопнулись за мной, когда самолет нырнул в туман.

Жан-Шарль был на аэродроме:

— Хорошо съездили?

— Потрясающе!

Она не лгала, она не говорила правды. Все эти слова, которые произносишь! Слова... Дома дети встретили меня криками радости, прыжками, поцелуями и кучей вопросов. Все вазы были полны цветами. Я раздала кукол, юбки, шарфы, альбомы, фотографии и причалась рассказы-

вать о потрясающем путешествии. Потом я развесила платья в шкафу. У меня не было впечатления, что я играю в молодую женщину, вернувшуюся к домашнему очагу: это было хуже. Я была не картинкой, но я не была и ничем другим. Пустота. Камни Акрополя были мне не более чужды, чем эта квартира. И только Катрин...

— Как ее дела?

— Очень хорошо, как мне кажется,— сказал Жан-Шарль.— Психолог хотела бы, чтоб ты созвонилась с ней возможно скорее.

— Ладно.

Я поговорила с Катрин; Брижитт пригласила ее провести вместе пасхальные каникулы у озера Сеттон, там у них есть дом. Я разрешу? Да. Она так и думала, что я разрешу, она очень рада. С госпожой Фроссар они в хороших отношениях: она там рисует или играет в разные игры, не скучает.

Может, это и классика: соперничество матери и психиатра, меня, во всяком случае, это не миновало. Я дважды встречалась с госпожой Фроссар, без всякой симпатии: любезна, вид знающий, вопросы задает толково, быстро фиксирует и классифицирует ответы. Когда я с ней рассталась после второго свидания, она знала о моей дочери почти столько же, сколько я. Перед отъездом в Грецию я ей позвонила, она мне ничего не сказала; лечение едва началось. «А сейчас?» — думала я, звоня к ней. Я приготовилась к отпору, ощетинилась, выставила колючки. Она, казалось, не заметила этого, бодрым голосом изложила мне ситуацию. В целом, Катрин эмоционально вполне уравновешенна; она безумно любит меня, очень любит Луизу; отца — недостаточно, нужно, чтоб он постарался это преодолеть. В ее чувствах к Брижитт нет ничего чрезмерного. Однако, поскольку та старше и рано развилась, она ведет с Катрин разговоры, которые ту волнуют.

— Но она же мне обещала, что будет осторожна; и это очень честная девочка.

— Не можете же вы требовать, мадам, от двенадцатилетнего подростка, чтоб она взвешивала каждое слово. О чем-то она, возможно, и умалчивает, но остальное рассказывает, а Катрин болезненно чутка. В ее рисунках, ассоциациях, ответах на тесты бросается в глаза встревоженность.

По правде говоря, я знала. Я и без мадам Фроссар понимала, что потребовала от Брижитт невозможного: дружба нуждается в откровенности, в душевных излияниях. Не было иного способа, как прекратить встречи, именно этот вывод и сделала мадам Фроссар. В данном случае речь не шла об одной из тех неодолимых детских страстей, когда грубое вмешательство опасно. Если тактично положить конец частым свиданиям, Катрин не будет потрясена. Я должна устроить так, чтоб они пореже видели друг друга в месяцы, оставшиеся до летних каникул, чтоб в будущем году оказались в разных классах. Было бы также неплохо найти моей дочери других подруг, поинфантильнее.

— Видишь! Я был прав,— сказал Жан-Шарль с триумфом.— Катрин свихнулась из-за этой девочки.

Я и сейчас слышу голос, вижу Брижитт с ее булавкой в подоле: «Здрасьте, мадам»; и мне стягивает горло узлом. Дружба — это ведь сокровище. Будь у меня подруга, разве я лежала бы сейчас пластом, я бы с ней разговаривала.

— Прежде всего, мы не отпустим ее на пасхальные каникулы.

— Она будет в отчаянье.

— Ничуть, если мы предложим ей что-нибудь заманчивое.

Жан-Шарль загорелся — Катрин не могла оторваться от фотографий, привезенных мною из Греции; прекрасно, мы покажем им с Луизой Рим. А по возвращении нужно будет придумать занятия, которые ее

поглотят: спорт, танцы. Лошадь! Вот гениальная мысль — даже в эмоциональном плане. Заменить подругу лошадью! Я спорила. Но Жан-Шарль был неколебим. Рим и уроки верховой езды.

Катрин пришла в замешательство, когда я заговорила о Риме: «Я обещала Брижитт; она огорчится».

— Она поймет. Поездка в Рим — это ведь не каждый день случается. Тебе разве не хочется?

— Я так хотела поехать к Брижитт.

Она расстроена. Но Рим ее увлечет, сомнений нет. О подруге и не вспомнит. Немного изобретательности, и к будущему году она ее забудет начисто.

Горло Лоранс сжимается. Жан-Шарлю не следовало потом выносить на публику всю эту историю с Катрин. Предательство, насилие. Что за романтизм! Но какой-то стыд душит ее, точно она сама — Катрин, услышавшая ненароком их разговор. Отец, Марта, Юбер, Жан-Шарль, она сама — все они обедали у Доминики. (У мамы появился вкус к семейным торжествам! Чего только не бывает! А как папа галантен с ней!)

— Сестра рассказала мне о совершенно аналогичном случае,— сказал он.— Одна из ее учениц в четвертом классе подружилась с девочкой постарше, мать которой была мальгашка. Ее мироощущение совершенно изменилось. И характер тоже.

— Их разлучили? — спросила я.

— Вот этого не знаю.

— Если советуешься со специалистом, следует считаться, как мне кажется, с его рекомендациями,— сказала Доминика.— Ты согласен? — почтительно спросила она у папы, точно придавала огромный вес его мнению.

Я понимала, что ее трогает его внимание: она так нуждается в уважении, дружбе. Меня коробило только, что он клюнул на ее кокетливые уловки.

— В этом есть логика.

Какой нетвердый голос! А в Дельфах, когда мы смотрели на танцующую девочку, он был согласен со мной.

— На мой взгляд, проблема в другом,— сказала Марта. Она повторила, что ребенок не может жить в мире без бога. Мы не имели права лишать Катрин утешения, которое дает религия. Юбер ел молча. Он, вероятно, продумывал сложную операцию по обмену колец для ключей, это его последняя придурь.

— Но ведь иметь близкую подругу так важно! — сказала я.

— Ты прекрасно обошлась без нее,— ответила мне Доминика.

— Не так уж прекрасно, как ты полагаешь.

— Хорошо, мы найдем ей другую! — сказал Жан-Шарль.— Эта ей не подходит, коль скоро она плачет, терзается кошмарами, плохо учится и, по мнению госпожи Фроссар, слегка отклонилась от нормы.

— Нужно помочь ей восстановить равновесие. Но не разлучая с Брижитт. Ну, папа, ты же сам говорил в Дельфах, что когда человек начинает открывать для себя мир, у него, естественно, голова идет кругом.

— Существуют вещи естественные, которых, однако, желательно избежать. Естественно вскрикнуть, обжегшись, но желательно не обжигаться. Если психолог находит, что она отклоняется от нормы...

— Но ты же не веришь психологам!

Я почувствовала, что говорю слишком громко. Жан-Шарль бросил на меня недовольный взгляд.

— Послушай, раз Катрин соглашается поехать вместе с нами и не устраивает из этого трагедии, не устраивай и ты.

— Она не устраивает трагедии?

— Ничуть.

В чем же дело?

Отец и Доминика произнесли одновременно: в чем же дело? Юбер покачал головой с понимающим видом. Лоранс заставила себя есть, но именно тут она почувствовала первый спазм. Она знала, что потерпела поражение. Против всех не пойдешь, ей никогда не хватало высокомерия, чтоб считать себя умней всех. (Были Галилей, Пастер и другие, которых приводила в пример мадемуазель Уше. Но я не мню себя Галилеем.) Итак, на пасху — она выздоровеет к этому времени, разумеется, это дело нескольких дней, несколько дней пища тебе противна, а потом все налаживается само собой — они повезут Катрин в Рим. Желудок Лоранс судорожно стягивается. Возможно, что она еще долго не сможет есть. Психолог сказала бы, что она заболела нарочно, потому что не хочет ехать с Катрин. Абсурд. Если бы она в самом деле не хотела, она бы отказалась, она бы боролась. Они все вынуждены были бы отступить.

Все. Потому что против нее — все. И снова на нее надвигается картина, которую она яростно вытесняет из сознания и которая возникает снова и снова, стоит ей ослабить бдительность: Жан-Шарль, папа, Доминика улыбаются, как на американском плакате, расхваливающем овсянку. Мир, единство, радость семейного очага. А различия, казавшиеся кардинальными, на поверку решающего значения не имели. Она одна — иная, отверженная, не способная жить, не способная любить. Обеими руками она вцепляется в одеяло. На нее наваливается то, чего она страшится хуже смерти: мгновение, когда все рушится; ее тело — камень, ей нужно закричать, но у камня нет голоса, нет слез.

Я не хотела верить Доминике; мы встретились через три дня после того обеда, через неделю после нашего возвращения из Греции. Она мне сказала:

— Представь себе, что мы — твой отец и я — подумываем, не жить ли нам снова вместе.

— Как? Ты и папа?

— Тебя это так удивляет? Почему же? В сущности, у нас много общего. Прежде всего наше прошлое; и ты, и Марта, и ваши дети.

— У вас такие разные вкусы.

— Они были разными. Мы слегка изменились, постарев.

Спокойствие, твердила я себе. Салон был полон весенних цветов: гиацинтов, примул. Папины подарки? Или она меняет стиль? Кому она подражает? Той женщине, которой намеревается стать? Она говорила. Слова обтекали меня, я все еще отказывалась им верить: она так часто сочиняет. Она нуждалась в защите, привязанности, уважении. А он ее уважает, даже очень. Он осознал, что неправильно судил о ней, что ее светскость, честолюбие были проявлением жизненных сил. И ему тоже необходим кто-нибудь живой рядом. Он чувствует себя одиноким, скучает; книги, музыка, культура — все это прекрасно, но существования этим не заполнишь. Надо отдать ему справедливость, он еще может нравиться. К тому же он эволюционировал. Он понял, что негативизм бесплоден. Она ему предложила, поскольку он в курсе парламентских дел, принять участие в радиодискуссии: «Ты не можешь вообразить, какое это ему доставило удовольствие». Голос струился, уравновешенный, удовлетворенный, в уюте салона, где недавно раздавались дикие вопли. «Переживет, переживет». Жильбер оказался прав. Вопли, рыдания, конвульсии, точно в жизни есть нечто достойное того, чтоб так вопить, рыдать, волноваться. А это неправда. Нет ничего непоправимого, потому что ничто не имеет значения. Почему же не остаться на всю жизнь в кровати?

— Не понимаю,— сказала я,— ты ведь находишь папино существование таким тусклым!

Доминика не переменила внезапно мнения о папе; не приняла его

мировоззрения, не смирилась с тем, чтоб разделить с ним жизнь, которую именовала посредственной.

— Ах, я сохраню собственную жизнь,— живо возразила она.— Тут мы единодушны: у каждого свои дела, своя среда.

— Некое мирное сосуществование?

— Если угодно.

— Почему ж вам тогда не ограничиться встречами время от времени?

— Ты решительно не знаешь света, просто не отдаешь себе ни в чем отчета! — сказала Доминика.

Она помолчала; мысли, которые она перебирала в голове, явно не были приятными.

— Я тебе уже говорила, женщина без мужчины с точки зрения социальной — деклассирована; в этом есть некая двусмысленность. Я знаю, про меня уже распускают сплетни, что я содержу любовников; впрочем, некоторые мне предлагали свои услуги.

— Но при чем тут папа? Ты могла найти человека более блестящего,— сказала я, подчеркнув последнее слово.

— Блестящего? В сравнении с Жильбером никто не будет блестящим. Все сочли бы, что я удовлетворилась эрзацем. Твой отец — другое дело.— По ее лицу пробежало мечтательное выражение, прекрасно сочетавшееся с гиацинтами и примулами.— Супруги, вновь обретшие друг друга после многих лет раздельной жизни, чтоб встретить вместе надвигающуюся старость: возможно, люди удивятся, но подсмеиваться не будут.

Я не была в этом столь же уверена, как она; но теперь я поняла подоплеку. Надежность, респектабельность — вот в чем она нуждается в первую очередь. Новые связи отбросили бы ее в ранг доступных женщин; а мужа найти нелегко. Я уже видела роль, в которой она намеревалась выступать: женщина, сделавшая карьеру, пользующаяся успехом, но отказавшаяся от легкомысленных радостей ради иных — более тайных, глубоких, интимных.

И папа согласился? Лоранс поехала повидаться с отцом в тот же вечер. Квартира одинокого мужчины, которую она так любила, газеты и книги, набросанные в беспорядке, аромат старины. Почти тотчас она спросила, стараясь улыбаться:

— Доминика рассказывает, что вы будете снова вместе, это правда?

— Как это тебе ни покажется невероятным, да. Так-то!

Вид у него был немного смущенный: он вспомнил, что говорил о Доминике.

— Да, признаюсь, мне это кажется невероятным. Ты так дорожил одиночеством.

— Никто не заставляет меня отказаться от него, если я поселюсь у твоей матери. Квартира у нее большая. Разумеется, в нашем возрасте оба мы нуждаемся в независимости.

Она выдавила из себя:

— Я считаю, что это хорошая мысль.

— Думаю, что да. Я веду слишком замкнутый образ жизни. Нужно все-таки сохранять контакт с людьми. А Доминика стала более зрелой, знаешь, она понимает меня куда лучше, чем раньше.

Они поговорили о том о сем, вспомнили Грецию. Вечером, после ужина, ее стошнило; назавтра она не поднялась с постели, на следующий день тоже; она была сражена лавиной картин и слов, непрерывно дефилировавших и бившихся между собой в ее голове, точно малайские криссы в запертом ящике (откроешь — полный порядок). Она открывает ящик. Просто я ревную. Эдипов комплекс, не ликвидированный вовремя: мать, ощущаемая как соперница. Электра, Агамемнон. Не потому ли

меня так взволновали Микены? Нет. Нет. Чушь. Микены были красивы, меня тронула красота. Ящик заперт, криссы бьются. Я ревную, но главное, главное... Она дышит слишком часто, задыхается. Значит, это не было правдой, что он владеет мудростью, радостью, что ему хватает внутреннего света! Она упрекала себя в неумении раскрыть секрет, а секрета-то, может, и вовсе не было. Вовсе не было: она поняла это в Греции. Она РАЗОЧАРОВАЛАСЬ. Слово пронзает, как кинжал. Она зажимает платок между зубами, точно желая помешать крику, хотя кричать не в силах. Разочаровалась. У меня есть для этого основания. «Ты не можешь вообразить, какое это ему доставило удовольствие!» А он: «Она понимает меня куда лучше, чем раньше». Он был польщен. ПОЛЬЩЁН. Это он, который смотрел на мир сверху вниз, с просветленной отчужденностью, он, который познал тщету всего и обрел душевный покой по ту сторону отчаяния. Он, непримиримый, будет выступать по тому самому радио, которое обвинял в лживости и холуйстве. Он не принадлежал к другой породе. Мона сказала бы: «Какого черта! Они похожи как две капли воды».

Она задремала в изнеможении.

Когда она открывает глаза, рядом Жан-Шарль:

— Милый, совершенно необходимо, чтоб ты согласилась встретиться с доктором.

— Зачем?

— Он поговорит с тобой, поможет тебе понять, что с тобой происходит.

Она вскакивает:

— Нет, ни за что! Я не дам копаться во мне.— Она кричит: — Нет! Нет!

— Успокойся.

Она снова падает на подушки. Они заставят ее есть, они принудят ее проглотить все. Что все? Все, от чего ее тошнит, ее собственную жизнь, жизнь всех остальных, все их мнимые любви, денежные истории, вранье. Они ее излечат от отказов, от отчаяния. Нет. Почему нет? Если крот откроет глаза и увидит, что кругом черно, какой ему от этого прок? Закрыть глаза. А Катрин? Ей тоже приколотить веки? «Нет»,— она закричала вслух. Только не Катрин. Я не позволю, чтоб с ней сделали то, что со мной. А что из меня сделали? Женщину, которая никого не любит, не чувствительна к красоте мира, не способна даже плакать, женщину, которой меня рвет. Нет, она должна немедленно открыть глаза Катрин, может, луч света пробьется к ней, может, она выкарабкается... Откуда? Из этого мрака. Из невежества, из равнодушия. Катрин... Внезапно она поднимается.

— С ней не сделают того, что со мной.

— Успокойся.

Жан-Шарль берет ее за руку, в глазах у него смятение, точно ему хочется позвать на помощь; властный, уверенный в себе, он пугается при малейшей неожиданности.

— Не успокоюсь. Не хочу врача. Я больна от вас и выздоровею сама, потому что не уступлю вам. Катрин я не уступлю. Со мной покончено, меня обработали раз и навсегда. Но Катрин не искалечат. Не хочу, чтоб она лишилась подруги; хочу, чтоб она провела каникулы у Брижитт. И к психологу она больше не пойдет.

Лоранс отбрасывает одеяла, встает, натягивает халат, перехватывает ошарашенный взгляд Жан-Шарля.

— Не зови врача, я не спятила. Просто говорю, что думаю. О господи, да не гляди ты на меня с таким видом.

— Я решительно не понимаю, о чем ты.

Лоранс делает над собой усилие, тон ее становится рассудительным:

— Очень просто. Катрин занимаюсь я. Ты вмешиваешься эпизодически. Но воспитываю ее я, следовательно, принимать решения должна я. Я их принимаю. Воспитать ребенка не значит сделать из него прелестную картинку...

Помимо собственной воли Лоранс повышает голос, она говорит, говорит, говорит, сама не понимая что, не важно, важно перекричать Жан-Шарля и всех остальных, заставить их замолчать. Сердце ее колотится изо всех сил, глаза горят:

— Я приняла решение, и я не уступлю.

Замешательство Жан-Шарля растет, он шепчет умиротворяюще:

— Почему бы не сказать мне всего этого раньше? Совершенно не обязательно болеть. Я не знал, что ты приняла эту историю так близко к сердцу.

— Близко к сердцу, да; у меня, может, больше нет сердца, но эту историю я принимаю близко к сердцу.

Она смотрит на него, прямо в глаза, он отворачивается.

— Ты должна была поговорить со мной раньше.

— Возможно. Во всяком случае, теперь все сказано.

Жан-Шарль упрям; но в глубине души он не относится серьезно к дружбе Катрин и Брижитт: эта ребяческая история не затрагивает его по-настоящему. И в моей болезни пять лет тому назад веселого было мало, у него нет ни малейшего желания, чтоб я снова свалилась. Если я упрусь, победа за мной.

— Хочешь воевать, будем воевать.

Он пожимает плечами.

— Мы — воевать? С кем ты говоришь?

— Не знаю. Это зависит от тебя.

— Я никогда ничего не делал тебе наперекор,— говорит Жан-Шарль.

Он задумывается:

— Правда, что ты занимаешься Катрин куда больше меня. В конечном итоге решать тебе. Я никогда с этим не спорил.— Он добавляет раздраженно: — Все было бы куда проще, если б ты объяснилась сразу.

Она натянуто улыбается.

— Я виновата. Но я тоже не люблю идти тебе наперекор.

Они молчат.

— Значит, решено? — говорит она после паузы.— Катрин проводит каникулы у Брижитт?

— Если ты этого хочешь.

— Да.

Лоранс причесывается, приводит в порядок лицо. Моя песенка спета, думает она, глядя на свое отражение — бледное лицо, обострившиеся черты. Но дети еще могут на что-то рассчитывать. На что? Если б знать.

ГЕОРГИ ЦАНЕВ

ОКТЯБРЬ И НОВЫЕ ПУТИ БОЛГАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Если ставить вопрос о влиянии Октябрьской революции широко — то есть говорить о всем том новом, что она внесла в общественную и культурную жизнь Болгарии,— то это влияние продолжается у нас, как и во всем мире, до сегодняшнего дня. Но мне хотелось бы остановиться в этой статье на новаторских процессах воздействия Октябрьской революции — этого поистине эпохального события, начала новой эры в истории человечества — в первое десятилетие после ее торжества. Именно тогда ее идеи имели решающее значение, они открыли болгарской литературе новые горизонты в период после первой мировой войны, в годы кризиса и поиска новых путей в искусстве.

Почва для воздействия Октябрьской революции в Болгарии была подготовлена давно — может быть, даже раньше и шире, чем в других странах. Одной из причин этого являются традиционные связи между болгарской и русской культурой. Если вспомнить нашу историю со времен Возрождения, то следует сказать, что влияние русской литературы — как, впрочем, и всей русской культуры — в нашей литературной, культурной и общественной жизни нельзя сравнить с другими иностранными влияниями, настолько оно велико, настолько естественно и плодотворно. Оно ощутимо в нашей поэзии уже с первых ее шагов, оно чувствуется в развитии реализма до и после национального освобождения Болгарии, оно очевидно в укреплении социалистического реализма в самое последнее время.

Для нашего читателя русская книга идет непосредственно за болгарской, даже рядом с ней. Это объясняется тем, что русский язык у нас всегда был обязательным предметом в средней школе. Болгарский интеллигент еще до Освобождения (как и в наши дни) свободно читал в оригинале произведения русских писателей, даже с западноевропейской художественной литературой он часто знакомился через русские переводы. Русская литература всегда была для нас второй родной литературой. Ее роль и значение подчеркивали все крупные писатели и литературоведы. «Чем была бы сегодня наша литература без русского влияния? — писал много лет назад профессор Боян Пенев.— ...Мы более всех других народов подверглись влиянию русской литературы. Дух общественных идеалов — в той мере, в какой мы им обладаем,— также внушен Россией,— продолжает Пенев и заканчивает:— Мы сознаем, что Россия сделала очень много для воспитания болгарской души, и почитаем ее второй родиной».

Конечно, не следует забывать, что наше литературное и культурное развитие имеет свой специфический характер, определенный развитием нашего общественного движения. Проблемы вырастают на нашей национальной основе. Но способы разрешения этих проблем, методы и средства художественного воссоздания жизни наши общественные деятели и писатели вырабатывают в большой степени с помощью прогрессивной русской общественной и литературной мысли. Здесь следует подчеркнуть: особая черта русского влияния у нас состоит в том, что оно не обезличивает болгарских писателей, а помогает им найти свою настоящую дорогу, стимулирует их развитие, не отрывая его от национального источника. Весь опыт нашего исторического пути говорит о том, что

под воздействием русской литературы наша литература нашла способы и средства стать и остаться самобытной, показать и развить свой национальный характер. Иначе и не может быть. Ведь у русских наши писатели учились реализму и умению всматриваться в жизнь и душу народа. А какой же ты реалист и как ты передашь в художественных образах тревоги своего народа, если ты не знаешь его жизни и действительности своей страны? Это особенно важно сейчас, когда социалистический реализм через правдивое изображение действительности стремится ее преобразовать.

Благодаря этой широкой основе идеи Октября уже тогда, сразу после победы революции, быстро вошли в сознание болгарского народа. В сущности, влияние Октябрьской социалистической революции в Болгарии является новым, несущим новое идейное содержание этапом традиционного русского общественного и культурного влияния. Оно было облегчено тем обстоятельством, что болгарский народ испытал все бедствия войны. Выражением его революционных настроений стало Владайское солдатское восстание (1918). Параставшее революционное движение, деятельность партии тесняков, вскоре переименованной в коммунистическую, земледельческое движение — эта высокая активность масс свидетельствовала о появлении нового социального сознания. Наиболее прогрессивная часть болгарского народа и его интеллигенции, вдохновленная коммунистическими идеями, с явным сочувствием следила за ходом Октябрьской революции.

Национальная катастрофа, которой закончилась для Болгарии война, с одной стороны, и революционная борьба масс, выступивших под руководством коммунистической партии против старого мира,— с другой, создали особую атмосферу, которая отразилась и в литературе. Уныние и отчаяние у приверженцев старого, оптимизм и готовность к борьбе тех, кто поверил в новое и с надеждой взирал на великое «северное сияние»,— таковы противоречивые настроения болгарского общества, интеллигенции, писателей в первые годы после войны.

Иван Вазов — поэт, всегда чувствительный к судьбам родины — особенно ясно выразил мрачное настроение тех, кто ожидал от войны осуществления «национальных идеалов». Уже в последние месяцы 1917 года он перестает писать «боевые» песни, а в 1919 году в стихотворении «В развалинах» скорбно исповедуется: «Я дожил до разгрома своего мира. Я пал...» Знаменательное признание. Оно говорит о крахе великоболгарских идеалов, во имя которых велась война. К счастью, подлинный идейный мир народного поэта Вазова гораздо шире: он связан с жизнью и борьбой трудящихся. Этот мир не разрушен, он, как и автор «Под игом» и «Эпопеи забытых», живет и сегодня в нашем сознании. Для И. Вазова, например, характерно, что в том же 1919 году он помещает стихотворение 90-х годов «Давайте работать!» в новой редакции. Очевидно, поэт снова хочет показать народу самое надежное, самое верное оружие для завоевания счастливой жизни и прогресса. В противовес разрушительной стихии войны он выдвигает принцип творческого труда — эта тема, вполне созвучная (хотя поэт, конечно, этого не сознавал) наступающей новой эпохе.

Еще определеннее и, может быть, в бо́льших масштабах выражал пессимистические настроения части болгарской интеллигенции Николай Лилиев, который в смятении спрашивал себя: «Где наши надежды, где наши венки?» (1921). О себе и о тех, кто не может найти «выход в жизни», кто не видит будущего, он говорит с горечью: «Наши усталые шаги — это закат жизни». Это — закат духовной жизни, так больно разочаровавшей поэта. Но достоинство Лилиева состоит в том, что он в этих же стихах отразил не только закат старого мира, но и предчувствие другого, нового мира. Вместо тех, кто не может найти «выход в жизни», поэт видит людей нового, будущего, которые идут вперед с песней.

Для тех, кто верил в «старые святыни», в идеалы буржуазной Болгарии, наступили дни трагической безысходности, которая часто приводила к самоубийству. Таков Митя Абаров — герой рассказа «Маленький Содом» писателя-реалиста и тонкого наблюдателя Г. Стаматова. Услышав разговор о новых, социалистических идеалах, Абаров в отчаянии говорит: «Я не понимаю ваших идей. В них нет ни жизни, ни смысла. Я знаю одно — наша Болгария гибнет...» Но писатель видит и другой знаменательный симптом; некоторые интеллигенты поверили в новые идеи и стали социалистами. Отставной подпоручик восторженно говорит: «Наступает другая эра — эра общего честного труда. Не будет ни голодных, ни паразитов. Человечество очнется от глубокого сна. Я рад... что прозрел... Да здравствует новая Болгария». Здесь, несомненно, содержится намек на победу социалистической революции в России — ведь там уже наступила новая эра. Г. Стаматов подметил действительно характерное для того времени: многие интеллигенты — и среди них немало бывших офицеров — вступали в коммучистическое движение.

В первые послевоенные годы некоторые представители творческой интеллигенции поддались отчаянию. В одной из статей тех лет Елин-Пелин передает душевное состояние болгарского писателя: он чувствовал себя «чем-то ненужным, бесполезным для народа, для общества». Писатели утратили прежний авторитет, и это приводило в отчаяние молодые таланты. «Все живут с таким чувством, что работать бесполезно, и их работа сводится к одному — борьбе за существование». Общая атмосфера в культурной среде — это атмосфера скептицизма, ухода от действительности, уныния. От это-

---

го недалеко до полного разочарования в идеалах, в морали старого мира.

И вот в этот момент идейное влияние Октябрьской революции, проникшее в нашу общественную жизнь, охватило болгарскую литературу. Оно проявилось в двоякой форме: с одной стороны, помогло некоторым уже сложившимся поэтам, выступавшим еще до 1917 года, освободиться от старых идейно-эстетических концепций, с другой — указало путь ряду совсем молодых поэтов, которые под революционизирующим его воздействием обрели новое «коллективистское» сознание и революционное мировоззрение.

Когда в начале октября 1919 года вышел первый номер юмористического журнала «Червен смях», издававшегося коммунистической партией, в журнале «Ново време» появилась рецензия, которая начиналась так: «Группа писателей, артистов и художников отвернулась от класса злодеев и убийц, отошла от искусства пустых голов и разложившихся сердец и потянулась в боевой стан народа». Среди писателей, о которых говорилось в рецензии, был и поэт Христо Ясенов, видный представитель символизма — течения, где с особой ясностью проявился кризис болгарской литературы. Под воздействием нашей общественной жизни и под влиянием Октябрьской революции некоторые символисты, сохранившие чуткую гражданскую совесть, осознали несостоятельность своей школы и перешли — одни раньше, другие позже — на реалистические и революционные позиции. Они поняли, что поэтика символизма уничтожена в огне революции, и стали искать новые средства поэтического выражения. Аналогичный процесс произошел и в самой России. Валерий Брюсов перешел на сторону революции, воспел ее во многих стихотворениях и даже стал членом большевистской партии. Александр Блок приветствовал революцию в поэме «Двенадцать». Даже Андрей Белый попытался по-своему воспеть ее в поэме «Христос воскрес». А Брюсов и Блок были учителями наших символистов У нас их последние произведения были широко известны. Я помню, с каким воодушевлением мы читали в русском журнале «Двенадцать» Блока и как декламировали его «Скифов». А когда в 1924 году вышла на болгарском языке брошюра Брюсова «Русская поэзия вчера, сегодня и завтра», Гео Милев, порвавший к тому времени с символизмом, в своей рецензии писал: «Символизм и акмеизм уже мертвы». «Жизнь (в России) получает новое идейное содержание. Поэзия — плод этой новой жизни — должна найти новый путь, новые формы своего существования».

Обновляющий дух Октября первым коснулся Христо Ясенова. Сразу же после войны он вступил в коммунистическую партию, чтобы бороться за новый социальный строй. В 1921 году он издал свою книгу «Рыцарский замок», в предисловии к которой подчеркнул, что произведения, помещенные в ней, написаны до войны, и предупредил читателей: «Многие стихотворения, напечатанные здесь — плод моих юношеских лет, и они совершенно не отвечают моим более поздним идейно-эстетическим воззрениям». А эти воззрения, внушенные общественными событиями в Болгарии и проясненные идейным влиянием Октября, являются воззрениями нового революционного искусства. Несмотря на то, что Христо Ясенов пользовался некоторыми приемами символистов, вдохновлялся он революцией. Именно Октябрьскую революцию воспевает поэт в «Петрограде» — стихотворении, написанном или по крайней мере задуманном еще в 1917 году, но опубликованном в 1920. Оно является выражением пламенного восторга перед первой советской столицей, которая оборонялась от окружавших ее контрреволюционных сил и благодаря героизму рабочих спасла революцию. Подчеркивая, что Петроград сияет, «по-прежнему непобедимый», поэт ощущает свое единство с его защитниками: «И каждый павший сын — это наш погибший брат».

В ряде юмористических стихотворений и фельетонов Ясенов — под псевдонимом Ваня Петроградский, Красноармеец, Чрезвычайка и др.— защищает русскую революцию, рассеивая злостную клевету болгарских реакционеров, предрекавших скорое падение советской власти. Ясенов был убит фашистами в 1925 году.

Идеи Октября озарили творчество другого поэта-символиста — Э. Попдимитрова. Поэт противоречивый, отдавший дань мистике, он проявил острое социальное чувство и трезвый взгляд на реальную жизнь. В 1919 году Э. Попдимитров выступил с «Призывом к болгарскому писателю», в котором писал: «Запустением веет от нашей литературной нивы, вместо склоняющей тяжелые колосья пшеницы на ней цветет чертополох». Автор призывал писателей покинуть «замок мрачной гордыни и уединения» и спуститься «на родную землю», превратить свое творчество из искусства для себя в искусство для жизни. Смысл этой статьи, как и других его заметок о литературе, сводится к тому, что Э. Попдимитров выступает за реализм. «Уже имеются,— пишет он,— признаки возрождения во всех областях общественной и индивидуальной жизни». Его стихи яснее и конкретнее подтверждают эту мысль. Вдохновленный Октябрьской революцией, он написал поэму «Россия» (1920), в которой воспел русский народ в стиле Андрея Белого; по-прежнему используя поэтику символизма и религиозные образы, он в этой поэме с новой верой смотрит в будущее. Он славит Октябрьскую революцию — пожар, который «разбрасывает» искры,— и провозглашает, что эти искры «загорятся в сердце сырого Лондона и суетного Парижа». Осознав мировое значение революции, он говорит в поэме «Болгарский народ» (1921): наш народ всматривается в «северный странный пожар» — и это намек на большие надежды, которые Октябрьская революция пробудила у нас. Более того, поэт верит, что под ее влиянием и в нашей стране поднимутся «апостолы кровавые», чтобы возвестить свободу и братство.

В сборниках «Свободные стихи» (1921) и

«Знамена» (1922) Э. Пондимитров предстает в новом свете: поэт обращается к народу, чтобы разделить его участь, готовый даже пожертвовать своей жизнью на баррикадах («Судьба»). Такие стихотворения, как «Судьба» и «Чернозем», являются демонстрацией того процесса, который уже произошел после первой мировой войны в сознании большей части болгарской интеллигенции и наших писателей,— *возвращения к народу.*

Следует отметить, что влияние Октябрьской революции в нашей стране в творчестве одних писателей сказалось в самом начале, когда поднялись революционные народные массы, у других оно наступило позднее — пришло через новую социалистическую литературу и вообще культуру. Советские книги разговаривали с нашим читателем новым языком, языком Октября, который волновал актуальными, революционными настроениями, который звал к борьбе и стимулировал к действию. Со страниц советских художественных произведений к нам обращались те, кто совершил революцию, и те, кто строил новый мир социализма. Советская литература, воплотившая в своих образах идеи Октября, оказала обновляющее влияние на многих писателей.

Новый путь для искусства, в частности для литературы, особенно настойчиво и смело искал Гео Милев. Он — одна из интереснейших фигур в болгарской литературе. Отзываясь на все «новое» в искусстве и литературе, Г. Милев не раз создавал себе ложных кумиров, пока не нашел действительно *новое.* Он искренне хотел расчистить путь для нашей национальной культуры. С дерзостью новатора и пафосом борца он не боялся отречься от того, чем восхищался вчера. Индивидуалист по своим философским взглядам, экспрессионист и символист по эстетическим воззрениям и поэтической практике в первые послевоенные годы, он упорно искал пути, обновляющие творчество, и шел ко все более прогрессивным позициям. С 1919 по 1922 год его журнал «Везни» (название возникло не без связи с русскими «Весами») был чем-то вроде журнала болгарских модернистов. Однако в нем можно почувствовать дыхание новой жизни, увидеть, как менялось мировоззрение Гео Милева. Через год после того, как начал издаваться журнал, Г. Милев помещает здесь в своем переводе отрывок из «Двенадцати» А. Блока, а позже печатает поэму отдельной книгой. Он публикует статью на смерть Блока, в которой пишет: «Россия, *превращенная в символ,* пламенеет перед нами — страшная, буреносная и спасительная». В «Воззвании к болгарскому писателю» он остро критикует современную болгарскую литературу и предлагает выйти из замкнутого личного мира и посмотреть на жизнь общества, народа, человечества. Особое влияние на Гео Милева оказал революционный пафос Маяковского. *«Сколько нового ворвалось в наш круг!»* «И умно, и прекрасно!» — сказал он в связи с выходом поэмы «150 000 000».

Его увлекает поэзия Маяковского. Он переводит большую часть поэмы «150 000 000» и ряд стихотворений русского поэта. Впоследствии, под влиянием коммунистического движения и особенно Сентябрьского восстания 1923 года, Гео Милев решительно вступает на путь революции, который приводит его к поэме «Сентябрь» (1924) — самому героическому взлету болгарской поэзии тех лет. За это смелое выступление автор впоследствии заплатит жизнью — через год фашисты зверски убили поэта. Для Гео Милева Маяковский был, «может быть, самым крупным русским поэтом, созданным в последние годы революцией. Поэтом революции». Многим в своем развитии Гео Милев обязан и Верхарну, которого он ставил чрезвычайно высоко и называл своим учителем. Верхарн и Маяковский, по его мнению,— это два крупнейших поэта, воспевших в «самых пламенных и дерзновенных словах революцию». Несомненно, после Сентябрьского восстания Маяковский становится ближе сердцу Милева. Я не могу удержаться от искушения процитировать восторженную характеристику, которую он дал Маяковскому в журнале «Пламк»: «Маяковский, поэт русской революции, поэт взволнованной миллионной улицы, открывает и вносит в мировую лирику новые тона, каких литература не знала до него; улавливает и создает в поэзии нечто новое: стихийный ритм безымянной всколыхнувшейся массы; создает новую поэзию, новое искусство — искусство динамики и ритма. Это — новое завоевание в области литературы, новое приобретение человеческой культуры». Не явствует ли из этой характеристики, что советская литература, созданная Октябрьской революцией, приобретает значение нового этапа в развитии мировой литературы? Гео Милев уже в 1924 году обращал внимание на это. Опровергая клевету эмигрантов и реакционеров, защищая новую социалистическую культуру и искусство, он писал: «Культурная жизнь в России идет темпом, который невероятен для Западной Европы».

Так, после многих тревожных поисков Гео Милев нашел свой путь в социалистическую литературу. Конечно, он вошел в нее со своим особым стилем, особыми чертами своего творческого метода. Всем очевидно, что в его «Сентябре» есть еще черты экспрессионизма. И не только в стиле, но и в том, как он изображает человека и явления. Но несомненно и то, что поэтические средства, самая неожиданность внутренних связей между явлениями, характерная для авторского видения, является выражением его беспокойного, взрывчатого темперамента. Освобождаясь от крайностей экспрессионизма, он усвоил ряд его стилистических приемов, которые связал с подлинно новым революционным содержанием.

Соратником Гео Милева в период его увлечения модернизмом был Людмил Стоянов. Послевоенная революционная обстановка

ГЕОРГИ ЦАНЕВ

ОКТЯБРЬ И НОВЫЕ ПУТИ БОЛГАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

заставила его, видного символиста, искать новые пути в искусстве. Сам он назвал свой новый стиль «неоромантизмом». После жестокого подавления Сентябрьского восстания гражданская и художественная совесть Людмила Стоянова была особенно глубоко встревожена. Он начал постепенно переходить к реализму и социальной поэзии. Наиболее сильным фактором в творческой биографии болгарского писателя стало его знакомство с советской культурой и литературой, под влиянием которых Людмил Стоянов твердо встает на позиции реализма и революционной идеологии. Он находит свое место в лагере антифашистской литературы, что особенно проявилось и в сборнике стихов «Земная жизнь», и в повести «Холера» (1935). Л. Стоянов приобщился к методу социалистического реализма.

Будет не лишним подчеркнуть, что под благотворным влиянием советской поэзии находится и такой поэт, как Ламар, который долгое время исповедовал идеи анархизма. Под воздействием болгарского фольклора, болгарской народной речи, с одной стороны, и Есенина, Маяковского — с другой, он сформировался как индивидуальный и самобытный поэт.

Христо Ясенов, Гео Милев, Людмил Стоянов — это писатели, пережившие противоречивое развитие, поэты, которые под влиянием Октябрьской революции вышли на новую дорогу. Отказавшись от индивидуализма, они пришли к народу и прославили в своих произведениях и статьях идеи революции.

Вдохновенным певцом Октябрьской революции в Болгарии является Христо Смирненский — первый из молодых болгарских поэтов, чье революционное мировоззрение сложилось под прямым ее влиянием. Как писатель, он формируется в условиях войны и в атмосфере, созданной борьбой за победу социализма. Обладающий огромным талантом и ярким творческим воображением, проникновенной мыслью и бдительной социальной совестью, Смирненский обращает свой взгляд к народу, к массе униженных. Эта связь с жизнью, интерес к актуальному в общественной действительности характерны для всего творчества поэта.

Сложная и жестокая действительность периода первой мировой войны обостряет тонкую наблюдательность Христо Смирненского, тревожит его мысль. Он начинает присматриваться к жизни и изображать ее критически в своих фельетонах и юмористических стихотворениях. Он быстро растет как поэт. Отрицательное отношение к буржуазному обществу становится в его творчестве все более последовательным. Но вот приходит Октябрьская революция, и пример ее вдохновляет Смирненского. В своем стихотворении «От великого до смешного» (1918), разоблачая виновников войны, которые бегут от народного проклятия, он напоминает, что где-то далеко рушатся оковы и воины идут рядами «под светлыми и новыми лозунгами, зовущими к мирной борьбе». Эти воины — бойцы, которые свершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию. С 1920 года, когда Смирненский формируется как пролетарский поэт, он воспевает восставших рабочих. Центральным и любимым образом его поэзии становится боец-революционер. Поэт величайших идей эпохи, певец коммунистической партии, Смирненский обращает восторженный взгляд на тех, кто боролся за претворение идей социализма в жизнь. Октябрьская революция становится основной темой его творчества. Он славит ее с неповторимой силой, исключительным размахом и в грандиозных образах. Для нее он — ее восторженный глашатай — ищет самые сильные, огненные образы, передающие его чувства удивления, восхищения и солидарности («Северное сияние», «Три года», «Москва», «Северный Спартак», «Русский Прометей», «Красные эскадроны» и др.). Москва, столица революции, вызывает восторг у народов всего мира и указывает путь вперед, к будущему. Она подобна «бронзовой трубе», зовущей к свержению рабства, она шлет «огненный зов» всем трудящимся, она «звезда новых времен», «вулкан пламенных душ» и «остров сердец». Русский народ для него — новый Прометей, «северный Спартак», чей меч — «молнии свирепые», щит — солнце.

Положительный герой у Смирненского — это пролетарий, сознательный борец за социалистический строй. Автор сборника стихов «Да будет день!», он поднял пролетарскую поэзию до уровня самых высоких достижений болгарской литературы, обновил пролетарскую поэзию более полным изображением человека, проникновением в его душу, пластическим рисунком образа. Но еще важнее то, что Смирненский является первым представителем социалистического реализма в болгарской литературе. Идейное влияние Октябрьской революции, воздействие нового социалистического общества, создавшегося в Советской России, революционный подъем масс в нашей стране помогли Смирненскому, поэту огромного таланта, унаследовавшему наиболее прогрессивные традиции нашей классики, стать родоначальником социалистического реализма в болгарской литературе. Он создал новаторское искусство, в русле которого продолжала развиваться революционная болгарская литература.

В заключение мы не можем не остановиться на вопросе, в котором воздействие Октябрьской революции и советской литературы имеет решающее значение. Это вопрос об изображении масс как основного фактора истории, об отношении между народом и личностью. Он становится центральным для литературы социалистического реализма и для демократической болгарской литературы в период между двумя мировыми войнами.

Проблема изображения народа и отношения между личностью и народом давно интересовала болгарских писателей. Ее выдвигали еще Христо Ботев и Захарий Стоянов. Иван Вазов ставит эту проблему в своих пьесах «Ивайло» и «Престол», одна-

ко не разрешает ее. Судьба народа волновала многих наших писателей, которые искренне сочувствовали его страданиям и преклонялись перед его нравственными добродетелями. Эпоха после Октябрьской революции и первой мировой войны настойчиво ставила перед писателями вопрос о роли народа в истории. Народные массы стали выступать в качестве основного объекта творческого внимания писателей. Доказательство тому — творчество Николая Райнова. Это писатель, начавший свою творческую деятельность с увлечения экзотикой Востока, мистикой. В некоторых произведениях он отдал дань и модернизму. В 1912 году вышла книга Райнова «Богомильские легенды», которая оставляла в стороне социальное учение богомилов, зато многие ее страницы были проповедью ницшеанского индивидуализма. В 1918 году Райнов издал новые повести «Книга о царях». В них богомилы изображены уже как истинные представители народа, как борцы против социального неравенства, против крепостнического строя, то есть богомильство объективно представлено как социальное антифеодальное движение. «Было известно,— пишет автор,— что богомилы поднимаются против царской и боярской власти, хотят отнять землю у церковных владык, патриарха и вельмож, чтобы раздать ее народу, и отпустить на волю крепостных».

Это совершенно новые для писателя мысли. Во внимании автора к народу и его социальным бедам, без сомнения, сказалось влияние Октябрьской революции, хотя прямо писатель нигде не сказал об этом. Позднее Н. Райнов стал антифашистом, а после 9 сентября 1944 года членом коммунистической партии.

Свидетель массовых выступлений и демонстраций в нашей стране, Х. Смирненский, вдохновившись революционным подвигом русских рабочих и крестьян, первым в нашей поэзии воплотил принципы коллективизма, выразил в поэтических образах взгляд на народ как творца истории и на поэта как частицу народа, слитую с ним идейно, эмоционально, нравственно.

Проблема изображения народа в новом духе успешно разрешена в историческом романе С. Загорчинова «День последний» (1931—1934). В этой эпопее основным героем является народ — Момчил и его дружина,— борцы против крепостного строя, вдохновленные идеей нового «царства без царя, без бояр и без нищих», идеей общества социальной справедливости и свободы. Мысль о романе, в котором описывается Болгария в канун турецкого порабощения, появилась у автора еще до войны, но он не знал, кто будет его героем, не знал, как поставить основную проблему. Должно было пройти десять лет, прежде чем он нашел своего основного героя — борца за социальную справедливость. Он открыл его в свете Октябрьской революции — вдохновленный ее примером и революционными событиями в Болгарии. «Я признаюсь,— пишет он,— что без воздействия событий в России, роста коммунистического движения в России, а потом и у нас, талантливо отраженных в литературе, многое в моем романе звучало бы иначе». Очевидно, что автор знал многие советские исторические романы, и они послужили для него примером нового художественного изображения народа и его руководителей.

Идеи Октябрьской революции — непосредственно или отраженно воспринятые через опыт советской литературы — осветили новые пути изображения человека и мира. И это новаторское воздействие затрагивает не только писателей-коммунистов, не только тех, кто после мучительных исканий обрел пример в революционной социалистической литературе, но и демократических писателей. Между советской литературой, воплотившей в художественных образах идеи Октября, и болгарской прогрессивной литературой — коммунистической и демократической, выросшей после 9 сентября 1944 года в литературу социалистического реализма,— установились прочные и плодотворные связи. Полувековой юбилей Октябрьской революции является и нашим великим праздником.

г. София

ДЖОН ГОВАРД ЛОУСОН

ЗАМЕТКИ ОБ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Что такое декаданс? Действительно ли он является болезнетворным туманом, отравляющим атмосферу духовной жизни Соединенных Штатов?

Некоторым читателям может показаться, что писателю, который придерживается марксистских взглядов, нет необходимости задавать такие «элементарные» вопросы. Сплошь и рядом сводят марксистскую теорию западной культуры к простой формуле: капитализм находится на последней стадии упадка, поэтому его культура все более вырождается и различные ее течения от прагматизма и психоанализа до экзистенциализма, от кубизма до абсурдизма, от мифа до безумия являются очевидными проявлениями всеобщего разложения.

В этой формуле нет ничего неправильного — если не считать того, что она упрощает сложный исторический процесс, игнорирует особенности отражения общественной жизни в сознании человека, заменяет понимание динамики классовой борьбы застывшими представлениями.

И в социалистических странах, и на Западе нельзя решать вопросы, связанные с явлениями культуры, рассматривая эти последние только как побочные отражения политической и экономической жизни. Несомненно, они являются отражениями, но глубоко своеобразными, зачастую искаженными, противоречивыми и так глубоко проникают в сознание человека, что непреодолимо влияют на его поведение.

В этой статье я хочу поставить некоторые вопросы, касающиеся понятия декаданса, и предложить возможные ответы, которые в свою очередь ведут к другим, более трудным вопросам. Я долгое время изучал современные тенденции в американской литературе, драматургии, критике и философии. Мне кажется, что сложные течения и контртечения в нашей духовной жизни, постоянные перемены — из месяца в месяц и из года в год — указывают на происходящую в Соединенных Штатах борьбу, которая может повлиять и на наше будущее развитие, и на мир во всем мире.

Интеллигенты других стран относятся к нашей культуре очень по-разному. С одной стороны, ее признают и восхваляют, отчего она кое-где пользуется незаслуженно большим влиянием. С другой стороны, многие иностранные критики осуждают ее целиком, без разбора, как растленную и не стоящую серьезного внимания.

Односторонний взгляд на положение в Соединенных Штатах Америки не может объяснить реальную ситуацию: мысль, что наша культура здравствует и процветает, так же обманчива, как и мысль, что она представляет собой какую-то застывшую массу.

Интеллигенты, стоящие на левых позициях, занимают очень незначительное место в нашей культурной жизни. Их влияние, может быть, растет, но оно все еще очень невелико, и если рассчитывать прежде всего на последовательно левые силы, то оценка нашего положения неизбежно будет пессимистичной. Жан-Поль Сартр высказал такую оценку, когда отказался от своей поездки в Соединенные Штаты в знак протеста против американской агрессии во Вьетнаме. Поступок Сартра можно приветствовать, но в его сопроводительном заявлении есть неприятный подтекст:

«Я думаю, что человек, принадлежащий к американским левым кругам, человек, который ясно понимает положение и сознает свою изолированность в стране,

полностью находящейся под влиянием мифов империализма и антикоммунизма,— я думаю, что такой человек, к которому я отношусь с большим уважением,— один из проклятых людей на земле».

Но разве проклятие для американца быть связанным с левыми кругами? И правильно ли называть его «изолированным», если его дело — это дело миллионов его сограждан? Надо ли принимать правительственную политику и массовую пропаганду, поддерживающую ее, за чистую монету? Лицо Соединенных Штатов Америки не таково, каким его изображают политики и публицисты. Можно сколько угодно повторять фразу о «великом обществе», как делает наша пропаганда, но в жизни общества слова ничего не меняют.

Соединенные Штаты — это люди в конкретных условиях их существования, их общественных и классовых отношений. Мне кажется, что Сартр видит лишь деградацию, раболепие, приспособленчество, потому что он не исходит из классового анализа. Есть элемент иронии в том, что некоторые левые интеллигенты убеждены, будто сам Сартр из-за своей философии экзистенциализма несет большую долю ответственности за состояние американской культуры. Это также однобокая и абстрактная точка зрения.

Всем, надеюсь, понятно, что я не хочу выхолащивать или пересматривать марксистскую теорию, я говорю о ее творческом применении. Человек — как и общество — постоянно находится в процессе изменения. «Все, что приводит людей в движение, должно пройти через их голову; но какой вид принимает оно в этой голове, в очень большой мере зависит от обстоятельств». * Протест против кровопролития во Вьетнаме — это движение, и, скажем, с другой стороны, абстрактная живопись или «театр абсурда» — тоже движение. Писатели и художники действуют «обдуманно или под влиянием страсти», и мы должны прежде всего спросить, какие обстоятельства формируют их сознание.

Обстоятельства, в которых находятся интеллигенты в Соединенных Штатах, ставят их в зависимость от государственной машины. Частью ее являются так называемые «учреждения культуры», они действуют двумя путями — осуществляя непосредственный финансовый контроль над коммерческими предприятиями и руководя общественными и полуобщественными организациями — университетами, музеями и культурными центрами, подобными Линкольн-центру в Нью-Йорке. Интеллигенты, работающие на «учреждения культуры», получают вознаграждение, иногда непомерно щедрое. Но лишь в редких случаях человек с гуманитарным образованием добивается ответственного положения или власти.

Писатели и художники возмущаются ролью прислужников, навязываемой им. Перед ними стоит «неразрешимая» дилемма: если они открыто сопротивляются власти, они теряют все. Если они поддерживают власть, они чувствуют свое творческое бессилие и терпят моральное банкротство. Система, которая распоряжается их жизнью и средствами, оскорбляет их нравственное чувство и — особенно в последние два года — внушает им страх.

Рассмотрим более внимательно роль американского интеллигента, выходца из средних классов. Его личное крушение не так индивидуально, как он предполагает: оно является частью неустойчивых и потому вызывающих страх классовых отношений. Крушение ценностей в капиталистическом обществе характерно для упадка капитализма и колониализма во всем мире. Люди средних классов — клерки, работники сферы обслуживания, фермеры, коммивояжеры, мелкие бизнесмены, адвокаты, учителя, деятели науки и техники — потеряли ныне те «добродетели», которые были присущи этой социальной прослойке на ранней ступени капиталистического развития. В начале XX века общественный строй давал им достаточные материальные и психологические выгоды (положение, безопасность, некоторую независимость), и потому они были довольны судьбой и забывали о страданиях непривилегированных.

Сегодня ни один разумный человек не может поверить в то, что наша система гарантирует «жизнь, свободу и счастье». Интеллигент из средних классов находится в буквальном смысле «посреди». Он сопротивляется вовлечению его в борьбу угнетенных, он отделен от них не только своим положением, но и своим сознанием, своими чувствами и убеждениями. В то же время понимание того, что он пешка в руках сил, над которыми он не властен, заставляет его как-то действовать.

Растущее участие американской интеллигенции в политической борьбе является барометром этой смены позиций. Брожение сильнее всего среди молодежи: ей наиболее непосредственно угрожает война, она больше обеспокоена неспособностью общества добиваться осуществления разумных целей, и создавшееся положение еще не полностью отвечает ее материальным интересам. Преподаватели втягиваются в политическую жизнь потому, что их «просвещают» их же студенты, и еще потому, что работа в университете — демонстрируя худшие черты нашей государственной системы — не дает им того вознаграждения, какое иногда получают писатели и художники.

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. М. 1961, т. 21, стр. 308.

Таким образом, протест в учебных заведениях достигает большего размаха, чем протест писателей и художников. Все чаще происходят свободные дискуссии, «тич-ины» *, антивоенные и другие демонстрации. «Новое левое движение» уже приобрело среди молодежи достаточное влияние и потому сделалось предметом бесчисленных статей в американских журналах. Нет нужды преувеличивать масштабы этого движения или закрывать глаза на недостаток единства и несовершенства программы, которые являются неизбежным следствием его ограниченной основы и классового происхождения. Особенно широкий размах получает освободительная борьба негров, хотя она также страдает неопределенностью и недостатком сплоченности.

Знаменательны и факты протеста художников и писателей. Международное внимание привлекли отказ известного поэта Роберта Лоуэлла посетить прием в Белом доме и несогласие с американской внешней политикой, высказанное некоторыми из тех, кто присутствовал на этом приеме. Артур Миллер отказался от приглашения в Белый дом на церемонию подписания президентом законопроекта о государственной помощи искусству. Письмо Миллера президенту — это резкий протест против войны во Вьетнаме. И все же это написал тот самый Артур Миллер, в чьих последних пьесах мы обнаружили, к своему разочарованию, идею «первородного греха», путаницу самоанализа и поиски нравственных абсолютов. Нельзя отделить мучительные миллеровские «поиски духа» в пьесах «После грехопадения» и «Это случилось в Виши» от его решительного отказа прийти в Белый дом. Эти пьесы показывают мучительную попытку автора преодолеть препятствия — внутренние и внешние,— которые мешают его художественному развитию, и борьба с ними привела Миллера к сознательным политическим действиям, которые, однако, не означают, что он стал активным сторонником левых сил или что он будет отныне совершенно последователен как писатель и человек.

Читатель может спросить, почему эта статья начинается с разговора о декадансе и какое он имеет отношение к тем общественным выступлениям, о которых я писал выше. Эти выступления находятся под сильным влиянием идей, которые часто безапелляционно клеймятся как «декадентские» в статьях критиков, считающих себя выразителями марксистской точки зрения.

На «новое левое движение» оказали глубокое воздействие идеи фрейдизма и экзистенциализма, а также «театр абсурда» и литература и искусство, которые говорят о порочности человеческой натуры, упадке и отчаянии. Я не одобряю этих идей и не выдвигаю их в качестве творческой основы в искусстве или в жизни. Но я хочу понять, чем они привлекают писателей и каким образом, несмотря на свою ложность, они могут служить для них и источником энергии. Я хочу понять, что значат они для людей, которые руководствуются ими, и куда идут эти люди.

«Отчуждение» стало одним из самых популярных слов в нашей культуре, им обозначают отделение человека от среды, в которой он живет, разобщенность людей, их неспособность к любви и дружбе и как следствие — отчаяние, неуверенность и моральный нигилизм, ведущий их к поискам утешения в сексуальной жизни, извращениях, наркотиках и актах бессмысленного насилия.

Значительная часть американской литературы и искусства посвящена идее отчуждения, которая таким образом делается достоянием широкой публики; многие из этих произведений являются декадентскими в прямом смысле слова. Нетрудно доказать, что с того времени, как идея отчуждения стала модной и была подхвачена пропагандистской машиной (кино- и телевизионными компаниями, журналами, газетами, издательствами, театрами), она служит власти, убеждает людей в их беспомощности, отвлекает от общественной деятельности.

Но распространение идеи отчуждения отражает трудности, которые переживает американское общество, их не в силах преодолеть правящий класс — по крайней мере теми средствами, которыми он распоряжается и может действовать без риска.

Давайте взглянем на некоторые литературные произведения последнего времени, изображающие «отчуждение»: здесь бесстыдная порнография — «Кэнди», роман-бестселлер Мэйсона Хоффенберга и Терри Саутерна, того самого Терри Саутерна, который написал сценарий антивоенного фильма «Доктор Стрэйнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» В фильме были гнев и цинизм, и в известной степени эти же качества (с преобладанием цинизма) есть и в «Кэнди» Это сумасшедший бурлеск: Саутерн ненавидит существующее в Соединенных Штатах положение вещей и насмехается над всеми священными для него принципами, в том числе над фрейдизмом и экзистенциализмом, но все же эта смесь видений и эксцентричных эротических ситуаций явно рассчитана на финансовый успех.

Примером откровенно коммерческой литературы может служить «Стрела Дандо» Дона Кэлхуна, где описан продажный бизнесмен и есть любовная интрига, однако содержание лишено всякого серьезного смысла.

---

* Собрания, посвященные острым проблемам современности.

«Последняя вылазка в Бруклин» Хьюберта Селби уходит в область «декаданса» гораздо глубже, чем эти коммерческие произведения. Однако это плод более развитого воображения и более серьезных намерений. Рассказы Селби о бруклинских трущобах — это вопль агонии. На страницах прогрессивного журнала «Дайлог» состоялась дискуссия по поводу этой книги. Уолтер Лоуэнфелс в дружеском обращении к Селби критиковал его за «одноглазость в мире восьми измерений» и призывал его проникнуть за нарисованную им страшную картину к более глубокому пониманию социальных мотивов. Отвечая Лоуэнфелсу, Селби писал, что его интересует «любовь, которая существует хотя бы скрыто — в каждом из нас... Я пишу о насилии не потому, что я мизантроп, а потому, что мой ум полон, временами до одержимости, потребностью любви». В том же журнале Лесли Вулф Хедли называл книгу «чудовищной», показывающей «растущий упадок культуры, который делает возможным появление и распространение такой книги».

В дискуссии между Лоуэнфелсом и Селби большое значение имели творческие проблемы. Что касается Хедли, то он, игнорируя нравственное содержание книги, рассматривает факт ее публикации как проявление всеобщего разложения, культивируемого правящим классом нации. Это неверно — как по отношению к автору, так и по отношению к объективному воздействию его книги.

Диалектика вопроса о декадансе подразумевает исследование борющихся сил — тех, кто охраняет государственную власть, и тех, кто выступает против нее. Было бы поистине странно, если бы люди, руководящие национальной политикой, захотели показать образ Америки, каким он отражается в ее культуре. В то время как президент провозглашает «великое общество», культура показывает, что это общество смертельно больно. Имея в своем распоряжении огромный аппарат пропаганды, люди, стоящие у власти, не могут добиться от деятелей культуры эффективной поддержки своей политики. Они чувствуют оппозицию и пытаются сломить ее угрозами или привлечь на свою сторону подкупом.

Все это — только предварительные замечания. Я попытался наметить в общих чертах основу для разностороннего подхода к культуре Запада и более подробно остановился на положении в Соединенных Штатах. Этот подход следует развивать в трех аспектах — историческом, эстетическом и идеологическом.

Каждый из этих аспектов затрагивает вопросы, которые не изучались должным образом марксистской мыслью. История буржуазного общества в двадцатом столетии характеризуется быстрым развитием культуры, и ко многим шедеврам, созданным за это время, марксисты испытывают чувство глубокого уважения и даже благоговения. При этом, конечно, в условиях капитализма писатели и художники вовлекаются в жизнь буржуазии, и, получая вознаграждение от господствующего класса, они находятся под сильным воздействием его идеологии.

Никто не может отрицать влияния марксистской мысли и культуры Советского Союза и других социалистических стран в прошлом и настоящем на интеллигенцию Запада. Но все же самыми влиятельными философиями на Западе стали различные формы прагматизма и позитивизма, учение Фрейда и других сторонников психоанализа, а в более поздний период — экзистенциализм.

Эти философские системы несовместимы с марксизмом. Но в человеческом сознании идеи не рождаются в чистом виде. Искусство не есть «чистое» или прямое выражение общественных взглядов. Необходимо изучать сложное и противоречивое сознание художника, только тогда можно в полной мере понять произведение искусства и оценить, как оно будет воздействовать на поступки людей, на их судьбы.

Попытка Сартра примирить экзистенциализм и марксизм вырастает из его специфического опыта и отражает определенные элементы общественного положения в сегодняшней Франции. Поэтому рассматривать экзистенциализм только как реакционную или даже фашистскую идеологию значит идти на сверхупрощение человека и нашего времени. Точно так же творчество Пикассо невозможно понять, если на все источники его творчества: кубизм, сюрреализм, примитивизм, позитивизм, различные фрейдистские и экзистенциалистские символы и образы и т. д. — просто навесить соответствующие ярлыки и прочно забыть, что эти же философские и художественные течения в сложных сочетаниях мы находим в самых ярких его произведениях на общественные темы — например, в «Гернике».

Можем ли мы понять Хемингуэя, если не исследуем внимательно его постоянные раздумья о смерти, его понимание жизни как мозаики, составленной из пережитого (взгляд, который повлиял на его стиль и метод характеристики), его веру в то, что люди могут обрести цельность только в актах экзистенциалистского мужества?

Нельзя ограничиваться утверждением, что исключительная одаренность и человеческое обаяние того или иного художника, скажем Хемингуэя, отодвигают на задний план его ложные общественные и философские идеи. Подобный взгляд не имеет ничего общего с пониманием сущности человека, которая, как заметил

Маркс, «не есть абстракт... В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» *.

Искусство Фолкнера отличается от искусства Хемингуэя; среда Фолкнера (а творческая личность формируется средой) иная. Но многие фолкнеровские мысли и представления можно встретить и в романах Хемингуэя, потому что у их творчества — при всем их различии — общая культурная и классовая основа. Это не обесценивает каждого из них, но позволяет рассматривать их в перспективе, не в пустоте, а на арене борьбы, где проверяются цельность и нравственная сила.

Обратимся к более раннему периоду. Драйзер написал некоторые свои величайшие романы в первые годы двадцатого столетия под влиянием Герберта Спенсера и социал-дарвинизма, теорий антиисторичных и ошибочных. Мы не можем закрывать глаза на ошибочность идеологии, но мы обязаны выяснить, что помогало и что мешало Драйзеру проникнуть в природу американского капитализма и его воздействия на общество.

Имеем ли мы основания, оценивая историю Соединенных Штатов последнего пятидесятилетия, ограничивать нашу характеристику прагматизма словами «философия империализма»? Охватывает ли эта характеристика все мысли Уильяма Джеймса о человеке и вселенной? Объясняет ли она юридические теории Холмса, Блэка, Дугласа и других юристов и их истолкование американских законов? Помогает ли она исторически правильному пониманию «Нового курса», во времена которого Франклин Рузвельт и его советники в значительной степени руководствовались прагматизмом?

Можем ли мы заявить, что для влияния учения Фрейда нет никаких оснований? Правильнее рассмотреть вопросы, поставленные Фрейдом, как реальные вопросы, порожденные жизнью буржуазного общества. Ошибочные взгляды Фрейда на антропологию, его упрощенное понимание истории, его механистические категории, такие как «Оно» и «Я», не дают ответа на эти вопросы. Но и марксизму предстоит еще многое сделать для изучения внутренней эмоциональной жизни человека.

Если нам не безразличен человек, изменение его сознания, которое будет сопутствовать и помогать строительству нового общества, мы должны спокойно, с пониманием того, что мы живем в период коренных преобразований и что марксизм-ленинизм есть философия преобразований, обратиться к подобным вопросам со всей серьезностью, какой они требуют, дать им правильное марксистское освещение.

Нельзя забывать, что искусство, изображающее больное общество, часто заражается болезнью, которую оно описывает; разложение затрагивает и самого художника, и в нем начинается внутренняя борьба против компромисса и отчаяния, которая смутно отражает окружающую действительность. Если это серьезный художник, его творческий импульс, потребность самовыражения заставляют его смело ставить вопросы, касаться социальных корней болезни.

Происходит упадок — знаменательный процесс разрушения духовных ценностей в культуре Соединенных Штатов. Эта культура «декадентская», но само это понятие достаточно сложно и противоречиво. Главным действенным средством против декаданса в людях и обществе является оппозиция существующему порядку и борьба за коренные перемены. И мы замечаем, что сегодня в США оппозиция растет — среди интеллигенции так же, как и среди основной массы населения.

г. Лос-Анжелес

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. М. 1955, т. III, стр. 3.

Ц. КИН

ИТАЛЬЯНСКИЙ ФАШИЗМ И КУЛЬТУРА

Статья вторая

Подъем рабочего движения в Италии в 1919—1920 гг. напугал многих писателей, которые не сумели встать над уровнем взглядов средних слоев и вели себя как растерянные обыватели. Если не говорить о тех, кто испытал влияние Грамши и Гобетти,— большая часть буржуазной интеллигенции не имела ясной перспективы.

Футуризм и д'аннунцианизм в литературе постепенно изжили себя и стали глубоко провинциальным явлением. Они сыграли свою роль, вошли как органический составной элемент в смутную и эклектическую идеологию итальянского фашизма, и на них лежит большая доля ответственности за все, что произошло. Но как факты искусства они практически уже сходили со сцены. Широкая публика потребляла так называемую letteratura amena — занимательную, развлекательную литературу: романы, новеллы, стоявшие на очень низком художественном уровне, но выходившие большими тиражами и хорошо раскупавшиеся. Писатели такого сорта продолжали процветать и при фашизме, их роль и характер их произведений существенно не изменялись, они ничем не мешали режиму, и он им тоже не мешал.

Грамши напечатал 8 мая 1920 года в «Ордине нуово» свой доклад «За обновление социалистической партии», в котором мы читаем пророческие слова: «За настоящим этапом классовой борьбы в Италии последует либо завоевание революционным пролетариатом политической власти для перехода к новому способу производства и распределения, позволяющему повысить производительность труда, либо бешеный разгул реакции имущих классов и правящей касты. Будут пущены в ход все средства из арсенала насилия, чтобы обречь промышленный и сельскохозяйственный пролетариат на рабский труд; будет сделано все, чтобы беспощадно разгромить органы политической борьбы рабочего класса (социалистическая партия) и включить органы экономического сопротивления (профсоюзы и кооперативы) в аппарат буржуазного государства» *.

Это было предвидение Грамши, человека гениального, вождя итальянских коммунистов, острого политика, обладавшего исключительной интуицией. Но и умеренный католический священник Луиджи Струцо, основатель партии «пополяри» в речи, произнесенной 17 ноября 1918 года, когда фашизма-то, строго говоря, почти еще не было, сказал о той опасности, которую в будущем могут представить фашисты. Почему политики понимали и предчувствовали, а писатели не предчувствовали и не предвидели ничего? Здесь сказывался отрыв, традиционный отрыв итальянской литературы от окружающей действительности. Немногие прозаики и драматурги, которые в начале двадцатых годов как-то отражали социальную действительность, презирали буржуа за своекорыстие и ограниченность, но боялись рабочих как носителей «хаоса», то есть, иными словами, ничем не отличались от интеллигентных обывателей. Была, наконец, элита. Но о ее настроениях я писала в предыдущей статье в связи с позицией журнала

См. Ц. Кин. Итальянский фашизм и культура. Статья первая. «Иностранная литература» № 6 за 1967 год.

* Антонио Грамши. Избранные произведения. Т. 1, стр. 159.

«Ронда», и пока нет смысла говорить более подробно, хотя именно эта позиция таила в себе много зла. Конечно, нарисованная сейчас картина очень схематична. Были писатели, которые в эту схему не входят; я не упомянула, например, стихотворения Эудженио Монтале — это трагическая и великолепная поэзия, говорящая о предельном одиночестве мыслящего человека, окруженного подлой риторикой фашизма. Но и это — за пределами моей темы.

На конгрессе в Болонье возникла идея создания фашистского института культуры. Его действительно основали в декабре 1925 года, а позднее переименовали в Институт фашистской культуры, поскольку при тоталитарном режиме вся культура могла, как считал дуче, быть только фашистской. С годами этот Институт становился все более влиятельным, он был орудием для капиллярного проникновения фашизма во все отрасли культуры. Главным печатным органом Института был основанный Джентиле еще в 1923 году журнал «Эдукационе фашиста», позднее переименованный в «Культура фашиста». На протяжении всего двадцатилетия этот журнал воспитывал молодежь и народ в фашистском духе. Существовало много других официальных журналов режима, подобных «Культура фашиста».

Можно ли, однако, всерьез говорить обо всех этих журналах, как о каких-либо культурных центрах? Мы можем судить об этом лишь на основании оценок итальянских исследователей, но они единодушны. Все сходятся на том, что режим был не в состоянии вести культурную политику, которая могла бы сколько-нибудь импонировать интеллигенции: уровень был не тот. Насчет уровня поговорим позже, пока важно отметить одну черту—«всеядность» фашистского режима по отношению к различным направлениям в искусстве. Что же касается журналистики, тут унификация была полнейшей, трудно даже представить себе, до какой степени регламентировалось все, как свирепствовала цензура и в особенности как далеко заходила превентивная цензура.

Газеты получали секретные служебные распоряжения, зачастую написанные весьма спорно с точки зрения синтаксиса и орфографии, но всегда очень решительные. Они сохранились в архивах некоторых газет и сейчас опубликованы: я, в частности, буду ссылаться на книгу покойного профессора Франческо Флора *, который рассказывает о кухне, о том, как стряпалась та повседневная порция лжи и дезинформации, которую на протяжении двадцати лет преподносили итальянские газеты.

«Газетам посланы *фразы,* которые надо публиковать, выделяя их, во время периода подписки на заем. Рекомендуется, чтобы такие публикации не появлялись одновременно во всех газетах, их надо распределять во времени».

«Подтверждается распоряжение, содержащее в себе абсолютный запрет упоминать чьи-нибудь другие имена в возгласах приветствия по адресу Дуче».

«Не ссылаться на Дуче, когда речь идет о маловажных вещах, например, было сказано, что Дуче пожелал увидеть одного миссионера, уезжавшего в Китай, тогда как миссионер много раз стучался во все двери, чтобы добиться приема у Дуче».

«Сказать, что Дуче десять раз вызывали на балкон» (имеется в виду балкон в Палаццо Венеция, откуда Муссолини произносил речи, обращаясь «к черным рубашкам и народу Рима»).

«Отметить, что Дуче совершенно не устал после четырех часов молотьбы» (во время «битвы за хлеб» Муссолини с обнаженным торсом занимался молотьбой, а в это время его фотографировали).

«Исправить корреспонденции из Сицилии, так как не надо сообщать, что Дуче танцевал».

И по поводу другого выступления Муссолини: «Речь Дуче можно комментировать (комментарий мы вам пришлем)».

Мне хотелось бы продолжать цитаты, но пока достаточно — позднее приведу еще некоторые, чтобы показать, какие инструкции давались газетам по поводу художественной литературы. Сейчас надо вернуться к литературным журналам.

Прежде всего — о судьбе журнала «Баретти» после смерти Пьеро Гобетти. До окончательного запрещения (журнал перестал выходить в декабре 1928 года) руководство «Баретти» с достоинством и мужеством боролось буквально за каждый материал. Очень многие номера выходили с купюрами, сделанными цензурой. Журнал продолжал отстаивать достоинство культуры, ее гражданственность, громадную ответственность и права писателя. Гобетти твердо верил, что нет спасения для общества, если не спасена его культура. Друзья Гобетти думали так же. Но времена становились все тяжелее. В самой редакции «Баретти» были люди, склонные к компромиссу, старавшиеся сместить акценты, уйти в область отвлеченной философии и педагогики. Были, однако, и другие — будущие участники Сопротивления, будущие жертвы фашизма. Хотя позиция «Баретти» в последние годы была позицией обороны, а не наступления, моральная роль и влияние этого журнала на лучшие круги буржуазной интеллигенции были очень велики.

В январе 1926 года, сразу после опубликования драконовских законов о печати, во Флоренции вышел первый номер нового ежемесячного литературного журнала «Солярия», основанного двадцатилетним Альберто Кароччи, который сейчас вместе с Моравиа и Пазолини редактирует еженедельный журнал «Нуови аргоменти». В первом номере «Солярия» заявила, что у нее нет определенной программы, но тем не менее она претендует на то, чтобы иметь свою группу, которую объединяют некоторые общие идеи. «Солярия» хотела отстаивать гуманистическое искусство, не выдвигая на первый план вопросы формы и стиля подобно журналу «Ронда». Мне кажется, что программ-

* Francesco Flora. Ritratto di un ventennio. Bologna. Edizione Alfa, 1965.

ное заявление группы «Солярия» в большой мере отражало драматическое положение молодой буржуазной итальянской интеллигенции, не активно антифашистской, но и ни в коем случае не профашистской. Точнее будет сказать, что среди авторов журнала большинство было настроено в той или иной степени оппозиционно по отношению к режиму, немногие верили еще, что фашизм «революционен», но впоследствии разочаровались. Кароччи хотел превратить журнал в орган самых талантливых молодых писателей нонконформистов, объединив в каком-то сложном синтезе чисто литературные интересы с моральными традициями журнала Гобетти.

В конкретных условиях итальянской действительности в середине двадцатых годов нелегко определить границы, отделяющие активный, осознанный антифашизм от морального негодования. Надо ли уточнять, что, говоря это, я имею в виду не авангард, не людей, привыкших политически мыслить и действовать, а тот широкий слой буржуазной интеллигенции, который не обладал необходимой четкостью и решительностью мысли, необходимой закалкой. Выше упоминалось, что как раз в это время — 1929 год — Муссолини предпринял ряд акций для привлечения на свою сторону интеллигенции. Появились фашистские литературные журналы, а не только издания Института фашистской культуры. Такие писатели, как Курцио Малапарте*, разводили «фашистский оптимизм», а такие, как Уго Ойетти (участник конгресса фашистской интеллигенции в Болонье), процветали вовсю.

В этих условиях обнаружились и границы, дальше которых не сумели пойти гобеттианцы. Неоспоримо, что они во многом отступили, в частности, отошли от стремления Гобетти сблизиться с рабочим движением. Но если некоторые из авторов «Баретти» все дальше отходили от прямых гражданских обязательств, другие (Аугусто Монти, Леоне Гинзбург, Массимо Мила и т. д.) вкладывали в полемику по вопросам культуры подлинную политическую страстность. В тридцатых годах их осудит Особый трибунал — а пока они делали, что могли.

Возвращаемся к «Солярии». Флорентийские фашисты относились к этому журналу с лютой ненавистью. Его тираж никогда не достигал 700 экземпляров, но его издатели ухитрялись иногда выпускать и книги. Вот что пишет об этом времени Элио Витторини: «Я стал сотрудником маленького флорентийского журнала. В нем я опубликовал большую часть рассказов, которые в 1931 году вошли в мою первую книгу, названную «Мелкая буржуазия». Таким образом, я был «соляриано», а в то время это означало в литературных кругах — антифашист, европеист, универсалист, антитрадиционалист. Нас звали также *грязными евреями* за то, что мы предоставляли место на страницах журнала писателям-евреям, и за то, что мы хорошо отзывались о Кафке и Джойсе» *.

Группа «Солярия» была пестрой по составу, ее направление, конечно, было эклектическим и как нельзя лучше отражало двойственное положение буржуазной интеллигенции в годы, когда фашистский режим, полностью оправившийся после кризиса Маттеотти, чувствовал себя «на коне». Думаю, будет правильным считать, что в это время буржуазная интеллигенция (и крочеанская, и даже более левая) окончательно сдает позиции в политическом и социальном смысле, утешая себя надеждой сохранить свою независимость в духовном плане. Хотя Витторини писал, что слово «соляриано» отождествлялось со словом антифашист, мне кажется, дело обстояло сложнее и его точка зрения несколько односторонняя. Было и то, и другое. Конечно, было приспособление, был отказ от некоторых ценностей, завоеванных прежде. После смерти Пьеро Гобетти «Солярия» посвятила его памяти прочувствованные и искренние страницы, писала о его *героизме* и даже о каких-то баррикадах — увы, гипотетических.

Но надо быть справедливым: нечего и говорить, что «Солярия» несмотря на свою эклектичность и вынужденный конформизм находилась в открытой оппозиции к фашистской риторике. В 1966 году издательство Эйнауди выпустило два тома писем Чезаре Павезе. Он был одним из талантливейших писателей своего поколения. Среди писем Павезе — много адресованных Альберто Кароччи, эти письма волнуют и трогают. Издательство «Солярия» выпустило первую книгу стихотворений Павезе — "Lavorare stanca" («Работать тяжко»), в то время когда сам Павезе, арестованный в 1935 году и приговоренный к ссылке на три года, жил под наблюдением полиции в местечке Бранкалеоне, в Калабрии. Эта книга позднее сыграла большую роль в формировании антифашистских взглядов молодежи. Для того чтобы закончить рассказ о журнале «Солярия», добавлю, что в 1933—1934 годах на страницах журнала печатался роман Витторини «Красная гвоздика». Это роман о зарождавшемся антифашизме, о психологических ферментах, бродивших в итальянском обществе. Многие места вымараны цензурой. Второй номер за 1934 год был конфискован по приказу префекта за оскорбление морали и добрых нравов, содержавшееся в двух произведениях: «Дочь генерала» Энрико Терначини и «Красная гвоздика» Витторини.

Этот характерный для того времени сплав антифашистских настроений и конформизма, подчас все же нарушаемого, можно найти и в некоторых других изданиях, возьмем, например, журнал «Игалия леттерариа» (1928—1934). Буржуазная интеллигенция, за исключением той части, которая примкнула

* Курцио Малапарте (псевдоним Курта Зуккерта, 1898—1957) — писатель и политический деятель, крайне сложная и противоречивая фигура, впоследствии порвал с фашизмом. Незадолго до смерти вступил в Итальянскую коммунистическую партию.

* Elio Vittorini. Diario in pubblico. Bompiani, 1957, p. 174.

к фашизму, находилась примерно в одинаковом положении, и перед ней (с некоторыми вариантами) возникали одни и те же проблемы.

■

Теперь следует обратиться к литературным течениям и журналам, существовавшим *внутри* режима, откровенно фашистским. Было два противоборствующих течения «stracittà» и «strapaese»: если перевести буквально, получится довольно нелепо — сверхгород, экстрагород и сверхдеревня, экстрадеревня. Но за этими странными названиями скрывались характерные тенденции, которые надо попытаться определить. Говорю *попытаться* вполне сознательно. Я писала уже, что эта статья — только подступ к очень важной теме, осилить которую можно, лишь располагая всеми необходимыми материалами. Однако в Италии уже опубликованы некоторые очень ценные работы, антологии и т. д., дающие возможность познакомиться со многими первоисточниками, с текстами.

Итак, «стрячитта». Это было противоречивое и в известном плане двусмысленное движение. С одной стороны, оно стремилось включить итальянскую литературу и искусство в общеевропейский культурный процесс. При этом надеялись выдвигать новые имена, чтобы итальянцы заняли в европейской культуре видное место, подобающее «новой, фашистской Италии». С другой стороны, как будто отказываясь от узкого национализма, это движение одним из пунктов своей программы выдвигало откровенно империалистическую идейку возрождения Италии как средиземноморской державы.

В конце 1925 года Массимо Бонтемпелли, итальянский писатель, дебютировавший, как уже говорилось, в начале века, основал движение «новеченто» и сформулировал некоторые теоретические его положения.

Бонтемпелли некоторое время примыкал к футуристам, а потом создал свою поэтику, назвав ее «магический реализм». Искусство — это магия. В результате «магического акта» происходит преображение объективно существующего мира. Бонтемпелли считал, что движение «новеченто-искусство», вырвав итальянскую культуру из оков провинциализма и обеспечив ей достойное место в Европе, перерастет в движение «новеченто-жизнь» и глубочайшим образом изменит нравы. Он был фашистом и принадлежал к тем из них, кто искренне поверил в социальную и политическую демагогию программы Сан-Сеполькро. (Впоследствии он разочаровался в фашизме и после его краха примкнул к движению за мир.) Осенью 1926 года начал выходить раз в три месяца на французском языке журнал «Новеченто» («900»), с подзаголовком «Cahiers d'Italie et de L'Europe». В первом номере журнала Бонтемпелли заявил, что в культуре XX века политика предшествовала искусству и теоретической мысли. Он с отвращением писал о буржуазной демократии XIX века и заявил, что его журнал будет всячески поддерживать «орлиную стаю» — сильных и властных людей, которые призваны изменить ход истории во имя «римского идеала».

Позднее, когда журнал уже перестал выходить, Бонтемпелли ретроспективно так формулировал его позиции: 1) против эстетизма (декадентство в классическом духе); 2) против психологизма (декадентство в романтическом духе); 3) литература, как художественно высокое структурное видоизменение мира, в котором мы живем; 4) воображение, противопоставленное фабуле на восточный манер; 5) против искусства, желающего быть авангардизмом (сближение с народным искусством); «ripresa mediterranea», что как раз означает восстановление могущества Италии на Средиземном море,— иными словами, речь идет об африканских владениях, о колониях. Таким образом, весь «европеизм» Бонтемпелли оборачивается тем же самым ретроградным национализмом, прикрываемым (может быть, бессознательно) рассуждениями об итальянской и общеевропейской культуре. Хотя «900» печатал Мальро, Стефана Цвейга, Лоуренса, Рильке, Моруа и благодаря этому там появлялись какие-то вещи, не соответствовавшие официальной идеологии режима, я не думаю, чтобы это было сознательной контрабандой идей — скорее, случайностью.

Новеченгисты решительно порывают со старыми традициями и хотят создать новые традиции. Очевидно, правильно будет считать, что новеченгизм был попыткой объединить постфутуристов и постд'аннунцианцев, эстетов, оставшихся вне влияния Кроче, и как-то связать все это с задачами культурной политики фашистского режима. Из программной статьи Бонтемпелли в первом номере журнала «900» было ясно, что журнал отнюдь не намеревался играть в оппозицию (впрочем, осенью 1926 года сколько-нибудь серьезная оппозиция была уже практически почти невозможной). Напротив, новеченгисты не только хотели работать в рамках режима, но полностью поддерживали его, сохраняя при этом весьма критическое отношение к официальной итальянской культуре, которую Бонтемпелли называл «скучной, вялой и медлительной».

Взгляды новеченгистов на историю и на литературу можно, пожалуй, сформулировать так: XIX век (который они ненавидели и презирали) закончился в 1915 году, когда Италия вступила в войну. Война и события 1919—1920 гг. (имеется в виду подъем рабочего движения и острая политическая борьба тех лет, возникновение фашизма) сожгли последние остатки романтизма. В 1922 году, когда фашисты захватили власть, начался XX век и также началась великая антиромантическая эпоха; революция (фашистская «революция») заставила мирного и спокойного горожанина стать вооруженным гражданином — в этом великое новшество. Все эти рассуждения отлично сочетаются и с «магией», столь дорогой Бонтемпелли, и с его представлением об «орлиной стае» фашистов-завоевателей.

Отношение режима к новеченгистам было вполне благоприятным, вспомним речь Муссолини на открытии «Первой выставки

XX века». В рамках движения «страчитта» выходили и другие журналы, только несколько менее «мистические», чем «900». Что касается мистики и мифов, Бонтемпелли вполне ясно выражается на этот счет: «Мы говорим о своем страстном желании создать мифы новой эпохи. А разве вся Италия не трудится сегодня во всех планах, в самых практических вещах, в политике и в индустрии, в сельском хозяйстве и в быту так, словно она хочет создать мистическую поэму, с ясным пониманием своей роли героя на сцене театра истории?»*

На страницах журнала «900» печатались некоторые талантливые итальянские писатели, в частности Коррадо Альваро и Альберто Моравиа. С Моравиа, впрочем, случился такой казус: когда в 1928 году он закончил свой роман «Равнодушные», очень сильную вещь, начисто отвергавшую фашистскую риторику, Бонтемпелли отказался напечатать его в «900». (Роман был напечатан в 1929 году за счет автора и принес ему мировую славу.)

Теперь о движении «страпаэзе», о нем придется говорить более подробно. В 1924 году в Колле-ди-Валь-д'Эльса, небольшом центре в провинции Тоскана, стал выходить политический листок под названием «Сельваджо» («Дикарь»); на протяжении трех лет он ничем не отличается от других таких же газеток режима, но в 1927 году его редактором стал очень решительный, страстный, грубый и яркий человек — Мино Маккари. Он переводит «Сельваджо» во Флоренцию и превращает его в политико-литературный журнал. Маккари — фашист, причем фашист убежденный и выражавший настроения и желания провинциального фашизма. Провинциальная и сельская мелкая буржуазия, значительно способствовавшая утверждению фашизма, питала неосновательные надежды на то, что рано или поздно она будет определять политику режима. Муссолини во время кризиса 1924—1925 гг., после убийства Маттеотти, подогрел эти надежды, так как очень нуждался в поддержке этих слоев населения.

Маккари, по-видимому, отражал какие-то реальные потребности тех, кто всерьез принял фашистское движение за «революцию», которая оздоровит Италию, выполнит все обещания программы Сан-Сеполькро, свяжет новый режим с землей, с традициями, искоренит коррупцию, установит социальную справедливость. Удачная формула «страпаэзе» принадлежала не Маккари, а Курцио Малапарте, порвавшему с новеченти стами. Но еще до того, как была выработана поразительно наивная программа движения «страпаэзе», Маккари на страницах «Сельваджо» с поистине неукротимой энергией и убежденностью громил всю итальянскую культуру тех лет. Прежде всего он решительно и беспощадно разделался с футуризмом, сделав оговорку, что как политическое движение футуризм не вызывает никаких возражений, а как художественное направление он совершенно выдохся и сейчас пытается искусственно продлить свое существование, причем рискует превратиться в нечто вроде маленькой академии, живущей на проценты со своего прошлого. Маккари категорически отрицает за футуризмом право называться «государственным искусством, революционным искусством». Он заявляет, что в первый период своего существования футуризм сыграл положительную роль, но позднее превратился в космополитическое, манерное, условное движение, «абсолютно несовместимое с фашистским движением, которое, как все мы знаем и видим, является реставрацией вековых ценностей, таких как традиции, иерархия, порядок, дисциплина, совершенно необходимых и обязательных для успеха нашей революции и для достижения ее целей, первая из которых — наша, итальянская современность (modernità)» *.

Естественно, что Маккари стал также заклятым врагом новеченти стов. Чтобы дать представление о том, на каком уровне и в каком тоне велась полемика, расскажу об одной статье Маккари. Сначала он заявляет, что его единомышленники отнюдь не цепляются за духовные ценности прошлого века. Они за современность, только чтобы она соответствовала традиционному итальянскому духу, обычаям, образу мыслей, привычкам народа, уходящим корнями в глубь веков. Между тем они пытаются подсунуть иную «modernità». Какая же она? «Ублюдочная, интернационалистская, внешняя, механическая». И вообще — это темная афера, состряпанная «еврейскими банкирами, педерастами, содержателями борделей». Если бы эта темная афера осуществилась, это привело бы к гибели сокровищницы итальянского народа — традиции, «против которой с идиотским остервенением выступают неудачливые литераторы» — новеченти сты.

Этот мотив повторяется непрестанно: за традицию, за национальные корни, против тех, кто жаждет какой-то «исключительности», против анархии и «интеллектуализма». Маккари со смаком вспоминает о том, как поступали в первые годы: если среди сквадристов находился какой-нибудь циник, заявлявший, что не принадлежит ни к какой партии, то брали в руку дубинку и основательно отделывали его. За этим следует апофеоз: «Страпаэзе» — это присущее фашизму понимание жизни и искусства, это первая карательная экспедиция против интеллектуалов, которые, забравшись в «башню из слоновой кости», тужатся и выхаркивают бледное, бескровное, без мяса и костей, подобие искусства».**

Таким образом, как мы видим, именно «страпаэзе» претендовало на роль истинного глашатая фашистской политики в области культуры. Рассуждения насчет «карательной экспедиции» относятся к концу 1929

* Giorgio Luti. Cronache letterarie tra le due guerre 1920—1940. Editori Laterza Bari, p. 147.

* Giorgio Luti. Cronache letterarie tra le due guerre 1920—1940, p. 154.

** Там же, p. 155.

года, когда журнал «900» уже прекратил свое существование. Но Маккари имел в виду не только новеченти́стов. Так, он напал на Уго Ойетти, обвиняя его в филистерстве, посредственности и в том, что тот выступает в тоге вождя литературы нашего времени. Об Уго Ойетти вскользь уже говорилось. Прозаик и журналист, человек чрезвычайно способный, он был действительно типичным представителем «средней» итальянской культуры. Он издавал журналы, в частности журнал «Пегас», который начал выходить в январе 1929 года. Программа «Пегаса» была эклектичной — хотели как-то соединить традиционные ценности и новые литературные требования. Ойетти принадлежал к той категории писателей, о которых кое-что было уже сказано: профессионалы, не халтурщики и не специалисты по «серийным романам для времяпрепровождения»; люди с националистическими убеждениями или без особых убеждений, но отчаянно боявшиеся «красной угрозы». Люди, которые в момент глубокого послевоенного кризиса, быть может, искренне, быть может, от отчаяния увидели в фашизме какую-то возможность сохранить привычный уклад вещей. Более или менее в одинаковом положении оказались Бонтемпелли, Соффичи, Ойетти и многие другие. Некоторые довольно успешно делали литературную карьеру, другие, разочаровавшись, старались отойти от активной литературно-общественной деятельности и замкнуться в той самой «башне», о которой с такой неистовой злобой писал Маккари. В журнале «Пегас» сотрудничало немало талантливых людей, в том числе Моравиа, Монтале, Витторини, Франческо Флора. «Пегас» просуществовал до 1933 года, после чего закрылся, а вместо него стал выходить журнал Ойетти — «Пан» (1933—1935).

Но вернемся к журналу «Сельваджо» и к Мино Маккари. Полемика против Ойетти не была эпизодической. Ойетти приобрел в глазах Маккари значение своего рода символа. Он с ненавистью писал о «разных ойетти, борджезе» и о других, обвиняя их в том, что они не создали ни одного произведения, не выразили ни одной идеи, что они думают только о литературном и денежном благополучии, не интересуясь тем, чем на самом деле живет народ. Мало-помалу критика Маккари распространяется на многое другое, лежащее за пределами искусства. Тон Маккари становится все более резким. Ему хотелось бы купить билет и уехать «в страну Папуасию», но фашизм научил его искусству драться и быть стойким. И вот он дерется, с полной уверенностью в своей правоте, дерется неистово, грубо, по-хамски, но с искренностью отчаяния, потому что иллюзии и утопические надежды первых лет уступают место все более сильному разочарованию.

Эта нота отчаяния звучит все явственнее в яростных протестах Маккари. Он говорит в программном документе «страпаэзе» о любви к земле, о верности традициям, о том, что «страпаэзе» создано для того, чтобы защищать «крестьянскую, деревенскую душу итальянского народа», что оно призвано стать барьером против проникновения иностранной моды, модернистской иностранной мысли и цивилизации. Это проникновение «чуждых итальянскому духу» влияний Маккари называет сильнейшим и пишет, что против этого зла и яда необходимо не менее сильное противоядие. Отсюда, объясняет он,— грубость и резкость «страпаэзе», которое хочет ранить, хочет оставаться грубым, «диким» (напоминаю, «Сельваджо» значит «Дикарь»), не обещает участникам своего движения ни почестей, ни гонораров, ни блестящей карьеры и зовет молодых итальянцев сражаться «под черными знаменами отчаяния».

Арденго Соффичи, который наряду с Маккари играл большую роль в «Сельваджо», проводил иную линию — ее можно охарактеризовать как продолжение линии журнала «Лачерба». Его национализм, не менее сильный, чем у Маккари, начисто лишен того «народного», «крестьянского» элемента, который был так силен у лидера «страпаэзе», он ограничен и буржуазен; в работе о флорентийских журналах XX века Соффичи делает попытку включить «Сельваджо» в русло вполне респектабельной буржуазной традиции. Между тем Маккари в своей яростной критике заходит крайне далеко, его фронда переходит за допустимые фашистским режимом границы. В сентябре 1928 года Маккари с горечью писал: «Мы приняли всерьез некоторые вещи». К «некоторым вещам» он относил обещания Муссолини, сделанные в период борьбы за власть.

В начале тридцатых годов «абстрактная» ярость и «абстрактный» морализм Маккари приобретают иной характер. Джорджо Лути пишет, что начиная с 1929 года и в тридцатых годах «Сельваджо» выступает против конформизма в политике, литературе и искусстве, против коррупции во всех ее формах, против премий, которые также рассматривает как один из видов коррупции. Выдвигается лозунг свободы искусства и независимости деятелей искусства от фашистской иерархии: «Будет достойным презрения посредственный художник, если он попытается воспользоваться своей принадлежностью к фаши, чтобы оттеснить хорошего художника. Членский билет не может дать таланта, так же как не может и отнять его».

В резких полемических выпадах Маккари все больше звучат ноты откровенного *социального* и *политического* протеста. В броских (часто рифмованных) афоризмах он не просто намекает, он конкретно говорит о связях фашизма с крупной промышленностью, выступая против милитаризма, против тех, кто подпевал гитлеровским гнусностям. Маккари не один, с ним близки некоторые молодые люди, впоследствии ставшие активными антифашистами, среди них — Ренато Гуттузо. Однако с годами разочарование, скепсис и горечь сменяют сатиру: Маккари понимает, что он обречен. Первоначально благожелательное отношение режима к движению «страпаэзе» сменяется недовольством. Фашистская «революция» прочно победила, крепко держит

власть в своих руках, у руля правления находятся ее люди, ее кадры — в чем же дело? Почему Маккари, казалось бы, убежденный фашист, утверждает, что «фашистская революция предана». Возникает вопрос, как могли фашисты так долго терпеть такую фронду. В конце концов они исключили Маккари из партии и принудили его к молчанию.

Эмилио Радиус — участник движения новеченти́стов, описывая группы «страчитта» и «страпаэзе», утверждает, что Муссолини, со свойственной ему в некоторых отношениях нерешительностью, колебался, которой из этих групп отдать предпочтение. В интерпретации Радиуса дело выглядит так, что и «страпаэзе» и «страчитта» постепенно разочаровались в фашистском режиме, который в конце концов утратил надежду на создание собственно фашистской культуры. В одной из итальянских литературных энциклопедий высказывается такая точка зрения: и «страчитта», и «страпаэзе» были типичными вариациями итальянской мысли тех лет, во многом блестящими, но поверхностными. «Страпаэзе» характеризуется как «провинциализм», противостоящий «космополитизму» «страчитта». Что касается режима, он, по этой версии, терпел их полемику довольно спокойно вследствие своего обычного неверия в реальное значение идей.

Мы говорили, что режим хотел во что бы то ни стало иметь свою литературу и искусство. Совместимо ли это с неверием в реальное значение идей? Мне кажется, что противоречия не возникает, поскольку перед искусством ставились, так сказать, подсобные задачи: ему полагалось иллюстрировать и воспевать достижения фашизма. Мне кажется несомненным, что «всеядность» режима вызывалась прежде всего его полной теоретической несостоятельностью: люди, разделявшие ничтожную, философски эклектическую платформу итальянского фашизма, естественно, не искали глубины, не пытались проникнуть в души и психологию современников, не желали правды. Принимались стихи, написанные в кардуччианской манере, но не отвергался и футуризм и т. д. Идейное убожество фашистской идеологии говорит само за себя.

■

Фашистская молодежь получала воспитание, соответствовавшее «доктрине вооруженной нации»: физическую закалку, привычку к дисциплине, основательную психологическую обработку. Мальчики механически зачислялись в соответствующие организации: до 8 лет — «Сын Волчицы»; от 8 до 11 — «Балилла»; от 11 до 13 — «Балилла-мушкетеры» (они упражнялись с игрушечными ружьями); от 13 до 15 — «Авангардисты»; от 15 до 17 — «Авангардисты-мушкетеры» (тут им давали уже боевое оружие); от 17 до 21 года — «Молодые фашисты»; в 21 год они входили в фашистскую партию. Такой конвейер обеспечивал огромный механический рост партии. Все юношеские организации режима, находившиеся вначале в ведении министерства народного образования, были позднее объединены в ДЖИЛ, что обозначает: итальянская молодежь Литторио*. Все, начиная от шестилетних детей, давали клятву служить фашизму до последней капли крови. ДЖИЛ была организацией чисто военного типа, командирами были офицеры фашистской милиции, возглавлял ее генеральный штаб, высшим командиром считался секретарь фашистской партии. Такие же организации, только не военизированные, существовали для девочек и девушек: от 6 до 8 лет — «Дочь Волчицы»: от 8 до 14 — «Маленькая итальянка»; от 14 до 17 — «Молодая итальянка»; от 17 до 21 года — «Молодая фашистка». Режим оказывал детям и молодежи материальную помощь (книги, завтраки, семьям — пакеты с продуктами). Вне ДЖИЛ были только университетские фашистские организации. Девиз ДЖИЛ: «Верить — повиноваться — сражаться».

При этой системе интегрального воспитания неудивительно, что фашизм использовал в своих целях и школьные учебники. Все это вызывает чувство глубокого стыда за людей, за педагогов, которые учили детей всяким глупостям и гнусностям. Вот «Книга для чтения», предназначенная для третьих классов городских школ. Герой этой книги — дуче, он присутствует решительно везде и во всем. Вот рассказ о балилле Луиджи де Мартино, который написал дуче, что мечтает о скрипке, и вскоре получает из Рима посылку, это «волшебный музыкальный инструмент его грез», который послал ему в подарок дуче. Весь квартал сбегается, чтобы посмотреть на эту скрипку, но мальчик, весь дрожа, прижимает скрипку к сердцу и бежит на берег моря. Там, наедине с величественной природой, он впервые касается смычком струн: «Ах, добрый Дуче! Каким счастливым сделал ты своего маленького балиллу» (нарисован мальчик в форме балиллы, в правой руке у него мушкет, в левой — скрипка). Другой пример: дуче на молотьбе. Он молотит изо всех сил, но вдруг слышит подле себя детский голосок; дуче наклоняется, нежно гладит ребенка по голове, а потом с новой силой принимается за молотьбу: «На нем покоятся все восхищенные взгляды: у Дуче мускулы из стали, как и его воля».

Берем учебник для четвертого класса — меняется немногое. Фашистская доктрина изложена в форме катехизиса: «Каков смысл слова «Дуче» — «Дуче» означает — тот, кто командует, вождь».— «Кто Дуче?» — «Дуче — Бенито Муссолини, создатель фашизма, обновивший все общество, вождь итальянского народа» и т. д. Еще один опус: «Свет очей». «Самая благородная и прекрасная часть человеческого тела — это голова. Самая драгоценная часть головы — это глаза». После длинного рассуждения идет

* Литторио — от латинского lictor, так назывались в Древнем Риме стражи, несшие фасции — пучки розог с торчащей среди них секирой.

афоризм: «Для Дуче молодежь Литторио — это свет его очей». Этого мало? Вот Дуче встречается с Цезарем, и они приветствуют друг друга. Да что там Цезарь, я читала, как один триестинский школьник написал в сочинении: «А сейчас по воле Дуче там, где до сих пор были пустынные болота, возник большой город, названный Рим,— столица Италии».

А вот задачи по арифметике: *«Муссолини-учитель.* Заработок Муссолини-учителя в 1902 году составлял 56 лир в месяц. Сколько в день? А в год?» *«Муссолини-каменщик.* В Швейцарии Муссолини, чтобы просуществовать, должен был работать чернорабочим-каменщиком. Он сам рассказывает об этом в своем Дневнике: «Одиннадцать часов работы в день, 32 чентезима в час, 121 путешествие с тачкой, наполненной камнями, на воздвигаемые этажи». Сколько лир в день? В неделю? Сколько путешествий с тачкой в месяц?

Фашисты не стесняясь препарировали историю и мифологию. Как известно, по преданию, Ромул убил своего брата Рема. Это фашистским педагогам не нравилось, и они придумали свой вариант: Ромул потребовал повиновения и точного соблюдения законов, которые он устанавливает. Как только Рем нарушил его приказ, Челере, друг Ромула (?!), не сумел сдержать негодования и убил Рема. Увидев это, Ромул стал рыдать и стонать: «Брат мой, Рем, открой свои глаза, душа моя, друг мой» и т. д. и т. д.

Иногда какой-нибудь мелкий эпизод, штрих, деталь красноречивее говорят о «стиле жизни» и об уровне культуры, чем целые трактаты. Мне хочется привести несколько примеров. Есть такой историк-фашист, так сказать, официальный биограф Муссолини — Ивон Де Беньяк. В своей книге «Палаццо Венеция» он рассказывает о фашистских кадрах: «Тот, кто пишет эти страницы, встречал везде понемногу этих «избранных», абсолютно невежественных в том, что касается нашей истории и культуры... Тот, кто пишет эти страницы, видел консулов, генеральных консулов, министров — фашистов, которые вызывали смех у культурных иностранцев и своим невежеством дискредитировали революцию, послужившую им для того, чтобы добиться высоких окладов» *.

В марте—апреле 1930 года в палате широко обсуждался бюджет министерства народного образования. В газетах писали, что фашизм создает новую философию. Однако во время прений произошел инцидент. Депутат Паоло Орано заявил, что жизнь более не нуждается в философии, философ по своим мыслительным данным принадлежит к низшему человеческому типу, а «учение Муссолини — не философия, но вера». На это министр народного образования, профессор философии Бальбино Джулиано возразил, что нет оснований опасаться, что фашизм исчерпает себя в философии, ибо «среди фашистов — так угодно богу — есть бесконечное число людей, не знающих, что такое философия. Все философии могут иметь и имеют права гражданства при нашем режиме... разумеется, имеет право гражданства и та точка *зрения, которая отрицает* самое философию»*. Затем Джулиано добавил, что никакой официальной философии фашизм не имеет, ибо он, как всякое движение религиозного характера, не должен замыкаться в тесные рамки какой-нибудь одной теории. Общей для всех является только вера в идею и преданность дуче.

Как известно, у фашистов был тезис, согласно которому утверждается превосходство действия над мыслью. По этому поводу секретарь фашистской партии Роберто Фариначчи сказал: «Мы совершили революцию и, полные ненависти к спокойной, удобной жизни, продолжаем ее каждый день, каждый час: мы совершаем перманентную революцию. Если деятели культуры, философы, поэты, художники хотят украшать ее — пожалуйста; но пусть будет совершенно ясно, что мы отнюдь не нуждаемся в их произведениях» **. Эта тирада, вероятно, была произнесена сгоряча, поскольку Фариначчи, как и остальные иерархи, был заинтересован в создании фашистской культуры (в своей вотчине, провинции Кремона, он устраивал художественные выставки, конкурсы, раздавал премии), но он был экстремистом, его заявление отразило глубокое презрение фашизма к *роли идей,* о котором иногда пишут итальянцы. В довершение надо заметить, что Муссолини однажды, когда Кроче уже перешел в оппозицию к фашизму, заявил публично, желая подчеркнуть свое презрение к нему, что никогда не прочел ни одной страницы Кроче. Это не помешало ему, однако, в другой раз похвастаться, что он читал «всего Кроче».

В 1931 году президентом Итальянского философского общества стал академик Франческо Орестано, известный, в частности, тем, что еще в 1932 году он объявил, что является Д'Аннунцио философии. Войну он называл «мистицизмом высшего стиля» и претендовал на то, чтобы, наряду с Джентиле или даже вытеснив его, стать официальным философом фашизма. 26 октября 1933 года на национальном философском конгрессе академик Орестано, как пишет Эудженио Гарин, вынес строгий приговор диалектике и логике вообще. Он говорил о божественном даре «целиком итальянского гения, бесстрашно бросившего вызов противоречиям в понятиях». Этот гений, само собою разумеется, носил имя Бенито Муссолини.

В связи с этим замечу еще, что в авторитетном научном органе — «Психологическом журнале» сразу после «похода на Рим» была напечатана статья, озаглавленная «Психология фашистской революции». В статье были перечислены «методы», применявшиеся фашистами: избиения, насилия и кастор-

* Цитирую по Alberto Aquarone. L'organizzazione dello stato totalitario. Einaudi, 1965, p. 74.

* R. Papa. Storia di due manifesti. Feltrinelli Editore, 1958, p. 72.

** Francesco Flora. Ritratto di un ventennio, p. 55.

ка; касторка приводилась как пример «политической тонкости фашистских руководителей», а весь переворот в целом определялся как «спокойная моральная революция», что вполне соответствовало формуле Джентиле насчет моральной силы дубинки.

■

Возвращаясь к положению в литературе и в культуре, надо отметить, что в рамках общей политики режима по отношению к интеллигенции существовали отклонения, существовал элемент случайности. Муссолини тоже не всегда вел себя одинаково. Хотя он умел быть величайшим хамом (чего стоит знаменитое заявление, что он может в любой момент превратить тупой и бесцветный парламент в солдатский бивуак!), порою он вел себя иначе. Мне хочется привести два примера.

Первый — история с писателем Коррадо Альваро. В 1922 году Альваро активно сотрудничал в антифашистской газете «Мондо», той самой, которая позднее опубликовала «контрманифест» Кроче. Когда в 1925 году «Мондо» закрыли, Альваро испытал кучу всяких неприятностей. Хотя он никогда не был активным политическим антифашистом, морально он стоял на антифашистских позициях и был приговорен к ссылке в глухую провинцию Аспромонте. Альваро так пишет об этом: «При той политике, которую они проводили по отношению к писателям, я мог широко пользоваться их благодеяниями». Он не пожелал этого, но воспользовался терпимостью, которую кое-кто проявил по отношению к нему, и в 1927 году временно уехал в Германию. Ромен Роллан печатал его в своем журнале «Эроп». Потом Альваро вернулся на родину и поселился там, где ему было предписано; в 1930 году вышла его повесть «Люди из Аспромонте». И вот однажды на приеме в бразильском посольстве в Риме Муссолини в разговоре с послом очень лестно отозвался о книге Альваро. Мгновенно все изменилось. Альваро вспоминает, что в то время он мог сделать головокружительную карьеру, но предпочел остаться в Аспромонте (с людьми, которых научился уважать и ценить). Альваро пишет, что Муссолини несколько раз выражал желание увидеть его, но Альваро не поехал, потому что боялся и не желал общаться с власть имущими. Альваро отказался взять членский билет партии, не пожелал никаких почестей, но принял крупную литературную премию «Ла Стампа».

Второй пример — интервью, которое в июле 1933 года Муссолини дал для американской прессы (оно было напечатано 4 июля в «Пополо д'Италия»). В этом интервью, озаглавленном «Возвращение к земле», Муссолини, говоря о роли крестьянства в современной Италии, высказался против «литературной Аркадии» и писателей, изображающих тяжелый крестьянский труд в совершенно идиллических красках. Крестьяне, заявил он, презирают лживую литературу, подобно тому как солдаты в окопах презирают описания с «couleur locale».

Но это демагогия: фашисты не хотели суровой правды, они хотели, чтобы литература и искусство отражали те «новые ценности», которые фашистский режим в риторическом экстазе навязывал несчастной Италии. Они неглупо вели себя по отношению к научной верхушке. Режим встал в позу покровителя науки, был создан Национальный совет по научным изысканиям под председательством Гульельмо Маркони, который в 1930 году стал президентом Академии. Решение создать Академию было принято еще в 1926 году, но осуществлено оно было только через три с половиной года. Всего было 60 академиков, распределенных по четырем секциям, они получили большие оклады, кроме того, Академия могла присуждать премии и располагала значительными фондами. Поскольку фашизм выступал под знаменем самого отъявленного национализма, это импонировало известной части деятелей «высокой культуры», которым отчасти нравились также заявления режима о его уважении к традициям и классицизму. Разговоры о классицизме начались после того, как футуризм, выступавший в самом начале как официальное искусство фашистского режима, утратил всякое реальное влияние. Короче говоря, к началу тридцатых годов этот режим, запятнавший себя политическими убийствами, замаранный кровью, бывший в 1924—1925 гг. на краю гибели, консолидировал свои позиции, добился некоторого внешнего престижа и сумел, ловко соединяя методы кнута и пряника, утвердиться в стране.

Если вдуматься, не вызывает особого удивления тот факт, что верхушка буржуазной интеллигенции, высокопоставленные мужи науки в какой-то момент увидели в фашистском режиме некоторые «положительные» стороны и в Муссолини — «тирана, с которым можно прийти к полюбовному соглашению». В конце концов по своим социальным связям и по своему положению в обществе эта категория была ближе всего к тем группам крупной буржуазии, которые породили, поддерживали и использовали фашизм. Им не нравился его «экстремизм», кровавые и грязные его деяния, но после того, как режим нарядился в тогу внешней благопристойности, примирился с Ватиканом, высказывается за национальные традиции,— почему бы и нет? Многие ли из них думали тогда об оборотной стороне медали, о том, что представляет собой пресловутый корпоративный режим, какова настоящая цена фашистской демагогии, что принесет фашизм итальянскому народу? Надо полагать, немногие.

■

Вернемся, однако, к литературе и к литературным журналам. В том же 1926 году, когда в Риме начал выходить журнал «900», а во Флоренции — «Солярия», в Болонье был основан политико-литературно-

художественный журнал «Итальяно», просуществовавший до 1942 года. Его редактором был Лео Лонганези, одаренный литератор, фашист, сотрудничавший одно время в «Сельваджо» Маккари, но во всех отношениях человек другого склада. «Итальяно», у которого был подзаголовок «Ежемесячный журнал фашистской революции», занял позицию изящного скептицизма, который не только не вредил фашистскому режиму, но, напротив, устраивал его, создавая видимость существования некой оппозиции. Тот же тон характерен и для других журналов Лонганези — «Омнибус» (1937—1939) и «Оджи» (1940—1942), который, впрочем, выходил под редакцией другого лица, после того как по распоряжению министра культуры «Омнибус» закрыли. Казалось бы, удивительно, что закрыли фашистский литературный журнал, но в эти годы режим не хотел допускать даже невинной критики и сатиры по своему адресу. А вокруг Лонганези независимо от его воли группировалась молодежь, которая гораздо дальше, чем он, выходила за пределы чистого развлекательства и изящной иронии.

В 1929 году между фашистским правительством и Ватиканом был заключен конкордат, и это оказало значительное влияние на внутриполитическое положение в стране. Фашизм, примирившийся с церковью, предоставил католикам широкую возможность активно участвовать в социальной и культурной жизни страны, и они пошли на это весьма двусмысленное сотрудничество с фашистской партией. Именно в этих условиях 26 мая 1929 года во Флоренции вышел первый номер журнала «Фронтеспицио», не поступивший в продажу (он появился просто как библиографический бюллетень флорентийского книгоиздательства), второй номер вышел в сентябре, и «Фронтеспицио» стал выходить регулярно.

Журнал имел большой и быстрый успех, в особенности у средней буржуазии. К группе «Фронтеспицио» принадлежали литераторы разных поколений и среди них многие писатели ярко выраженной католической тенденции. Можно ли говорить о программе «Фронтеспицио»? В известной степени эта программа яснее, чем платформа других литературно-культурных журналов: она окрашена реакционным клерикализмом. Не случайно в первых же номерах воспевается итальянская *католическая* народная традиция. В чисто литературном плане здесь сплошная эклектика — соединение мотивов «страпаэзе» и «страчитта», прямые контакты с наиболее живой католической мыслью других стран, в особенности — Франции. Журнал выступал за «спиритуализм», против любых форм рационалистического мышления. Все это делалось с некоторым блеском и обеспечивало успех у читателей, но было весьма далеко от подлинных духовных исканий.

«Фронтеспицио» вел полемику против модернизма как в чисто религиозном плане, так и в литературном — во имя какой-то гипотетической «европейской католической культуры». В первые годы своего существования он сравнительно осторожно завоевывает позиции, выдвигая на первый план католические культурные традиции. Это умеренный консерватизм, пока еще группа «Фронтеспицио» не переходит в наступление. Но за журналом стоят такие люди, как Джованни Папини и Арденго Соффичи, они оказывают большое влияние на развитие журнала, и на определенном этапе позиции «Фронтеспицио» по ряду пунктов все более явственно совпадают с откровенно фашистскими позициями. Когда Муссолини развяжет итало-абиссинскую войну и его осудит вся европейская демократия, католический журнал «Фронтеспицио» прекратит всякие контакты с теми католиками других стран, которые возмущены итальяно-фашистской агрессией. Мы читаем на его страницах все те же лицемерные, наглые и насквозь демагогические аргументы, которые в то время выдвигала фашистская пропаганда.

Новая политическая позиция «Фронтеспицио» находит немедленное отражение в литературе. «Так называемая литература элиты, болезненная и нездоровая, мутная, в сути своей сексуальная (и гомосексуальная); эта декадентская, двусмысленная, безвольная литература; эта бессмысленная псевдодуховная смесь разных теорий: околокоммунистических, христианско-большевистских, языческих, философии йогов,— одним словом, вся эта арелигиозная и безнравственная литература в лице своих самых крупных и самых ничтожных представителей ополчилась против католической и фашистской Италии». Так писал «Фронтеспицио» в январе 1936 года. И дальше — в еще более агрессивном и наглом тоне — о «большевиствующих», о евреях, о масонах, о протестантах, которые клевещут на «Италию Муссолини». Католический литературный журнал яростно нападал на политических идейных врагов итальянского фашизма.

Однако «католические гориллы», сотрудничавшие с фашистским режимом, не заметили, что в их собственных недрах появились и постепенно набирали силу молодые писатели, настроенные нонконформистски. Я имею в виду так называемых герметиков. Уже в «сумеречной» поэзии были некоторые элементы, характеризовавшие впоследствии поэтику итальянских герметиков, в частности отказ от традиционных форм стихосложения, от чрезмерной музыкальности, от пышности,— отстаивали «целомудренность слова», противопоставляемую д'аннунцианскому напыщенному красноречию. У герметиков стремление противопоставить официальной фашистской культуре или псевдокультуре свои зашифрованные, не легко доступные, но высокие поэтические ценности было очень сильно. Самый термин «герметизм» возник в 1936 году, когда вышла книга Франческо Флоры «Герметическая поэзия». В последующие годы вокруг герметиков было множество споров. Известный литературовед-марксист Адриано Серони, анализируя сущность герметизма, выделяет два его момента: тягу к «чистому искусству» и католический мистицизм. Крупнейший

критик Луиджи Руссо обвиняет герметиков в том, что они в отношении социальных и политических вопросов занимали «авентинскую», то есть моральную, но пассивную позицию. Ортодоксальные католики-консерваторы, поддерживавшие фашистский режим, предоставляя страницы своего журнала молодым писателям этого толка, вероятно, вначале не понимали даже, что делают. Какой бы ограниченной ни была оппозиционность поэтов-герметиков, она все же была оппозиционностью. Когда герметики все в том же 1936 году заявляли: «Все, что не является стилем, нас не касается»,— это было и пассивным неприятием фашистской действительности, и бегством от нее, и ставкой на некий духовный аристократизм и самостоятельность. Флора обвинил герметиков в том, что они в своей поэзии сознательно стремятся к oscurità — неясности, непонятности, и в этом обвинении был элемент правды, но не вся правда.

Наступил момент, когда молодые авторы «Фронтеспицио» силой обстоятельств пришли к необходимости прервать сотрудничество с этим журналом. Немецкий расизм возмутил совесть очень многих, даже политически умеренных представителей итальянской интеллигенции. В 1935—1936 гг. зрело недовольство, а когда в 1938 году фашистская Италия также начала проводить расистскую и антисемитскую политику, это вызвало в стране сильную реакцию. Вскоре после того, как Гитлер в мае 1938 года прибыл в Рим с официальным визитом, начались первые антисемитские мероприятия. 14 июля группа «фашистских ученых» выступила в печати с расистским манифестом, в котором пыталась подвести теоретическую базу под преследование евреев. Эти «ученые» — антропологи, зоологи, патологоанатомы, физиологи (всего их было десять человек) — «определили позицию фашизма в расовом вопросе». Впоследствии некоторые из них пытались оправдаться тем, что их просто заставили подписать документ, заранее выработанный руководством фашистской партии, однако большинство из них активно сотрудничало в созданном в то время журнале «Защита расы». Осенью 1938 года фашистское правительство приняло целый ряд расистских законов.

Интересно, что сегодня буквально все историки (разных политических убеждений, кроме, разумеется, неофашистов), анализируя обстоятельства краха итальянского фашизма, указывают на расистские законы, как на одну из серьезнейших причин: именно это вызвало крайнее недовольство и неодобрение в очень широких слоях населения, в частности католического. В свете всего этого надо рассматривать разрыв герметиков с журналом «Фронтеспицио». В сентябре 1938 года молодой критик Карло Бо опубликовал статью «Литература как жизнь», она была воспринята как манифест группы. Бо писал о необходимости искать синтез между литературой и жизнью во имя нравственного идеала и цельности. Когда молодые католические писатели ушли из «Фронтеспицио», редактор журнала Барджеллини обрадовался до такой степени, что в декабрьском номере написал почти неправдоподобную статью под заголовком «Еле спасшийся от смерти». В ней он говорил о своем долготерпении, обо всем, что ему приходилось выдерживать на протяжении десяти лет. Отныне он мог без помех проводить откровенно реакционную линию безоговорочной поддержки фашизма.

Было бы интересно проследить или хотя бы сжато охарактеризовать другие литературные журналы и позиции группировавшихся вокруг них людей, но я ограничусь тем, что было до сих пор сказано; представление о тенденциях и о настроениях интеллигенции в тот период, надеюсь, дано. Конечно, деятельность этих журналов и групп в предвоенные годы отражала сложные процессы, происходившие в сознании людей, в частности того поколения, которое духовно сформировалось при фашизме. Выше говорилось о разветвленной системе воспитания, охватывающей детей, подростков и юношество. Надо еще упомянуть, что начиная с 1934 года во Флоренции ежегодно проводились так называемые «литториали культуры и искусства», то есть конференции, на которых представлялись письменные доклады и шли устные дебаты. Темы были главным образом политические или связанные с литературой и искусством, победившие студенты получали звание ликтора. На эту молодежь фашизм делал серьезную ставку, рассчитывая выковать из нее свои будущие руководящие кадры. Однако именно эта молодежь, воспитывавшаяся, как тогда выражались, «в героической атмосфере Литторио», оказалась подверженной влиянию иных идей. Все материалы о «литториали» имеются, из них явствует, что все было не гладко и не просто, и нередко в выступлениях на отвлеченные эстетические темы звучали антифашистские ноты. То же было и в многочисленных студенческих журналах. Можно установить некоторые аналогии и связи между этими студентами и молодыми писателями, сотрудничавшими в те годы в журналах «Леттература», «Кампо ди Марте», «Корренте», «Проспеттиве» и т. д.

Существовало еще одно очень любопытное явление, о котором надо хотя бы бегло упомянуть,— так называемый левый фашизм. Самым ярким его представителем был Джузеппе Боттаи, один из крупнейших фашистов, член Большого совета и министр. Его называли «интеллектуальным иерархом фашизма»: писатель, журналист, профессор «корпоративного права», автор многих книг, он основал журналы «Критика фашиста» и «Примато». Влияние, которое Боттаи оказывал на интеллигенцию, было несравненно более тонким и более опасным, чем грубое и примитивное воздействие «официальной» фашистской культуры.

Боттаи обвиняли в том, что он стремится к «ревизии» фашистского учения, поскольку он претендовал на известную интеллекту-

альную независимость. Еще в 1928 году в речи на тему «культура и действие» он говорил о необходимости установления новых взаимоотношений фашизма с академическими кругами. Высказываются очень разные предположения о причинах и корнях «ревизионизма» Боттаи. Может быть, в какой-то мере за ним стоял сам Муссолини, любивший в своей политической игре одновременно ставить на разные карты. Возможно, однако, что эта позиция была выражением его личной точки зрения и он был рупором серьезного недовольства, существовавшего внутри фашистского движения.

Как бы то ни было, Боттаи пытался, и вполне успешно, установить контакты с видными представителями серьезной академической культуры, оставшейся вне сферы влияния фашизма, и талантливой молодежью. Выдвигая идею примата итальянской культуры в международном масштабе, он в то же самое время решительно выступал против идиотского официального лозунга «культурной автаркии». Это многим представителям буржуазной интеллигенции очень импонировало. Создалось чрезвычайно двусмысленное положение: Боттаи на страницах своих журналов предоставлял широкое гостеприимство оппозиционно настроенным интеллигентам, а они шли на это сотрудничество, смутно рассчитывая на то, что под крылышком «левого» и чрезвычайно влиятельного Боттаи смогут, хотя и в замаскированной форме, выступать с неконформистских позиций. В общем, журналы Боттаи были попыткой установления сотрудничества между фашистской культурой и буржуазной культурой «вне идеологий» во имя возрождения традиционной роли Италии как центра цивилизации и искусства. В самом факте сотрудничества был некоторый элемент уступки и сдачи моральных позиций. Однако с наступлением войны двусмысленность позиции Боттаи стала очевидной, иллюзии развеялись, и большинство талантливой молодежи отшатнулось от «левого фашизма». Многие из них стали потом участниками Сопротивления.

Духовное формирование молодежи последнего предвоенного поколения бесспорно было драматическим: с одной стороны, на нее оказывали несомненное влияние «фашистские мифы», ибо она выросла в атмосфере тоталитарного режима, с другой стороны, были настроения некоторой фронды, не выходившие за допускаемые в общем рамки (фашизм проявлял по отношению к молодежи нечто вроде либерализма), и, наконец, зрели явственно антифашистские настроения, и не только чувства, но и взгляды. Все это развивалось противоречиво. Для того чтобы моральный и духовный кризис этой молодежи созрел, понадобились трагические события войны.

В конце тридцатых годов внутриполитическое положение фашистского режима ухудшилось. Был момент подъема, когда Муссолини добился консолидации своей власти, установление империи отвечало националистическим чувствам мелкой буржуазии, и фашистской демагогии удалось в это время воздействовать и на некоторые слои народа. Но угар прошел очень быстро, и режим, во всем его парадном и чисто внешнем блеске, стал давать трещины.

Между тем контроль над прессой, над литературой и культурой не только возрастал, но и делался все более бюрократизированным. Существовал государственный комитет печати и пропаганды, состоявший из трех отделов: итальянская печать, заграничная печать, пропаганда. Он подчинялся лично Муссолини. Впоследствии ему придали новые функции (театральную, музыкальную цензуру и пр.), и в 1937 году он был преобразован в министерство культуры (Ministero della cultura popolare), которое насмешливые итальянцы тотчас переименовали в «Минкульпоп». В первый же год Минкульпоп проверил 12 431 книгу и конфисковал 374 публикации как «несоответствующие политическим, социальным и экономическим установлениям государства и оскорбляющие общественную мораль» *.

Минкульпоп создал также позорную комиссию для «очистки книготорговли». Председательствовал министр, членами комиссии были академики (в том числе Маринетти) и префекты полиции. Фактически был создан индекс запрещенных книг, которые конфисковывались, в него попали, в частности, Гоголь, Толстой и Тургенев. Фашисты хотели силой преградить дорогу мысли. В связи с этим надо заметить, что литературная контрабанда, попадавшая все же на страницы итальянских журналов и в книжные магазины в самые мрачные годы, играла очень большую роль в формировании взглядов интеллигенции и молодежи. Есть точные свидетельства деятелей итальянской культуры, в частности Итало Кальвино, о том, какое впечатление на них произвели, например, «Условия человеческого существования» Мальро, романы американских писателей «потерянного поколения», «Разгром» Фадеева. Можно легко представить себе, какие мысли и чувства возникали в сердцах молодежи, читавшей подобные книги, когда она сопоставляла их с риторикой дуче: «Фашизм не рассуждает, а сражается: его пропаганда — это действие, схватка, карательная экспедиция».

До сих пор в этой статье не упоминалось имя Акилле Стараче. Назначенный секретарем фашистской партии в декабре 1931 года, он оставался на этом посту так долго, что говорят об «эре Стараче». Надо полагать, что, назначая его, Муссолини знал, что делал: поскольку он всегда (сознательно или бессознательно) стремился к режиму личной власти, ему нужен был именно такой человек — подхалим, хам и тупица. Итальянские историки единодушны в оценке Стараче, разница лишь в том, что историографы фашистского толка видят в нем одного из главных виновников разложения партии и ослабления режима, а прогрессивные историки — эмблему, символическую фигуру. Стараче усиленно насаждал в стра-

* Alberto Aquarone. L'organizzazione dello stato totalitario, p. 270-271.

не «фашистский стиль жизни», и нельзя не привести кое-какие примеры этого стиля.

Когда в 1932 году фашизм праздновал десятилетие своего пребывания у власти, был утвержден и опубликован новый устав партии. Главным новшеством явилась одна типографская тонкость: слово «дуче» было набрано жирным шрифтом. Газета «Пополо д'Италия» разъяснила, что речь идет не о простой формальности: жирный шрифт явится лишним подтверждением любви и обожания, которое народ испытывает к дуче, восхищения «его гением, его сердцем, его неукротимой волей». 8 февраля 1933 года Стараче издал служебное распоряжение, гласившее: «Предписываю, чтобы во всех официальных бумагах слово ДУЧЕ всегда писалось заглавными буквами».

Стараче тщательно воспитывал свои кадры. Приведу один лишь пример: в 1935 году в Болонье секретарь провинциальной фашистской федерации (этих секретарей называли «федерале»), некий Леати, произнес перед группой профессоров и педагогов замечательную речь о том, надо ли мыслить. Он сказал текстуально следующее: «Кто слишком много рассуждает, тому грозит опасность пытаться объяснить решительно все, даже исходящее от дуче, что является огромной дерзостью». Леати разъяснил свою точку зрения: дерзость потому, что такой человек ставит себя как бы рядом с дуче, в то время как между Муссолини и другими смертными «дистанция просто астрономическая». И — апофеоз: «Если мозг отказывается понимать, его должно заменить сердце». Думаю, впрочем, что федерале Леати не был оригинален — в конце концов, начало положил не этот ничтожный фашистский бюрократ, а знаменитый философ Джентиле, говоря на конгрессе «фашистской интеллигенции» в Болонье насчет мистики души.

В конце тридцатых годов Муссолини провозгласил: «Сейчас революция должна глубоко проникнуть в нравы. В этом смысле исключительно важным является введение «римского шага»... Надо провести и другие аналогичные мероприятия, и мы легко уничтожим остатки скептицизма у слабоумных, «отечественных и заграничных». Знаменитый римский шаг появился после того, как Муссолини ездил в Германию для встречи с Гитлером и увидел прусский шаг. Отставать от немцев он, конечно, не пожелал. Римский шаг смахивал на клоунаду, но Муссолини утверждал, что он «выражает мощь, гордость и воинственный дух фашизма». Так он заявил на военном параде в 1938 году, когда впервые продемонстрировали римский шаг. Народ посмеивался, старые военные злились, король также был недоволен, но Муссолини настоял на своем. Римский шаг ввели.

Поскольку регламентировалось решительно все, а «слабоумные скептики» еще существовали, фашизм, отдавая распоряжения прессе, естественно, касался и нравов, и науки, и искусства. Наряду с политическими директивами и указаниями вроде «Возобновить кампанию против мух» или «В заметках о матчах и о чемпионате по футболу не нападать на судей» было много вещей, непосредственно относившихся к литературе и театру: «Не очень выделять манифест Маринетти», «Не публиковать больше интимных писем д'Аннунцио», «Не обсуждать уместность или неуместность постановки в Италии пьесы Мориака «Асмодей», «Не заниматься антологией современных миланских поэтов, составленной С. Пагани, издательство Ческина», «Ни в коем случае не рецензировать книгу Элеоноры Делла Пура «Школьник Бенито Муссолини», «Не заниматься обсуждением итальянских писателей и политических деятелей — возможных кандидатов на Нобелевскую премию, даже если их имена называет иностранная печать». В связи с этим — забавная деталь: Коррадо Альваро, со слов своего приятеля, бывшего много лет театральным фашистским цензором, рассказывает, что Муссолини терпеть не мог Луиджи Пиранделло и очень завидовал ему, так как сам мечтал о получении Нобелевской премии.

Теперь — об одной очень важной вещи, говорящей с предельной выразительностью о политике фашизма по отношению к интеллигенции и о поведении этой интеллигенции старшего поколения. 8 октября 1931 года был опубликован текст присяги на верность фашизму, которую должны были принести все профессора и доценты университетов, всего около 1250 человек. Присяга гласила: «Клянусь быть верным королю, королевским наследникам и фашистскому режиму, соблюдать статут и другие законы государства, выполнять педагогическую работу и все академические обязанности с целью воспитания усердных, честных, преданных родине и фашистскому режиму граждан. Клянусь, что я не принадлежу и не буду принадлежать к ассоциациям или партиям, чья деятельность не соответствует выполнению моего долга» *.

Из 1250 нашлось *только 11 профессоров,* которые отказались принести присягу на верность фашизму и расстались со своими кафедрами. Мне хочется назвать их имена и дисциплины, которые они преподавали: Джузеппе Антонио Борджезе (эстетика, Милан), Эрнесто Буонайюти (история христианства, Рим), Марио Каррара (судебная медицина, Турин), Гаэтано де Санктис (древняя история, Рим), Джорджо Эррера (химия, Павия), Джорджо Леви делла Вида (семитские языки, Рим), Пьетро Мартинетти (философия, Милан), Бортоло Негриеоли (хирургия, Болонья), Франческо Руффини (церковное право, Турин), Эдоардо Руффини-Авондо (история права, Перуджа), Лионелло Вентури (история искусств, Турин). Был двенадцатый профессор, находившийся в то время за гра-

* Alberto Aquarone. L'organizzazione dello stato totalitario, p. 179.

нищей; вернувшись в Италию, он тоже отказался принести присягу,— к сожалению, не могу сейчас разыскать его фамилию.

Обо всей этой истории в Италии много пишут до сих пор, даются разные объяснения: соглашались принести присягу, чтобы остаться в университетах и не отдать свои кафедры отъявленным фашистам; считали присягу пустой формальностью и не желали из-за нее расстаться с любимым делом; порою честно ссылаются и на житейские мотивы: профессура — специалисты высокого класса, они привыкли и имеют право жить в условиях материального благополучия, и т. д. Не подлежит сомнению, что фашисты извлекли из истории с присягой большой политический капитал. Помимо всего прочего, это был вопрос престижа: вся профессура, весь цвет итальянских университетов безропотно подчиняется требованию режима. Это массированное присоединение научной элиты окрылило фашистскую пропаганду внутри страны и за ее пределами. Надо ли говорить, какое впечатление это произвело на чуткую молодежь и какую горечь вызвало у всех антифашистов, находившихся в подполье или в эмиграции.

Но я думаю об этих двенадцати. Ведь они не были активными антифашистами, не ушли в подполье, не уехали за границу, придерживались, очевидно, умеренных политических взглядов. Шестеро из них в 1925 году подписали «контрманифест», об умеренном и «оборонительном» характере которого я писала. И вот эти двенадцать профессоров нашли в себе достаточно мужества, чтобы не подчиниться унизительному требованию фашистов. Никто из них не был арестован, ограничились тем, что убрали их из высшей школы; как они жили после этого, как кормили свои семьи, не знаю, но они *оказали сопротивление*. Напоминаю, что это конец 1931 года, когда фашизм давно овладел командными высотами во всех отраслях национальной жизни и даже пользовался значительным международным престижем. Эти люди жили в разных городах, никак не были объединены между собой и понимали, что возмездие наступит немедленно и неотвратимо,— а они не знали, в чем оно выразится, и пошли на серьезный риск, повинуясь требованию совести. Во всех двенадцати случаях это решительный индивидуальный акт, это человеческое достоинство, которое люди решили защищать перед лицом вооруженного до зубов, обладающего всей полнотой власти, мстительного и циничного фашистского режима.

Как хорошо для чести итальянской культуры, что нашлось двенадцать профессоров, сумевших сказать «нет», когда остальные покорно говорили «да». Представим себе на минуту, что так поступили бы не единицы, а сотни,— каким серьезным ударом была бы такая демонстрация для фашизма. К сожалению, все произошло иначе, и Грамши сказал однажды, что конформизм существовал всегда. Были и другие люди, не ставшие конформистами, были писатели, журналисты, педагоги, которые отказались от подачек фашизма (а Муссолини был щедр по отношению к тем представителям интеллигенции, кто служил ему) и предпочли лишения, тюрьму и ссылку. Назову некоторые имена: Карло Леви, Коррадо Альваро, Чезаре Павезе, Франческо Флора. Писатель Пьеро Жайе, пользовавшийся большой известностью, не пожелал заниматься литературой в условиях фашистского режима и пошел служить на железную дорогу.

В 1936 году большой шум наделал судебный процесс над профессором Аугусто Монти и группой его учеников; недавно Монти скончался, и о нем вспоминают с большой теплотой и уважением. Фашисты арестовали издателя Джулио Эйнауди, следили за его сотрудниками, многие из которых впоследствии стали участниками Сопротивления. И опять-таки, как хорошо для чести итальянской культуры, что вклад, внесенный интеллигенцией в боевой антифашизм во время Сопротивления, пропорционально был очень велик.

И все-таки... 26 августа 1943 года, через месяц после свержения Муссолини, когда на Юге высадились войска союзников, а Север был оккупирован гитлеровцами и в стране шла гражданская война, в газете «Коррьере делла сера» появилась статья Франческо Флоры, озаглавленная «Достоинство писателя». Она начиналась так: «Разве есть кто-нибудь среди людей и даже среди тиранов, кто может отнять у писателя чувство достоинства в его литературном труде? Рабство писателя всегда добровольно, даже если оно пассивно. Поэтому воистину ничто не может послужить оправданием тем, кто запятнал это достоинство, присущее священной природе слова. Мы не хотим сейчас говорить о тех, кто непоправимо опозорил свое звание писателя, стряпая и продавая теорийки, в которых восхвалялись как моральные самые зловещие формы злоупотреблений и насилия; тех, кто фальсифицировал исторические факты, чтобы удовлетворить желания и капризы неотесанных хозяев. Этих можно сравнить лишь с теми, кто, говоря языком религии, убил свою душу,— не знаю, как сумеют они искупить свои поступки. Но сейчас мы не станем говорить о них»...

Он хочет говорить о другом: о тех писателях, кто очень легко, почти безболезненно решился принять подачки, которые предлагали им «развратители». Флора пишет: «Трудно было спастись (и это удалось немногим) в той атмосфере лжи, которая царила во всей общественной жизни, в печати, радио, кино, в атмосфере постоянной парадности, когда насилие и произвол выступали под нарядными масками; когда казалось, что все, предоставляемое нам, мы имели лишь по милости одного лица, которому обязаны были вечной благодарностью». И в самом деле, слова благодарности грохотали во всех концах Италии, в то время как тучи шпионов подслушивали уличные и телефонные разговоры, нарушая тайну любовной переписки.

Флора пишет о смеси безразличия и

отчаяния, о лицемерии, о страхе, о мелком тщеславии, об океане глупости, о том, что писатели должны были повседневно, упорно бороться, если не хотели уступить и поддаться, и большинство не выдерживало. Фашисты запугивали и грозили — это было одним из постоянных приемов, к которым они прибегали. Но были и другие приемы — приманки и ловушки. Членский билет фашистской партии обеспечивал по крайней мере возможность заниматься своей профессией; можно было при помощи властей рассчитывать на похвалы газет и журналов; маячил самый большой мираж — Академия и меньшие миражи — премии, которые давались за подлинные или мнимые заслуги и верность режиму. Никогда, пишет Флора, в Италии не было стольких премий, и кто-то из его друзей заявил, что мечтает о короткой эпитафии: «Он не получил ни одной литературной премии».

Эта статья, написанная Флорой — повторяю — в момент, когда борьба была еще не закончена, полна гнева и горечи, Флора пишет о грубом вмешательстве государства и фашистской партии в культуру и искусство, когда давались указания, как должны выражаться персонажи романа или драмы, когда творческое воображение писателя регулировали: о некоторых вещах писать запрещалось,— например, о самоубийствах. «Я считаю,— пишет Флора,— одним из самых позорных для деятелей культуры дней тот день, когда университетские профессора впервые отправились получать «директивы» у фашистского функционера».

Он приводит множество фактов, страшных в своей зримой конкретности: как поэты восхищались банальными стихотворениями дуче; как ученые, всю жизнь занимавшиеся античностью, заявляли, что, лишь выслушав лекцию Муссолини, они поняли наконец историю Рима; как многие писатели не видели для себя ничего зазорного в том, чтобы ежемесячно получать субсидии от Минкульпопа. Исключительно интересны рассуждения Флоры о стиле: «Кто хочет понять причину столь распространенного вялого, скользкого, сомнительного стиля, пусть ищет ее в утраченном достоинстве писателя; в отказе мыслить, спорить об идеях и действиях; в молчаливом или явном обещании угодничать перед власть имущими; в круговой поруке, на которую, разумеется, были обречены те немногие группы, которым разрешалось иметь свои журналы и издательства; в совместном ожидании премий и субсидий, в результате чего люди, принадлежавшие к разным группам, в конце концов начинают походить друг на друга: у них появился общий жаргон, общий круг тем...»

Флора беспощаден в своих суждениях и оценках, он решительно не верит в то, что писатели могли «спастись», уйдя в «чистое искусство»: «Башня из слоновой кости? Слишком часто они выходили из нее, чтобы воскурить фимиам хозяевам и чтобы насытить свою утробу» *. Он заканчивает страстным призывом вернуть литературе ее чистоту и правдивость, вернуть писателям их бескорыстие, презрение к компромиссам, чувство собственного достоинства.

■

Мне хотелось привести как можно больше фактов, потому что они сами говорят за себя. Эти факты не подобраны для иллюстрации заранее оформившейся концепции, я не группировала их специально. Единственное, что руководило мною,— глубочайшая внутренняя убежденность в идейном и моральном убожестве итальянского фашизма и в том, что, пока существуют неофашисты, все это настоятельно требует изучения. Еще в 1928 году Тольятти писал, что фашизм надо рассматривать не только с историко-социально-политической, но и с *психологической* точки зрения. Вопрос о моральной позиции творческой интеллигенции, ее элиты по отношению к фашизму имеет важнейшее значение. Если мы можем отчетливо представить себе политическую мозаику того времени, роль партий, их подпольную борьбу, борьбу в эмиграции и т. д., если мы много знаем о движении Сопротивления, в особенности когда оно вылилось в форму партизанской войны, то положение в культуре несравненно менее изучено.

Эту статью трудно писать: речь идет об очень недавних событиях, о людях, многие из которых живы и активно присутствуют в литературной и культурной жизни сегодняшней Италии.

После свержения фашизма и установления республики очень многие деятели культуры, не принимавшие активного участия в борьбе с фашистами, заявили, что всегда были антифашистами в душе, хотя и не могли — в силу разнообразных причин — в свое время проявить это. Если взять, например, писателей-герметиков, тех, кто в самые страшные и отвратительные годы ушел в «чистое искусство», как — по большому счету — надо судить о них? Да, они не хотели пачкать руки и сотрудничать с режимом, это правда. Но они не стали активными *идейными* противниками фашизма. Можно привести кучу чисто человеческих, житейских объяснений и оправданий чуть ли не в каждом отдельном случае, но оправдание ли это на самом деле? С другой стороны, удалось ли фашистскому режиму осуществить свои замыслы в области культуры? Был ли конформизм интеллигенции настолько велик, что она начисто сдала все свои позиции, интеллектуальные и моральные? Все это — клубок острых и болезненных вопросов.

В Италии пишут об этом очень много, и немудрено: для итальянцев это представляет отнюдь не академический интерес, речь идет и об общих процессах, и о *личном достоинстве,* личной чести, репутации отдельных представителей культурной элиты, об их праве (или отсутствии права) выступать пе-

* Все цитаты взяты из книги Francesco Flora. Ritratto di un ventennio. p. 99—103.

ред народом в качестве носителей высоких духовных ценностей. В Италии то и дело по конкретным поводам вспыхивают споры именно такого рода, возникают обвинения, контробвинения, сообщаются различные факты, уточняется поведение того или иного политического деятеля или деятеля культуры при таких-то и таких-то обстоятельствах. Но приводить десятки даже самых интересных фактов значило бы дополнительно утяжелить текст. Поэтому ограничусь тем, что сгруппирую их и сообщу об основных точках зрения.

Первая — самая снисходительная и «оптимистическая» — сводится к тому, что конформизм интеллигенции был чисто внешним, литературный процесс развивался нормально, вне зависимости от политических событий. Согласно этой точке зрения подавляющая часть интеллигенции была и оставалась антифашистской; даже те, кто по каким-либо соображениям брал билет фашистской партии, воспринимали это как условность, относились к фашистскому режиму как к временному и на каком-то историческом этапе неизбежному злу и сохраняли внутреннюю независимость, уходя в «чистое искусство» или в «чистую науку».

Вторая точка зрения заключается в том, что интеллигенция в годы фашизма жила «двойной жизнью». Очень многие были настроены пессимистически, воспринимали фашизм как доказательство того, что люди обречены на поражение, что это «фатум» и таков вообще человеческий удел. Некоторые добавляют, что писатели, как и многие интеллигенты, обманывали самих себя, старались найти самооправдание, чтобы извинить свой конформизм, подыскивали исторические параллели, шли на компромиссы, уверяя себя, что то, что они пишут в данное время, не имеет значения: важно другое, ценное, зреющее в глубине сердец.

Третья точка зрения: более или менее открыто, более или менее последовательно масса итальянских писателей и деятелей культуры присоединилась к режиму. В культурной политике режима проявились присущие фашизму лживость и эклектизм, а интеллигенция, за немногими исключениями, обнаружила моральную нестойкость. По мере того, как исчезли люди, способные протестовать, которых либо убивали, либо изгоняли, либо насильственно принуждали к молчанию, над всей сферой культуры воцарился мрак: царствовали лицемерие и шовинизм.

Наконец, есть четвертая точка зрения, согласно которой характернейшей чертой «вентенио» было переплетение, сплав разнородных тенденций и чувств: некоторые писатели и художники в самом деле испытали на себе влияние «фашистского мифа» и поддавались ему, но в то же время ясно видели лживость режима и оборотную сторону медали. Таким образом, в сознании деятелей культуры причудливо смешивались противоречивые элементы: с одной стороны, они поддерживали режим, причем не только вследствие конформизма, а в известной мере искренне, с другой стороны, эти же люди были настроены оппозиционно, и с течением времени оппозиционные настроения усиливались.

Мне кажется закономерным, что фашистский режим не только не создал, но просто не мог создать сколько-нибудь жизнеспособную культуру. Реакционный и эклектический характер фашистской идеологии сам по себе исключал возможность создания подлинных художественных и духовных ценностей. Реалистическое искусство не могло пользоваться, как выражается один автор в литературной энциклопедии Мондадори, «открытой трибуной в Италии Муссолини». Его могли только протаскивать контрабандой, пользуясь эзоповским языком. Здесь надо, кстати, упомянуть, что в конце тридцатых годов в Италии появилась не только герметическая поэзия, но и герметическая критика, и это было знамением времени.

Что же понимали под «фашистским искусством»? Фашисты выступали и против авангардизма, и против «чистой поэзии», они противопоставляли им концепцию cultura popolare, полностью зависимой от режима и «фольклорной». Крупные итальянские литературоведы утверждают, что за двадцать лет фашизму не удалось создать ни одного романа, ни одной теоретической работы, ни одного сборника стихотворений, которые жаль было бы зачеркнуть. Тут не могли помочь ни конкурсы, ни премии, ни сеть журналов и издательств, ни «школа фашистской мистики», ни Институт фашистской культуры, ни академии. Режим не мог допустить существования подлинно реалистического искусства, потому что оно свидетельствовало бы против него. Он был кровно заинтересован в *препарировании* жизненной правды, в создании и поддержании атмосферы официального оптимизма. Недавно Карло Салинари дал лаконичную формулу культурной политики итальянского фашизма. С одной стороны, хотели иметь фашистское искусство, откровенно пропагандистское по самой своей природе, прославляющее дуче и все мероприятия его режима. С другой стороны, терпели существование «чистого искусства», лишь бы оно, грубо говоря, не мешало.

В общем, несмотря на массовый конформизм и многие случаи личного падения и отвратительного сервилизма со стороны писателей, журналистов и ученых, фашистский режим не только не сумел создать культуру «тоталитарного» образца. Он не сумел помешать и росту антифашистских настроений интеллигенции, даже сугубо буржуазной, той, которая все равно несет свою — и немалую — долю моральной ответственности за приход фашизма к власти и за то, что он нашел хорошо подготовленную почву.

Нелепостью было бы думать, что за двадцать лет фашизма в стране не появилось никаких значительных книг. Они были, но совершенно неоспоримо, что лучшие вещи рождались *вне* воздействия фашистского режима и *вопреки* его воздействию. Моравиа, Бернари, Витторини, Павезе, К. Э. Гад-

да, Пратолини, Иовине, многие другие — нет смысла в перечислении имен — сформировались как писатели в те годы. Литературный процесс продолжает развиваться, несмотря на давление тоталитарнейшего режима (я не говорю сейчас о роли прогрессивных писателей, находившихся в эмиграции).

Но прежде чем закончить эту статью, я хочу рассказать об одной книге и об одном человеке.

В 1938—1939 гг., когда в Италии ввели расистские законы и страна приближалась к войне, во флорентийском журнале «Летература» печаталась повесть Элио Витторини «Сицилийские беседы». Опубликование этой вещи было большим событием, многие фашисты кричали о скандале, резонанс был громадным не только в литературных, но и в самых широких слоях. Сюжет повести предельно прост, «интриги», как таковой, нет, рассказ идет от первого лица. Время действия не обозначено, но атмосфера времени передана тонкими поэтическими средствами. Во всей повести ни разу не встречается слово «фашизм», нет никаких прямых указаний на то, что происходит в стране. И все же Витторини удается достигнуть предельной выразительности. Герой (точнее, рассказчик) Сильвестро — сицилиец, у него обычная биография, обычная судьба. Сильвестро живет в Северной Италии, работает в типографии, женат, отец двоих детей. У Сильвестро в душе печаль и гнев. Он не хочет говорить из-за чего. Ему вообще кажется, что род человеческий погиб, и ему кажется, что он никогда, ни одного дня не прожил по-настоящему, не ел хлеба, не пил вина, не знал, что надо утверждать, что — отрицать. Вся повесть — описание поездки Сильвестро на родину и «сицилийских бесед». Но эта небольшая вещь, написанная скупо, сжато, предельно простым языком, производит очень сильное впечатление. Условия человеческого существования, так, как их показывает Витторини, подавляют своим убожеством и безысходно тоскливы: нужда, беспросветная, мертвящая, туберкулез и малярия, выжженная земля. Но Витторини идет дальше. В уста одного из персонажей, которому не дано имени (и этим подчеркивается его значение), писатель вкладывает многозначительные слова о том, что существуют «иные обязанности», «иной долг». В условиях фашизма это не могло не быть воспринято как откровенно политический намек. И намек был понят. Эта тема «иных обязанностей», как лейтмотив, звучит во всей повести, то приглушеннее, то явственней. В Сицилии Сильвестро встречается с людьми разного толка — не все смиренны и печальны, есть и гневные люди. Беседуют и о живой воде, и о ножах. Тема кроткого непротивления контрастирует с темой справедливого возмущения и протеста. Все это, повторяю, зашифровано. Точно так же, как ни разу не произнесено слово «фашизм», ни разу не произнесено и слово «революция». Но — незримо — она присутствует в этой повести.

Когда в 1943 году книга была переведена на французский язык и вышла в Брюсселе, в бельгийской печати Сопротивления было сказано: «К нам пришла из фашистской страны антифашистская книга, может быть, самая великая антифашистская книга, крик скорби и протеста всех угнетенных». Многие итальянские критики и общественные деятели свидетельствуют, что повесть Витторини сыграла совершенно особую роль в формировании антифашистского общественного мнения в самом начале сороковых годов и была переломным моментом в истории итальянской прозы.

Весной 1966 года Элио Витторини умер от рака. Человек большого благородства, с общественным темпераментом, доброжелательный и горячий, он занимал особое положение в итальянской культуре. Далеко не всегда и не во всем он бывал прав, подчас склонность к абстрагированию накладывала печать на его суждения, подчас чувство преобладало над рассудком и он в полемическом увлечении говорил вещи, казавшиеся парадоксальными. Но он был пламенным антифашистом и человеком глубоко демократическим по всему своему духовному складу. Витторини был не только высокопрофессиональным писателем, но и одним из виднейших деятелей итальянской демократической культуры. Долгое время он редактировал серию «Джеттони» в издательстве Эйнауди и дал путевку в жизнь многим талантливым писателям, неизменно отдавая предпочтение гражданской теме. Последние годы жизни Витторини вместе с Итало Кальвино редактировал журнал «Менабо», который чутко и серьезно откликается на актуальную тематику: так, именно Витторини несколько лет назад положил начало одной из важнейших дискуссий — о взаимоотношениях между культурой и индустриальной реальностью наших дней.

Не знаю почему, но, когда я думаю о Витторини, мне всегда вспоминается Пьеро Гобетти. И когда я прочла взволнованную, полную горячего сочувствия телеграмму, которой Луиджи Лонго откликнулся на смерть Витторини, говоря о трауре всей итальянской культуры, я вспомнила о том, как высоко Антонио Грамши ценил мужество и душевную чистоту Гобетти. И когда я читаю статьи или речи одного из членов руководства Итальянской коммунистической партии Джорджо Амендолы, не могу не думать о том, что он сын Джованни Амендолы, главы Авентинской оппозиции, замученного фашистами.

Все это было совсем недавно. И, конечно, дело не в том, что в Риме на улице Микеле Меркати существует издательство Вольпе, выпускающее в свет фашистские книги. Фашизм может выступать в любом обличии, это только одна из форм реакции, а реакция многообразна и силы реакции в мире все еще велики. Прецциолини со своей

идеей «критики демократии» — не одиночка, есть люди и могущественные группы, стоящие за такими, как он, в Италии и не только в Италии — достаточно назвать Западную Германию. Опыт недавнего прошлого говорит нам о мере ответственности, которая лежит на интеллигенции в целом и на каждом отдельном интеллигенте. И я хочу привести слова Витторини: «Система — в определенный исторический период — это еще не все. Есть также нечто другое. Есть силы, стремящиеся разрушить ее. И в пространстве, лежащем между системой и литературным произведением, человек волен считаться или не считаться также с силами, которые хотят разрушить эту систему. И в конце концов он не жертва и не герой, не человек-одиночка, действующий в этом пространстве. Он действует, как человек, примыкающий к той или иной культурной линии. Он разделит ее заслуги или ее вину в зависимости от того, сумеет ли он вместе с нею устоять или же подчинится».

Когда Витторини умер, один дорогой итальянский друг написал мне о том, каким ударом для всех явилась эта смерть: «Это был человек, который значил очень много не только как писатель, но также, и, может быть, еще больше, come presensa morale», иными словами, как моральная сила, самым фактом своего присутствия. В этом все дело. Витторини был из тех, кто не подчинился, кто в годы фашизма сохранил живую душу и сумел напомнить задыхающейся стране о том, что существуют «иные обязанности». Может быть, сознание «иных обязанностей» и есть высшая мерка писательского труда.

■

Пора ставить точку. Работа над этой статьей заняла много месяцев, но мне хотелось как можно точнее и конкретнее рассказать о грязном, циничном внутреннем механизме, который пускали в ход итальянские фашисты, создавая свою псевдокультуру. Пишу это — и перед глазами у меня картина, забыть которую нельзя: академики, неподвижно выстаивавшие два часа в почетном карауле на выставке, посвященной десятилетию режима в 1932 году. У них была очень дорогая ливрея из темно-синей с золотыми разводами ткани — короткий фрак, брюки с серебряным лампасом, треуголка, украшенная страусовым пером, маленькая шпага. Так они стояли, положив одну руку на шпагу, а другую прижав к лампасу, застывшие в раболепной покорности. Фашисты хорошо оплачивали их услуги: на официальных церемониях президент Академии сидел справа от Муссолини, непосредственно после секретаря фашистской партии, и все академики носили титул «эччелленца», но, разумеется, взамен надо было кое-что давать, и вот они переводили на санскрит речи дуче, и придумывали нелепые итальянские слова вместо вошедших в обиход французских, и при всех возможных случаях курили фимиам и усердно помогали чернорубашечникам создавать видимость единения режима с миром культуры.

А в это время, в 1932 году, уже шесть лет томился в фашистских застенках Антонио Грамши. Все знали, что он тяжело болен, и был создан международный комитет «За спасение Грамши», возглавлявшийся Ромэном Ролланом, но никто не мог предвидеть, что Грамши оставалось жить так мало. Мы тогда знали об условиях, в которых он находился, очень немногое, об этом говорилось глухо. И, разумеется, никто не знал, что в эти страшные годы родились «Тюремные тетради», явившиеся для итальянской общественной и научной мысли настоящим откровением, когда они были опубликованы вскоре после свержения фашизма. А тогда, в начале тридцатых годов, надеялись все же, что ролландовский комитет (в него входил и Горький) добьется освобождения, но надежды не оправдались. Только теперь * опубликованы свидетельства, показывающие, как настойчиво фашисты добивались, чтобы Грамши подал прошение о помиловании. Муссолини готов был «проявить великодушие», если Грамши напишет такое прошение, которое должно было носить «морально-политический характер». Грамши — иначе и быть не могло — предпочел смерть...

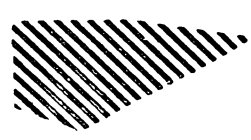
Через восемь лет после смерти Грамши, 29 апреля 1945 года, когда Италия только что сбросила фашистский режим, Тольятти выступил в Неаполе на вечере памяти Грамши. Он говорил о первостепенной важности культуры, потому что именно культура выражает глубокую сущность общества, именно в культуре общество осознает себя.

Грамши и Тольятти, духовно формировавшиеся под влиянием Октября, испытавшие громадное влияние ленинской мысли, не терпели ни схематизма, ни абстракции. Их политическая страстность питалась ясной мыслью, они никогда не упрощали сложной реальности, не терпели «приблизительности», анализируя общественное явление, анализируя, в частности, зловещую и жалкую идеологию фашизма.

21 июня 1919 года Грамши и Тольятти в совместной статье для «Ордине нуово» писали: «Говорить правду, сообща добиваться правды — значит работать на благо коммунизма и революции».

---

* «Ринашита» 14 апреля 1967 г.



Отклики
Встречи
Впечатления

ТРЕТЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ АЗИИ И АФРИКИ

(Бейрут, 23—30 марта 1967 года)

Делегаты конференции приветствуют посланцев вьетнамского народа.

На Бейрутской конференции афро-азиатских писателей обсуждались вопросы: отражение национально-освободительного движения в литературах Азии и Африки и борьба против проникновения империализма и неоколониализма в область культуры.

Эти проблемы, вобравшие в себя все многообразие и всю сложность современной литературной жизни афро-азиатских стран, явились широкой основой для плодотворной дискуссии.

Конференция учредила Ассоциацию афро-азиатских писателей, приняла ее устав и обсудила другие организационные вопросы.

Говоря об общественном долге писателя, генеральный секретарь Постоянного бюро писателей стран Азии и Африки Юсуф ас-Сибаи в своем докладе сказал: «Мы обладаем творческим даром, поэтому призваны разорвать молчание, которым пользуются пособники смерти и нравственного застоя, призваны выступать в защиту жизнеспособных творческих сил, намечая и освещая путь нашим современникам, содей-

ствуя воспитанию человека, изменению существующего мира, утверждению ценностей, которые создают подлинную жизнь и помогают утвердить принципы справедливости, добра и красоты... Самой жизнью, самим фактом своей профессии мы поставлены в авангарде наших народов».

Среди ста пятидесяти делегатов сорока трех стран Азии и Африки не нашлось ни одного, кто бы отрицал эту благородную роль писателя в современном мире, кто бы пытался отделить себя от жизни и борьбы своего народа. Во всех выступлениях прозвучала тема солидарности деятелей культуры Азии и Африки в борьбе против империализма и неоколониализма.

В работе конференции принимали участие такие известные во многих странах писателя, как Мулуд Маммери из Алжира, Мариу ди Андради из Анголы, То Хоай из Демократической Республики Вьетнам, Фан Ты — представитель НФО Южного Вьетнама, Хариваншрай Баччан, Мулк Радж Ананд и Саджад Захир из Индии, Бозорг Аляви из Ирана, Джон Мванги и Джеймс Нгуги из Кении, Сухейль Идрис, Хусейн Мурувве и Адонис из Ливана, Мухаммед Азиз Лахбаби из Марокко, Сономын Удвал из МНР, Марселино душ Сантуш из Мозамбика, Юсуф ас-Сибаи, Яхья Хакки, Ихсаи Абдель Куддус, Салах Абдель Сабур из ОАР, Абдель Карим аль-Кармн из Палестины, Мирзо Турсун-заде, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов из СССР, Абдалла Хамид аль-Амин и Абу Бакр Халид из Судана, В. Д. Абейсингхе с Цейлона, Луис Нкози, Алекс Ла Гума, Рут Фёрст и Раймонд Кунене из ЮАР, Иосиэ Хотта и Сиро Хасэгава из Японии и другие. Однако факт присутствия на конференции такого числа представителей литератур Азии и Африки, многие из которых стоят во главе писательских организаций своих стран, не помешал прессе китайских раскольников упорно называть Бейрутскую конференцию «незаконной», «фарсом, инсценированным советскими ревизионистами» и т. д., а приехавшим в Бейрут китайским «журналистам» — распространять среди делегатов материалы, призывавшие бойкотировать конференцию.

В отличие от китайской прессы, которая, обрушиваясь на конференцию, неизменно ссылалась на неких анонимных «прогрессивных писателей», якобы противостоящих «раскольнической деятельности советских капитулянтов», мы хотим привести ту оценку, которую дали Бейрутской конференции писатели, заслуженно пользующиеся авторитетом не только в своих странах.

«Эта конференция дала нам аргументы в пользу оптимизма и надежды, что движение афро-азиатских писателей будет развиваться». (Марселино душ Сантуш)

«По моему мнению, Бейрутская конференция может иметь большое значение, так как писатели Азии и Африки подошли к тому моменту, когда можно приступать к новым методам работы». (Мулуд Маммери)

«Семя, посеянное десять лет назад, проросло и стало большим тенистым деревом. Мы надеемся, что оно скоро зацветет и даст плоды». (Хариваншрай Баччан)

«Эта конференция дала писателям возможность обменяться идеями и опытом, накопленным в различных странах. Когда собирается так много писателей, это вдохновляет каждого из них на творческую работу и борьбу». (Алекс Ла Гума)

«Конференция — проявление братства, воплощение идеи, которая может оказать большое влияние на развитие афро-азиатских литератур». (Адонис)

Крайне правые органы печати некоторых стран, естественно, не смогли удержаться и не откликнуться — враждебно — на антиимпериалистическую направленность этой писательской встречи. По-видимому, недалек был от истины обозреватель ливанского еженедельника «Аль-Лива», опубликовавший статью под заголовком «ЦРУ финансировало кампанию против Третьей конференции писателей стран Азии и Африки».

Однако все это не помешало успеху конференции, противостоящей попыткам как крайне правых, так и псевдореволюционных кругов навязать ей свою волю, увести ее от решения жизненно важных задач. Конференция показала, что попытки подчинить движение писателей Азии и Африки своекорыстным политическим целям, от кого бы эти попытки ни исходили, обречены на провал, если они наталкиваются на единство и интернациональную солидарность писателей.

Одним из центральных событий в работе Бейрутской конференции было выступление писателей Северного и Южного Вьетнама. На трибуну вышел представитель Национального фронта освобождения Южного Вьетнама Фан Ты и рассказал о том, как писатели его страны принимают участие в героической борьбе народа, делят с ним его страдания и лишения ради того, чтобы песни и стихи могли звучать под мирным небом их родины.

«Писатели и поэты Южного Вьетнама становятся,— сказал он,— жертвами политики грубой агрессии и жестокого подавления, проводимой империалистами США и их лакеями. Многие наши коллеги лишились жизни за то, что подняли голос в защиту свободы. Многие книги и статьи, не отвечающие требованиям агрессоров и изменников, получили ярлыки «коммунистических», а их авторы арестованы, брошены в тюрьмы, подвергаются пыткам и физическому уничтожению. Агенты проамериканского марионеточного режима забрасывают ручными гранатами театральные подмостки, где ставятся пьесы, в которых хотя бы косвенно говорится о трагической социальной действительности в оккупированном Южном Вьетнаме. Американские агрессоры утверждают с помощью штыков и ядовитых газов свою монополию в литературе и искусстве. В оккупированных районах разрешается лишь то «искусство», которое подогревает

грязные и низменные чувства, толкает людей в болото извращенности, заставляет забыть о своей стране и о своем народе, превращает их в послушных наемников. Писателей, отказывающихся торговать своим пером, арестовывают и бросают в тюрьмы, либо лишают их средств к существованию.

Вот почему все сознательные прозаики и поэты, будь то в освобожденных либо в оккупированных районах, объединились в Освободительную ассоциацию культуры и посильно участвуют в общей борьбе за национальное освобождение».

Писатель из Демократической Республики Вьетнам То Хоай как бы подхватил эстафету из рук своего собрата.

«Писатели Вьетнама,— заявил он,— принимают повседневное участие в героической борьбе своего народа, делят с ним его страдания и лишения. Борьба против американских агрессоров вызвала подъем литературы и искусства. Если в перерыве между двумя сражениями вы попадете в расположение какой-нибудь зенитной батареи, то услышите звуки флейты или стихи. В деревнях, целиком перепаханных бомбами и почерневших от напалма, по-прежнему живет песня. Национальная борьба, пробудившая лучшие стороны ума и сердца, вызвала к жизни новые произведения и новых писателей.

Писатели Вьетнама формируются, пишут, укрепляют свои ряды в огне борьбы. Они стремятся глубоко проникнуть во все области социальной действительности, идут навстречу читателям всех категорий. В этом году мы развернули движение за детскую литературу, в котором с энтузиазмом участвуют многие писатели».

Вьетнамские посланцы находились в центре внимания конференции. Их выступления были встречены овацией. В резолюции, принятой на конференции, в частности, говорится:

«Народы Азии и Африки, в том числе и литераторы, считают своим кровным делом борьбу вьетнамского народа против агрессивного американского империализма».

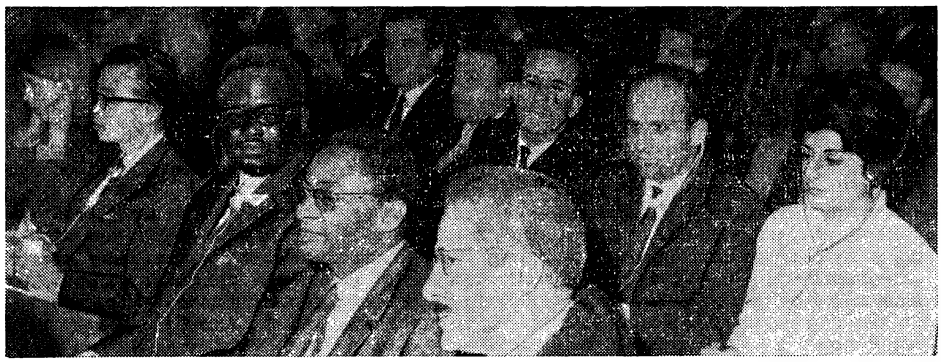
То единодушие, с каким делегаты выражали в своих выступлениях солидарность с героическим вьетнамским народом и его писателями,— свидетельство единства литераторов Азии и Африки в деле борьбы против империализма.

С начала движения афро-азиатских писателей — с Ташкентской конференции 1958 года — прошло девять лет. За такой, казалось бы, небольшой срок на двух континентах произошли огромные события, и это не могло не отразиться на составе участников Бейрутской конференции и на тех вопросах, которые они затрагивали в своих выступлениях. Подавляющее большинство африканских стран получило независимость и стало играть значительную роль в международной политике, вследствие чего заметно увеличился вклад Африки в движение писателей двух континентов. Опыт самостоятельного развития в прошлом угнетенных народов, успехи и неудачи в выборе пути, расширение международных связей и обмен опытом поставили перед писателями, не снимая проблему борьбы с империализмом и неоколониализмом, множество жизненно важных задач, решение которых требует многолетней, упорной работы. И писатели Азии и Африки — это показала Бейрутская конференция — с полной ответственностью относятся к этим задачам, все менее довольствуясь провозглашением не подкрепленных практической деятельностью лозунгов.

— В недалеком прошлом,— сказал в беседе с нашим корреспондентом известный ливанский критик Хусейн Мурувве,— империалисты пытались оторвать писателей от жизни, навязывая нам лозунги типа «искусство для искусства», «башня из слоновой кости» и т. д. Хотя «Конгресс в защиту культуры» имеет в Ливане свое отделение и из-

Президиум конференции.

Делегаты конференции Чингиз Айтматов (СССР) и Саджад Захир (Индия).



В зале заседаний.

дает журнал «Хивар» («Диалог»), многие наши литераторы уже отошли от этой американской организации и примкнули к прогрессивным писателям. В подготовительном комитете конференции,— продолжал Мурувве,— были представлены ливанские писатели различных направлений, но все они были согласны с темой повестки дня конференции — литература должна быть связана с освободительным движением народа.

«Писатель не должен ограничиваться теми проблемами, которые волнуют только его народ,— эти слова принадлежат монгольской писательнице Сономын Удвал.— Писателя должны волновать события, происходящие во всем мире, во Вьетнаме, Южной Африке или других странах. Писатель должен быть выразителем общественного мнения, передовой идеи, его место — в авангарде борьбы!»

Писатель, как и всякий труженик, должен вносить свой вклад в строительство общества, создавать такие произведения, которые способствовали бы улучшению жизни его народа,— так понимает свое место в обществе хорошо известный советскому читателю южноафриканский писатель Алекс Ла Гума.

А вот что на вопрос о месте писателя в обществе ответил мозамбикец Марселино душ Сантуш, один из самых талантливых представителей целой когорты поэтов борющихся португальских колоний:

— Мы приехали на конференцию для того, чтобы узнать, как работают писатели Азии и Африки, так как это, по нашему мнению, поможет нам развивать собственную литературу. Мы, в нашей стране, добились такого положения, когда не только писатели осознают важность своей роли в народной борьбе, но и народ ощущает потребность в творчестве таких писателей. Рост читателя у нас совпадает с развитием национально-освободительной борьбы. Чтобы лучше ответить на те вопросы, которые ставит перед нами читатель, мы встретились с писателями других афро-азиатских стран и обсудили с ними волнующие нас проблемы. Мы можем уже с полной уверенностью сказать, что конференция была очень обнадеживающей для нас. Мы увидели, что основные проблемы, которые стоят перед писателем — как творцом и человеком — в других странах, являются и нашими проблемами. Для нас очень важно,— продолжал Марселино душ Сантуш,— чтобы писатель синхронизировал свой ход с поступательным движением народа своей страны. Необходимо, чтобы писатель был человеком сегодняшнего дня. Необходимо, чтобы он поднимал проблемы, с которыми сталкивается народ. И необходимо, чтобы он, ставя эти проблемы, имел в перспективе прогресс, то есть, переосмысливая культурное достояние своего народа, мог и сам создавать культурные ценности.

Таково мнение нескольких участников конференции, высказанное ими в кулуарах. И тем, кто знаком с творчеством этих писателей, их высказывания не покажутся случайными.

Писатели Азии и Африки рассказали на конференции о литературной жизни своих стран, о тех новых явлениях и задачах, которые были порождены и поставлены перед писателями временем.

Когда несколько лет назад Питер Абрахамс издал свой роман «Венок Майклу Удомо», многим он показался далеким от реальной действительности. Роман, опубликованный, когда большинство африканских народов еще не вступили на путь самостоятельного развития, и повествующий о тех неудачах, порой трагических, с которыми могут столкнуться народы Африки на этом пути,— такой роман не укладывался в рамки привычных схем и представлений. Однако прошли годы, и жизнь показала, что завоевание независимости — только первый шаг и что драматическая история возвышения и падения Майкла Удомо не является досужей выдумкой писателя.

«В былые времена,— сказал на конференции известный алжирский писатель Мулуд Маммери,— на пути к нашему освобождению стояли внешние и бесспорные пре-

пятствия. Сегодня, когда африканские и азиатские народы свободны выбирать свою судьбу, препятствия, мешающие освобождению человека, заключены в нем самом. Нужно как можно скорее определить новую роль афро-азиатских писателей». Перед писателем, работающим в условиях страны, пережившей десятилетия колониального господства, стоит сегодня целый комплекс вопросов, от решения которых во многом зависит судьба национальной литературы. «Мы не можем присоединиться к другим,— сказал делегат Сенегала Алиун Сене,— только после того, как суверенно утвердим себя». И выступления делегатов конференции дают все основания заключить, что писатели Азии и Африки полны решимости довести это дело до конца.

Для борьбы против империализма, который, как показал опыт последних лет, не является «бумажным тигром», важно создание подлинно национальной культуры, способной противостоять любому нажиму извне. Но для создания такой культуры одного таланта и доброй воли писателя еще недостаточно. Это предполагает, прежде всего, взаимодействие писателя с читателем. Однако на пути между писателем и читателем стоит неграмотность народа, доставшаяся в наследство от прошлого и, во-вторых, тот факт, что писатели зачастую вынуждены писать на языке бывших колонизаторов, которого не знает большинство народа. Немаловажную роль в этом отношении играет также отсутствие издательств и средств массовой информации, что определено экономической отсталостью молодых государств.

Проблема национального языка возникла не сегодня. Литераторы и специалисты обсуждают эту тему давно, предложены различные решения, каждое из которых имеет своих сторонников и противников. Она поднималась и на Ташкентской конференции, и на конференции в Каире в 1962 году, и на двух семинарах афро-азиатских писателей, происходивших в Москве в 1964 и 1965 годах.

«Мы, писатели, отстали в своем освобождении от наших народов»,— заявил в Бейруте алжирский делегат, имея в виду освобождение от языка колонизаторов. Когда алжирский писатель пишет, рассказывал Маммери, то пишет об алжирской действительности, используя алжирскую специфику. Но он пишет по-французски — это нечто вроде первого перевода. Если его спросят, то он скажет, что он алжирский писатель, но он вынужден отдать свое произведение французскому издателю. И это накладывает на его книгу определенный отпечаток, ибо писатель должен иметь в виду французского читателя. Многие говорят, что язык — только средство коммуникации, но взаимосвязь коммуникабельности и самобытности — тоже проблема.

Писатели Анголы и Мозамбика, «португальской» Гвинеи и островов Зеленого Мыса пытаются приспособить португальский язык к новым требованиям, в результате чего, как сказал на конференции Марселино душ Сантуш, он претерпевает изменения в самой структуре, проникаясь ритмами африканских языков.

«Мы избрали французский язык, потому что у нас не было другого выхода. И если бы пришлось начать сначала, мы выбрали бы французский язык,— такова третья точка зрения, принадлежащая делегату из Сенегала.— Чтобы освободиться, мы воспользовались оружием колонизаторов. Французский язык дал нам возможность обратиться ко всему миру, к другим людям, нашим братьям и внести, таким образом, свой вклад во всемирную цивилизацию».

Эта проблема волнует писателей большинства африканских стран и некоторых стран Азии, где национальные языки, языки, на которых говорит народ, систематически подавлялись колонизаторами. Решение этой сложной проблемы, видимо, будет не одинаково для всех, но логика движения народов по пути независимости, развитие просвещения и культуры неизбежно приведут к возрождению и укреплению национальных языков.

Другая тема, звучавшая едва ли не во всех выступлениях на конференции,— это отношение к культурному наследию, его роль в формировании новой литературы, взаимоотношения между традиционными и современными формами литературы, связь с литературами других континентов и соседних стран.

Говоря о том широком культурном движении, которое развертывается сейчас во многих афро-азиатских странах, иранский писатель Бозорг Аляви заявил, что оно ни в коей мере не означает уничтожения искусства и классической литературы, которая в течение веков призывала народы Востока сопротивляться любому варварскому завоеванию. «Мы не можем и не должны забывать Фирдоуси, Хайяма и Хафиза, они до сих пор — источник нашей силы».

Рассматривая традиции как необходимую предпосылку возрождения культуры, как выражение подлинного гения народа, писатели ряда стран, однако, предостерегали от чрезмерного увлечения традиционными формами литературы, которое может привести лишь к имитации уже созданного.

«Современная арабская поэзия,— сказал популярный ливанский поэт Адонис,— ближе духу старой арабской поэзии, чем та, которая стремится ее копировать и повторять». Монгольская писательница Сономын Удвал также выразила опасение, что когда слишком много говорят о традициях, это может заключить литературу в узконациональные рамки.

Участники конференции в своих выступлениях призывали писателей Азии и Африки быть поборниками международных связей как лучшего средства рассеять предубеждения и предрассудки и укрепить сотрудничество людей доброй воли независимо от

их национальности и цвета кожи, независимо от их воззрений, верований, традиций. Литература может развиваться только в том случае, если она взаимодействует с другими литературами, берет от них все лучшее и, в свою очередь, делится с ними своими достижениями. В противном случае на смену развитию приходит топтание на месте. Конкретным осуществлением этого диалога, способствующего расширению интернациональных связей писателей, может служить присутствие и выступление на конференции гостей из десяти стран Европы и Америки.

«Речь идет о том,— сказал Алиун Сене,— чтобы найти место человека в новой обстановке, приобщить его к ценностям его родины, приспособить его к ритму современной цивилизации. Наконец, речь идет о том, чтобы дать человеку возможность общения с другими, соприкосновения с культурами других народов». И эту задачу, по мнению делегатов конференции, должно разрешить движение афро-азиатских писателей.

Мы плохо знаем друг друга, с горечью говорили писатели Азии и Африки, нам лучше знакомы литературы Запада, чем наших соседей, ибо знать Тагора это еще не означает знать индийскую литературу наших дней. Часть книг писателей Востока публикуют издательства Европы и Америки, но это лишь капля в море — есть такие произведения и такие литературы, до которых, по существу, невозможно добраться.

Движение афро-азиатских писателей из-за раскольнических махинаций агентуры пекинских деятелей не могло успешно выполнять решения, принятые на Ташкентской и Каирской конференциях. Поэтому писатели рассматривают Бейрутскую конференцию как поворотный этап, как переход к конкретному осуществлению задач движения. Эта конференция, как сказал глава советской делегации Сарвар Азимов, прошла под знаком возрождения движения афро-азиатских писателей.

«Я ожидаю от конференции конкретных результатов,— сказал один из крупнейших японских писателей Иосиэ Хотта,— например, создания журнала, который будет органом движения. Есть очень много хороших писателей, которые никому не известны. Наша задача — найти этих писателей в афро-азиатских странах и сделать их известными читателю». Перевод и издание афро-азиатских писателей — дело очень серьезное, ибо не может быть прочной солидарности людей, мало знакомых. Создание журнала для публикации лучших произведений писателей двух континентов, научная постановка дела перевода, распространение рекомендательных списков литературы, создание международного издательства и присуждение литературных премий — таковы задачи, поставленные конференцией перед движением афро-азиатских писателей.

«Было бы очень хорошо, если бы каждое наше новое произведение становилось известным всем нашим собратьям по перу, чтобы мы чувствовали локоть друг друга: ведь мы являемся звеньями единой цепи, которую хотят разбить». Эти слова принадлежат Юсташу Пруденсио, делегату Дагомеи, и от воли писателей Азии и Африки, от их труда и настойчивости зависит—будет претворено это пожелание в жизнь или нет.

Говорилось на конференции и о том, чтобы писатели не ограничивались только участием в конференциях, а продолжали работу и после таких встреч. Примером такой работы могут служить два семинара, состоявшихся в Москве, на которых писатели Африки и Азии имели возможность обсудить ряд конкретных профессиональных вопросов.

Во многом успех конференции был обусловлен работой, которую проделали ее хозяева — литераторы Ливана, участием в подготовке и работе конференции известных ливанских писателей и общественных деятелей.

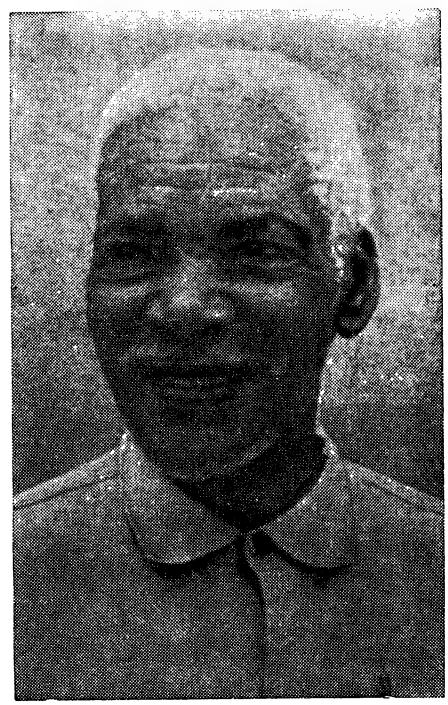
Конференция в Бейруте приняла Общую декларацию, в которой сформулированы основные задачи движения афро-азиатских писателей, резолюцию по Вьетнаму, о борьбе против проникновения империализма и неоколониализма в область культуры, резолюцию в поддержку борющихся народов Азии и Африки — португальских колоний Зимбабве, Южно-Африканской Республики, Палестины, Адена и других стран. Конференция направила также приветствие народам Советского Союза в связи с пятидесятой годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.

Конференция приняла устав Ассоциации писателей стран Азии и Африки, явившийся дальнейшим шагом в организационном укреплении афро-азиатского литературного движения, избрала Исполнительный комитет и Постоянное бюро организации. Что касается следующей, Четвертой конференции писателей Азии и Африки, то писатели Индии предложили провести ее в своей стране.

«Мы,— говорится в Общей декларации конференции,— выполним свой долг, который мы на себя взяли, и сделаем нашу литературу авангардом борьбы за независимость, национальный суверенитет и счастье наших народов, за утверждение нашей личности и за наш позитивный и конструктивный вклад в человеческую цивилизацию, в которой восторжествуют достоинство, справедливость и мир».

Эти слова являются прекрасным напутствием афро-азиатским писателям, которым предстоит большая и нужная работа по укреплению Ассоциации, по претворению в жизнь практических рекомендаций писательского форума в Бейруте. Только при условии расширения связей между писателями, организации издательств, литературного журнала и правильной постановке дела взаимного перевода книг Ассоциация может стать значительной общественной силой, ибо залог ее успеха — в единстве и творческом духе.

Дневники, Воспоминания



МИГЕЛЬ БАРНЕТ

Я — БЕГЛЫЙ РАБ

Автобиография стосемилетнего кубинского негра Эстебана Монтехо, записанная, пересказанная и опубликованная поэтом и этнографом Мигелем Барнетом, привлекла внимание широких читательских кругов и прогрессивной общественности Латинской Америки.

Воспоминания кубинского долгожителя обрываются где-то в начале нашего века, но судьба его неразрывно связана с современностью, с сегодняшней социалистической Кубой. Беглый раб, ставший членом Народно-социалистической партии Кубы, Эстебан Монтехо не только свидетель, но и активный участник исторического процесса. Он один из тех сотен тысяч простых кубинцев, которые своей кровью, своей неустанной борьбой, своим героическим оптимизмом сделали возможной победу народной революции на Кубе.

Герой книги родился рабом, но никогда не мог смириться с рабской долей. Он становится «симарроном», так называли на Кубе беглых рабов. Сотни беглецов скрывались в горах, многие из них объединялись в группы и наводили страх на рабовладельцев. Только 1880 год принес Кубе отмену рабства. Основной причиной, заставившей рабовладельцев пойти на это, была национально-освободительная война 1868—1878 годов. Беглый раб Эстебан Монтехо спустился с гор свободным человеком. И тут он увидел, что порядки на плантациях остались прежние. «Раб — это тот, кто работает на другого»,— писал Хосе Марти. Эстебан Монтехо вряд ли знал это изречение. Но он, не колеблясь, примкнул к повстанцам, когда на Кубе в 1895 году вспыхнула новая национально-освободительная война, вдохновителем и организатором которой был великий кубинский демократ.

В 1898 году, воспользовавшись провокационным взрывом на американском броненосце «Мен», Соединенные Штаты объявили войну Испании. Началась испано-американская война, одна из войн за передел мира, открывших эпоху империализма.

Она завершилась оккупацией острова американскими войсками, и только героическое сопротивление народных масс не позволило США превратить Кубу в свою колонию. Эстебан Монтехо относится к американцам с открытой неприязнью. «По правде сказать, я предпочитаю испанца американцу,— говорит он,— но испанца у себя дома, в Испании. Всякий хорош на своей земле». Он не упоминает о пресловутой «поправке Платта», поставившей Кубу под полный контроль США и узаконившей за империалистическими кругами Соединенных Штатов право на интервенцию. Но он видел, как американские моряки хозяйничают в Гаване, на его глазах монополии США захватили лучшие земли острова. Гражданин «демократической» республики, он был вынужден жить в условиях унизительной расовой дискриминации, принявшей особенно отвратительные формы в годы правления Батисты. Эта дискриминация была окончательно уничтожена только на социалистической Кубе.

Эстебан Монтехо искренен и честен в своих воспоминаниях. Правда, рассказывая о событиях далекого прошлого, он бывает и субъективен в оценках. Но эта субъективность всегда исторически обусловлена.

Трудно сказать, к какому литературному жанру относится книга Мигеля Барнета. Это и воспоминания, и повесть, и публицистика, а в чем-то и этнографический очерк. Но одно бесспорно — автору удалось создать живой образ своего героя во всей его сложности, а иной раз и противоречивости. Неукротимое свободолюбие, стремление критически осмыслить все происходящее сочетается у Эстебана Монтехо с суевериями. Первобытная анималистическая вера предков глубоко укоренилась в его сознании. Оно-то и позволяет герою запросто разговаривать с птицами и видеть в деревьях живые существа. Она становится поэзией, которой пропитаны многие страницы воспоминаний. Особое очарование придает книге народный юмор повествователя. Порой не поймешь, то ли он всерьез рассказывает о каком-нибудь духе или призраке, то ли посмеивается над простодушными слушателями.

В предисловии к своей книге Мигель Барнет пишет: «Это... всего лишь повесть о событиях, близких и интересных многим кубинцам». Нам кажется, что рассказы Эстебана Монтехо, человека, шагнувшего из рабства в социализм, привлекут внимание и советских читателей, интересующихся жизнью и историей братского кубинского народа. Ниже мы публикуем отрывки из книги Мигеля Барнета.

В. СТОЛБОВ

Рабство

Есть вещи, которые мне ни за что в жизни не понять. Все, что связано с Природой, для меня очень темно, а с богами так и того темнее. Говорят, боги создали все, что человек видит, все, что я видел, и что они, безусловно, существовали. Были они капризны и своенравны. Поэтому у нас и произошло столько странных вещей. Помню раньше, еще при рабстве, я то и дело смотрел на небо, оно мне всегда очень нравилось из-за своего цвета. Однажды небо стало как раскаленное и наступила страшная засуха. В другой раз я видел солнечное затмение. Все шло шиворот-навыворот. Сначала темнело и темнело, наступила ночь среди бела дня, а потом снова начало светлеть. Куры забились на насесты. Люди молчали от страха. У некоторых сердце разорвалось, другие так и остались немыми. То же самое я видел еще несколько раз, только в других местах. И ни за что на свете не стал бы спрашивать, почему это происходит. Одним словом, я знаю, что все зависит от Природы. Природа — это все. Даже то, что нельзя увидеть. Мы, люди, ничего такого не можем сделать, потому что повинуемся богу — Исухристо, о котором говорят больше всего. Исухристо родился не в Африке, он появился из самой Природы, потому что ведь Дева Мария была барышней.

Самые сильные боги те, которые в Африке. Они безусловно умели летать, уверяю вас. И своим колдовством делали все, что захотят. Не знаю только, как это они допустили рабство. По правде говоря, я думаю, думаю и никак не могу свести концы с концами. По-моему, все началось с алых платков. В тот день, когда белые проникли за стену. Африка по всему берегу была отгорожена старой стеной. Стеной из стволов пальм и волшебных насекомых, кусачих, как черти. Много лет они отпугивали белых, которые пытались сунуться в Африку. Но алый цвет всех погубил. И вожди и простые негры быстренько сдались. Когда вожди увидели, что белые (кажется, первыми были португальцы) вынули алые платки и замахали ими, они сказали неграм: «Ну-ка, давайте, давайте, за платками, ну-ка!» А негры обрадовались алому цвету и побежали, как овечки, к кораблям, там их и схватили. Негры всегда очень любили алый цвет. Платки и виноваты в том, что их заковали в цепи и отправили на Кубу. А потом они уже больше не смогли вернуться к себе в Африку. Вот так на Кубе и появилось рабство.

Такие вещи, как рабство, не стираются в памяти. Я все это пережил. Помню

даже, что мои крестные сказали мне число, когда я родился: 26 декабря 1860 года, в день Святого Эстебана, того самого, который в календарях. Поэтому меня и зовут Эстебаном. Моя первая фамилия — Монтехо, по матери, она была из французских рабов *. А вторая фамилия — Мера. По-настоящему она была Меса, но дело в том, что в архиве перепутали, а я так и оставил. Меса — фамилия некоего Панчо Меса из Родриго. Очевидно, у этого сеньора я вырос, после того как родился. Он был хозяином моей матери. Понятно, что я его никогда в глаза не видел, но знаю, что это правда, потому что мне мои крестные о нем рассказали.

Моего крестного отца звали Хин Конго, а крестную мать Сусана. Я с ними познакомился уже позже, в девяностые годы. Так как я не знал своих родителей, первое, что я сделал, это спросил про них. Моего отца звали Насарио, он был лукуми ** из Ойо. Мать — Эмилия Монтехо. Мне сказали также, что они умерли в Сагуа. Что правда, то правда, я очень хотел разыскать родителей, но не смог, потому что спасал свою шкуру. Если бы я спустился с гор, меня бы тут же сцапали.

Из-за того, что я стал беглым рабом, я так и не увидел отца и мать. Как это ни печально, но это правда.

Как все креолито ***, так называли детей рабов, я родился в санитарном бараке, куда отправляли беременных негритянок, когда им приходило время рожать. По-моему, это случилось в инхенио **** Санта-Тереса, точно не помню.

Негров продавали, как поросят, продали тут же и меня, поэтому у меня ничего в памяти об этом месте и не осталось. Вспоминается мне другое инхенио — Флор-де-Сагуа. Возможно, там я в первый раз пошел работать. Одно хорошо знаю — оттуда я однажды сбежал. Но меня преспокойненько поймали и нацепили мне пару таких кандалов, что и сейчас еще, стоит мне призадуматься, я снова чувствую их на ногах. Заклепали кандалы покрепче и отправили меня на работу. Теперь вспоминаешь, а люди не верят. Но я-то перенес это и должен рассказать.

У хозяина завода была странная фамилия — из этих длинных, что начнешь и никак до конца не выговоришь. Куча дерьма был он, а не человек: грубый, заносчивый, надутый... Все, бывало, разъезжал в коляске со своими дружками и сеньорой по тростниковым полям. Махал нам платочком издали, но ни за какие деньги не подошел бы близко. А вообще-то хозяева в поле никогда не показывались. Этот был особенный.

На Флор-де-Сагуа я сначала возил в повозке выжимки. Сидел на козлах и погонял мула. Когда повозка бывала перегружена, я слезал с козел и тянул скотину под уздцы. Мулы были упрямые — приходилось в три погибели сгибаться. Спина от этого горбатой становилась. Многие из тех, кто сейчас ходит скрючившись, из-за мулов такими сделались. Мне казалось, что даже тростник рубить и то легче. Было мне тогда около десяти лет, поэтому в поле меня не посылали. Но десять лет в те времена — все равно что тридцать сейчас, десятилетние дети работали, как волы.

Если негритенок был пригожий и тихий, его брали работать в доме — у хозяев. Там он все время должен был гонять мух, потому что хозяева очень много ели. Когда они садились за еду, негритенка ставили около стола. Ему давали большое опахало из пальмовых листьев и говорили: «Смотри, чтобы мухи не попали в кушанья!» Если какая-нибудь муха все же падала в тарелку, негритенка крепко ругали, а то и ремнем ему доставалось. Я мух никогда не гонял, мне не нравилось якшаться с хозяевами. Я беглым рабом родился.

Жизнь в бараках

Все рабы жили в бараках. Таких жилищ теперь нигде не встретишь. Я их повидал на своем веку и ничего хорошего не могу о них сказать. Хозяева эти бараки чуть не дворцами считали. Но рабам не очень-то нравилось жить там. Бараки были большие. В том, что во Флор-де-Сагуа, жило около двухсот рабов всех цветов кожи. В нем было два ряда клетушек — один против другого. Посредине — большая дверь с толстым засовом, чтобы закрывать рабов на ночь. Бараки строили из дерева или камня, с черепичной крышей. Полы всюду были земляные, и грязь как в хлеву. Никакой вентиляции и в помине не было, не то, что теперь. Дыра в стене комнатушки или окошко с решеткой — вот и все.

Посредине бараков женщины стирали белье. Нужды свои рабы справляли в углу барака — в отхожем месте.

У выхода висел заводской колокол. В него бил надсмотрщик. На рассвете, в половине пятого звонили к утренней молитве. Помнится, девять ударов давали. Тут надо было сразу же вставать. В шесть утра снова били в колокол, и все должны были построиться около барака. Мужчины и женщины отдельно. После этого отправлялись в поле до

* Имеются в виду потомки рабов, завезенных на Кубу с о. Гаити, бывшей французской колонии.

** Так называют негров — выходцев из Нигерии и других районов Судана и особенно из района Гвинейского залива.

*** Уменьшительное от «креол».

**** Сахарный завод старого типа с плантацией при нем.

обеда. Кормили рабов вяленым мясом с вареными овощами и хлебом. Потом, когда солнце садилось, звонили вечерню, а в половине девятого в последний раз — ко сну.

Надсмотрщик спал внутри барака и следил за всеми. И на заводе был один белый — испанец, который тоже следил. Все держалось на слежке да на плетях.

Хоть это и кажется странным, но негры в бараках, случалось, и веселились. У них были свои игры и развлечения.

В одну из игр — майомбе — играли даже сами надсмотрщики. Им тоже хотелось попытать счастья. Посредине двора ставили большой котел — нгангу. В нем сидели духи — святые. Майомбе была не просто забавой, а полезным делом. Негры били в барабаны и пели. Бросали в котел разные вещи. Просили здоровья себе и своим братьям, и чтобы согласие между всеми было. Когда хозяин наказывал кого-нибудь из рабов, негры бросали в котел щепотку земли. С помощью этой земли все и решалось. Или сам хозяин заболевал, или с кем-нибудь из его семьи случалось несчастье. Ведь пока земля была в котле, хозяин тоже там сидел, как в тюрьме, и даже сам дьявол не мог бы его оттуда вытащить. Так негры мстили своему господину.

Рядом с сахарными заводами находились кабаки. Их было больше, чем клещей в горах. Рабам разрешалось ходить туда днем и только иногда в вечернее время. Негры шли в кабаки пить водку. Пили они много, чтобы поддержать свои силы. Кабатчиками часто были старые испанцы, отставные военные.

В этих кабаках стояла страшная вонь от разной снеди, подвешенной к потолку: колбас, окороков. И все же там можно было поразвлечься.

Самыми шумными днями в бараках бывали воскресенья. Не знаю, откуда только у рабов силы брались. В этот день устраивались большие праздники. Как только солнце встанет, поднимается суматоха — заводят игры, дети бесятся.

Из танцев больше всего запомнилась мне юка.

Когда плясали юку, били в три барабана. Танцевали парами. Иногда начинали кружиться, как птицы, да так быстро, что, кажется, вот-вот взлетят. Потом клали руки на пояс и скакали. А весь народ пел, чтобы подхлестнуть плясунов.

Был инструмент, который называли маримбула, маленький такой. Его делали из спиц от зонтика, а звучал он густо, как барабан. Маримбула обычно вторила барабану негров конго. Звук у нее был чудной какой-то и многим, особенно гуахиро *, не нравился. Они говорили, что это голоса с того света.

Музыка белых всегда сильно отличалась от негритянской. Почти так же, как религия. Боги Африки ведь совсем другие, хотя и похожи на тех богов, которым молятся священники. Негритянские боги сильнее и не так разукрашены.

Я помню, в бараках было две африканские религии — лукуми и конго. Религия конго во Флор-де-Сагуа была сильнее — колдуны здесь держали народ в своих руках. Негры конго занимались колдовством больше, чем лукуми. А лукуми больше верили в разных святых и богов. Они любили встать с утра пораньше, чтобы со свежими силами смотреть на небо, читать молитвы и лить на землю воду. Я видел старых негров лукуми, которые больше трех часов сидели, наклонившись к земле, бормотали что-то на своем языке и гадали. Разница между конго и лукуми в том, что конго устраняет беду, а лукуми только предвидит ее.

У старых лукуми всегда водились фигурки из дерева — их боги. Головы у всех этих богов были большущие. На стенах у себя в каморках лукуми рисовали священные знаки — длинные полосы и круги.

Была еще одна религия — католическая. Ее проповедовали священники. Эти ни за что на свете не вошли бы в барак к рабам. Уж слишком большие чистюли они были. Да и вид у них был важный, к баракам никак не подходил. Были такие негры, что подражали им буквально во всем. Заучивали катехизис и читали его остальным. Все от слова до слова, от молитвы до молитвы. Это были домашние рабы, господская челядь. Они встречались с другими неграми — с теми, что работали в поле,— и были вроде как помощники священников. По правде говоря, я их учения так и не запомнил, потому что ничего в нем понять не мог. Думаю, что сами домашние рабы тоже ничего не понимали, но как же им было не стать христианами, раз уж они такие воспитанные и хозяева к ним хорошо относятся. Я никогда не видел, чтобы кого-нибудь из них сильно наказывали. Если домашнего раба посылали в поле рубить тростник или пасти свиней, он прикидывался, что болен, и не работал. Поэтому рабы, что работали в полях, на этих придурков даже и глядеть не хотели.

■

При каждом инхенио поблизости от жилых бараков стоял санитарный. Ребенок там рождался и оставался до шести или семи лет, а потом переходил в обычный барак и начинал жить и работать, как все остальные. Я помню, что в санитарном бараке было несколько нянек и кормилиц-негритянок, они ухаживали за креолито и кормили их.

Случись кому-нибудь поранить себя в поле или заболеть, эти женщины были вместо лекаря. Врачевали они разными травами и отварами. Иногда малышу так и не приходилось увидеть своих

* Кубинский крестьянин.

отца и мать, ведь хозяин, которому они принадлежали, мог отправить их работать в другой инхенио. Тогда никого, кроме кормилицы, не оставалось, чтобы позаботиться о ребенке. Кому охота возиться с чужим младенцем! Там же в санитарном бараке детей стригли и купали. Креолито высшего сорта стоили около пятисот песо. Высшего, потому что они были детьми сильных, крупных негров — «гренадеров». «Гренадеры» пользовались кое-какими льготами. Хозяева подыскивали таких и сводили с большими, здоровыми негритянками.

Их специально сводили в особой клетушке барака, и негритянка должна была каждый год рожать хорошего ребенка. Просто как будто скот разводили. А если негритянка не рожала столько, сколько хозяину в голову взбредет, ее разлучали с негром и снова отправляли работать в поле. Тогда уж она могла выбрать себе мужа по собственному желанию.

Во время рабства я видел много страшных наказаний. Потому мне эта жизнь и не нравилась. Беременных женщин тоже стегали плетью, только в земле вырывали яму для живота и клали их на эту яму лицом вниз, чтобы живот не повредить. Беспокоились, как бы не испортить ребенка, всем хотелось иметь побольше рабов.

Жизнь была тяжелой, и тело быстро изнашивалось. Тот, кто не убегал молодым в горы, не становился беглым рабом, должен был смириться и привыкнуть к рабской доле.

Негры в бараках часто болели. Если раб заболевал какой-нибудь заразной болезнью, его отправляли в санитарный барак. Там пытались лечить. Если раб испускал дух, его клали в большой ящик и тащили на кладбище. Приходил надсмотрщик и назначал могильщиков. Он говорил: «Пошли хоронить одного негра, ему уже каюк». Что правда, то правда, когда кто-нибудь умирал, у всех остальных опускались головы.

Кладбище находилось тут же при заводе. Чтобы похоронить негра, рыли яму, а потом засыпали ее землей и ставили крест, скрепленный проволокой. Крест — чтобы отпугивать врагов и дьявола.

Однажды хоронили негра, а он вдруг поднял голову. Потому что был живехонек. Мне эту историю в Санто-Доминго рассказали, уже после отмены рабства. Ее знает весь квартал Хикотеа. Дело было на инхенио Диаманте. Тут именно и хоронили того негра, а он как вскочит да как заорет благим матом. Народ перепугался, и все разбежались кто куда. Через несколько дней этот негр заявился в барак. Рассказывают, что входил он тихонько, чтобы никого не напугать. Но когда люди его увидели, они снова пришли в ужас. Надсмотрщик спросил, что с ним случилось, а тот говорит: «Я заболел холерой, и меня положили в яму, а когда поправился — вылез». С тех пор, если кто-нибудь схватывал холеру или другую какую болезнь, его держали в гробу несколько дней, пока он не становился холодный, как лед.

Жизнь в горах

Мне никогда не забыть, как я пытался бежать в первый раз. Тогда я потерпел неудачу и несколько лет тянул свою лямку, страшась, что на меня снова могут надеть кандалы. Но я любил свободу больше всего, и желание бежать меня не оставляло. Я молчал об этом — боялся, что предадут. Старые негры были против побегов. Женщины тем более. Беглых рабов было мало. Народ очень боялся гор. Говорили, что если кто и убежит, его все равно поймают. Но ко мне мысль о бегстве приходила чаще, чем к другим. Мне всегда казалось, что я полюблю горы. К тому же работа в поле была сущим адом.

Однажды я стал наблюдать за надсмотрщиком. Этот проклятый пес так и лез мне на глаза, взгляда от него я не мог отвести. Кажется, он был испанец. Помню, что высокий и вечно в шляпе. Негры его боялись, потому что он одним ударом плети с любого мог всю шкуру спустить. Уж не знаю почему, в тот день один вид этого человека приводил меня в бешенство.

Я издали свистнул ему, он поглядел и повернулся ко мне спиной; тут-то я и схватил камень и запустил ему в голову. Наверно, попал, потому что он крикнул, чтобы меня схватили. Но только он меня и видел. Этим же вечером я бежал в горы.

Много дней бродил я без определенной цели. Чувствовал себя как потерянный. Ведь я никогда еще не покидал инхенио. Я взбирался наверх, спускался, брел то в одну, то в другую сторону. Помню, что подошел к одной усадьбе около Сиганеа. Ноги у меня были покрыты волдырями, руки опухли. Я устроил себе жилье под деревом. За несколько часов соорудил шалаш из травы. Но провел там не больше четырехпяти дней. Стоило мне только услышать поблизости человеческий голос, и меня как ветром сдуло.

Не знаю уж, как мне пришло в голову спрятаться в пещере. В ней я прожил около полутора лет. Решил я там поселиться, потому что мне надоело скитаться и потому что свиньи из окрестных поселков любили приходить к водоему у входа в пещеру. Пока они во-

зились в воде, легко можно было поймать любую. Каждую неделю я съедал поросенка. Пещера была очень большая и темная, как волчья пасть. Я предпочитал держаться у входа в нее, хотя там жили змеи. Змеи очень опасные твари. Они подползают к человеку, дышат на него своим змеиным дыханием, усыпляют и сосут кровь. Поэтому я всегда был настороже и разжигал огонь, чтобы отпугнуть их.

В пещере было тихо. Только летучие мыши пищали: «Чуй, чуй, чуй». Они не умеют петь. Но разговаривают между собой и понимают друг друга. Я слышал, как одна из них позвала: «Чуй, чуй, чуй»,— и вся стая полетела к ней.

Понемногу я узнавал горы. Они мне нравились. Иногда я забывал, что я беглый раб, и начинал насвистывать. Первое время свистел, чтобы избавиться от страха. Говорят, свист отгоняет злых духов. Однако, если ты в горах, да еще беглый раб, надо быть настороже. И я переставал свистеть, потому что боялся, что появятся ранчадоры *. Хозяева посылали их на поиски беглых рабов. У них были охотничьи собаки, натасканные на негров. Как только увидят негра, сразу бросаются за ним. Если до меня доносился вдруг собачий лай, я тут же скидывал с себя одежду — голого собака не почует. Теперь встречаю собаку — мне до нее и дела нет, а если бы в то время встретил, я бы от этого места за сто верст удрал.

Когда ранчадору удавалось поймать беглого негра, хозяева платили ему золотую унцию, а то и больше.

■

В горах я только и делал, что ходил да спал. Ни о чем не думал. Мне нравилось бродить по ночам. Ночью горы казались какими-то спокойными, безопасными. Раз я дошел почти до Тринидада. Сверху увидел город и море. Чем ближе я подходил к берегу, тем огромнее оно становилось. Раньше я всегда думал, что море — большая река.

О чем я хорошо помню, так это о птицах. Их я не забыл. Помню всех. Были среди них и красивые, были и страшные, как черт. Сначала они меня пугали, но потом я привык к их голосам. Мне стало казаться даже, что они меня охраняют. Была одна птаха — черная-пречерная, которая кричала: «Ты, ты, ты, ты, ты съел сыр, что был тут». И все повторяет это да повторяет, пока я не скажу: «Вон отсюда!» Тогда улетит. С ней перекликалась другая, похожая на привидение: «Ку, ку, ку, ку, ку, ку».

Сова кричала очень жалобно, но на самом деле она была колдунья. Искала дохлых крыс. Закричит: «Чуа, чуа, чуа, куй, куй»,— и пролетит, как блуждающий огонь. Если она мне попадалась на пути и особенно если я замечал, что она летает взад-вперед над одним и тем же местом, я дальше не шел. Знал — это она меня предупреждает, что поблизости ждет враг или даже сама смерть. Сова удивительно умная птица. Колдуны ее уважали и работали с ней заодно.

А вот кто сволочью была, так это сигуапа *. Свистела она, точнехонько как человек. У любого мурашки по коже пойдут, как услышит. Не хочу даже и вспоминать, сколько страха я натерпелся с этими птицами.

В горах я как-то сжился с деревьями. У них тоже были свои голоса у каждого, ведь листья шелестят на ветру. Есть такое большое дерево, ночью оно похоже на птицу. По-моему, оно умеет говорить. Оно ворчит: «Ух, ух, уй, уй, уй, ух, ух». Деревья, как люди, отбрасывают тень. Я думаю, что тень у дерева вроде духа у людей. Дух — это отражение души. Его можно видеть.

Что нам, людям, не дано видеть, так это душу. Мы не знаем, какого она цвета. Может, одного, может, другого. Случается, что душа покидает тело. Это когда человек умирает или засыпает.

С сердцем совсем другое дело. Оно всегда на своем месте. Стоит только приложить руку к левому боку и слышишь, как оно бьется. Но в тот день, когда сердце останавливается, любому из нас конец приходит. Так что доверять ему нельзя.

■

Не совру, если скажу, что я никому не доверяю, даже святому Духу. Поэтому, когда был беглым рабом, ни с кем не водился. Только слушал птиц да деревья да ел, а с людьми не встречался. Помню, я так оброс, что еду в рот было не пропихнуть. Настоящее пугало. Когда я спустился в селение, один старик, его звали Та Миге, обстриг меня большими ножницами. Сделал мне короткую гриву, будто у породистого коня. После того, как он скосил мою шерсть, мне стало не по себе. Чертовски холодно было. Но через несколько дней волосы опять начали отрастать. У негров всегда так бывает. В жизни я не встречал лысого негра. Ни одного. Лысину на Кубу завезли испанцы.

Я любил горы. Но когда рабство кончилось, спустился с гор и перестал жить как беглый раб. Узнал я, что рабству пришел конец, услышав в селении крики. Негры кричали: «Теперь мы свободны».

Сошел я вниз и на дороге встретил старуху с двумя детьми. Окликнул ее издали, когда она подошла, спросил: «Скажите, это правда, что мы больше не рабы»? Она ответила: «Да, сынок, теперь мы свободны».

---

* Охотники за беглыми неграми.

* Хищная ночная птица.

После отмены рабства

Живя в горах, я одичал. Не хотел нигде работать и все время боялся, что меня схватят. Я хорошо знал, что рабству еще не совсем пришел конец. Люди спрашивали меня, чем я занимаюсь и откуда я. Иногда я отвечал: «Я Эстебан и был беглым рабом». Иной раз говорил, что работаю на каком-нибудь инхенио. Мне было тогда уже около двадцати лет. Я никого не знал и поэтому несколько месяцев бродил из поселка в поселок. Голодать не голодал, еду мне давали. Стоило сказать, что у тебя нет работы, и всегда кто-нибудь попадался на эту удочку. Но долго продолжаться так не могло. Я понял: чтобы иметь пищу и место для спанья, хотя бы в бараке, надо работать.

Первое инхенио, куда я поступил, называлось Пурио. Заявился я туда однажды в своих лохмотьях и в шляпе, которую где-то подобрал. Вошел и спросил у надсмотрщика, нет ли работы. Он ответил, что есть. Помню, это был усатый испанец, звали его Пепе. В Пурио с недавнего времени опять надсмотрщики появились. Разница была только в том, что они не били, как при рабстве. Но были одного поля ягоды: мрачные, злые. На этом инхенио после отмены рабства оставались бараки. Те же, что раньше. Я, как пришел, сразу там поселился. В них теперь было не так уж плохо. С дверей сняли засовы, и сами рабочие пробили в стенах отверстия для вентиляции. Теперь ведь нечего было бояться, что кто-нибудь сбежит. Теперь все негры были свободные. По крайней мере, они так думали, но я-то видел, что гнусности рабства продолжаются. В Пурио остались те же хозяева, они по-прежнему считали, что негры созданы для того, чтобы гнить в бараках, без плетей не проживут, и поэтому относились к ним как раньше. Многие из негров, по-моему, даже не понимали того, что случилось, и, встречаясь с хозяином, все еще приветствовали его, как в дни рабства: «Благослови, господин!»

■

В дни праздников Сантьяго и Святой Анны в Пурио не работали. Завод закрывался. Поля пустели. С утра приходили священники и начинали читать молитвы. Я мало что запомнил. Никогда я не любил священников. Некоторые из них были просто преступниками. Многие соблазняли хорошеньких белых женщин и жили с ними. А ребенок появится, говорят, что это крестник или племянник. Прячут его под сутаной. Никогда не признаются: «Это мой сын».

Они следили за неграми. Когда негритянка рожала, нужно было позвать священника не позже чем через три дня после появления младенца. Кто этого не делал, наживал себе страшные неприятности от управляющего инхенио. Поэтому все дети и становились христианами.

Когда мимо вас проходил священник, вы должны были сказать ему: «Благослови, падре». А он на вас иногда и не поглядит даже.

В те времена священники и адвокаты были в почете. Очень гордились своим званием. Я никогда не видел негра священника. Чтобы ночным сторожем стать — и то нужно было родиться испанцем. Хотя ночные сторожа только охраняли, и все. Получали они шесть песо в месяц. В Пурио был один такой толстяк испанец. Звонил в колокол на работу и на отход ко сну. Больше ничего не делал. По мне, так совсем неплохо устроился.

■

Я ушел из Пурио, потому что жизнь там оскомину набила, и отправился бродить по дорогам. Дошел до Ариосы, что рядом с Сулуэтой, и нанялся рубить тростник.

На сахарном заводе Ариосы рабочих было много. По-моему, он был один из самых больших в то время. О нем все хорошо отзывались.

Когда наступал мертвый сезон, на заводе становилось спокойно. Правда, никто не жаловался, что сидит без дела. Работа находилась всегда.

В эти месяцы я обычно шел искать себе какую-нибудь женщину. Отправлялся в соседние деревни.

Самым любопытным в те времена было ухаживание. Если парню приглянулась девушка, ему приходилось тысячу фокусов выделывать. Раньше нельзя было ухаживать в открытую, как сейчас. Секреты и фокусы, каких только не придумывали фокусов. Да и я сам, когда хотел завлечь женщину, одевался во все белое и прохаживался мимо нее, но даже не смотрел в ее сторону. Так несколько дней, пока, наконец, не отважусь спросить о чем-нибудь. Очень помогала мне шляпа, она позволяла проделывать тысячу разных движений: то надеваешь ее на голову, то снимаешь, кланяешься и, наконец, говоришь: «Как поживаете, сеньора?»

Влюбленные объяснялись с помощью маисовых зерен и камешков. Стоит она за забором у своей хижины, а он проходит мимо и зовет: «Пссст, пссст...» или свистнет. Посмотрит она, а он улыбнется и начинает кидать ей камешки один за другим. Она в ответ поднимает их и прячет. Если девушка не прятала камешки, это означало, что она пренебрегает парнем. А какая-нибудь грубиянка

МИГЕЛЬ БАРНЕТ
Я — БЕГЛЫЙ РАБ

и зазнайка могла даже бросить их ему обратно.

Потом влюбленные встречались где-нибудь во время панихиды, праздника или гулянки. Если девушка отвечала взаимностью, то говорила: «Послушай, а я еще храню те маисовые зерна, что ты мне бросил». Тогда он брал ее за руку или целовал. Она спрашивала: «Придешь к моим?» Он отвечал: «Да»,— и уходил. А на следующий день уже был у нее дома и разговаривал с родителями. Она притворялась, что не знакома с ним, так было принято. Потом говорила: «Я подумаю».

Когда человек хотел, чтобы его обвенчали, он должен был заплатить священнику шесть или семь песо. Платили и богатые и бедные. Бедных — рабочих с завода — венчали в часовне. А в церкви, в самом центре, недалеко от главного алтаря, венчали богатых.

■

Приближалась война. Но, как я помню, никто не знал, когда она разразится. Многие говорили, что Испания доживает последние денечки, другие держали язык за зубами или от страха прятали голову в ночной горшок. Сам я молчал, хотя всегда любил революцию и восхищался смелыми, отчаянными людьми. Больше всего в те годы на Кубе были известны анархисты.

А вот кого мы не знали, так это аннексионистов *, о которых теперь столько говорят. Мы хотели одного — свободы для Кубы. Чтобы испанцы ушли и оставили нас в покое. Только и слышалось: «Свобода или смерть!», «Свободная Куба!»

■

Перед войной на острове было много разбойников... Некоторые из них просто знаменитыми стали.

Есть люди, которые выдают разбойников за благодетелей. Говорят, будто они были благородными: грабили, чтобы помогать бедным. А я так думаю, грабеж, как на него ни смотри, всегда грабеж. Иногда разбойникам приходилось укрываться в домах гуахиро, а то и перекусить там чем-нибудь, чтобы не остаться голодными. Отсюда и пошла эта сказка, что разбойники были благодетелями. Конечно, если гуахиро поили их и кормили, должны же они были как-то расплачиваться. Вот и делились, когда награбят приличную сумму. Поэтому гуахиро и были друзьями разбойников, хотя сами разбоем не занимались. Гуахиро всегда были услужливыми. Подъезжает разбойник на своей лошади, а хозяйка ему: «Заходите, выпейте глоточек кофе». Тот пользуется случаем, чтобы завязать дружбу с семьей. Но те же самые разбойники иногда увозили с собой дочерей гуахиро. Эти похищения были самой обычной вещью. Худших бабников, чем разбойники, я не встречал. Они всем готовы были рискнуть, чтобы повидаться со своей возлюбленной. Жандармам это было на руку, они устраивали у дома женщины засаду. Не одного так поймали.

Многие разбойники говорили, что они революционеры и хотят свободы для Кубы. Другие называли себя автономистами *. Прикидывались они. Никогда убийца не может быть патриотом. Вот поджигателями они были, это да. Приезжают в асьенду и спрашивают хозяина: «Ну, как насчет монет?» Если хозяин отвечал, что ничего не даст, грозили спалить посевы. И это не были пустые слова. Иной раз видишь столб дыма и знаешь — это их работа.

Самым известным был Мануэль Гарсия, которого теперь называют Королем кубинских полей. Своей храбростью завоевал он себе много друзей и врагов. Думаю, врагов было больше. Про него говорят, что он не убивал. Не знаю. Точно другое: у него был замечательный ангел-хранитель. Уж очень ему везло. Мануэль был другом гуахиро, настоящим другом. Когда гуахиро видел, что жандармы приближаются к тому месту, где находится Мануэль, он вешал на веревку брюки поясом вниз. Это был сигнал, что Мануэлю надо скрываться. Потому ему и удалось продержаться так долго.

Мануэль Гарсия не дожил до войны за независимость. Вернее сказать, ему уже не пришлось участвовать в боях. Но он дал на войну кучу денег, это да. Не меньше пятидесяти тысяч песо. Как он умер, дело темное. Врагов у него было много.

Старики, которые знали Мануэля, говорили мне, что его погубили женщины. Но мне известно, что его убили из-за денег, которые он пожертвовал на революцию. Один предатель выдал себя за революционера и как-то раз назначил Мануэлю встречу в горах. Попросил Мануэля держать во рту зажженную сигару, для того будто бы, чтобы узнать его в темноте. Мануэль доверчиво пошел на это свидание и принес несколько тысяч песо, которые обещал. Когда он приблизился к предателю, тот крикнул жандармам, чтоб стреляли. Мануэля изрешетили, как сито. Вот такая и была у него смерть.

Другие рассказывают иначе. Говорят, что Мануэль Гарсия погиб, когда отправился в Моху навестить свою любовницу. Он приезжал к ней каждую ночь. Однажды эта свинья пошла к попу и сказала ему: «Ах, падре, я сплю с Мануэлем Гарсия»,— и поп сообщил об этом властям. Через несколько дней Мануэль явился в дом этой женщины. Калитку оставил открытой. Немного погодя

* Сторонники аннексии Кубы Соединенными Штатами.

* Сторонники автономии Кубы в рамках испанского государства.

вышел и заметил, что калитка закрыта. Это его удивило. Когда он снова стал ее открывать, его окликнули: «Мануэль Гарсия!» Он поднял голову, и тут-то жандармы его застрелили.

Разбойников я не боялся. Правда и то, что был я гол как сокол и никто не стал бы меня грабить.

Пострашнее разбойников, и тут никто не станет спорить, были испанские жандармы и начальники округов. Я вспоминаю одного из этих начальничков. Ну и штучка же он был! Не помню, как его звали. Достаточно было шепнуть: «Вот идет начальник округа»,— и это было все равно что сказать: «Вот идет дьявол». Народ разбегался в разные стороны. Когда негры стали подниматься против Испании, тут уж эти начальники поработали всласть. Негр, который был за революцию, не имел права жить. Его немедленно убивали.

■

В Ариосе я любил послушать, как старики и молодежь рассказывают про привидения и разную нечисть. Привидения являются больше старикам. Молодежь их редко видит, что правда, то правда. И сейчас есть люди, которые не верят, что покойники выходят из могил и все такое. Это потому, что они ничего не видели. А когда говоришь им, они не обращают внимания, не верят. И слушать не хотят.

Я как-то рассказал одному молодому парню про чертенка, так он мне заявил, что все это вранье. Но это сущая правда; человек может вырастить чертенка. Да, сеньор, чертенка. Один старый негр конго научил меня, как это делается.

Совсем не трудно. Берете куриное яйцо с зародышем. Кладете его на солнце на два-три дня. Потом, когда оно уже горячее, носите его три пятницы подряд под мышкой. На третью пятницу вместо цыпленка вылупливается из него чертенок. Цветом как хамелеон. Тогда засовываете этого чертенка в маленький пузырек — прозрачный, чтобы его видно было,— и наливаете ему сухого вина. Пузырек носите потом в кармане штанов, чтобы чертенок не убежал. Теперь вы можете получить от него все, что хотите. Только ясно, не надо просить все одним махом. Эти вещи делаются понемножечку.

Война за независимость*

На войну я пошел третьего или четвертого декабря девяносто пятого года. В то время я жил в Ариосе. Однажды собрал я самых старых своих друзей по заводу и сказал им, что пора и нам поднять голову. Первым поддержал меня Хуан Фабрегас. Это был красивый и смелый негр. Я и рта не успел раскрыть, как он уже понял, что у меня на уме. Мы ушли с завода вечером и шли, пока не встретили ранчо. Там прихватили первых попавшихся лошадей, которые стояли привязанные к деревьям. Это не было воровством. Я очень вежливо сказал хозяину: «Будьте так добры, дайте мне седла и сбрую». Он принес, и я тотчас же вскочил на лошадь. Все у меня было — уздечка, шпоры. Я был готов к бою! Правда, огнестрельного оружия я не имел, но для тех времен и мачете было достаточно. Мы долго ехали по главным дорогам и добрались почти до Камагуэя.

Наконец, мы натолкнулись на отряд мамбистов*. Я окликнул их, они нас заметили. На первых порах многое на востоке мне казалось странным и непонятным. Да, по правде говоря, там была мешанина какая-то: эскадроны не сформированы, командиры не назначены. Но дисциплина все же была.

От Камагуэя я вместе с колоннами войск дошел до Лас Вильяс. Теперь я чувствовал себя совсем по-другому: когда ты вместе со всеми — больше уверенности. Я старался заводить друзей, чтобы не попасть в беду. К тому времени, когда мы добрались до Маль-Тьемпо, все меня уже знали, по крайней мере, в лицо. До Маль-Тьемпо я ни в одном бою не участвовал. Там я увидел, что такое война. Это был первый бой, где мы задали испанцам жару**. Командиры заранее уже знали, что будет дело, подготовили солдат. Когда мы подошли к Маль-Тьемпо, в нас будто дьяволы вселились. Боевым оружием были мачете. Командиры сказали: «Как прибудем, вытаскивайте мачете».

Бой под Маль-Тьемпо длился всего полчаса, но мертвецов там за это время набралось больше, чем в аду. Все началось утром. Поле боя было открытым и гладким — равнина, и тем, кто привык воевать в горах, пришлось хлебнуть горя. Маль-Тьемпо — это небольшая деревушка. Когда мы туда прибыли, Масео*** приказал идти в лобовую атаку. Так и сделали. У испанцев поджилки затряслись, как только они нас увидели. Они думали, что мы вооружены ружьями и маузерами. Какие там ружья! Мы просто нарезали палок и держали под мышкой, чтобы нагнать на них страху. Испанцы просто с ума спятили и с перепугу сразу открыли огонь. Мы и глазом моргнуть

* Имеется в виду национально-освободительная война 1895—1898 гг.

* Мамбистами (мамби) назывались бойцы Освободительной армии.

** Имеется в виду бой под Маль-Тьемпо 14 декабря 1895 года.

*** Антонио Масео (1848—1896) — национальный герой Кубы, один из наиболее прославленных военачальников Освободительной армии.

МИГЕЛЬ БАРНЕТ
Я — БЕГЛЫЙ РАБ

не успели, как все кончилось. Мачете они боялись, как дьявола. Ружей — нет, а вот мачете — да. Я, как увижу испанца, еще издали поднимаю мачете и кричу: «Эй, ты, сопляк, сейчас я тебе голову отрублю». Тогда этот расфуфыренный солдатик быстренько поворачивается ко мне спиной и пускается наутек. Некоторые из них вели себя так, потому что неопытными были и очень молодыми — по шестнадцать, по восемнадцать лет. Только что из Испании прибыли, свеженькие еще, никогда в бою не были. Я таких много видел и в Маль-Тьемпо и потом. По-моему, в Испании их некуда девать было, потому и посылали сюда.

При Маль-Тьемпо меня чуть не убили. Один испанец уже прицелился было. Я схватил его за горло, но не убил. Только отобрал патроны и ружье. Не помню, снял ли я с него одежду. Кажется, нет, потому что и наша была не такой уж плохой. Этот солдат поглядел на меня и говорит: «Вы — дикари». Потом побежал, тут его и убили. Конечно, мы им дикарями казались, потому что они были размазнями. Кроме того, они ждали совсем другого, когда ехали сюда. Воображали, что война — это прогулка. И когда заварилась каша, стали думать, как бы обратно податься.

Бой при Маль-Тьемпо был необходим, он поднял дух кубинцев и поддержал революцию. Те, кто участвовал в этом бою, вышли из него убежденными, что могут одолеть врага. Масео много раз говорил нам об этом. Он был уверен в победе. Всегда об этом заявлял. Он не менял курса, не опускал рук. Был тверже гуайакана *. Если бы при Маль-Тьемпо с нами не было Масео, все пошло бы по-другому. Нас бы отбросили.

Масео вел себя как настоящий мужчина. Он всегда был впереди. Конь у него был арабский, храбрее его самого. Казалось, Масео ничем не остановить. Когда испанцы открыли огонь, он подъехал к тому эскадрону, где был я. В тот раз я и разглядел его лучше всего. Масео был высокий, толстый, усатый, и язык у него был хорошо подвешен. Отдавал приказы и сам первый выполнял их. Я никогда не видел, чтобы он ударил хоть одного солдата. Это уж нет! А вот тем полковникам, которые начинали сбиваться с пути, он частенько поддавал, куда следует. Масео говорил, что солдаты не отвечают за ошибки командиров.

■

После победы при Маль-Тьемпо мы двинулись дальше. Бодрые, как никогда. Помню, мы все еще были неорганизованы, то и дело начинались ссоры и раздоры — кому командовать. Эскадронов пока еще не сформировали. Боевого духа у нас хватало, а вот организация была из рук вон плохой. Масео и Гомес * были самыми главными. Но они одни не могли обуздать всех. Помнится, первое место, куда мы пришли, был инхенио Лас-Ньевес. Там мы взяли оружие и боеприпасы. Потом направились к Ла-Олаите и участвовали в бою.

Затем пришли в Эль-Мамей. И здесь был тяжелый бой. Но мы действовали дружно и, хотя испанцы оказывали нам сопротивление, проучили их еще раз. Двинулись к другим инхенио. Уже приближались к провинции Матансас, а постоянных командиров у нас все еще не было. Прошли инхенио Эспанья и Атуэй. Захватили целый ворох оружия. К этому времени стали, наконец, назначать командиров и формировать эскадроны. Это было трудное время. Не каждому везло с командиром. Мне достался Тахо, разбойник. Я его знал хорошо. Противно было выполнять его приказы, но что поделаешь. На войне нельзя задумываться — надо повиноваться. Тахо устроил лагерь на Эль-Капитолио — маленькой высотке между Хикотеа, Сан-Диего и Ла-Эсперансой. Лагерь был невелик, но расположен хорошо. Попасть в него было трудно. Надо было взобраться на холм, продираясь через бурьян и спотыкаясь о пни. На это ни один испанец никогда бы не решился. Тахо то и дело хвастал: «Нет такого испанца, чтобы сюда залез. Нет, черт меня побери!» И смеялся. Он был хитрее, чем все мы, вместе взятые. Хотел воевать, не высовывая носа из лагеря.

За то время, что я провел с Тахо, у нас не было потерь. Когда я пришел, в эскадроне насчитывалось около сорока человек. И уходил — столько же оставалось. В эскадронах народ был дошлый. Мы делали много глупостей, наверно, потому, что не знали ни военной дисциплины, ни военного дела. Каждую ночь несколько человек покидало лагерь, иногда даже с ведома Тахо. Мы отправлялись в соседние усадьбы и крали там свиней, больших, весом на три-четыре арробы**. Лучше всех была усадьба Мадрасо, огромная, и в ней специально свиней разводили. Мы туда выезжали поздно — в десять вечера, верхом, и ловили их не спеша. Они паслись на свободе и поэтому были довольно дикие. Для нас это было как игра. Скачешь за первой попавшейся, гонишь ее, пока из сил не выбьется, тогда нагнешься с коня, хвать свинью по ноге мачете, и она уже не убежит.

Я был у Тахо несколько месяцев. Потом не выдержал и удрал. Слишком уж он разошелся. Что ни день, то новые штучки и выходки. Крал волов и другой скот, продавал их, в общем... чистая бе-

* Дерево с очень твердой древесиной.

* Генерал Масимо Гомес (1833—1905) — национальный герой Кубы, главнокомандующий Освободительной армией в войне 1895—1898 гг.

** Мера веса, равная 11,5 кг.

да — просто скотокрад, вырядившийся освободителем.

Спустя три месяца после того, как я с ним расстался, мне рассказали, что Тахо перешел к испанцам. Ничего другого от него и ждать нельзя было. Такой был несерьезный человек. А через некоторое время опять в Освободительную армию переметнулся. Его разжаловали из капитанов, но ему было наплевать.

Уже после войны я встретил его в Эль-Сапо, маленькой усадьбе около Ла-Эсперансы. Ему в то время около шестидесяти лет было. Я поздоровался, он ответил и пригласил меня в дом. Ни словом не помянул о моем бегстве. Знал, что я его насквозь вижу. Теперь он, должно быть, уже умер. Место его в аду, хотя и ада для такого мало.

■

Стоило мне взглянуть на бригадира Ихинио, и я сразу понял, что он за человек. Болтать не любит. Когда мы прибыли к нему, он сразу прибрал нас к рукам.

Суровый был командир и с людьми сух, зато уж никаких измен не допустил бы. Я его уважал, в нем было что-то благородное.

Под командованием Ихинио мы сражались мало. Единственное крупное дело было при Арройо-Приэто. Там мы дрались довольно долго и победили.

Несколько раз у меня выходили неприятности с офицерами. В Эль-Вискайно, когда я был под началом у Ихинио, пришел приказ на меня лично. Я должен был немедленно явиться в распоряжение полковника Аранды как его денщик. Мне этот приказ не по душе пришелся. Я тут же отправился к Ихинио и прямо сказал ему: «Послушайте, я не для того взялся за мачете, чтобы у кого-то в денщиках ходить». Действительно, на кой это черт мне было застегивать краги и чистить ботинки тому полковнику. Ихинио посмотрел на меня и ни слова не сказал. В результате я получил пятнадцать суток имахинарии. Имахинария — это когда назначают в караул вне очереди. Приходится без конца ходить взад-вперед по лагерю и сторожить. Там не то что вздремнуть, глазом моргнуть нельзя. Ливень, грязь, москиты...— настоящий ад.

Мне больше не приказывали быть денщиком. Ихинио со мной об этом случае не заговаривал.

■

В Гавану я впервые попал с войсками. В эти дни там праздновали победу.

Я был счастлив. Никогда не думал, что война может кончиться. Я испытывал то же, что и в горах, когда узнал, что отменили рабство. В такие вещи трудно поверить сразу. Когда мне сказали, что заключено перемирие, я не поверил и только в Гаване в этом убедился. Казалось, светопреставление началось. Народ на улицах аплодировал Масимо Гомесу и целовал его одежду. Не было ни одного, кто бы не кричал: «Да здравствует свободная Куба!»

Незнакомые люди обнимались прямо на улице, все махали шляпами, плакатами... Я не могу описать это как следует, потому что сам очень переживал тогда.

Помню я и об одежде, шляпах, модах, которые завезли на Кубу американцы. Они говорили, что человек должен ходить с непокрытой головой, и были такие, что слушали их. Мне эта мода никогда не нравилась. Я думаю, выставлять свой череп напоказ — неуважение к людям. Но американцам на все плевать.

К неграм они не очень цеплялись. Крикнут: «Нигер, нигер»,— и хохочут. Если вы ответите им, продолжают надоедать, если нет — оставляют вас в покое. Ко мне они никогда не приставали. По правде говоря, я их не переваривал и ни с одним не связывался. Всегда, когда мог, обходил их стороной. Как война кончилась, начались споры — воевали негры или нет. Я-то знаю, что девяносто пять процентов негров участвовало в войне. Потом стали говорить, что воевало всего семьдесят пять процентов. Никто тогда не возразил. И вот в результате негры остались ни при чем. Это несправедливо, но это так.

Американцы вылезли со своими разговорами — если, мол, негры наберут сил, станут образованными, то они погубят белую расу. Вот и получилось, что негров совсем оттерли. Белые кубинцы промолчали и не вступились за них. Сейчас другое дело: на улице, в кафе и повсюду белые и черные вместе.

Когда армия была распущена, никому из негров, сражавшихся в ее рядах, не пришлось остаться в городе. Они возвратились на поля к тростнику, табаку и всему остальному. Потом многие говорили, что больше всего подгадили американцы. Я с этим согласен. Американцы обманом завладели Кубой. Но, по правде говоря, нельзя во всем винить только их. Настоящими виновниками были те кубинцы, которые им подчинились. Здесь о многом еще нужно подумать.

Кубинские полковнички, когда война окончилась, с раскрытыми объятиями приняли Маккинли* и позволили ему распоряжаться нашим островом, как ему вздумается. Там, где сейчас сахарный завод Санта Мария, раньше были земли

* Уильям Маккинли — президент США в 1897—1901 гг., один из вдохновителей империалистической испано-американской войны 1898 г., в результате которой США оккупировали Кубу.

маркиза Санта Лусия *. И вот, как я слышал, эти земли маркиз отдал освободителям. Но их присвоили американцы в компании с Менокалем **. Самая грязная сделка за всю войну!

Менокаль помалкивал, но прямо раздувался от гордости. Он был больше американцем, чем сам Маккинли. За это никто его и не любил. Он был из тех патриотов, что торгуют родиной, а не из тех, что за нее сражаются.

И сколько еще всякой всячины, конца ей не видно. Прежде я больше думал обо всем этом и думал столько, что приходилось руки прикладывать ко лбу и остужать голову. И теперь я нет-нет да и призадумаюсь. Не то чтобы нравилось размышлять над этими вещами. Мысли сами приходят ко мне, и вытряхнуть их из головы может только землетрясение.

Когда война закончилась и все войска вошли в Гавану, многие хотели остаться в городе, жить спокойно и сытно. Ну, и вот тем, кто там остался, пришлось хуже, чем если бы они вернулись в горы и на поля. Хуже, потому что сразу же начались притеснения, побои, всяческая ложь и обман. «Негр, ты здесь разбогатеешь». А он первым подыхал с голоду. Поэтому, когда командиры сказали: «Война кончилась, давайте, ребята, работать»,— я схватил свой узелок и подался на железнодорожную станцию. Там меня посадили в поезд и довезли до Лас Вильяс. Я сам этого просил. Лас Вильяс лучший район Кубы, да и родом я оттуда.

Сокращенный перевод с испанского *Н. БУТЫРИНОЙ*

* Имеется в виду кубинский патриот и политический деятель Сиснерос-и-Бетанкур (1828—1897). В национально-освободительную войну 1868—1878 гг. был президентом республики, образовавшейся в освобожденных районах Кубы.

** Марио Гарсия Менокаль — президент Кубы с 1912 г. по 1921 г., ставленник североамериканских монополий.

Навстречу 50-летию Октября

1 Мая 1919 г. Будапешт. Демонстрация. В колонне — киноактеры.

В КАДРАХ «КРАСНОГО КИНОРЕПОРТАЖА»...

Победа Великой Октябрьской социалистической революции горячо отозвалась в сердце венгерского народа, пережившего немало лишений и горестей. В ответ на объявление Антантой войны молодому советскому государству в январе 1918 года в Венгрии поднимается шквал забастовок.

После заключения Брестского мира тысячи солдат возвращаются из России. По всей стране разносятся вести о русской революции, распространяются ее пламенные идеи.

Правительство еще пытается защищаться, но дни старого режима сочтены. «Пусть все старое ломается!» — взывает Эндре Ади в июле 1918 года. Голоса писателей становятся смелее, мужественнее. Лучшая часть интеллигенции открыто примыкает к революционному движению.

При редакции газет объединения «Эшт» организуется творческая группа кинооператоров, занимающихся кинорепортажем. Они работали без режиссера, в сотрудничестве с журналистами редакции «Эшт». Это первый пример настоящего творческого содружества журналистов и кинооператоров. Руководил этой своеобразной студией кинохроники Даму Оскар — довольно известный в то время писатель, талантливый человек, влюбленный в новое, зарождающееся искусство документального кинематографа.

20 ноября 1918 года образуется Коммунистическая партия Венгрии. 7 декабря вышел в свет первый номер партийной газеты «Красная звезда», а в январе 1919 года ее научный и литературный журнал «Интернационал». Большинство рабочих поддерживает молодую коммунистическую партию. 21 марта 1919 года власть перешла в руки революционного народа. Кадры кинохроники донесли до наших дней атмосферу борьбы и революционного пафоса великих дней Венгерской советской республики 1919 года.

Необычайно интересен тот факт, что все киностудии, существовавшие в Венгрии (четыре студии художественных и одна киностудия документальных фильмов «Эшт», о которой мы упоминали выше), обратились к революционному правительству с просьбой национализировать их. Так впервые в истории мировой кинематографии — в Венгрии — была национализирована вся кинопромышленность, а кинопродукция целиком поставлена на службу революционному государству.

Несмотря на недолговременность существования первой Венгерской советской республики, в те незабываемые дни были созданы интересные произведения: нельзя не упомянуть о таких фильмах, как «Вчера» режиссера Лайоша Лазара — попытке показать новые отношения между людьми, «Совесть» режиссера Даму Оскара, «Деньги» режиссера Паллюша Шандора по рассказу М. Горького.

Однако, чтобы осмыслить в художественной форме происходящие в сознании людей, в их чувствах, в их взаимоотношениях социальные сдвиги, необходимо было время.

Хроника же показывала реальную жизнь непосредственно, оперативно, отражая вместе с тем все нюансы новых, на глазах рождающихся явлений, взаимосвязей.

Журнал «Кепеш мозивилаг» («Мир образов кино») 9 марта 1919 года сообщал:

«Перед началом больших художественных фильмов стали всегда показывать чудесную живую фотогазету — кинохронику «Эшта». Мы быстро привыкли к нему и полюбили его, этого волшебного, быстрого репортера, который, спустя несколько часов после события, рассказывает нам свежие вести или делает нас очевидцами таких событий, которые нас интересуют. За какие-то несколько минут перед нами предстают целые драмы, правдивые отчеты, комические сцены. Но что самое главное — это история, это истинная и точная хроника». Несколько тысяч метров сохранившейся кинопленки в самом деле дают наиболее точные сведения о Венгерской советской республике.

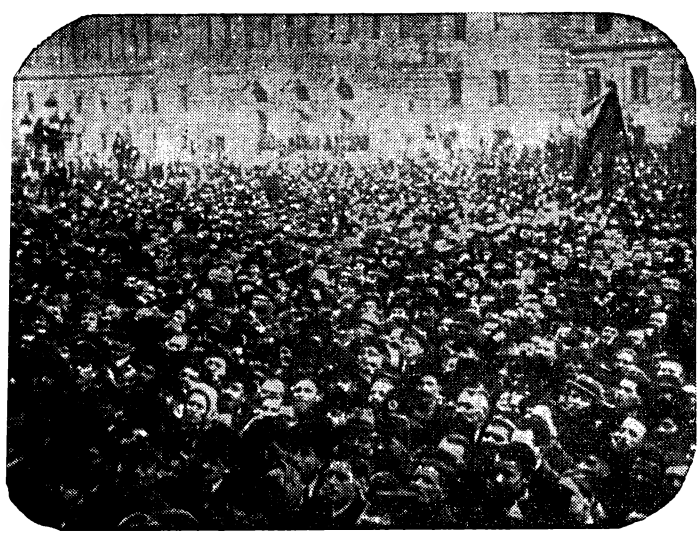
В эти дни кинохроника «Эшта» преобразуется в так называемое «Красное репортажное кино». Сохранившиеся кинокадры — подлинные страницы истории социалистической революции.

Весенние полевые работы во вновь созданных сельскохозяйственных кооперативах... Рабочие, заседающие в новых клубах, дворцах, учащаяся молодежь — гимназисты, принимающие добровольное участие в тяжелом физическом труде... Рабочие лачуги, где капиталисты не стали бы держать и свой скот... Этот быт предстояло переделать, преобразовать для счастья молодого поколения. И очень часто в объективе кинокамеры — дети: те, во имя кого совершилась революция.

Живые, незабываемые кадры увековечили радость юных пролетариев, завладевших впервые всеми прелестями острова Маргит, который раньше был попросту недоступен для бедных.

В бывших дачах богачей — школы и санатории для больных детей.

Под руководством Оскара, возглавившего коллектив «Красного кинорепортажа», 10 операторов снимают в Будапеште первую свободную первомайскую демонстрацию. Кинохронике, и только кинохронике, мы обязаны тем, что можем



23.III. 1919 г. Митинг на площади Парламента.

Бела Кун и Деже Бокани на митинге

Пролетарский дом в 1919 году.

Остров Маргит принадлежит пролетариям. Отдыхающие на острове Маргит. (Надпись: «Все наше».)

сегодня быть непосредственными свидетелями этого чудесного весеннего дня и бурной веселой демонстрации.

Еще одна постоянная тема «Красного кинорепортажа» — вооруженная защита завоеваний диктатуры пролетариата. Даму Оскару был предоставлен специальный отдельный вагон, прицеплявшийся обычно к поезду главного командования. Это давало возможность вести регулярную хронику последних военных событий.

Первомайские торжества снимались одновременно несколькими кинооператорами. Поражают красочность, динамичность демонстрации, но лучшими кадрами являются те, где непосредственно показывают людей, их лица, улыбки, глаза, мгновения самозабвенной радости — все то, что может запечатлеть только кинокамера.

Необычайно важно отметить, что как раз в это время замечательный советский режиссер-экспериментатор Дзига Вертов работал составителем-монтажером первого регулярного советского документального киножурнала. Его «Кинонеделя» выходила с 1 июня 1918 года по 20 мая 1919 года.

Было бы преувеличением утверждать, что во всех упомянутых кадрах сознательно применялись методы, которые были разработаны и теоретически обоснованы Дзигой Вертовым, Л. Кулешовым и другими пионерами советского документального кино. Однако можно говорить не просто об отражении жизни, а об ее «оценивающей систематизации» (Пал Форро), о первых элементах драматизации, стремлении к целенаправленному убеждению зрителя. Это значительно больше, чем простая информация.

На экране — массовые митинги в Будапеште и во многих промышленных центрах молодой республики в день организации Красной Армии. Участники митинга — рабочие. После общих планов камера останавливается на лице оратора, а затем на лицах слушающих. Попытка показать воздействие слов оратора на массу, приоткрыть перед зрителями внутренний мир человека, его чувства пока еще наивна, неумела. Два рядом стоящих кадра еще не рождают нечто третье, совершенно новое по смыслу, это скорее соединение эпизодов, снятых разными камерами. И все же речь идет о настоящем творческом поиске.

В дореволюционных киножурналах преобладала чисто показная, сенсационная трактовка жизни. Основная цель — ошеломить зрителя, отвлечь его от тягот будничной прозы. Материал для киноинформации поставляли торжественные церемонии из жизни высшего общества, военные парады да изредка уголовная хроника. Художественные достоинства почти отсутствовали.

Кинематографисты советской Венгрии так же, как и Дзига Вертов — параллельно с ним,— шли иными путями, экспериментировали с кинокамерой, пытаясь найти нетрадиционную впечатляющую форму своего искусства, которое наиболее полно могло бы отразить бурную действительность революционной эпохи.

Интересно, что в седьмом номере венгерского журнала «Красная кинематография» за июнь 1919 года в статье «Семь кинохроник из Советской России» рассказывалось, что один из руководителей республики Тибор Самуэли привез на самолете из советской страны 7 выпусков кинохроники. К сожалению, материалы эти не сохранились, и мы не можем точно установить, были ли это номера «Кинонедели» Дзиги Вертова. Тем более что сам факт единичен, случаен, так как регулярного обмена киноматериалом между республиками не было. Ясно, однако, что сама революционная деятельность пробуждала творческую активность и советских и венгерских пионеров документального кино, звала их к новым смелым поискам, экспериментам.

Во многих выпусках «Красного кинорепортажа» природа — уже активный компонент фильма. Операторы как бы заставляют пейзаж вмешаться в эпизод, заговорить, усилить общее звучание репортажа. Сочные, полные света кадры на острове Маргит, пляшущие солнечные блики, сияющий Дунай усиливают ощущение детской радости. Мирная гармония природы, залитые солнцем поля в одном из фронтовых репортажей. И контрастные тревожные кадры — солдаты ползут по спелой пшенице. Они должны защитить эту красоту. Сейчас начнется атака. Возможно, многие из них последние мгновения видят солнце. Здесь природа — символ, подчеркивающий трагизм ситуации, а не просто красочный фон.

Венгерское море — озеро Балатон, покрытое легкими волнами. Дом отдыха на берегу. Мы вдыхаем запах воды, теплоту летнего воздуха, настраиваясь на восприятие какого-то радостного события. И действительно, следующие кадры полны движения, счастья. Пролетарии и дети пролетариев впервые наслаждаются заслуженным отдыхом. Кажется, что кинокамера радуется вместе с ними. До этого никогда еще зарождающееся венгерское киноискусство не могло так образно, выпукло передать ощущение счастья.

Роднит творцов «Красного кинорепортажа» с Дзигой Вертовым и особый интерес к новому человеку.

...Репортажи о борьбе с внутренней и внешней контрреволюцией. Офицеры и бойцы Красной Армии перед атакой. Старые, бывалые солдаты и зеленая молодежь — вчерашние рабочие. Напряженные фигуры и лица. Они хотят жить, а

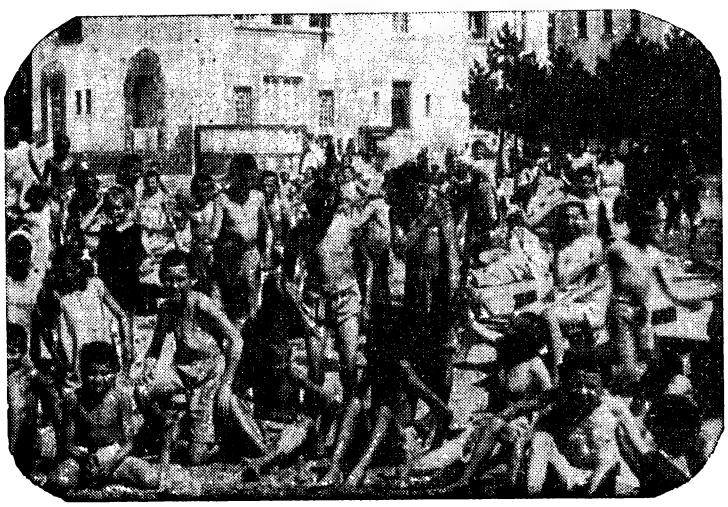
1 Мая 1919 г. Демонстрация. Идут рабочие завода «Чепель».

Бела Кун и Тибор Самуэли.

Енё Ландлер, Ференц Мюних, Бела Ваго на фронте.

Бела Кун и другие руководители с рабочими, вступающими в Красную Армию.

Красная пехота.



Дети рабочих впервые в жизни отдыхают в санатории у Балатона.

не умирать. Двинулись цепью, и в этот — последний — момент камера запечатлевает улыбку, незаметный, подбадривающий жест старого солдата, обращенный к молодому товарищу, почти подростку. И сразу как бы приоткрывается внутренний мир человека. Полны драматизма кадры подавления контрреволюционного мятежа матросов Дунайской флотилии рабочими близлежащих заводов. И снова крупно — лицо человека. «Человек перед объективом камеры смотрит в лицо смерти» (Бела Балаш). Смертельно ранен рабочий, борющийся против мятежников. Камера выхватывает трагический, неповторимый момент уходящей жизни. Словно мы сами смертельно ранены... Последние кадры показывают военный катер мятежников, разбитый революционными войсками.

Конечно, все это были лишь первые шаги к овладению настоящим, публицистически образным киноязыком. Многие репортажи схематичны и наивны. Вот характерный пример. Дом, где живут пролетарии. Типичная для того времени рабочая среда. Тесный двор, где мало воздуха, небольшие окна, куда почти не заглядывает солнце. Во дворе идет будничная, примелькавшаяся жизнь. Стирают женщины. Дети и старики носят воду, вешают белье. Одеты бедно — все свидетельствует о крайней нужде. Кадры правдивы и выразительны. И вдруг чувство правды изменяет художникам. Они собирают всех людей во дворе вокруг большого корыта и делают наивную традиционную семейную фотографию. Киносъемочный аппарат застыл на месте. Все, проходящие мимо, попадают на пленку. Они машут руками, смотрят в объектив, радуются тому, что их снимают. И кажется, что это нравится и тому, кто крутит ручку кинокамеры. Примитивная, без мысли инсценировка сводит на нет предыдущие кадры.

Не удалось венгерским кинодокументалистам того времени овладеть и мастерством титровых надписей. Тексты зачастую дидактичны, невыразительны, вялы. У Дзиги Вертова уже в его «Кинонеделе» 1918—1919 годов надписи приобретают живую, разговорную интонацию, они не информируют, а активно вторгаются в содержание кадра. В «Красном кинорепортаже» в титрах часто повторяется по смыслу то, что зритель видит на экране.

Но несмотря на все эти недостатки, творческое наследие кинодокументалистов Венгерской советской республики представляет сегодня огромную историческую и эстетическую ценность. Не случайно именно этот вид искусства получил такое удивительное развитие в короткий период существования в Венгрии советской республики Активное, смело вторгающееся в жизнь искусство, оперативно отражающее новые, на глазах возникающие ростки революционной жизни, было созвучно революционной эпохе.

Несмотря на слабые технические возможности и низкий уровень мастерства, в «Красном кинорепортаже» налицо многие первоначальные элементы, из которых в дальнейшем сложится яркий язык современной кинопублицистики: тщательный выбор объекта съемок, выразительность природного фона, интерес к сложному внутреннему миру человека, психологически-объемный образ, построенный на материале документальных кадров...

Восхищает нас энтузиазм, неутомимость, самоотверженность творцов «Красного кинорепортажа», разъезжавших по всей стране, одинаково оперативно снимавших на фронтах и в тылу.

Их труд, их творческое горение не пропали даром. Все, созданное ими, тщательно изучается в Венгерской Народной Республике, их примеру следуют сегодняшние кинодокументалисты Венгрии.

Э. ГАРАИ

РАДИЙ ФИШ

Улица Здравого Смысла

Мы долго искали ее вместе с моим другом поэтом Нефзатом Устюном. Стояла темная осенняя стамбульская ночь. Район был новый и пустынный. В глубине за деревьями виднелись двух- трехэтажные дома. Мы постучали в один из них.

— К сожалению, не знаю,— ответил хозяин. И улыбнулся.— Сомневаюсь, что в этом городе вообще есть такая улица.

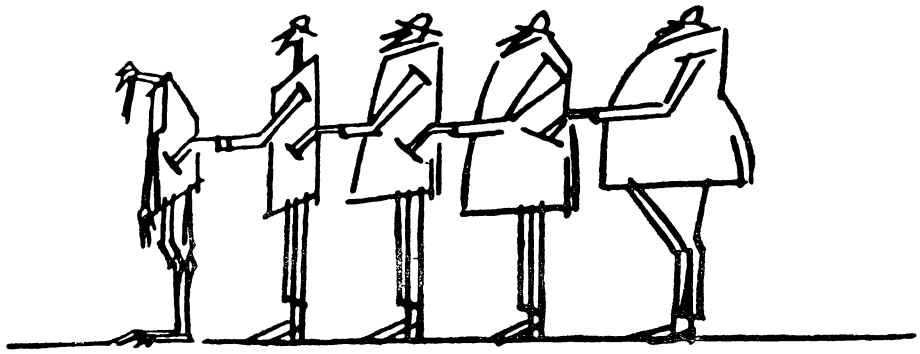
Наконец поиски привели нас к скромному двухэтажному дому, спрятанному в темной ночной зелени. На этот раз мы не ошиблись. Турхан-бей жил здесь.

Винтовая лестница с перилами из черного металла вела вниз в столовую, переделанную из угольного склада. Белые оштукатуренные стены с несколькими картинами. Длинный деревянный стол с массивными стульями. Люстра в виде керосиновой лампы прошлого столетия... Пока мы ее разглядывали, на низком маленьком столике в углу — знак того, что разговор будет долгий, интимный,— появились бутылки пива с традиционными солеными фисташками, фундуком, каленым горохом, земляными орехами и фруктами. Вскоре мы чувствовали себя так, словно видели друг друга не второй раз в жизни, а были знакомы давным-давно.

Турхан-бей говорил мало, больше слушал — что он умеет делать, как немногие собеседники. Впрочем, он вообще человек малоразговорчивый, да и зачем много говорить, если умеешь несколькими штрихами карандаша высказать то, на что писателю требуется книга, а публицисту — серия статей.

В редких шутках Турхан-бея сквозила тонкая, часто печальная ирония. Весь его облик как-то плохо вязался с человеком, пользующимся всемирной известностью.

Турецкий сатирик Азиз Несин как-то заметил, что человек, не умеющий смеяться над самим собой, вряд ли может быть назван зрелым. По мнению писателя, это также относится к обществу, к народу.



Турецкой Республике нет еще и пятидесяти лет. Но за плечами ее народа — многовековая и очень нелегкая история. В течение многих веков этой истории искусством, в котором полней всего проявлялся национальный гений, была сатира, ведущая отсчет от легендарного «основоположника жанра» Ходжи Насреддина.

Один из крупнейших публицистов современной Турции, Четин Алтан, писал о Турхане Сельчуке: «В своей области он первый человек завтрашней Турции. И в тот день, когда наша страна в каждой области вырастит своего Турхана Сельчука, она станет той счастливой завтрашней Турцией, о которой мы тоскуем и для которой работаем».

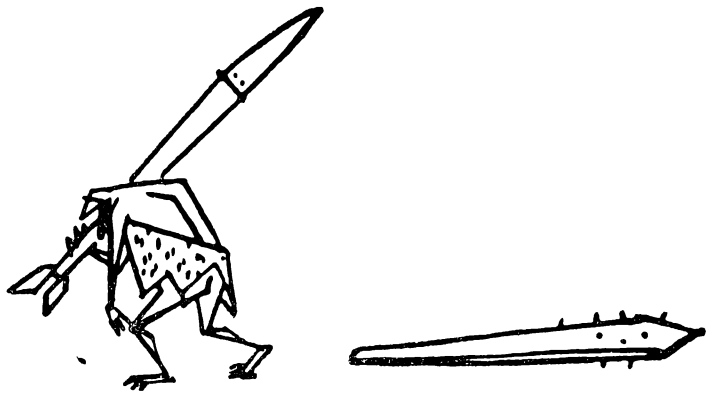
Нечасто говорят такие слова о художнике, тем более если он работает в жанре карикатуры.

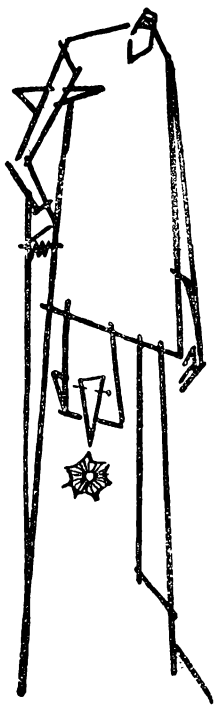
Жизнь Турхана Сельчука не богата внешними событиями, но биография его типична для целого поколения передовой турецкой интеллигенции. Он родился в небольшом провинциальном городке Миласе на юго-западе Турции. Отец его был военным, и вместе с семьей Турхан кочевал по стране, учился в разных городах. Окончил он лицей на юге, в Адане. Затем здесь же работал на фабрике рабочим. В 1943 году приехал в Стамбул и поступил в зубоврачебный институт. Но материальные лишения, а затем и болезнь вынудили его прекратить ученье. Вылечившись, он пытается его продолжить, на этот раз на литературном факультете университета — по разделу истории искусств. Но через два года снова вынужден оставить университет.

Еще на лицейской скамье он начал рисовать и опубликовал свой первый рисунок в аданской газете «Тюрксёзю» («Турецкое слово»). Не прекращал он рисовать и в университете. И с 1948 года становится профессиональным художником-карикатуристом.

В начале своего пути Турхан Сельчук испытывал влияние знаменитых турецких карикатуристов — Надира, Рамиза. Это были большие мастера. Но принадлежали они к той школе, которую ныне принято именовать иллюстративной. Темой рисунка чаще всего было не явление, а личность, чьи характерные черты, манеры или поступки комически преувеличивались, смысл карикатуры по большей части заключался не в самом рисунке, а в подписи к нему.

Новый этап в развитии турецкой карикатуры, так же как это случилось с турецким романом и рассказом, связан с подъемом, который переживало турецкое общество после разгрома фашиз-





ма во второй мировой войне. И связан он прежде всего с именем Турхана Сельчука.

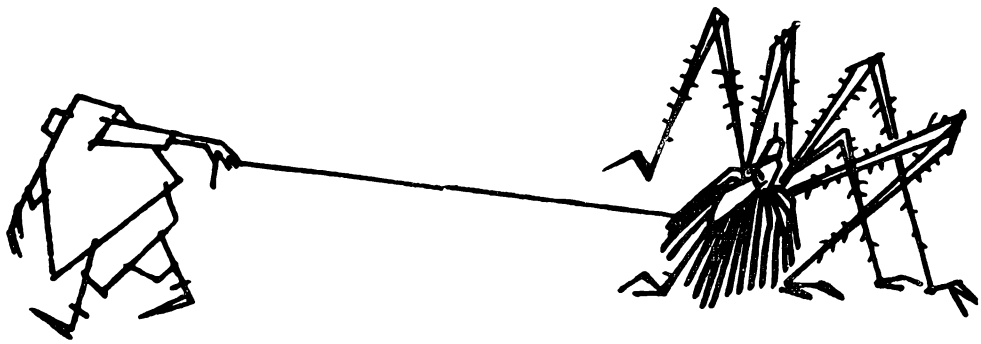
— Для меня,— говорит он,— карикатурист — это прежде всего художник, мыслящий линией.

Рисунки Турхана Сельчука не всегда забавны и веселы. Они бывают печальны, задумчивы, удивительны, трагичны. Нелегко было приучить читателя, привыкшего немедленно извлекать из карикатуры простой однозначный смысл, рассматривать рисунок, размышлять над ним.

Немало упреков, обвинений в том, что он непонятен и не будет понятен никогда, пришлось на долю художника от тех, кому было невыгодно, чтобы читатель думал и извлекал из карикатур Турхана Сельчука заключенный в них смысл.

Однако читатель довольно скоро опроверг эти обвинения. Вот уже десять с лишним лет карикатуры Турхана Сельчука печатаются на второй странице одной из крупнейших еженедельных газет Стамбула «Миллиет» и немало способствовали увеличению ее тиража. Но всеобщее признание критики, как это часто бывает, они завоевали лишь после того, как художник получил известность за границей.

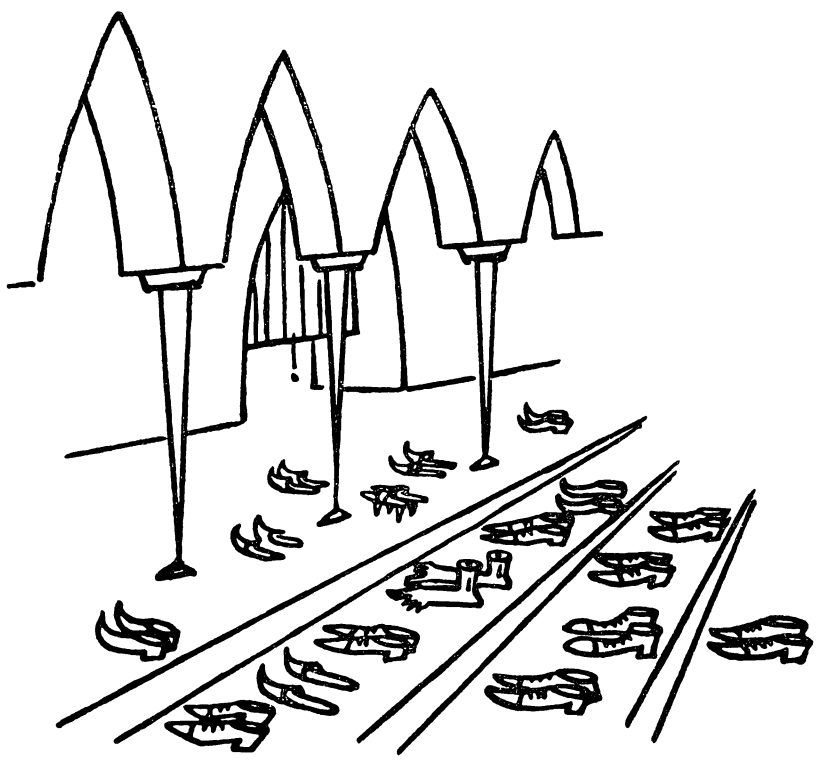
В 1956 году вместе с Азизом Несином Турхан Сельчук завоевал Золотую пальмовую ветвь на Международном конкурсе юмористики в Бордигера, в 1963 году — Серебряную пальмовую ветвь на Всемирной выставке юмористического рисунка в Италии. Его карикатуры печатаются ныне во многих странах Европы и Америки. Они вышли отдельными альбомами во Франции и Швейцарии и, наконец, вместе с рассказами Азиза Несина помещены в четырехтомной Энциклопедии

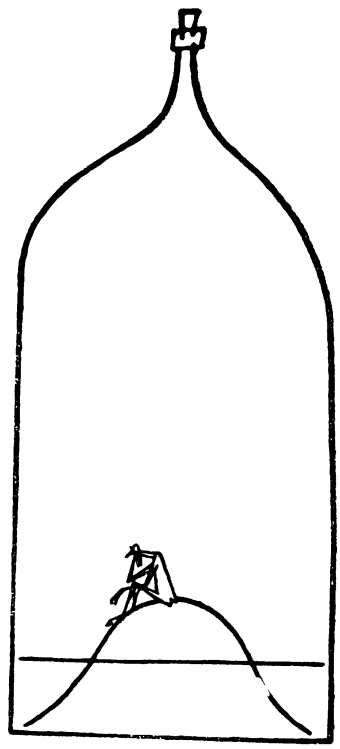


мировой юмористики, которая издана в Милане и включает лучшие образцы жанра, начиная с 1870 года до наших дней.

«Эти четыре тома,— писала в этой связи стамбульская газета «Джумхуриет»,— будут жить и говорить, когда мы с вами станем прахом. И в хоре их голосов будут звучать голоса двух турок. Ныне находятся люди, которые с трибуны и с газетных страниц пытаются монополизировать любовь к родине и доходят до того, что позволяют себе выставлять отметки другим: «Этот, мол, патриот, а этот сомнителен, тот запятнан, а этот подозрителен». Напрасные потуги! Разве уже теперь не ясно, чей голос будет слушать мир как голос тридцатимиллионного народа Турции?»

Давайте и мы с вами послушаем этот голос и поразмыслим над тем, что он говорит.





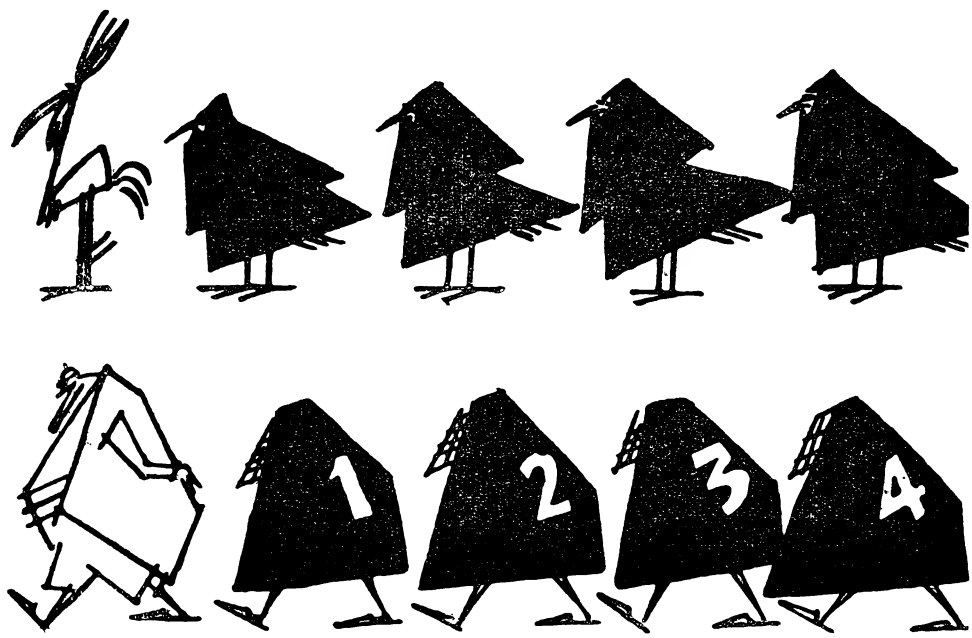
Толстый господин в шляпе, напоминающей одновременно и феску и цилиндр, с острой бородкой шествует по всем альбомам Турхана Сельчука. Как кошка всегда падает на ноги, так и он, откуда бы ни слетел, всегда падает в кресло. Он спит в креслах, охраняет кресло, как пес. Повсюду — даже на пляж — таскает его с собой. Иногда он, правда, встает с кресла, чтобы погнаться с атомной дубиной за земным шаром, и даже разувается, чтоб побеседовать с босыми избирателями — но все это ради него, кресла. Оно — и средство, и цель в его жизни.

Но художник не дает читателю, посмеявшись над знакомой фигурой политикана, утешиться этим. Читатель тут же находит и себя — в стаде баранов, идущих на убой по мановению палки того же самого господина, нацепившего бурку пастуха, то бишь тогу пастыря. Подобные господа, говорит художник, кажутся великими потому, что всегда от рождения до смерти сидят на нашей спине.

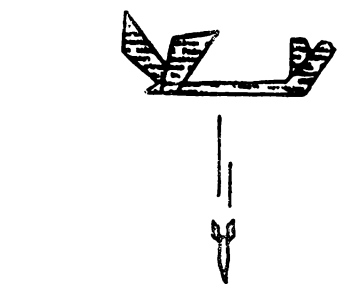
Основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк отделил дела религиозные от государственных, ввел светское образование и гражданское судопроизводство, запретил многоженство. Но пережитки прошлого живучи. В годы диктатуры Мендереса клерикальная реакция, особенно в провинции, вновь подняла голову. И сейчас многие рисунки Турхана Сельчука бьют по ней без промаха.

Правоверный мусульманин по религиозному праву мог иметь четыре жены, это было предметом его чести и гордости. Сравнив многоженца с петухом, художник из героя превращает его в посмешище.

Как известно, в Турции особенно ощутимы контрасты между старым восточным бытом и современным цивилизованным образом жизни. Турхан Сельчук, изображая их, идет вглубь.

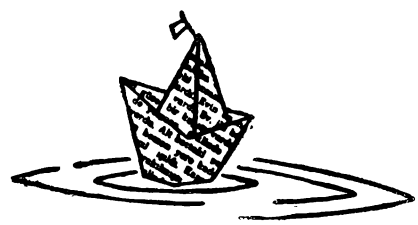


Вот безголовый человек тянет за собой на веревке упирающуюся паучьми ногами бородатую голову. Конечно, это тот же самый религиозный фанатик, реакционер, сопротивляющийся каждому шагу вперед. Но и не только он. Разве вам не приходилось вдруг ощущать, насколько ваши собственные представления о жизни отстали от нее, наблюдать, как отжившие, но укоренившиеся представления мешают движению вперед? «Самая страшная тюрьма та, которая построена в твоей голове»,— говорил Назым Хикмет.

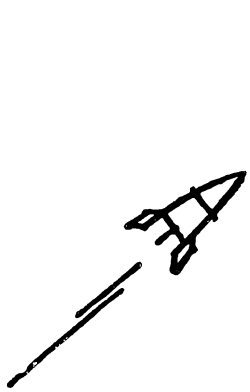


Может быть, тем и сильны рисунки Турхана Сельчука, что при всем их национальном своеобразии каждый находит в них частицу собственного опыта.

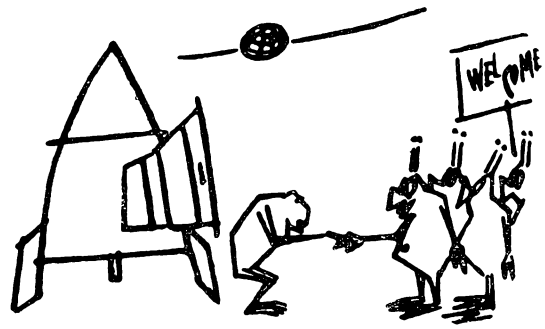
Турхан Сельчук размышляет над важнейшими проблемами современного мира. Он предупреждает об опасности, которой грозит человечеству отставание нравственного прогресса от прогресса технического, что позволяет дикарю сменить дубину на ракету, оставаясь при своей дикарской морали.



Присущим его искусству способом — линией — художник умеет высказать свою мысль с предельной ясностью. Он изображает здоровенного детину с дымящимся автоматом в руке, в полосатой арестантской одежде со звездами на груди, а на заднем плане — убитую вьетнамскую женщину. Звезды и полосы сами собой складываются в нашем представлении в американский флаг. И мы видим, что Турхан Сельчук думает об агрессии США во Вьетнаме.



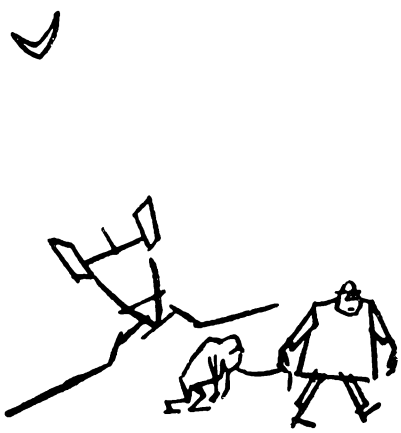
1



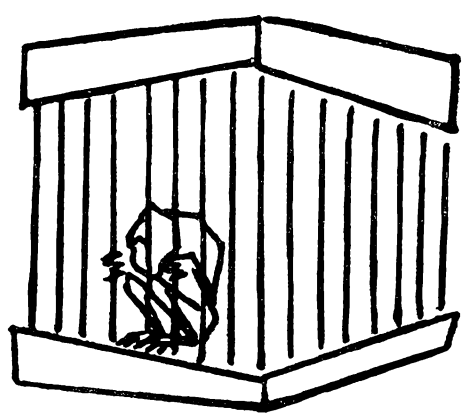
2

3

4



5



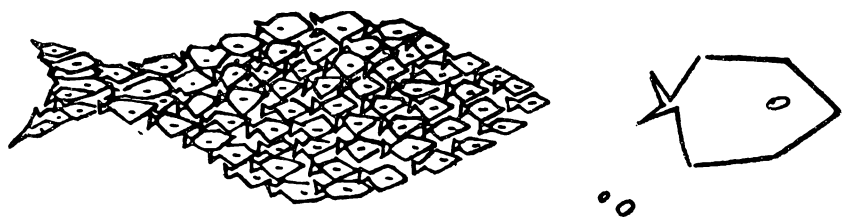
6

Как всякий подлинно прогрессивный художник, он борется своим искусством со всем, что стоит на пути человека к свободе и счастью. С нищетой и эксплуатацией, с демагогией и лицемерием, с бесправием и насилием.

Не всегда карикатуры Турхана Сельчука легко объяснить словами. Впрочем, будь иначе, наверное, не нужно было бы и его искусство.

Глядя на человека, сидящего в бутылке, я, например, ощутил и печаль, и одиночество, и ограниченность его. И вспомнил иронические строки турецкого поэта Орхана Вели: «Ах, если б я был рыбой в бутылке водки!» Рассматривая рисунок, на котором бумажный самолетик бросает в бумажный кораблик настоящую бомбу, я подумал о том, в какие опасные игры играет человечество и как дорого ему обходятся эти «бумажные» кораблики. У другого читателя, быть может, возникнут иные ассоциации, иные мысли. Но характер, их направление заданы художником.

Турхан Сельчук смотрит на мир пристальным, удивленным и наивным взглядом. Это удивленность поэзии, наивность здравого смысла.



Есть турецкая поговорка: «Мир устроен так, что большие рыбы глотают маленьких». Турхан Сельчук рисует большую рыбу, рядом с ней — огромную. Но, присмотревшись, вы видите, что она состоит из крохотных рыбешек. Так художник вносит в пословичную истину свою решающую поправку. По обыкновению, он не снабдил рисунок подписью. Я же, не удержавшись, дал ему про себя название: «Сила в единении».

...Когда мы с Нефзатом Устюном вышли на улицу, было уже далеко за полночь. Над Стамбулом взошла полная луна. В ее свете я прочел табличку на доме Турхана Сельчука «Улица Здравого Смысла, 24».

Зря сомневался соседский домовладелец. Есть в Стамбуле такая улица.

НАШИ ГОСТИ

«МОЖЕТ БЫТЬ, НЕТ В ИСПАНИИ ВОЗДУХА?»

ХЕСУС ЛОПЕС ПАЧЕКО

Не заставят меня молчать.
Если заткнут мне рот —
сердце мое запоет.

Потому что все что я видел,
ношу я в своей груди,
и молчанье мне боль причиняет.

Так писал в 1958 г. молодой испанский писатель, поэт и прозаик, Хесус Лопес Пачеко. После долгих лет молчания со страниц произведений талантливых молодых поэтов в мире вновь зазвучал истинный голос Испании.

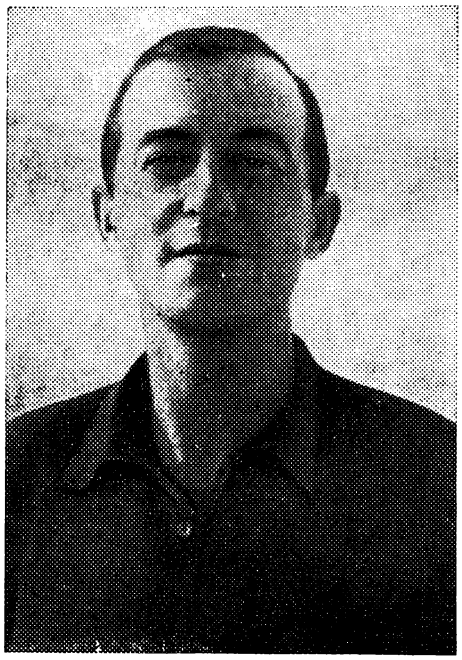
Хуан Гойтисоло дал старт новой нонконформистской волне в испанской прозе. Герои романов Гойтисоло, будь то нищие обитатели городских трущоб («Прибой», 1958 г.), или бунтующие сыновья респектабельных, преданных режиму отцов («Ловкость рук», 1954 г.), или бывшие убежденные антиреспубликанцы, ныне опустошенные, слишком поздно узнавшие правду люди («Остров», 1961 г.), сказали «нет» существующей испанской действительности.

И вот Х. Гойтисоло и Х. Л. Пачеко в гостях у редакции. Прошло примерно десять лет со времени появления первых книг этих писателей. С тех пор многое изменилось в мире. Изменилась и Испания. Состояние крайней нищеты и отсталости, в которое вверг страну франкистский режим, стало угрожающим и для него самого. Фашизм есть фашизм: ложь, произвол, социальная демагогия, подавление личности. Но ясно, что методы кровавого террора, репрессий, насилия не могли остановить жизнь в стране. За двадцать семь лет франкистской диктатуры родилось и выросло поколение, не приемлющее предложенный ему порядок вещей, где в последнее десятилетие в самых различных слоях населения, от университета до клерикальных кругов, сформировалось критическое по отношению к режиму общественное мнение. То, что несколько лет назад улавливал лишь глаз писателя, стало очевидным многим. И не будет преувеличением сказать, что книги наших гостей, Хуана Гойтисоло и Хесуса Пачеко, сыграли в этом далеко не последнюю роль.

«Я не знаю, может ли литература изменить жизнь, но она может изменить наш взгляд на жизнь»,— сказал Гойтисоло в одном из своих интервью. Слово художника — великая сила. Это прекрасно понимают и фрачкистские власти. В 1936 году Франко провозгласил лозунг: «Смерть интеллигенции!» 19 июля 1936 года, на следующий день после путча, был убит фалангистами великий испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка. Фашизм в Испании начал свой путь, обезглавив испанскую поэзию (Лорка, Эрнандес, Мачадо). Боязнь правдивого слова заставила франкистскую цензуру запретить несколько книг Гойтисоло так же, как книгу Х. Л. Пачеко «Клянусь Испанией», так же, как шесть книг Альфонсо Гроссо, так же, как книги многих других испанских писателей.

Испания изменилась за последние годы. Стихи Лорки, Мачадо, Эрнандеса издаются в стране. О них пишут хвалебные статьи, но стараются не вспоминать, как погибли эти поэты. Испания изменилась, но Хуан Гойтисоло живет в Париже.

— Я не мог бы писать на родине,— говорит Гойтисоло.— Даже сидя один, за своим письменным столом, я ощущаю тот духов-



ХУАН ГОЙТИСОЛО

ный гнет, то давление режима, которые мне мешают работать. Однако и в Париже испанские власти не оставляют меня своим вниманием. Недавно меня уведомили, что я лишен права быть призванным в ряды испанской армии. В ответ я написал, что крайне огорчен этим обстоятельством, так как в случае очередного крестового похода буду лишен возможности дезертировать.

Я часто бываю на родине и каждый раз покидаю ее с тяжелым чувством, которое особенно возросло за последние годы. Экономический подъем в стране сопровождается упадком духовной жизни. Люди боятся потерять то немногое, что приобрели, и предпочитают не вмешиваться в политику. В четырнадцати километрах от Мадрида — американская военная база, но это, видимо, не очень беспокоит мадридцев. Когда на территории Испании была «потеряна» американская ядерная бомба, около посольства США собралось всего пятьдесят человек. Как это ни парадоксально, все это происходит в стране, где в достаточной степени распространены антифранкистские настроения. Я не говорю о выступлениях, носящих чисто экономический характер,— забастовка в Астурии, рабочие стачки в июле 1966 года. (В июльских стачках участвовало более пяти тысяч человек. Забастовщики потерпели поражение, но добились быстрого освобождения из тюрьмы организаторов стачек, принятия их обратно на работу и разрешения сделать заявление для печати. Все это раньше было невозможно). Есть надежда, что в будущем подобные выступления приобретут политический характер, но пока что с политическими требованиями выступают в основном студенты и преподаватели университета.

Что касается молодых литераторов, то, безусловно, они не поддерживают правящий режим. Я недавно беседовал с молодыми поэтами Барселоны. Многие настроены против Франко. Но высказываются против «ангажированной» литературы, не считают литературу средством борьбы. Молодые поэты не приемлют кредо нашего литературного поколения — реализм и социальность. В течение нескольких лет мы боролись с диктатурой нашими книгами. Испания изменилась. Надо подумать, какая литература, какие формы борьбы нужны сегодня.

— Хуан прав, пожалуй,— вступает в разговор Пачеко.

Пачеко живет в Испании. Ему около тридцати семи лет, он на год старше Гойтисоло, но выглядит очень молодо.

— В Испании был период расцвета социальной литературы,— говорит Пачеко.— Она пришла на смену литературе официальной, прославляющей современный режим в стране или давнее прошлое Испании, литературе помпезной, насквозь фальшивой, уводящей читателя далеко от проблем современной жизни. Именно эта литература досталась в наследство моему поколению, потому что настоящая проза и настоящая поэзия были изгнаны из нашей страны с приходом фашистов к власти, и мы знакомились с ними косвенным образом через иностранные, в основном латиноамериканские, издательства. Литература обличения, так называемая «литература крика», несомненно, сыграла свою роль. Но, видимо, сегодня в условиях современной Испании перед испанскими писателями возникли новые задачи.

Наступила пора литературы более психологичной, более сложными путями воздействующей на сознание людей и преобразующей духовный мир человека. Испанская проза и поэзия переживают период кризиса и поисков. Назрела необходимость в книгах с актуальной проблематикой, в новых литературных формах. Еще не написана книга об Испании последнего времени.

Мы просим Гойтисоло рассказать о новом романе, над которым писатель работал несколько лет.

— Во-первых, это очень большой роман,— говорит Гойтисоло.— С таким романом опасно заснуть — если он упадет на ногу, то наверняка сломает ее. Говоря же серьезно, это роман о современной Испании. Роман построен довольно сложно, действие протекает в течение трех дней, однако перед читателем проходит вся жизнь героя. Обычно я пишу просто, но здесь мне пришлось использовать необычные формы, соответствующие сложной и противоречивой действительности, которую я воспроизвожу. Книга написана частично от первого лица, когда речь идет о настоящем. Когда герой вспоминает о прошлом, он обращается к себе: «Ты помнишь?» Кроме того, з

роман вводится некий собирательный образ «мы», символизирующий франкистскую идеологию, официальный оптимизм, конформизм.

Для того чтобы написать эту часть, мне пришлось изучить франкистскую прессу. В книге я лишь слегка пародировал ее стиль.

Герой романа молодой испанский кинорежиссер Альваро пытается поставить правдивый фильм об Испании, о жизни испанского народа. Ему не удается это сделать, так как в Испании боятся правды. Съемки приходится прервать. Альваро уезжает во Францию, где проводит в добровольном изгнании несколько лет. Тоска по родине не оставляет его все это время, гонит обратно в Испанию. Возвращение не приносит радости герою, встреча с друзьями разочаровывает. Он снова покидает родину, куда он думал вернуться навсегда, но где жизнь для него оказалась невозможной. Это трагедия многих испанцев. Жить без Испании мы не можем, но жить в Испании мы тоже не можем. Когда я в последний раз покидал родину, я вспомнил строки Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ...»

— А вы, Хесус, не покидали родину. Как живется писателю в Испании? — обращаемся мы к Пачеко.

— Большинство испанских писателей находится в оппозиции по отношению к режиму. Я не знаю ни одного молодого поэта или прозаика, которые поддерживали бы диктатуру. Довольно часто литературная интеллигенция выступает с протестом против тех или иных акций правительства. Некоторые писатели, в том числе и я, занесены в черный список, нам не разрешают выступать по радио и телевидению. Писатель в Испании не может существовать на литературный заработок. Чтобы прокормить семью, он должен иметь какую-нибудь вторую профессию или заниматься переводами, редактурой, корректурой. Многих испанских поэтов окружает заговор молчания. О новой книге Хуана и о моем сборнике «Песни запрещенной любви» власти не разрешили даже дать объявление в печати. Чтобы избежать репрессий, издатели вынуждены осуществлять самоцензуру. И хотя гнет режима и преследования цензуры несколько ослабли в последнее время, дышится человеку в Испании нелегко. (Пока верстались эти строки, телеграф принес из Испании новые вести: фиговый листок «либерализации» отброшен франкистскими властями, репрессии, террор воцаряются в прежнем объеме, за вывеской «экономического подъема» открываются те же нищета, безработица, разорение крестьян).

Может быть, нет в Испании воздуха?
Воздуха! Воздуха!

Эти строки Хесуса Лопеса Пачеко невольно приходят на память, когда слушаешь рассказ наших гостей.

М. КАНТОРОВИЧ

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

НЕПОБЕЖДЕННАЯ ПЕСНЯ

Песни Джо Хилла. Перевод с английского Мих. Зенкевича. Вступительная статья А. Суркова. Москва, «Художественная литература», 1966. 34 стр.

Летом 1918 года Джон Рид прибыл в качестве корреспондента «Либерейтора» в Чикаго, где в федеральном суде начался процесс почти над сотней членов Индустриальных Рабочих Мира — наиболее революционной в ту пору организацией американских трудящихся. Те, кого судили, кого называли «немецкими агентами», «анархистами», «угрозой обществу и порядку», кого готовились сгноить в тюрьмах, олицетворяли лучшее, что есть в американском народе. Это были лесорубы, подрывники, жнецы, портовые грузчики, журналисты; у них были лица «солдат и борцов», «ораторов и поэтов», они несли на себе «рубцы — следы, которые оставляет тяжелая работа и ненависть общества».

Те, кого судили в Чикаго, принадлежали к ИРМ, «единственной организации американских рабочих, которая поет»,— писал о ней в очерке «Социальная революция перед судом» Джон Рид. «ИРМ любят и почитают своих певцов. По всей стране рабочие распевают песни Джо Хилла... Я встречал людей, которые несли у себя на сердце в кармане рабочей одежды маленький пузырек с горсточкой пепла Джо Хилла... Я не знаю другого объединения американцев, которое чтило бы своих певцов...» Боевые песни ИРМ, грубоватые и задорные, доносились из товарных вагонов, в которых путешествовали сезонные рабочие, их можно было услышать на набережной Фриско и в каком-нибудь салуне Нью-Йорка, где после работы собирались каменщики или шоферы.

Под знаком песни прошли крупнейшие выступления ИРМ в первые два десятилетия нашего века. Песня сплачивала людей, выражая их общие цели. Один из очевидцев стачки в Лоуренсе в 1912 году писал: «Я никогда не забуду того необычного одушевления, того неожиданного, невиданного подъема, который испытали люди разных национальностей на митинге забастовщиков, когда их чувства прорвались вдруг на едином для всех них языке песни...»

В это время песни Джо Хилла были уже хорошо известны: рабочие пели «Проповедника и раба», песни «Аллилуйя, босяк опять», «Где река Фрэйзер течет». Настоящее имя их автора было Джозеф Хиллстром; в 1901 году восемнадцатилетним юношей он приехал в Америку из Швеции; был батраком, моряком, докером, шахтером, сезонным рабочим — «хобо». Именно в среде этих скитальцев, колесивших по Америке (в их числе был когда-то и Джек Лондон), создавался своеобразный «бродяжий» фольклор — песни протеста против унизительной доли рабочего человека, вынужденного вымаливать кусок хлеба. Об этих людях Джо Хилл написал в стихотворении «Бродяга».

Вступив в ИРМ, Хилл сделался активистом этой организации. Стачечник, уличный оратор, пропагандист, он стал участником развернувшейся в канун первой мировой войны «фри спич файт» — «битвы за свободу слова»; сполна испытал на себе побои виджилантов, тюрьмы, нужду. В стихах он разоблачал лицемерие милитаристов («Кругом обман») и призывал солдат обратить оружие против тиранов («Если я солдатом буду»), скорбел о горькой участи девушки, продающей себя («Белая рабыня»), и обращался к своим соратникам с революционным призывом:

Встань, рабочий, для защиты
Прав своих, оковы сбей!
Отнимают паразиты
Плод твоей работы всей.

Деятельность Джо Хилла, этого широко одаренного человека, поэта, музыканта, художника, была безжалостно оборвана в самом начале его пути. Против рабочего вожака использовали подлый прием — ложное обвинение в уголовном преступлении, убийстве лавочника Моррисона и его сына. И хотя не было никаких весомых доказательств его виновности, он был судим и приговорен к смерти. Почти двадцать месяцев провел он в ожидании казни. Тем временем движение в его защиту всколыхнуло всю Америку: за него просили многотысячные митинги «уоббли», шведский посол и даже президент Вильсон.

А Джо Хилл? Перед лицом смерти раскрылось все благородство этого человека. Об этом пишет американский исследователь Барри Стэвис, собравший буквально по крупицам свои «Записки о Джо Хилле» * — биографические данные о поэте и его времени. Джо Хилл встречал последний час с достоинством, мужественно; просил, чтобы собранные средства шли не на его защиту, а на рабочее дело.

19 ноября 1915 года рано утром Джо Хилл был выведен на тюремный двор и посажен на крашеный кухонный табурет. Он просил не завязывать ему глаза. Перед ним выстроили пять наемных стрелков. К груди Хилла врач прикрепил вырезанное из бумаги сердце. Через несколько мгновений оно окрасилось кровью.

Но убив поэта, американская реакция не смогла убить его поэзию. Ту, что рождалась в борьбе.

Когда в 1912 году забастовали рабочие Южно-Тихоокеанской железной дороги и предприниматели, чтобы сломить стачечников, обратились к помощи штрейкбрехеров, Джо Хилл заклеймил их своей песней, создав сатирический образ предателя рабочего класса. Слова счастливо соединились с мелодией, ныне всем хорошо знакомой. Текст песни печатали и распространяли наподобие листовок. Они попадали к морякам в Лос-Анжелес и Сан-Франциско, а потом песня о машинисте Кэйси Джонсе, которому нет места на небе, вдруг начинала звучать где-то в портах далекой Австралии или на шумных улицах Сингапура:

Рабочие на «Эс-Пи лайн» волнуются опять,
Но Кэйси Джонс, наш машинист, не хочет
бастовать.
Его котел давно течет, и не в порядке ось,
Подшипники колес скрипят, весь паровоз
хоть брось...
Кэйси Джонс, трудись, как окаянный,
Кэйси Джонс, награду получай.
Кэйси Джонс медалью деревянной
Награждается за службу «Эс-Пи лайн».

Джо Хилл «проверял» действие своих стихов на массовой аудитории, становившейся соучастником его творчества. Взобравшись на ящик из-под мыла, как водилось в ту пору, где-нибудь на уличном перекрестке, он

начинал исполнять новую вещь, прислушиваясь к реакции рабочей толпы, которая иногда по ходу корректировала своего певца или давала ему советы.

Джо Хилл — классик революционной песни. Его скромное по объему, но очень весомое по значимости наследие говорит о новых путях массовой народной поэзии. Хилл свободен от «планетарности», декларативности, от, если употребить выражение Чернышевского, «восклицательного тона». Он предельно конкретен, «приземлен»; в его стихах — не только призывная патетика, но и шутка, ироническая интонация, крепкое, жаргонное словечко, гротеск и, главное, обилие живых деталей из рабочего быта. Хилл почувствовал и отлично выразил, например, в «Мистере Блоке», «Сиссоре Билле», «Джоне Голдене» ту истинно национальную сатирическую, юмористическую стихию, которая всегда животворила американскую литературу.

Выход сборника песен Джо Хилла, которому предпослано написанное А. Сурковым предисловие, в переводах Михаила Зенкевича, очень точных и крепких, является достойной данью уважения памяти этого «менестреля рабочего класса». И вместе с тем он напоминает о нашем долге еще глубже изучать прогрессивные, революционные традиции американской литературы.

Джо Хилл был лучшим, но не единственным представителем литературы, которая была вызвана к жизни движением Индустриальных Рабочих Мира. А она была богатой и своеобразной, как можно судить по вышедшей в 1964 году в США книге «Голоса бунтарей. Антология ИРМ», собранной журналисткой и историком Джойс Корнблу. В нее включен уникальный материал: тексты, иллюстрации, газетные отклики, фотографии, документы...

Эта литература рождалась как непосредственный отклик на стачки, классовые бои и антиирмовские погромы. Она дала своих поэтов (Ральф Чаплин, Артуро Джованитти, Джеймс Оппенгейм), художников, публицистов (Уильям Хейвуд, Карло Треска); на страницах ирмовской прессы (число газет и журналов, выходивших на многих языках — английском, русском, итальянском, идиш, шведском и др.,— достигло 60) публиковались стихи, воззвания, статьи, песни. Эта литература была насквозь действенной и агитационной: стихи словно обрастали музыкой и подкреп-

* Книга Барри Стэвиса «Человек, который никогда не умирал. Записки о Джо Хилле и его времени» вышла на русском языке в издательстве «Мысль» в 1964 году.

лись выразительной, броской графикой. Зачастую новые произведения распространялись в виде листовок или тоненьких брошюр; многие стихи так и рождались на митингах и сходках: это был живой фольклор нашего столетия.

Буржуазные критики рассматривают литературу ИРМ как некую «периферию» историко-литературного процесса в США. Подобный взгляд опровергается известными фактами того времени, лежащими на поверхности; стоит вспомнить о теме ИРМ у Джона Рида (очерки «Война в Петерсоне», «Социальная революция перед судом»), у раннего Эптона Синклера («Король Уголь») и у раннего Джона Дос Пассоса (включение биографии Джо Хилла в роман «1919»), у Юджина О'Нила (пьеса «Волосатая обезьяна»), у Драйзера (пьеса «Девушка в гробу»). Наконец, наше время лишь подтверждает справедливость тезиса о том, что подлинно массовое демократическое движение неотделимо от песни. Именно борьба негров за гражданские права, «марши свободы», слившиеся ныне с антивоенным протестом против агрессии во Вьетнаме, стимулировали появление плеяды народных певцов, «фолкников», таких как Пит Сигер, Джоан Баэз, Дин Рид.

Джо Хилл стал легендой, увековеченной и в стихах, ему посвященных, и прекрасной песне Эрла Робинсона о бессмертии Джо Хилла, и в пьесе Барри Стэвиса «Человек, который никогда не умирал».

В «Завещании», которое Джо Хилл написал перед казнью — его потом выучили наизусть тысячи рабочих,— поэт просил:

Чтоб ветры весело в полях
Развеяли цветам мой прах,
Чтоб увядающий цветок
Опять воскреснуть к жизни мог.

Вместе с прахом развеялись по миру его песни. Чтобы жить в памяти народной. И чтобы дать жизнь новым песням борьбы.

Б. ГИЛЕНСОН

ИДАЛЬГО ДЕ СИСНЕРОС МЕНЯЕТ КУРС

Игнасио Идальго де Сиснерос. Меняю курс. Мемуары. Перевод с испанского Л. Василевского. Предисловие Константина Симонова. Москва, Издательство политической литературы, 1967. 428 стр.

Незадолго до начала франкистского мятежа в руки мадридской полиции попал список четырнадцати военных-республиканцев, которым правые угрожали расправой. И это оказалось не пустой угрозой. Вскоре капитан Фараудо, фамилия которого открывала список, был убит около своего дома выстрелом в спину. Еще через несколько дней был убит командир особой группы «Гвардиа де асальто» лейтенант Кастильо — второй по порядку в списке.

Четвертым в этом списке значилось звучное аристократическое имя дона Игнасио Идальго де Сиснероса, известного испанского летчика, в недалеком будущем — командующего республиканской авиацией, остававшегося на этом посту вплоть до последних трагических дней поражения республики.

Мемуары Сиснероса, умершего недавно в Праге,— книга, интересная во многих отношениях.

Мы знаем немало хороших книг, написанных советскими людьми — участниками испанских событий 1936—1939 годов: от блестящего «Испанского дневника» Михаила Кольцова до умных и содержательных записок адмирала Кузнецова, генерала Батова, маршала артиллерии Воронова. Но записки Сиснероса — едва ли не первый появившийся в русском переводе рассказ «изнутри», рассказ коренного испанца.

В начале мемуаров мы знакомимся с молодым испанским аристократом, интересы которого начинаются с карт, выпивки, женщин, корриды, и можно было бы сказать, что на этом они и кончаются, если бы не авиация, которой Сиснерос был предан всей душой с юности и до конца своих дней.

А с последних страниц книги на читателя смотрит вдумчивый, много повидавший и многое понявший человек. Опытный воин и опытный летчик. Коммунист и член Центрального Комитета испанской компартии. Политик, нашедший в себе душевные силы оторваться не только от круга мыслей и интересов своей молодости, но и (что, наверно, еще труднее) от многих друзей, учителей, даже родных.

С большим мужеством пишет Сиснерос о себе, нигде не впадая в грех иных мемуаристов — приукрашивания собственной персоны. Это проявляется и в таких мелочах, как неоднократное напоминание о тщеславии и стремлении «показать себя», присущих ему в юности. Проявляется и когда речь заходит о вещах, несравненно более серьезных.

Вот молодой летчик Сиснерос участвует в колониальной войне в Марокко: «Мишенями нам служили главным образом базары и населенные пункты... Я совершенно не задумывался над тем, что, сбрасывая бомбы на дома марокканцев, совершаю преступление... Наоборот, я считал это своей обязанностью и долгом патриота». И далее: «...я получил задание, давшее мне постыдную и печальную привилегию быть первым летчиком, сбросившим с самолета бомбы с ипритом... Должен признаться, мне ни на секунду не приходила в голову мысль о подлости или преступности полученного задания... Внушенный нам образ мыслей определил ту по-

трясающую естественность, с какой мы совершали подобное зверство... Сколько же потребовалось лет, чтобы понять, какое чудовищное преступление мы совершали, сбрасывая бомбы с отравляющими газами на марокканские деревни!»

С неменьшей откровенностью рассказывает Сиснерос и о том, как, в сущности, по воле случая примкнул он к революции. Оказавшись свидетелем спора нескольких офицеров в кабаре, Сиснерос высказал мысли, некогда услышанные им от республиканцев, главным образом потому, что монархист, участвовавший в споре, «действовал на нервы своей глупостью». Когда же через несколько месяцев республиканцы, всерьез принявшие Сиснероса за «своего», обратились к нему с предложением примкнуть к антимонархическому заговору, он согласился почти исключительно потому, что: «...мои друзья из-за своего легкомыслия и неосведомленности рассчитывали на меня и теперь будут думать, будто в решающий момент я струсил и бросил их. Эта мысль брала верх над логическими рассуждениями по поводу абсурдности моего участия в подобной авантюре. Я ей даже не сочувствовал...»

Случайность? Да, в общем, конечно, случайность — и в то же время не только она одна!

Многие черты характера и всего облика Сиснероса заставляют думать, что, не примкни он к восставшим в тот раз, все равно рано или поздно он нашел бы свое место среди республиканцев, вместе с испанским народом, против франкистов.

С юности он дружил с людьми, чрезвычайно далекими от аристократии: с «безрассудным человеком и ярым республиканцем» Черепичником, с семейством плотника и прачки Фуэнтес, с сыном управляющего Матео Льерена, который «с самого детства симпатизировал республиканцам, хотя в его семье все были карлистами». Столкнувшись впервые с расовой рознью, он воспринимает ее с удивлением и неприязнью.

Когда солдаты испанского Иностранного легиона, захватив позиции марокканцев, сбрасывают пленных со стометровой скалы в море, Сиснерос — единственный из многих наблюдавших это страшное зрелище — активно (впервые активно!) реагирует на него. Он тут же сообщает по радио командованию о свершившемся и заканчивает донесение словами: «Подобные дела бесчестят всю армию».

Постепенно в его сознании начинает возникать протест и против, казалось бы, достаточно невинных проявлений нравов сильных мира сего. Рассказывая о том, что на трибунах арены для боя быков в Севилье имелись специальные, особо комфортабельные и особо обслуживаемые места для «избранных членов общества», Сиснерос восклицал: «У публики это не вызывало ни малейшего протеста. Невероятно, до чего укоренилось в нас барство! Я тоже пользовался этими привилегиями и преимуществами, но должен сказать, что уже тогда мне иногда становилось стыдно за себя и за других».

Наконец в 1930 году, занимая пост авиационного атташе в Италии и узнав о вспыхнувших на родине острых классовых боях, Сиснерос «окончательно и бесповоротно стал на сторону бастующих шахтеров и вообще тех, кто боролся вместе с народом за элементарные жизненные права и справедливость».

Нет, не по одной лишь случайности оказался этот человек в лагере революции!..

Сиснерос был летчиком. Летчиком по призванию. Летчиком с головы до ног. Летал он, судя по всему, очень хорошо. Впрочем, летать в те годы посредственно было невозможно: посредственные летчики редко выживали.

Автор мемуаров нарочито бесстрастным тоном рассказывает о множестве случаев, когда у него отказывали моторы, бывали вынужденные посадки, словом, происходило неизбежное в авиации того времени. Нелегко было работать в ней! Для этого требовалось и мастерство, и отвага, и большая любовь к своему делу. У Сиснероса было в избытке и то, и другое, и третье. Характерная деталь: вернувшись из эмиграции, после установления в Испании республиканского строя, Сиснерос — герой восстания на аэродроме «Куатро виентос» — на вопрос командующего авиацией, какое назначение он хотел бы получить, не претендуя ни на какие высокие должности и, не задумываясь, просится на прежнюю работу — в летную школу. И на следующий день он уже был на «скромном, но милом аэродроме в Алькала, чувствуя себя необычайно счастливым от того, что снова может летать».

Даже став — уже во время гражданской войны — командующим республиканской авиацией, Сиснерос продолжал летать. Перестать летать в этот момент он не хотел, кроме всего прочего, еще и потому, что тогда «не имел бы морального права требовать от летчиков выполнения опаснейших заданий». Это уже не только профессиональное, это — этическое.

Сердечно и обстоятельно пишет Сиснерос о всех видах многообразной помощи, которую республиканская авиация получала из Советского Союза: и о налаживании производства и ремонта боевых самолетов, и о подготовке собственных испанских летно-технических кадров в советских авиационных школах, и, разумеется, о самом главном — советских летчиках, сражавшихся на советских самолетах в небе Испании.

Приходится пожалеть лишь о том, что автор мемуаров не рассказал нам о деятельности людей, помощью которых ему, как командующему авиацией, приходилось пользоваться ежедневно, если не ежечасно,— о советских авиационных военачальниках, советниках республиканской авиации, таких как Я. В. Смушкевич или Е. С. Птухин.

В разгар боев за Мадрид, в самые тяжелые дни его обороны Сиснерос вступил в коммунистическую партию, убедившись воо-

чию, что именно коммунисты «вносят наибольший вклад в борьбу против врагов». Неповторимы исторические обстоятельства. И невозможно, говоря о них, опираться только на аналогии. Но все-таки, читая это место мемуаров Сиснероса, невольно вспоминаешь тяжелые дни 1941 года, когда уже не Испания, а наша родина находилась в смертельной опасности. И тогда тоже самые честные, порядочные, душевно чистые люди вступали в коммунистическую партию.

В мемуарах Сиснероса много интересных и внушающих доверие своей непредвзятостью человеческих характеристик. Так уж случилось, что командир испанской эскадрильи, базировавшейся на аэродроме Кабо-Хуби в Сахаре, Сиснерос встретился с представителем французской авиационной компании «Латекоер» Антуаном де Сент-Экзюпери, будучи еще совсем молодым и, как мы знаем, достаточно поверхностным человеком. И, тем не менее, между обоими этими людьми возникла взаимная симпатия: «Сент-Экзюпери и я подружились. Мне нравилось беседовать с этим образованным, интересным человеком. Я часто приглашал его обедать с нами. Как к товарищу по службе в авиации, мы испытывали к нему уважение и симпатию... наши взаимоотношения были сердечными, и мы во всем, в чем могли, помогали друг другу».

Конечно, Сент-Экзюпери и Сиснероса объединяли не только совместные обеды, и даже не общеизвестное авиационное братство (хотя силу последнего недооценивать тоже не следует). Общее в этих людях проявилось позднее, при обстоятельствах трудных и трагических для них и для их народов.

Вот что говорит Сиснерос о войне: «Бои никогда не доставляли мне удовольствия... Я не могу понять, как нормальным людям, если они не умалишенные и не садисты, может нравиться война. Для меня она — самое большое бедствие, какое только может испытывать человек».

А что говорит о войне Сент-Экзюпери? Широко известны его слова: «Война — не настоящий подвиг. Война — суррогат подвига... Война — болезнь. Вроде тифа».

Но говоря и думая так, они оба — и Сент-Экзюпери и Сиснерос,— как только начинается бой за правое дело, активно рвутся к участию в нем. Сент-Экзюпери находит в этом бою гибель.

Почти одинаковые слова — и почти одинаковые дела... Да, это уже не совместные обеды!

Книга Сиснероса хорошо написана. Ее легко и интересно читать. В ней много юмора (как правило, обращенного своим острием на личность самого автора, что встречается в мемуарной литературе гораздо реже, чем хотелось бы), много живых подробностей быта, много специфически испанского, порой решительно противоречащего нашим сложившимся представлениям об этой стране. Так, скажем, мы привыкли считать, что жители Испании прочно находятся под влиянием католической церкви. И вдруг оказывается, что «неприязнь испанского народа к церкви всегда была такой явной, что считалась чем-то само собой разумеющимся... С давних пор при каждом удобном случае, то есть во время мятежа или восстания, народ всегда сначала поджигал церкви и монастыри». Дважды — в Бильбао и Малаге — автор мемуаров сам оказывался свидетелем этой «непреодолимой склонности».

События и люди о которых говорится в мемуарах Идальго де Сиснероса, таковы, что непозволительно было бы дать им исчезнуть из памяти людей. Книга «Меняю курс» во многом будет способствовать тому, чтобы этого не случилось.

М. ГАЛЛАЙ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

К НОВОЙ ПОЭЗИИ ПО СТАРЫМ ПУТЯМ

Erwin Strittmatter. Schulzenhofer Kramkalender. Berlin—Weimar, Aufbau-Verlag. 1966.

Когда Эрвин Штриттматтер только еще вступал в литературу, его дружески приветствовал Брехт, который поставил его первую пьесу «Кацграбен» на сцене «Берлинского ансамбля». В статье о Штриттматтере Брехт писал: «Он идет по новым путям, зная старые... Такие «прозаические» предметы, как картофель, дороги, трактора, становятся у него предметами поэтическими».

Эти слова Брехта — великого поэта и проницательного критика, всегда строго взыскательного и нелицеприятного в суждениях о литературе — сегодня подтверждает новая книга Эрвина Штриттматтера «Шульценхофский календарь всякой всячины».

Календари для чтения — то есть сборники поучительных и развлекательных текстов, советов на разные случаи, афоризмов, анекдотов, юморесок и т. п.— известны во многих странах Европы с давних пор. Первый календарь такого рода на немецком языке был издан более полутысячелетия

гому назад, в 1455 году, вскоре после изобретения книгопечатания. До наших дней «Календари» остаются главным, а подчас и единственным чтением миллионов крестьян, ремесленников, небогатых горожан и наряду с Библией присутствуют в каждой семье, даже там, где не читают ничего больше — ни книг, ни газет.

В России популярность подобных изданий была обычно менее значительной. Уже Фамусов знал, что «все врут календари». Однако в истории немецкой, австрийской и швейцарской литературы известны примеры, когда и крупные художники слова писали для календарей. Гриммельсхаузен издал «Великий календарь» в 1670 году и публиковал «Календарь диковинных историй» с 1669 до 1673 года. Гебель — в 1802 году, Готхельф — в 1843, Розеггер — в 1894—1896. Уже в наше время авторами календарей были О. М. Граф (1929), австрийцы К. Ваггерль (1937), И. Вейнхебер (1935—1937) и Бертольт Брехт («Календарные рассказы», 1948).

Таким образом, самим жанром новой книги Эрвин Штриттматтер наследует очень старые литературные традиции. Но вместе с тем уже заголовком иронически их переосмысливает. Шульценхоф — маленькая деревня, вернее хутор, в 100 километрах от Берлина, где постоянно живет Эрвин Штриттматтер с семьей. Название это весьма распространенное — Шульценхоф, то есть учителев двор, звучит наивно-захолустно. А слова «всякой всячины» (Kramkalender) пародируют многочисленные специализированные календари — крестьянские, охотничьи, для учителей, для инженеров, для врачей.

В книге собрано 200 «календарных» записей, разнокалиберных — от нескольких строк до нескольких страниц,— разнотемных и разностильных. Чаще всего это стихотворения в прозе, которые русскому читателю напоминают о Тургеневе и Пришвине. Кстати, именно оба эти имени по разным поводам встречаются в тексте, и кроме них из литературных имен в «Шульценхофском календаре» названы лишь очень немногие (Брехт, Фонтане, Шекспир).

Воспоминания о детстве, несколько эпизодов из жизни Брехта, с которым Штриттматтер дружил и вместе работал в театре — был его помощником и учеником, а также заметки о домашних событиях составляют меньшую часть книги. Преобладают именно стихотворения в прозе о жизни лесов, полей, болот, о животных, птицах, растениях, ветрах, дождях, облаках. Автор наблюдает природу зорко, пристально и неторопливо, чаще всего во время верховых прогулок. Но все, что он замечает, он видит не извне, не как досужий праздничный созерцатель и сентиментальный турист, а своеобразным двойным или даже тройным зрением — взглядом потомственного крестьянина, живущего и работающего внутри этой природы, неотделимого от нее, как от собственного тела, взглядом ученого-естественника, пытливого исследователя и взглядом художника-поэта. Каждое, казалось, случайное, мгновенное наблюдение становится источником поэтических мыслей иногда на самые неожиданные темы.

Эти разнородные и разрозненные «календарные листки» тем не менее образуют цельную книгу. Что же связывает их между собой?

В «Шульценхофском календаре» в отличие от других подобных изданий есть действующие лица, обладающие вполне определенными индивидуальными характерами, как если бы они были героями романа или повести.

Это прежде всего лирический герой, от имени которого рассказано все. Он — крестьянин, ученый и поэт, он различает самые тихие лесные шорохи, самые нежные оттенки в расцветке вечернего неба, самые легкие и самые стремительные движения птиц. Ему внятны голоса дождей, скоропись малых следов на снегу и едва уловимые колебания травы и листьев. Его по-настоящему тревожат, печалят или радуют не только драматические события на сокровенных звериных тропинках, в гнездах, норах или закоулках двора, но и та нелегкая борьба за жизнь, которую ведут деревья, кусты, цветы, грибы и травы.

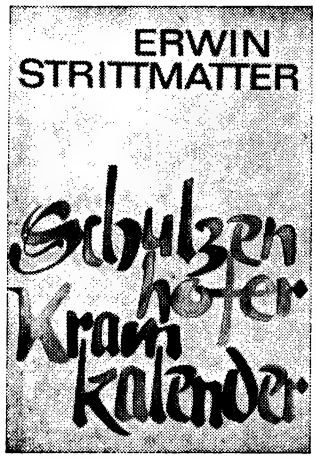
Герой-автор живет в многоликом, многоцветном и разноголосом настоящем, но он постоянно ощущает свои связи с прошлым и с будущим. Его прошлое — дед Кулька, старый сорбский крестьянин, суровый и поэтичный, выдумщик и работяга, своенравный, прижимистый, иногда вздорный, но неразрывно связанный с землей, с деревней и навсегда вросший в сознание и в стихийное мироощущение внука. Это дед учил его седлать лошадей и различать голоса птиц. И он же «высасывал из своей старой трубки необычайные истории», были и небылицы. И он же был постоянным покупателем и читателем календарей.

Рассказ «Смерть деда» (193-я запись в «Шульценхофском календаре») заканчивается так: «Я должен был уезжать и не видел, как умер дед, но его проклятия я слышал еще много лет спустя, всякий раз, когда вспоминал детство, которое было поэтичным благодаря деду. И однажды я стал писать рассказы о деде, и каждым из них я как бы просил прощения за то, что тогда его покинул».

Печальное описание смерти деда все же не последний из посвященных ему календарных листов. Через несколько страниц (198-я запись) следует веселый рассказ о том, как дед требовал, чтобы вернулась жена, загостившаяся у отца, грозя судом в стиле обычного судебного иска.

Настоящее и будущее героя — это его жена Эва и сыновья; все они работают вместе с ним в поле, в конюшне, сопровождают его в прогулках. Чаще других упоминается младший сын Маттес — маленький поэт, унаследовавший от родителей и от деда самозабвенную любовь к природе, к игре живым словом.

Из двухсот записей «Шульценхофского календаря» девятнадцать относятся к детству героя-автора.



Одиннадцать маленьких рассказов посвящены Брехту, некоторые меньше страницы, однако в них отчетливо проступает рельефный облик Брехта — человека и мыслителя, остроумного, насмешливого, нетерпимого к глупости, верного в дружбе, угловатого, резкого и вместе с тем застенчивого, потаенно доброго.

В других встречается немало эпизодически действующих лиц, и каждый раз возникает конкретный образ, хотя и скупо, едва приметно очерченный, но все же пластичный. Это батрачка Кристи, смастерившая птичью клетку из березовых веток; секретарь райкома, азартно увлеченный финским опытом силосования мокрой травы; известный артист ГДР Эрвин Гешоннек, который внешне очень похож на автора, из-за чего возникают смешные недоразумения.

Действующими лицами — да, именно лицами — становятся также зайцы, дикие лебеди, ежи, собаки, жаворонки, лисы, журавли — словом, всяческая живность, полевая, лесная и домашняя.

Более того, живыми лицами обладают и по-настоящему действуют в этой книге — поразительно целостной при всей многосюжетности и разнородности составляющих ее элементов — и такие существа, как снежные «блины», которые, падая с деревьев, предвещают весну, и синий дымок над лесом, и молодые сосенки, «пробирающиеся на вырубку», и цепко живучий кактус, и дождь, догоняющий одинокого всадника, и могучий южный ветер, теснящий морозы.

Живое единство книги создают, однако, не только эти по-разному «одушевленные» персонажи, но прежде всего нераздельность поэтического мировосприятия и ясной аналитической мысли, взаимопроницание трезвых естественнонаучных знаний и озорной фантазии. Почти на каждой странице скептическая ирония переплетена с мечтательной влюбленностью в звуки и краски родной природы.

Особенно явственно скрепляются между собой разнородные листки «Шульценхофского календаря» размышлениями о поэзии, о трудном и радостном ремесле писателя.

Вот самая короткая из всех, 99-я запись: «Мой роман — старший брат этих маленьких рассказов. Он ревнует и пинает меня: все время эти малыши!»

Наблюдение над промерзшим куском войлока — в связи с этим автор упоминает рассказ Пришвина о валенках,— полет диких уток, разговор с сыном, воспоминания о трубке деда и многое другое снова и снова побуждают его думать о литературе, о творческих силах слова или становится непосредственно поэтическим обобщением. Он видит, как дикая свинья трется щетинистой спиной о сосну, и замечает, что с верхних ветвей взлетела «горлица с нежно-голубым тонко вычеканенным оперением, она улетела, как голубой выдох, как облачко поэзии».

Брехт писал, что крестьянским героям первой пьесы Штриттматтера присущи «терпеливость без податливости, отвага, изобретательность, деятельное дружелюбие, критический юмор».

Лирическому герою «Шульценхофского календаря» все это свойственно в полной мере. Хотя он уже не крестьянин, а писатель, известный далеко за пределами своей родины.

Поэтическая проза «Календаря» побуждает вспомнить еще и другое суждение Брехта, высказанное им также по поводу Штриттматтера, в одной из заметок о его пьесе.

Споря с товарищем, упрекнувшим было Штриттматтера в натурализме, Брехт говорит: «Натуралисты показывают человека так, как если бы они показывали дерево гуляющему прохожему. А реалисты показывают человека, как показывали бы дерево садовнику».

Реалистическая поэзия Штриттматтера — автора многих повестей, романов, стихов и пьес — это поэзия художника и садовника, мечтателя и работника.

В «Шульценхофском календаре» щедро плодоносит эта поэзия, показывающая людей, как деревья, и деревья, как людей, новая поэзия, непрерывно обновляющаяся и на самых старых путях.

ЛЕВ КОПЕЛЕВ

ПРАВНУК ДОКТОРА ФАУСТА

John Hersey. Too far to walk. New York, Alfred A. Knopf, 1966.

Пустынное в утренние часы шоссе на севере Америки. Четверо второкурсников одного из колледжей мчатся в автомобиле из студенческого поселка на первую лекцию. Впереди идет небольшой автобус местной линии, везущий в город ранних пассажиров. Обгон запрещен. Ма-

шина наседает, почти тычется фарами в заднюю стенку автобуса. Начинается своеобразное состязание. Автобус не уступает. Скорость увеличивается. Неожиданно автобус начинает швырять из стороны в сторону, точно он потерял управление. Сзади несутся требовательные сигналы. Едва не въехав в ограду, автобус останавливается у заправочной станции. Водитель бежит к зданию и вдруг, схватившись за сердце, валится на землю. Машина проносится мимо. Скорость, скорость! Автобус — устаревший транспорт.

Сцена эта символична не только для нового романа Херси, который называется — «Слишком далеко идти». За последнее время в США появилось сразу несколько интересных книг о молодежи, и почти во всех звучит этот мотив — стремительный темп жизни, создающий видимость ее насыщенности. Коловращение Нью-Йорка, беспорядочная суматоха дня, заполненного придумыванием все новых и новых стимулов к существованию, и острое чувство духовной опустошенности — такова атмосфера, в которой живут герои романа Леона Ардена «Воскресенье на качелях». Напряженное преследование сбежавшего из передвижного террариума гигантского питона, который принимает на себя, по воле автора, роль змия-искусителя, безудержное, безоглядное стремление только к немедленной цели, когда не остается времени поразмыслить и над своей, тем более над чужой судьбой, ставят на край катастрофы подростков в новом романе талантливого Рейнольдса Прайса «Щедрый человек». В погоне за иллюзией счастья едва не гибнет заблудившийся в Нью-Йорке молодой техасец Джо Бак из книги Дж. Герлиги «Полуночный ковбой».

Время диктует взвинченные скорости. Подростку кажется, что только неудачники и сумасшедшие еще продолжают передвигаться пешком. Он бросается в автомобиль и выжимает из мотора все, что возможно. В своей одержимости темпом он может искалечить не один десяток тех, кому выпадет несчастье повстречаться ему на дороге. Но в первую очередь он калечит себя. Сплошь и рядом скородвижение приводит к скоромыслию, порождая ослепленность сегодняшним, ежечасным, сиюминутным. А жить нужно и завтра, и через месяц, и через год. Жизнь требует умения уже в юности мыслить по-взрослому и держать ответ за каждый свой поступок. Безраздельно отдавшись темпу, человек рано или поздно обнаруживает, что существование его бесплодно. Вырваться из колеи, «остановить мгновение» превращается не в акт воли, как у Фауста, а в настоятельную, но трудно осуществимую необходимость. Об этом и идет речь в новых книгах о молодежи, появившихся в США. Книга Херси из них — самая своеобразная.

В шестидесятые годы Джон Херси, автор репортажа о Хиросиме и гневной антимилитаристской книги «Возлюбившие войну», как бы начинает свой писательский путь заново — настолько непохожи его последние произведения на все, что он писал раньше. Опровергая закрепившуюся за ним репутацию мастера документально точного, лаконичного, обыгрывающего действительный факт повествования, Херси обращается к фантастике, аллегории, сказу. Он становится рассказчиком грустных историй, совершенно невероятных в буквальном смысле, но слишком правдоподобных как возможность, как прогноз будущего.

«Скупщик детей» (1960) и «Белый Лотос» (1964) — это философские притчи, где нет уже ни той четкости формулировок, ни той открытой публицистичности, что продиктовали Херси незабываемые страницы «Хиросимы» и «Стены» — книги о восстании в варшавском гетто. Что же вызвало к жизни «новую манеру» Херси? Видимо, не только соображения эстетического порядка; как и многих других американских художников, время побудило Херси от описания следствий перейти к анализу причин. Документальное свидетельство, объективная запись, фотоснимок, даже выполненный в оригинальном ракурсе, не всегда достаточны, чтобы выявить свою закономерность и свою логику в том внешнем хаосе, каким предстает наблюдателю американское общество 60-х годов. В руках художника аллегория — одна из попыток внести необходимый порядок в эту беспорядочную, осложненную, на глазах распадающуюся реальность.

Конечно, таким книгам, как «Белый Лотос», нелегко находить себе читателей: они сложны и многозначны по художественному построению, содержат развернутую систему мифологических ассоциаций, философских выкладок, аналитических отступлений. Они уже не оставляют такого сильного непосредственного впечатления, как «Стена» или «Хиросима». И все же 60-е годы для Херси — время подъема, а не отступления, время углубления реализма, а не отхода от него. Его фантазии оказываются удивительно близкими к правде. В «Скупщике детей» * был описан человек, который для нужд обороны приобретал, оболванивал и превращал в живые электронные устройства одаренных юных американцев; прошло несколько лет, и мир увидел эти нерассуждающие автоматы в действии во Вьетнаме. Последние сцены «Белого Лотоса», рассказа о том, как одна раса поработила все другие, дописывались под звуки перестрелки в оказавшемся на осадном положении Лос-Анжелесе. Наконец, «Слишком далеко идти», роман, в котором все атрибуты древней легенды, в котором герой подписывает кровью договор с чертом и жертвует спасением души ради земных наслаждений,— книга по замыслу своему условная от начала и до конца и все же позволяющая узнать и о самой Америке, и об американской молодежи середины 60-х годов больше, чем некоторые вполне «реальные» книги.

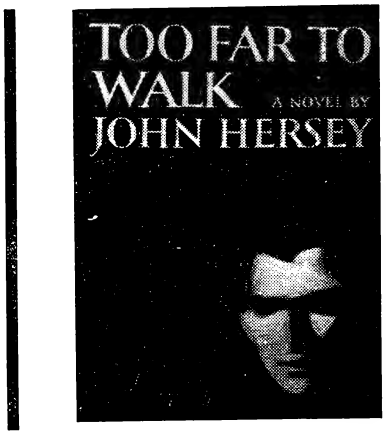
В этом романе очень четко запечатлелась

* Рецензия на эту книгу была опубликована в «Иностранной литературе» № 5 за 1931 г.

эпоха его написания. Университетский двор стал миниатюрой нынешней Америки. Сюда не просто доносятся отголоски войны во Вьетнаме — здесь о ней спорят надсадно, до ссор, как спорят о битниках, о программе борьбы с бедностью, о свободе по Сартру и свободе от курса французского языка. Здесь есть и радикальные организации, устраивающие митинги, собрания, пикетирования по улицам, и объединения ультрапатриотов, и общества любителей философии, спорта, джазовой музыки, и просто люди, которые мечутся от одной группы к другой, нигде не находя себе места. Хотя и эскизно, Херси сумел передать и своеобразие, и многоликость нынешней американской молодежи. «Больные вопросы» современности прямо вошли в роман и помогли решить тему «скоростного века» наиболее глубоко. Воплотил ее Херси в образе главного своего героя Джона Фиска, очевидно, последнего по времени Фауста в мировой литературе.

От Кристофера Марло до Томаса Манна не умирает предание о чернокнижнике, ученом муже, по современному выражению, интеллектуале, который ощутил опустошенность своей жизни и ради ее полноты пошел на сделку с темными силами. И как многообразны завершения: предсмертная победа над тем, что превращает «в пытку и напасть привычный круг людского обихода»,— у Гете, а уже у Пушкина — исчерпанность желаний и гениальное «Мне скучно, бес»; торжество над средневековым тупоумием — у Марло и трагическое отречение от понятий добра — в «Докторе Фаустусе».

Вариант, предложенный Джоном Херси,— сугубо американский и вполне современный. Остались контуры сюжета и расстановка действующих лиц: у Херси мы встретим всех давно знакомых нам героев — и Фауста, и Мефистофеля, и Гретхен; среди приятелей Джона есть даже некто Вагнер. Но если роман Херси и соприкасается со своими предшественниками, то ближе всего к нему стоит пушкинская вариация на фаустовскую тему в том истолковании, какое дал ей Белинский: «...горе тем, кто является в эпоху общественного недуга! Общество живет не годами — веками, а человеку дан миг жизни; общество выздоровеет, а те люди, в которых выразился кризис его болезни, благороднейшие сосуды духа, могут навсегда остаться в разрушающем элементе жизни!»



Так и у Херси: герой его — порождение безвременщины, и каждый шаг его определен «эпохой общественного недуга», какую переживает ныне Америка. Фиск совсем не похож на сэлинджеровского подростка, который с содроганием узнает «что к чему» и одержим одной мыслью — бежать куда глаза глядят. Герой Херси об этом и не задумывается; битники кажутся ему наивными, как дети. Для него смысл существования в том, чтобы сделать свою жизнь интересной, настоящей, полной событий. И это уже не то давнее, знакомое: «и жить торопится, и чувствовать спешит». Устремляясь, в противоположность Холдену Колфилду, в самый эпицентр бытия, он ищет многообразия ощущений, все время нового опыта, надеясь этим преодолеть свое одиночество и незаполненность своей жизни.

До поры до времени ему не приходит в голову естественный вопрос: почему же он так одинок, а жизнь его так пуста? Почему его не увлекают ни виды на будущее, ни споры о политике, ни бесшабашная разгульная жизнь? Почему его все время тянет бросить колледж, античную филологию, лекции, которые когда-то посещал и его отец, давно уже забывший гекзаметры и мифы и занятый сбытом подделок под старинную мебель? Почему ничто не дает ему сознания полноценной жизни?

В Джоне «общественный недуг» выразился таким образом, что при всем своем страстном желании стать нужным людям, он разительно напоминает тех, по определению Мефистофеля, «кристаллизованных людей», которых сотворял в колбе доктор Вагнер. Представления Фиска о жизни так искусственны, что сколько бы он ни твердил о своей жажде дельного занятия, до какого-то момента эти устремления имеют не более цены, чем порывы от природы бессильного гетевского Гомункула: «Пока я есть, я должен делать что-то»... Фиск действительно дитя своего времени: расплачиваться за привитый с детства комплекс заботы только о себе ему приходится дорогой ценой. Школярское, книжное отношение к жизни ныне особенно полно выявило свою несостоятельность; первое же столкновение с большим миром открыло Фиску, что он совершенно не знает самых простых истин. Просвещенная ученость оказалась у него в странном соседстве с глубоким невежеством; непосредственная жизнь пропускалась сквозь сплетение заданных категорий и возвращалась оттуда бледной тенью самой себя.

Бесспорно, этот конфликт не случайно привлек внимание Херси. Драма отъединен-

ности и изолированности своей жизни, которой мучается Джон Фиск, прямо определена специфическими отношениями между человеком и обществом в Америке 60-х годов. В прежние времена непосредственно прощупывались нити, связывавшие судьбу отдельного человека с социальной организацией общества. Американская действительность последних лет затемнила эту связь, и человек ощутил вокруг себя зловещую пустоту. Подобно бесчисленным своим сверстникам, Фиск остро чувствует, что окружающий его мир чреват бедой, но у него нет мало-мальски определенного представления, откуда эта беда придет. Знание уступило место интуитивному предчувствию, которое требует немедленных действий столь же настойчиво, как пробужденный инстинкт опасности.

Раздумывая над тем, что ему необходимо прежде всего, Фиск всякий раз приходит к выводу: «...чтобы с грохотом обрушились стены, которые... наглухо отрезали его от ему подобных, от деревьев, моря, света, от воздуха, которым можно дышать». В 60-е годы основным содержанием жизни думающего молодого американца становятся поиски своего места среди других людей. Испытываемая Фиском жажда деятельной, дающей моральное удовлетворение жизни — характерная примета времени, но нужны громадные усилия, чтобы постичь главную истину: найти свое место вне общественного действия невозможно. Десятилетием раньше юный герой американского романа жил иллюзиями бегства от действительности; теперь на смену пришли другие иллюзии: цель жизни — в постижении самого многообразного жизненного опыта — и не больше. Вот тут и является на сцену современный Мефистофель — однокурсник героя Брид.

Предложение Брида — дать Джону возможность испробовать и пережить все, что может пережить человек,— настолько соблазнительно, что Джон подписывает контракт не читая. Начинается погоня за опытом — бесконечное разнообразие опыта и ничто, кроме опыта. Испепеляющий разгул. Чистая любовь. Близость с женщиной. Социальный гнев. Инстинкт охотника, идущего по следу жертвы, где жертва — человек. Ощущение затерянности в безумных лабиринтах власти. Жестокость. Сострадание. Боль.

И еще долгое время Фиску кажется, что, отдавшись головокружительному темпу жизни и непрерывно сменяющим друга другу импульсам, он нашел путь к преодолению своей ущербности. На протяжении полугода он успевает прожить чуть ли не целую жизнь. Но в конце, очнувшись на больничной койке после очередного бридовского эксперимента, Джон убеждается в том, что весь этот многоликий жизненный опыт, которого он так жаждал, не дал ему ровным счетом ничего.

А Брид? Если целью Мефистофеля было любой ценой вызвать у Фауста желание «миг отдельный возвеличить», то цель Брида прямо противоположная — добиться, чтобы Джона окончательно поглотило непрерывное движение, нескончаемый бег за временем. Ибо что значит «остановить мгновение»? Это — отказаться от соблазна облегчить свой путь, пойти дорогой самостоятельного познания, забыть о том, как далеко и как трудно идти. В компании Брида герой Херси окончательно сформировался как характер. Мы расстаемся с ним на пороге его взрослой жизни. Можно войти в нее безликой частицей общества, ослепленного движением, которое давно уже утратило смысл и цель и порождает только иллюзию заполненного существования. Для Херси не секрет таящаяся в этом ослеплении опасность — тем значительнее победа Фиска.

Путь Джона Фиска — это путь от Гомункула к Фаусту, нелегкий, мучительный путь. Но из всего с ним приключившегося он сумел сделать самый главный вывод: порабощенный, несамостоятельный разум никогда не даст настоящей жизни. В конце этого умного и талантливого романа герой, по замыслу Херси, обрел моральное право повторить за гетевским Фаустом:

Стой на своих ногах, будь даровит,
Брось вечность утверждать за облаками!
Нам здешний мир так много говорит!

А. ЗВЕРЕВ

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ЮБИЛЕЙ ЕЖЕГОДНИКА

Австралийскому ежегоднику «Коуст ту коуст» («От берега до берега») исполнилось 25 лет. Его юбилейный номер, содержащий 24 коротких рассказа современных австралийских авторов, написанных в 1965—1966 гг., вышел недавно в издательстве «Ангус энд Робертсон» в Сиднее.

Составитель сборника Клемент Семмлер включил в него, по оценке рецензента еженедельника «Трибюн», лучшие и наиболее типичные произведения выдающихся мастеров короткого рассказа Австралии. В их числе — «Пионеры» Джона Моррисона, «Четыре выходных костюма» Алана Маршалла, рассказы Катарины Сусанны Причард, Хэла Портера, Патрика Уайта, Питера Коуэна, Олафа Руэна и других.

Это собрание современного австралийского короткого рассказа, по мнению рецензента, довольно полно отражает жизнь австралийского общества в наши дни.

«НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ АМЕРИКАНЦЫ»

Под таким заголовком в еженедельнике «Трибюн» был напечатан первый из серии репортажей постоянного литературного сотрудника редакции Гарри Стейна о его недавнем посещении Южного Вьетнама.

В большинстве своем население Южного Вьетнама относится к американским интервентам с неприязнью и подозрением, пишет Стейн. Американцы, в свою очередь, не доверяют вьетнамцам: перед входами в американские учреждения и штабы — заграждения из колючей проволоки, вооруженные часовые. Обыску подвергаются все без исключения вьетнамцы, входящие в эти здания. Подавляющее большинство населения поддерживает Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама и сотрудничает с ним, свидетельствует Стейн.

Нынешний режим подавляет все без исключения гражданские свободы, продолжает корреспондент в другом репортаже. В стране не существует свободы собраний, политических объединений, нет свободы печати. Все сообщения иностранных корреспондентов из Сайгона подвергаются тщательной цензуре. Один сайгонский издатель жаловался Стейну, что ему все труднее бороться с цензурой. Многие периодические издания и книги запрещены.

В заключительном репортаже Гарри Стейн рассказывает о посещении базы австралийских войск близ Сайгона. Потери австралийских войск растут, пишет он. Ответственность за их участие в этой войне целиком лежит на правительстве Австралии. «А наши ребята могли бы вернуться домой хоть сейчас»,— пишет Стейн.

Как сообщает еженедельник, по возвращении из Южного Вьетнама Гарри Стейн выступил с публичными лекциями о вьетнамской войне.

АЛЖИР

ДВОЕ С ФОТОАППАРАТАМИ

Эти двое молодых людей прошли по городу Алжиру не торопясь, внимательно вглядываясь в лица прохожих, вчитываясь в полуистершиеся изречения из Корана, высеченные над источниками, прошли по узким ступенчатым улицам, заглядывая в сумрачные, укрывшиеся в тени платанов дворы, и по широким проспектам. Они поднимались в гору, чтобы увидеть город с птичьего полета, спускались в порт, стиснутый с трех сторон амфитеатром каменной неразберихи, заходили в дома и мечети, кафе и парки. На них никто не обращал внимания — мало ли туристов бродит нынче по Алжиру, щелкая где не лень затворами «кодаков» и «фэдов»,— и они сумели увидеть город таким, каков он есть, ничего не упустив, да и не прибавив ничего, кроме своей любви к нему.

Так родилась фотовыставка «Алжир глазами фо-

«Старая женщина» — одна из работ, демонстрировавшаяся на выставке «Алжир глазами фотографа».

тографа», расположившаяся в витринах информационных центров — своеобразных «стенных газетах» Алжира. Ее авторами стали два молодых фотокорреспондента журнала «Революсьон африкен» — Али Хефиед и Нордин Зиани.

Их стиль прост и безыскусен. Они не ищут сногсшибательных ракурсов, не стремятся изыскивать полутона, не гонятся за привлекательными сюжетами. Возможно, на их работе есть даже некоторый налет дилетантизма. Но зритель, тем более алжирский зритель, не избалованный мировыми фотоэкспозициями, благодарен им за это. Он узнает свой город, верит в правдивость увиденного и запечатленного, открывает снова для себя то, что он не всегда способен увидеть сам за будничной суетой и заботами. Выставка вызвала большой интерес.

АНГЛИЯ

ГРИН НА СЪЕМКАХ «КОМЕДИАНТОВ»

Грэхем Грин переехал в Париж «на длительный срок», как он заявил корреспондентам, в связи с работой над фильмом «Комедианты» по одноименному роману (опубликован в «Иностранной литературе» № 9, 10, 1966 г.). Он сообщил также, что написал небольшую часть нового романа. Но работу над ним не возобновит, пока не закончатся съемки фильма «Комедианты». «Я понял, что могу одновременно заниматься только чем-то одним; работа на съемках фильма очень утомляет»,— заявил он.

Недавно Грин побывал в Дагомее, где снимались эпизоды на натуре. Павильонные съемки будут происходить в Париже и Милане, и всюду писатель будет наблюдать за ходом работы. Грин остался недоволен экранизацией некоторых его романов, например «Тихого американца», и потому решил лично присутствовать на съемках. «Иногда,— сказал он,— при экранизации романов случаются странные вещи, и потому я предпочитаю все время быть под рукой у режиссера. Я внес некоторые изменения в диалогах «Комедиантов». Кроме того, я совершенно переделал для фильма концовку».

Грэхем Грин рассказал, что в фильме претерпел некоторые изменения облик южноамериканского дипломата Пинеды: «В книге он крайне непривлекателен, так как к нему недружелюбно относится рассказчик, через восприятие которого он показан. В фильме он несколько симпатичнее, во всяком случае — человечнее в режиссерской трактовке и в исполнении Питера Устинова».

В фильме занято целое «созвездие» знаменитостей кино: Элизабет Тейлор, Ричард Бёртон, Питер Устинов, Пол Форд, Алек Гиннес.

ПРОТИВ ВОЙНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем к прекращению войны во Вьетнаме...» — этими словами начинается опубликованный в виде платного объявления на двух полосах газеты «Таймс» документ, который подписало 334 человека, в том числе — писатели, композиторы, артисты театра и кино, члены палаты общин и лорды, ученые, общественные и профсоюзные деятели, служители культа.

Идея этого манифеста-объявления принадлежит писательнице Элеоноре Стюарт. Это самый представительный документ, содержащий протест против войны во Вьетнаме, когда-либо публиковавшийся в английской печати. Среди подписей деятелей культуры — имена Джона Ардена, Джона Барджера, Бенджамена Бриттена, Роберта Болта, Бриджит Брофи, Шейлы Делани, М. Форстер, Дорис Лессинг, Комптона Макензи, Дэвида Мерсера, Алана Силлитоу, Кэннета Тайнена, Арнольда Уэскера. Много в этом списке знаменитостей театра и кино: Джули Кристи, Питер Холл, Дебора Керр, Спайк Миллиган, Шивоун О'Кейси, Питер О'Тул, Пол Скофилд, Сибил Торндайк, Шон Коннери и др.

Любопытно, что подпись Шона Коннери, исполнителя роли Джеймса Бонда в кино, вызвала сенсацию в печати западных стран.

ЛОРД ЧАНДОС ПРОТИВ ЛОУРЕНСА ОЛИВЬЕ

Национальный театр Англии, возглавляемый Лоуренсом Оливье, переживает тяжелые дни: его творческой работе препятствует лорд Чандос, член правления крупнейшего монополистического концерна Англии «Империал кэмикал индастриз», а также других объединений, председатель совета директоров этого театра, а в прошлом — министр по делам колоний в кабинете Черчилля. Лорд Чандос, в частности, воспротивился планам Оливье поставить пьесу Рольфа Хохгута «Солдаты», так как в ней, по его мнению, «в нелестном свете представлены Уинстон Черчилль и лорд Черуэлл».

Совет директоров на заседании под председательством лорда Чандоса решил, что по вышеизложенным причинам пьеса не подходит для постановки в Национальном театре. Лоуренсу Оливье намекнули, что ему

неплохо было бы уйти в отставку, на что он решительно заявил в печати, что «даже не собирается думать об отставке».

В связи с этими событиями газета «Морнинг стар» опубликовала передовую статью, в которой говорится: «Если Национальному театру разрешат ставить только те пьесы, которые заслужили одобрение бывшего консервативного министра по делам колоний, то это будет означать катастрофу для судеб английской драматургии. Ярый защитник политики империализма по понятным причинам пытается лишить Национальный театр свободы выбирать то, что там считают нужным». Лорда Чандоса следует поставить на место, пишет газета.

БОЛГАРИЯ

КНИГИ О СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ

Еженедельник «Народна култура» сообщил о выходе из печати книги Славчо Васева «Наши в Москве». В ней автор рассказывает о встречах с советскими людьми, с советской страной. Васев много лет прожил в Советском Союзе, побывал в разных его уголках, познакомился со многими людьми труда, писателями, журналистами, артистами, что позволило ему «дать обобщенный образ советского человека, строителя коммунизма». По словам рецензента, выход книги Васева — событие в литературной жизни Болгарии.

Одновременно с книгой Васева вышла «Восточная поэма» Йордана Милева. Его поэтическое произведение посвящено Узбекистану, Таджикистану и Туркмении — их прошлому, современности и будущему. Высокую оценку «Восточной поэме» дал журнал «Болгаро-советская дружба».

НАГРАДА ТУРЕЦКОМУ ПИСАТЕЛЮ

Литературная общественность Софии торжественно отметила пятидесятилетие известного турецкого писателя Фахри Эрдинча, который с 1949 года вынужден жить за пределами Турции.

За двадцать лет литературной работы Эрдинч выпустил пять сборников рассказов, три романа, две книги стихов, написал несколько пьес. В Болгарии, где писатель теперь живет, вышли в его переводе на турецкий язык стихи В. Маяковского, антология болгарской поэзии. «Его талант и труд способствовали сближению болгарской и турецкой прогрессивных культур — отмегил в докладе, посвященном творчеству Эрдинча, болгарский литературовед Риза Моллов.— Фахри Эрдинч после Назыма Хикмета и Сабахаттина Али — крупнейший революционный писатель Турции, воплотивший в своих произведениях образ турецкого коммуниста. Он является одним из выдающихся мастеров современной турецкой литературы».

В последнем романе «Далеко ли Корея?», который вышел в Софии в 1966 году, Эрдинч впервые рассказал о том, как сражались и погибали турецкие солдаты в чуждой им войне за интересы американского империализма в Корее. «Эта книга,— писала выходящая в Софии на турецком языке газета «Ени ишык»,— проникнута духом интернационализма и гуманизма. Она является вкладом в борьбу народов Азии за свое освобождение».

Отмечая заслуги Ф. Эрдинча в деле укрепления турецко-болгарских отношений, Президиум Народного собрания Болгарской Народной Республики наградил писателя орденом «Красного знамени».

ИЗДАЕТСЯ В США

«Болгарские книги представляют собой большую культурную и литературную ценность»,— заявил представитель издательства «Твен» (Нью-Йорк), комментируя сообщение о включении в планы выпуска мировой литературы произведений болгарских авторов. Будут напечатаны «Под игом» Ивана Вазова и обширная антология болгар-

---

«Арматура» — рисунок Хр. Градечлиева из цикла «Батак».
(Журнал «Читалище»)

ской поэзии и прозы. Эти книги выйдут в нынешнем году.

Издатель Джекоб Стейнберг, посетивший в прошлом году Болгарию, обратил внимание на несколько книг, которые, по его мнению, будут очень полезны американскому читателю, желающему подробнее познакомиться с литературой и искусством Болгарии. Среди них — рассказы Елина Пелина и Йордана Йовкова, «Железный светильник» Димитра Талева и «Болгарская настенная живопись XIV века» Доры Пандйотовой.

Кадр из фильма «Оружие».

БРАЗИЛИЯ

«НОВАЯ ВОЛНА» В КИНО

Находившийся в Париже в связи с демонстрацией своего фильма «Оружие» Руи Гуэрра, один из выдающихся представителей «новой волны» в бразильском кино, дал интервью представителям печати.

«В этом фильме,— заявил Руи Гуэрра,— я рассказал историю крестьян, стонущих под гнетом феодальной экономической системы нашей страны и испытывающих на себе пагубные последствия религиозного фанатизма. Это фильм о нищете, засухе, голоде, предрассудках, о любви и о смерти».

Руи Гуэрра подчеркнул огромное значение кино в борьбе народа за лучшее будущее. Особая роль здесь принадлежит фильмам бразильской «новой волны», в которых поднимаются острые социальные проблемы. «В фильме «Оружие»,— рассказал режиссер,— использован подлинный эпизод, имевший место в 1954 году на нашем северо-востоке. Я выбрал одну из деревень этого района Бразилии, внимательно изучал быт жителей деревни в течение полутора месяцев. Я жил бок о бок с этими людьми. Затем я вызвал туда операторов, всю съемочную группу. Кроме того, в деревню приехали статисты, которым я поручил играть роль расквартированных неподалеку солдат, часто выполняющих полицейские функции. Исполнителями главных ролей были сами жители деревни. Слепая старуха, рассказывающая на экране историю своей жизни,— не актриса, а жительница деревни. Ее история — чистая правда».

Большинство участников фильма, подчеркнул Гуэрра, играют самих себя, рассказывают о том, что их заботит, волнует.

На вопрос, каковы, по его мнению, перспективы «новой волны» в бразильском кино, Руи Гуэрра ответил, что он видит только один правильный путь — реалистический. «Человека,— заявил он,— никогда нельзя рассматривать изолированно от окружающей его обстановки».

ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ

В ПЛЕНУ «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

Из пятисот иностранных журналистов, находящихся в Сайгоне, француженка Мишель Рэй — единственная, сумевшая проникнуть к партизанам Национального фронта освобождения. В журнале «Нувель обсерватер» она рассказала: «Я хотела все увидеть собственными глазами и для этого отправилась в глубь страны по дороге, контролируемой партизанами, чтобы попасть к ним в плен. Это мне полностью удалось. Я прекрасно представляла себе, что буду очень бояться,— ведь и опасно, и страшно. В плену «по собственному желанию» я провела три недели. А всего во Вьетнаме я была пять месяцев».

Мишель Рэй находилась среди партизан, когда американцы в течение десяти часов бомбили их. Она восхищается мужеством партизан, их организованностью, спокойствием, тем, что они не теряют чувства юмора в минуту опасности. У них надежные укрытия, и бомбардировка не причинила большого вреда, жертв не было. Сами американцы, по ее словам, вынуждены признать, что эффективность их бомбардировок незначительна.

«Среди американцев есть профессиональные военные, которым все равно, где воевать, для них важно, что на войне легче продвинуться, чем в Вашингтоне,— продолжала Мишель Рэй.— А вот участь мобилизованных плачевна. В США им внушают, что они едут помогать вьетнамскому народу защищаться против коммунистической агрессии, а очень скоро, прибыв на место, они убеждаются, что их никто не поддерживает, что вьетнамцы не хотят войны и население вовсе не испытывает к ним благодарности...»

ГДР

ИНТЕРВЬЮ С ВЕРНЕРОМ ШМОЛЕМ

Еженедельник «Зоннтаг» поместил интервью с писателем Вернером Шмолем, автором романа «В семнадцать лет ты еще не герой» (см. «Иностранную литературу» № 4, 1963). Корреспондент «Зоннтаг» Эдуард Цак задал Шмолю несколько вопросов о его творческих позициях, о тематике произведений, о читательском их восприятии. В частности, разговор зашел и о новом романе Шмоля, который Цак назвал «слишком сложным и даже претенциозным».

— Я решил рискнуть,— сказал Шмоль.— У нас уже достаточно много читателей, которые способны понять сложную литературу. Для них мой роман будет интересен, тем более что сложен он только по композиции. Сюжет же романа прост — это обыкновенная, повседневная история. В романе раскрываются противоречия развития нашего общества, но трагического конфликта нет. Инженер Винфрид Эбенешер, который пытается внедрить новый эффективный метод производства, сталкивается с тем, что на предприятии нет для этого ни технических, ни экономических предпосылок. Его план рушится, ему приходится сменить работу. Но трагедии не происходит: он находит применение своим способностям, приносит пользу обществу...

Цак выразил сомнение в необходимости изображения героя через восприятие действующих лиц. Он опасается, что это исказит облик героя, поскольку каждый рассказчик внесет эмоциональные и интеллектуальные оттенки в «дело Эбенешера». Цак приводит пример с первой главой (опубликованной в том же номере «Зоннтаг»), где Шмоль отдал читателя в распоряжение рассказчика — Джеймса Виндгассена. Отвечая Цаку, Шмоль отстаивал право на этот прием. Инженер Виндгассен — единственный человек, который способен понять эту забытую историю.

— Впечатлительный, интересующийся вопросами морали, он склонен анализировать характеры своих коллег и друзей. Поэтому даже при некоторых недостатках Виндгассен — человек, которому я, как автор, во многом симпатизирую.

Тон рассказа Виндгассена,— продолжал Шмоль,— позволяет эрудированному читателю сразу определить, что этот инженер заимствует чужой стиль — стиль Серенуса Цейтблома из романа Томаса Манна «Доктор Фаустус». Но и менее эрудированный читатель насторожится и отнесется к тексту критически и таким образом усвоит точку зрения автора.

В заключение Эдуард Цак сказал:

— Когда ваш роман будет закончен, мы сможем судить о том, насколько оправдали себя те литературные средства, к которым вы обратились. А пока нам хочется пожелать вам успеха в вашем необычном и трудном начинании.

ФРГ

ВОПРОС ПОКОЛЕНИЮ ОТЦОВ

«Запрос» — так называлась первая книга прогрессивного западногерманского писателя Кристиана Гейслера, вышедшая в 1960 году и переведенная на русский язык. «В ней содержался вопрос родившегося в 1928 году немца поколению отцов,— пишет рецензент гамбургского еженедельника «Ди андере цейтунг»,— вопрос об ответственности, обращенный к учителям, богословам, судьям и чиновникам, ко всем, кто пошел в услужение к фашизму. Гейслер потребовал тогда от них откровенного отчета о прошлом, чтобы можно было наконец навести порядок и чистоту в немецком доме...»

«Когда я написал эту книгу,— говорит сегодня Гейслер,— я был удивлен тем, что у нас, в Федеративной Республике, не сделали из нацистского прошлого никаких разумных, то есть политически действенных выводов. Сейчас это меня больше не удивляет... Все мерзкое, что возникает и упрочивается в нашем обществе и что так похоже на то, что мы уже однажды пережили, я считаю следствием господствующих у нас политических, то есть в конечном счете экономических условий. На старом фундаменте нового дома не построишь».

Недавно в мюнхенском издательстве «Рюттен унд Лёнинг», вышла новая книга Гейслера, которую автор назвал «Результаты запроса». В эту книгу включены рассказ и сценарии для радио и телеспектаклей, телевизионный репортаж и речи Гейслера. Некоторые из материалов, прозвучавшие в свое время по радио в урезанном цензурой виде, печатаются здесь полностью. Самым удачным произведением, давшим название книге, является, по мнению рецензента, телерепортаж «Результаты запроса». Содержание его вкратце сводится к следующему: в деревню Хартгейм близ Линца на Дунае, в Верхней Австрии, приезжает репортер с целью выяснить, что происходило в замке Хартгейм во времена нацизма. Поначалу местные жители ничего не сооб-

---

«Непобежденный» — ксилография Герхарда Бондцина, посвященная освободительной войне вьетнамского народа против агрессии США. *(Газета «Дейче фолькскейтунг»)*

щают ему, отговариваясь тем, что «все держалось под секретом». Репортер прибегает к уловке: он якобы интересуется судьбой своего брата, который служил в Хартгейме в эсэсовской части. Тут языки постепенно развязываются. «Людей, которых сюда привозили, жгли, почитай, каждый день»,— отвечают ему с полным равнодушием к массовому убийству 35 000 человек в замке Хартгейм, совершенному нацистами. И репортер убеждается, что все в деревне знали об уничтожении людей газом и относились к преступлениям эсэсовцев безучастно...

«Этим репортажем Гейслер еще раз подчеркивает: каждый должен быть в ответе за все, что происходило при нем в прошлом и происходит сейчас»,— пишет в заключение рецензент еженедельника «Ди андере цейтунг».

ИНДИЯ

«АНУПАМА»

Индийский кинорежиссер Хришикеш Мукерджи знаком советскому зрителю по фильму «Во имя любви», который несколько лет назад демонстрировался в СССР. Сейчас на экранах Индии с успехом идет его новая картина «Анупама», где он выступает и как режиссер, и как автор сценария.

Критика единодушно называет это произведение «подлинной поэмой на кинопленке»... Здесь никто никого не преследует, здесь нет автомобильных гонок, катастроф и больниц, нет негодяев и всего того, чем принято в последние годы заполнять фильмы на хинди, пишет рецензент газеты «Таймс оф Индиа». Это грустная повесть о горькой судьбе девушки, чье рождение оказалось причиной смерти ее матери. Отец не может простить ей этого. Она растет в одиночестве, замкнутая, лишенная ласки близких. Но вот ее жизнь озаряет любовь, в лучах которой она оттаивает, расцветает и с улыбкой идет навстречу людям...

Шармила Тагор в фильме «Анупама».

(Газета «Таймс оф Индия»)

Большой удачей фильма, по мнению критики, является исполнение главной роли Шармилой Тагор. Эта обаятельная талантливая актриса прошла серьезную школу под руководством крупнейшего бенгальского режиссера Сатьяджита Рая и владеет богатейшей палитрой эмоциональных красок. Сила ее дарования особенно поражает в тех сценах, где текст предельно лаконичен или отсутствует вовсе.

Автор диалога — известный писатель Раджендра Сингх Беди. Музыка композитора Хеманта Кумара.

ИТАЛИЯ

МНОГО ЛИ ЧИТАЮТ ИТАЛЬЯНЦЫ?

Центральный институт статистики Италии разослал недавно анкету с целью выяснения читательских интересов населения страны. Результаты анкеты, опубликованные в журнале «Ноте э релациони», заставили заговорить всю итальянскую прессу. Оказалось, например, что половина всех итальянцев, начиная со школьного возраста, совершенно не читает ни книг, ни газет, ни журналов. Еще хуже обстоит дело на юге страны, где до сих пор очень высок процент неграмотных. Там вообще читают лишь один из каждых трех мужчин и одна из пяти женщин. В Италии существует много семей, члены которых, как пишет обозреватель еженедельника «Ринашита» Марио Спинелла, «могут только с трудом нацарапать письмо, разобрать название передачи на экране телевизора и в случае необходимости поставить свою подпись».

По сравнению с 1957 годом, когда Институт статистики проводил подобный опрос населения, количество читающих газеты уменьшилось почти на два процента, причем очень многие мужчины читают только спортивные издания и лишь одна из пятнадцати женщин время от времени берет в руки газету. Напротив, журналы, особенно иллюстрированные, так называемые «ротокальки», стали популярнее. Комментаторы объясняют это тем, что такие журналы все больше и больше публикуют «рассказы» и даже «романы» типа комиксов. «Прочитать» подобный журнал не представляет особого труда даже для неграмотного.

По сравнению с 1957 годом итальянцы стали больше читать книг, однако общее число читающих книги все еще чрезвычайно низко — тридцать два процента.

«Результаты исследования, проведенного Институтом статистики,— пишет обозреватель «Ринашита»,— заставляют сделать только один вывод: в Италии до сих пор читают очень мало».

ФИЛЬМ О ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ

В августе нынешнего года исполняется третья годовщина со дня смерти одного из создателей и руководителей Коммунистической партии Италии Пальмиро Тольятти. К этой дате режиссеры братья Паоло и Витторио Тавиани выпустят фильм под названием «Мятежники». Фильм состоит из четырех самостоятельных новелл, действие которых происходит в день похорон Пальмиро Тольятти.

Корреспондент еженедельника «Вие нуове» взял интервью у авторов картины. «Со смертью Тольятти закончился целый период в истории итальянского рабочего движения,— сказал Паоло Тавиани. — Мы работаем над фильмом с чувством большой ответственности, так как понимаем всю его важность и необходимость. Это не будет картина о похоронах народного героя и руководителя. Наша съемочная камера, пройдя сквозь ряды участников траурной процессии, остановится на четырех лицах, и затем действия и переживания этих четырех человек в тот день будут показаны в фильме. Смерть Тольятти до глубины души потрясла людей, заставила их пересмотреть всю свою жизнь, отбросить все ненужное и поверхностное. Это произвело целый переворот, мятеж в душах героев, о чем говорит и название картины...»

Сценарий фильма «Мятежники» написали братья Тавиани совместно с известным сценаристом и режиссером Орсини.

Во многих городах Италии побывала выставка антивоенных работ итальянских художников «Против преступлений США во Вьетнаме». На нашем снимке: плакат — символ выставки, на котором написано «Мы должны знать, должны осудить, должны бороться!»

(Газета «Унита»)

ПИСАТЕЛЬ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Возможно ли плодотворное сотрудничество между телевидением и писателями? Такой вопрос был поставлен и обсуждался на встрече с молодыми писателями, организованной в Риме руководителями итальянского радио и телевидения. Попытку установить непосредственные связи между телевидением и литературой римские газеты называют «исторической»; это первый прямой контакт работников радио и телевидения с писателями. Однако встреча показала, что на пути к реальному сотрудничеству еще немало помех. Представители телевидения главным образом настаивали на специфике телевидения, якобы мало доступной «непосвященным». Писатели же, со своей стороны, все еще не верят в большие возможности телевидения, помимо чистой информации, а некоторые даже видят в нем одно из зол современной жизни, обостряющее чувство человеческого одиночества и отчуждения. Дискуссия не принесла ожидаемых результатов, на которые, впрочем, трудно было и надеяться, учитывая, как отмечает печать, что итальянское радио и телевидение находится в руках лиц, преследующих в первую очередь не общекультурные, а определенные политические и идеологические цели. Подробно сообщая о состоявшейся встрече, римская газета «Паэзе сера» предлагает писателям продолжить дискуссию на ее страницах и в качестве первого выступления поместила статью Уго Дотти «Телевидение как документ реального».

КАНАДА

К КОНЧИНЕ УИЛСОНА МАКДОНАЛЬДА

В возрасте 86 лет скончался известный канадский поэт Уилсон Макдональд. Поэт-гуманист, он всегда жил интересами своего народа, боролся против войны, за мир и дружбу между народами, пишет корреспондент газеты «Кенэдиен трибюн».

Макдональд был большим другом советского народа. В числе других зарубежных гостей он был приглашен на празднование 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Под впечатлением пребывания в Советском Союзе он написал книгу «Я в Москве».

Произведения Уилсона Макдональда неоднократно публиковались в советских газетах и журналах (см., например, «Иностранную литературу» № 2, 1960 год), выходили отдельными изданиями.

КУБА

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР: «НОВЫЕ ПРОИСКИ ЯНКИ»

Известный кубинский писатель Алехо Карпентьер заявил в беседе с корреспондентом уругвайского еженедельника «Марча»: «Янки, очевидно, поняли, что в Латинской Америке существует большая литература, как и большое изобразительное искусство, что там успешно развивается музыкальная культура... Именно этим можно объяснить пресловутую «новую культурную политику» США в странах Латинской Америки».

«Можно было бы очень многое сказать о средствах, пользуясь которыми империализм осуществляет свое проникновение на латиноамериканский континент,— сказал далее Карпентьер.— Есть страны, где янки купили журналы с большими тиражами и главные радио- и телевизионные станции. В организованном порядке они захватывают огромное количество средств пропаганды, хотя предусмотрительно сохраняют пока *национальные* вывески. Многие фирмы, которые и теперь называются так же, как прежде, недавно перешли в руки американцев. Последовательно и систематически янки скупают важнейшие издательства нашего континента, они стали приобретать даже целые картинные галереи, как это, например, про-

изошло в Венесуэле. Обо всех этих случаях нужно открыто писать, беспощадно их разоблачать, чтобы ни у кого не оставалось сомнений насчет новых форм империалистической экспансии,— только таким образом можно действенно с ней бороться».

«Для латиноамериканского деятеля культуры,— продолжал писатель,— никогда еще с такой остротой не стоял вопрос о возможности или недопустимости компромисса с янки. Ныне любая нейтральная позиция будет означать переход на реакционные позиции. Никакое «интеллектуальное сосуществование», к которому призывают силы реакции, неприемлемо... Наши деятели культуры только в том случае выполнят свою миссию, если будут вместе с народом. А те, кто ныне не выполняет свой долг, кто колеблется, кто приспосабливается ко злу, будут жестоко осуждены грядущими поколениями...»

МОНГОЛИЯ

ПЛАНЫ ЖУРНАЛА «ЦОГ»

В год 50-летия Великого Октября у редакции журнала «Цог» («Огонек») много интересных замыслов.

«Мы хотим,— сказал ответственный секретарь редакции журнала Д. Гарма,— представить читателям все то лучшее, что появилось в монгольской литературе за последнее время». Д. Гарма напомнил, что в нынешнем году состоится очередной IV съезд монгольских писателей.

Недавно в журнале опубликована повесть советского писателя Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!». Читатели познакомятся с повестью С. Дашдоорова «Моя мать», с поэмой Б. Явуухулана «Артерия жизни», с новыми стихами Д. Пурэвдоржа, Ц. Цэдэнжава, Ч. Чимида и другими произведениями монгольских писателей и поэтов.

На страницах журнала будут опубликованы переводы произведений С. Есенина, А. Блока, Э. Межелайтиса, Е. Евтушенко, М. Светлова, А. Вознесенского, П. Неруды и др.

ОАР

СОЗДАНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В ОАР создано единое государственное издательство, заменившее существовавшие прежде частные издательства. Во главе нового издательства с недавнего времени стоит известный египетский критик-марксист Махмуд Амин аль-Алим. Планируется выпустить собрания сочинений нескольких современных египетских писателей, чтобы облегчить читателю знакомство с их произведениями, разбросанными по разным изданиям. Издательством уже заключены договоры с Луисом Одом, Салахом Абд ас-Сабуром, Юсефом Идрисом, Рушди Салехом, Ахмадом Абд аль-Муты Хигази, Альфредом Фарагом, Яхьей Хакки и другими видными писателями. Предполагается также издать сочинения старейшины египетской литературы доктора Таха Хусейна.

В дальнейшем предусматривается издание классики — начиная с древности и кончая XIX веком. Будут изданы также сочинения некоторых писателей первой половины XX века, как, например, Заки Мубарака.

Что касается произведений мировой литературы, то уже начат перевод книг Томаса Манна, Гете, Пруста, произведений древнегреческих писателей.

Кроме произведений художественной литературы издательство планирует выпуск философских и научных работ.

ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВУ

По сообщениям арабской прессы, Высший совет по делам искусства и литературы в Каире присудил главную премию по искусству за 1966 год известному египетскому художнику и публицисту Хусейну Фавзи. Главной премии по литературе удостоен один из ветеранов египетской поэзии Ахмад Рами. Доктору Мухаммеду Иваду присуждена главная премия за работы в области общественных наук.

ПОЛЬША

РАССКАЗЫВАЕТ СЕВЕРИНА ШМАГЛЕВСКАЯ

Еженедельник «Культура» несколько месяцев назад обратился к видным польским ученым, творческим работникам и писателям с просьбой ответить на ряд вопросов, касавшихся их нынешней работы и творческих замыслов и планов. Ответы постоянно печатаются в специальной рубрике.

В одном из последних номеров еженедельника были опубликованы ответы известной польской писательницы Северины Шмаглевской, автора получившей мировую известность повести «Дымы над Биркенау» о гитлеровских лагерях смерти в Освенциме и Бжезинке. Автор остается верным своей теме — в прошлом году вышла книга «Крик ветра», рассказывающая о годах войны и оккупации. Шмаглевская подготовила также к печати повесть (ее название еще окончательно не определилось), как она сама говорит, «о драматических конфликтах и моральных комплексах людей, которые родились в годы войны, а ныне уже стали взрослыми».

Писательница с удовлетворением отметила, что ее книга «Дымы над Биркенау», переведенная на многие языки мира, недавно появилась в Голландии,— значит, эта тема до сих пор близка людям. Шмаглевская увлеченно работает над повестью, действие которой происходит в 1946 году в Нюрнберге, где судили главных нацистских преступников. Одновременно она работает над писательским дневником и отдельными рассказами. Но главное — это повесть о Нюрнберге, которая, по признанию самой писательницы, «требует

значительных усилий, богатого воображения, кропотливой работы над материалами по многим отраслям знаний, так как мне хочется, чтобы эта повесть заинтересовала читателей».

СПЕКТАКЛЬ, ВЗВОЛНОВАВШИЙ ЗРИТЕЛЯ

Недавно кинематографисты Польши отметили двадцатилетие выхода на экраны страны первого послевоенного художественного фильма «Запрещенные песенки» ныне покойного кинорежиссера Леонардо Бучковского (этот фильм знаком и советскому зрителю). В нем были собраны песни периода войны и оккупации, периода сопротивления гитлеровскому нашествию.

Тот же замысел положен в основу спектакля «Сегодня я не могу к тебе прийти» Леха Будрецкого и Иренеуша Каницкого в варшавском Классическом театре. За его основу взяты партизанские песни 1939—1945 гг. Режиссер-постановщик спектакля Иренеуш Каницкий создал, по отзывам критики, яркий патриотический спектакль, взволновавший зрителя.

«Главное на сцене — движение, — пишет Витольд Филлер в еженедельнике «Культура». — 35 актеров движутся в неустанном хороводе, которому режиссерская мысль придает только темп и форму». Спектакль состоит из следующих одна за другой сцен и эпизодов, рассказывающих о героической борьбе польского народа против гитлеровских оккупантов. И все это сопровождается песней — грустной или веселой, часто выдержанной в ритме походного марша. Больше всего трогают зрителей, по свидетельству рецензента, простые слова народных песен, родившихся в огне освободительной борьбы. «В ходе представления возникает тесный контакт между зрителями и актерами»,— пишет Витольд Филлер.

Сцена из спектакля «Сегодня я не могу к тебе прийти».

(Еженедельник «Культура»)

«ТРЕТЬЕ ПОЛЬСКОЕ КИНО»

«Третье польское кино» — термин, который впервые употребил кинокритик Ежи Плажевский, когда на страницах еженедельника «Экран» он писал об итогах 1965 года в польском кино. Он имел в виду молодое поколение кинематографистов, наиболее видным представителем которого в тот момент был Ежи Сколимовский. Сегодня рядом с ним, по мнению критика Януша Газды, который опубликовал на эту тему две статьи в еженедельнике «Экран», следует поставить Януша Маевского и Хенрика Клюбу. Польская пресса много пишет о последних работах этих режиссеров: о фильмах «Барьер» Сколимовского, «Квартирант» Маевского и «Худой и другие» Клюбы (см. «Иностранную литературу» № 7, 1966 и № 6, 1967).

Газда обращает внимание на то, что общее для этих трех в общем очень разных режиссеров — тесная связь с современностью. И потому не случайно Сколимовский и Маевский создают фильмы по собственным сценариям, а Клюба в качестве основы для сценария выбрал рассказ Веслава Дымного, в котором показана «самая современная Польша».

«Клюба тверже их всех ступает по земле,— продолжает Газда.— Он не случайно остановился на прозе Дымного, выбрав тем самым очень широкий круг людей из среды рабочих и крестьян; в их среде он ищет самой простой жизненной мудрости».

По мнению Газды, Сколимовский, Маевский и Клюба представляют то направление творческих поисков, которое может дать в будущем много интересных открытий.

РУМЫНИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ ЗА 1966 ГОД

Присуждены премии Союза писателей Румынии за 1966 год.

Лучшим прозаическим произведением признан роман Лауренция Фулги «Александра и ад». Тематически книга перекликается с прежними произведениями автора. Действие романа развертывается несколько дней спустя после августовских событий 1944 года в Румынии.

В области поэзии премии получили три автора: Чезар Балтаг, Ион Георге и Оскар Пастиор (последний — за стихотворный сборник на немецком языке). Чезар Балтаг — автор сборников «Золотая коммуна» (1964) и «Поражения» (1966), за который ему присуждена премия.

Советскому читателю Балтаг известен по вышедшему в СССР в прошлом году сборнику «Молодые поэты Румынии» и публикациям в нашей периодической печати.

Ион Георге получил премию за последнюю книжку стихов «Лунные ночи на Атлантическом океане». Для поэта «не существует банальных происшествий, мелких, повседневных событий»,— пишет критик Лучиан Райку. Смерть, океан, мировая скорбь, боль и т. д.— вот символы его поэзии.

«Когда в 1964 году вышел сборник Георге «Кариатида», его сравнивали с народными балладами «Мастер Маноле» и «Миорица»,— замечает Райку.— В новой книге стихов автор еще больше уходит в прошлое, в фольклор...».

Интересно отметить, что в области драматургии премия присуждена поэту Раду Боуряну — за драма-

Кадр из кинофильма «Дакийцы».
(Журнал «Чинема»)

тическую поэму «Село без любви».

В области очерка и публицистики премию получил прозаик Симион Поп — за своеобразный путевой дневник «Бамбуковый орга́н». Это книга о поездке во Вьетнам. Написана она в форме писем к другу — художнику в Румынию. Автор делится своими впечатлениями о путешествии, о жизни, обычаях и нравах трудолюбивого и мирного вьетнамского народа, о его борьбе против американской агрессии.

Лучшей книгой для детей и юношества признана повесть «Сердитый карлик» Ф. Шандора, который пишет на венгерском языке.

В области критики и литературоведения выделена работа Владимира Стреину «Современное стихосложение». Этта Бориу награждена за лучший перевод «Божественной комедии».

ФИЛЬМ О ДАКИИ И ДАКИЙЦАХ

Цветной широкоэкранный фильм «Дакийцы» совместного франко-румынского производства, по отзывам критики,—значительное произведение кино. Сценарий написан Титусом Поповичем, известным советскому читателю по романам «Чужой» и «Жажда» (в журнале «Иностранная литература» печатался в №№ 11, 12 за 1957 г. под названием «Земля»). Режиссер фильма — Серджиу Николеску. В интервью для журнала «Амфитеатру» он сказал: «Это мой первый художественный фильм. Я хочу отдать в нем дань уважения нашей тысячелетней борьбе за свободу».

Фильм открывается широкой панорамой древних дакийских земель (территория современной Румынии.— *Прим. ред.*). Против могущественного дакийского государства времен Децебала движутся римские легионы во главе с императором Домицианом. Два военных стана, битвы даков с римлянами, величественная фигура предводителя дакийцев Децебала — стратега и философа — изображены достоверно и убедительно, по мнению румынской критики.

Обозреватель газеты «Трибуна» обращает внимание на другую сторону фильма — умело изображенный уклад жизни дакийцев, их обычаи и нравы.

Роли в фильме исполняют румынские и французские актеры: Амза Пелля (Децебал), Мари Жозе Нат (Меда), Дьёрдь Ковач (Домициан), Эмил Ботта (Великий священник) и др.

США

«СВОБОДА МОЛЧАТЬ»

Молодой американский писатель Стивен Шнек, чей первый роман «Ночной клерк» был удостоен в 1966 году премии «Форментор», поместил в журнале «Рэмпартс» открытое письмо Евгению Евтушенко, где попытался проанализировать переписку Евтушенко со Стейнбеком, высказал свои взгляды на положение писателя в современной Америке.

«...У нас существует свобода молчать. По нашему молчанию Вы должны догадаться... что в Америке еще есть поэты и писатели с чистой совестью,— заявил Стивен Шнек.— Наши писатели, особенно наши поэты, совершенно свободны писать все, что им заблагорассудится... Но эта свобода очень относительна. А если разобраться, то это вовсе не свобода, ибо только безразличие делает возможной подобную вольность в литературе, потому что Америка просто не принимает своих поэтов всерьез.

То, что Стейнбек Вам сейчас не ответил,— естественно. Нет никакого смысла взывать к «старым волкам»... В нынешней Америке наши отцы нас не поддерживают. За немногими исключениями, они совершенно оторваны от нашей действительности. Я говорю не о нормальном разрыве между поколениями, а о гораздо более глубокой, более серьезной и, очевидно, непреодолимой пропасти. Многие американские писатели в конце концов, подобно Вашему «приятелю» Стейнбеку, предают себя и свои идеалы — и не из трусости (им ведь не грозит никакое наказание), а из-за недостатка интеллекта... Куда более светлые умы, чем Стейнбек, не выдержали испытания Американской Мечтой и Американской Действительностью. Можно назвать немало безвременно охрипших голосов или слишком быстро состарившихся поэтов... Кто сочтет мертвых поэтов, расхаживающих сейчас среди нас в Америке?.. Мы считаем своих поэтов дураками, чудаками и помешанными. И в какой-то мере мы добиваемся того, на что рассчитываем. Наши лучшие и наиболее популярные художники — абсурдисты, горькие клоуны, черные юмористы, и большая часть их стихов написана не для народа, а для других поэтов.

Все, что я знаю об Америке, привело меня к убеждению,—продолжал Шнек,— что хороший поэт — прирожденный изгой в своем обществе и что действительно хороший поэт — естественный противник государства... Если и есть что-нибудь честное и молодое в пораженной психозом Америке, так это, вероятно,

активисты студенческого движения в Калифорнийском университете в Беркли. Эти «молодые волки» куда важнее Стейнбека. Намного важнее. С ними связана наша последняя надежда. Именно из них состояли ударные отряды в битве за гражданские права, и они образуют костяк движения в защиту мира».

В заключение Шнек выразил пожелание, чтобы Евтушенко написал антивоенные стихи, к которым, полагает он, могли бы прислушаться американские политические деятели.

ЭКРАНИЗАЦИЯ КНИГИ ТРУМЭНА КАПОТЕ

Документальная повесть «Обыкновенное убийство» Трумэна Капоте (опубликована в «Иностранной литературе» №№ 2, 3, 4 за 1966 год), написанная им о совершенном в 1959 году убийстве семьи Клаттеров в штате Канзас, в настоящее время экранизируется режиссером Ричардом Бруксом.

Однако, как подчеркнул сам Брукс в беседе с корреспондентами, речь идет не просто об экранизации повести, а о создании киноленты на основе повести и материалов, использованных Трумэном Капоте. Когда корреспондент «Нью-Йорк таймс» Уильям Мюррэй спросил Брукса, как он думает избежать дешевой сенсационности, тот ответил:

«Я вижу будущий фильм как древнегреческую трагедию американского образца. Все знают содержание повести, а следовательно, и фильма. Значит, дело не в сюжете, а в освещении всего, что произошло. Разумеется, меня не интересуют подонки типа Хичкока. Правда, я понимаю, что первым делом надо задеть за живое зрителя. Но я создам драму с глубоким социальным содержанием. Социальные причины — вот что лежит в основе всего, а не бредни о неврозах. Если бы я предполагал, что такая картина не имеет корней в окружающих нас социальных условиях, я не стал бы ее делать».

Брукс снимает картину в Канзасе, в городке Холкомб, который в ноябре 1959 года стал местом зверского убийства семьи Клаттеров. Брукс отказался от «звезд», заявив, что, глядя на известных киноартистов, зритель никогда не сможет отмежеваться от их образов и не воспримет их как Дика и Перри — хладнокровных убийц Клаттеров.

Режиссер широко использует на съемках, там где это возможно, местных жителей, холкомбцев, знавших Клаттеров. В массовых сценах снимаются многие граждане городка, которые видели и помнят черный «шевроле», на котором в город прибыли убийцы...

Ричард Брукс, по его собственным словам, задался целью внушить миллионам американцев мысль, что бороться надо не только с отдельными убийцами, а против системы в целом, порождающей «климат убийства».

«ТЕАТР ХЛЕБА И КУКОЛ»

«Один из самых одаренных деятелей нью-йоркского театра»,— так характеризует обозреватель журнала «Плейз энд плейерз» Питера Шумана.

Шуман возглавляет труппу кукольников, не имеющую ни постоянного помещения, ни какого-либо определенного бюджета. Выступают они на улицах. В этом театре, носящем название «Театр хлеба и кукол»,— двенадцать непрофессиональных актеров, все они зарабатывают себе на жизнь на стороне. Сам Шуман работает художником-декоратором.

«Постановки Шумана обычно построены на каком-нибудь религиозном сюжете, сквозь который явно проступает современное политическое и социальное содержание,— пишет обозреватель.— Позорная война США во Вьетнаме, социальная несправедливость, жестокость полиции, расизм — вот главные темы театра».

«Спектакль должен быть понятен любой аудитории,— заявил Шуман,— вот почему я считаю, что игра на улицах — наиболее удачная форма, это самое правдивое и подлинное искусство». По мнению Шумана, настоящие актеры — это кукольники и циркачи, чье искусство ближе всего народу.

Рецензенты выделяют спектакль «Огонь», который рассказывает о жизни вьетнамской деревни и заканчивается сценой самосожжения одной из жительниц деревни.

Обычно актеры проходят по центральным улицам Нью-Йорка, разыгрывая перед прохожими свои представления. Вот как описывает сам Шуман одну из таких постановок: «Мы несли десятифутовую фигуру дяди

«Театр хлеба и кукол» на Пятой авеню Нью-Йорка.

(Журнал «Плейз энд плейерз»)

Сэма, которую соорудили с помощью детей Гарлема. Нам хотелось, чтобы он был похож на злого плантатора, но он вышел похожим на Джонсона, это нам понравилось. Он был в высокой американской шляпе, в одном кулаке зажата сигара, в другом — веревка, на которой он тащил Христа и его учеников: они символизировали страдания Вьетнама... Представление кончилось налетом полиции».

«Истины, которые преподносит в своих спектаклях Шуман,— пишет обозреватель журнала «Плейз энд плейерз»,— часто не нравятся властям и конформистски настроенным прохожим, члены труппы подвергаются арестам, иногда их просто избивают на улице».

РАССКАЗЫ АРТУРА МИЛЛЕРА И ТЕНЕССИ УИЛЬЯМСА

Два известных американских драматурга —Артур Миллер и Тенесси Уильямс — одновременно выпустили по сборнику рассказов.

Сборник Артура Миллера назван «Вы мне больше не нужны» (по одному из рассказов). Миллер, как известно, в течение последних лет занимался в основном драматургией, лишь изредка отвлекаясь, чтобы написать небольшой рассказ. Ранее были опубликованы все, кроме одного — «Ночь слесаря - монтажника», — всего их девять. По мнению большинства рецензентов, это лучший рассказ сборника. Главный герой его, слесарь-монтажник Тони Калабрезе, несколько напоминает одного из персонажей пьесы «Вид с моста». Рассказы Миллера, по отзывам критиков,— это своеобразные социально-психологические этюды. Герои их — люди, ищущие места в жизни. Время действия — наши дни.

Сборник Тенесси Уильямса носит название «В поисках рыцарских приключений», в нем одна большая новелла и четыре коротких. Название этому сборнику дал научно-фантастический рассказ. В нем фигурирует некое предприятие «Проект», производящее взрывные устройства, которые могут погубить нашу планету. Главные темы других рассказов — стремление героев избавиться от одиночества, найти цель в жизни, в общении с людьми и в заботе о них.

Многие рецензенты пишут одновременно об обоих сборниках. Брукс Аткинсон в «Сэтердей ревью» высказал мысль, что Миллер тяготеет к школе Ибсена, а Тенесси Уильямс — к школе Чехова, но есть у них и общие черты: трудолюбие и внимание к окружающей жизни. Роднит их и то, что оба они правдиво изображают неприглядную американскую действительность.

ТУРЦИЯ

«ДЖЕМО»

Выдающимся событием литературного года назвала турецкая критика последнее произведение писателя-реалиста Кемаля Бильбашара — его роман «Джемо», который вышел в стамбульском издательстве «Эврен».

«Этот роман проникнут эпическим народным духом, — писал крупнейший турецкий литературовед Тахир Алангу.— В то время как в последние годы наша литература все больше подпадает под влияние Запада, роман Бильбашара, читающийся с неослабным интересом, как по своему стилю, так и по содержанию — явление самобытное. Героиня романа — курдская девушка Джемо, которая восстает против домашнего рабства».

Кемаль Бильбашар вошел в литературу в начале второй мировой войны. Его первые книги «Рассказы из Анатолии» (1939), «Ореховый сад» (1941) обратили на себя внимание основоположника реалистической турецкой новеллы Сабахаттина Али. Одобрительно отозвался о нем заключенный в те годы в тюрьму Назым Хикмет. Романы «Розовый волк» (1953), «Ночь лунного затмения» (1961) показали, как отмечает критика, что писатель верен избранному пути.

Видный публицист Четин Алтан сравнивает обличительную поэтическую силу романа Бильбашара с «Железной пятой» Джека Лондона.

«Кемаль Бильбашар,— пишет литературный критик журнала «Варлык»,— открыл миру Восточную Анатолию, внутренний мир ее людей и условия их жизни. Это первоклассное произведение национальной литературы, и ему уготована долгая жизнь».

ОРХАН КЕМАЛЬ — ДРАМАТУРГ

Крупнейшие критики Турции отметили как большой успех турецкого театрального искусства постановку пьесы известного романиста Орхана Кемаля «Семьдесят вторая камера» в Анкарском художественном театре. Пьеса эта, написанная Кемалем по мотивам одноименной повести, рассказывает о жизни заключенных Брусской тюрьмы, где автор, осужденный за свои политические убеждения, провел пять лет в годы второй мировой войны.

Действие пьесы происходит в камере под номером 72, которая на тюремном жаргоне носит название «камеры голых». Вся одежда заключенных здесь арестантов состоит из рваного мешка. Это крестьяне, попавшие в тюрьму за неуплату налогов, за сопротивление жандармам, за драки из-за земли, воды. Весь паек — шестьсот граммов хлеба. И если родные и знакомые не приносят им еды и денег, они обречены на голодную смерть. Главный герой пьесы капитан Ильясь, такой же обездоленный, как и его товарищи по несчастью, неожиданно получает сто пятьдесят лир. Но вместо того чтобы переехать в камеры «беев», он делит лиры между обитателями камеры. Его поступок возвращает веру в людей, в человечность даже потерявшим человеческий облик арестантам.

«Орхан Кемаль,— пишет критик журнала «Еди тепе»

Метин Анд,— сумел показать, что человечность неисчерпаема. По сути дела, он изобразил не столько тюремную камеру, сколько все наше общество».

В интервью с журналистами Орхан Кемаль заявил: «Когда молодой Анкарский театр решил поставить мою пьесу, я, по правде говоря, сомневался: «Откуда им, этим анкарским молодым актерам, знать тюремный быт и атмосферу тех лет?» Посмотрев спектакль, я убедился, что пьеса не только ничего не потеряла, наоборот, их постановка и игра сделали ее намного лучше».

После премьеры публика устроила автору и актерам овацию и свыше получаса не отпускала их со сцены.

По словам Кемаля, кроме пьесы «Спинозы», поставленной в Стамбуле, и «Семьдесят второй камеры» у него в портфеле есть еще две — «Муртаза» и «Пистолет», а также инсценировка его романа «Эскиджи и его сыновья».

«РУКА ЦЕНЗУРЫ»

Под таким заголовком стамбульская газета «Акшам» пишет о разгуле цензуры в Турции. В Международный день театра стамбульское радио передавало беседу, в которой принимали участие писатели Халдун Танер, Рефик Эрдуган, Тарык Бугра и другие.

Когда участвовавший в передаче писатель из ФРГ сказал, что «немецкие писатели будут бороться и борются против фашистских вылазок, которые угрожают демократии», передача была внезапно прервана.

По требованию прокуратуры была снята пьеса Аристофана «Лисистрата» в стамбульском театре Оралоглу. Лишь благодаря протестам экспертов — профессоров Стамбульского университета удалось добиться возобновления спектакля.

Управление безопасности Стамбула отказалось выдать заграничный паспорт поэту Нефзату Устюну, приглашенному на конференцию писателей стран Азии и Африки в Бейруте. Устюн заявил, что этот отказ является нарушением конституции.

В интервью корреспонденту газеты «Акшам» поэт сказал: «Те, кто отказал мне в паспорте, дали приказ турецким газетам и радио писать о конференции в Бейруте всевозможные небылицы. Между тем, как известно, там были приняты важные решения: относительно изданий произведений писателей Азии и Африки на французском, английском и арабском языках, о единстве писателей в борьбе против империализма и неоколониализма.

Для меня важно не то, что я не смог поехать на конференцию, а то, что Турция оказалась там не представленной по причине весьма многозначительной: этого не пожелали Соединенные Штаты».

ФРАНЦИЯ

НОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ МИШЕЛЯ БЮТОРА

В настоящее время французская пресса много пишет о творчестве Мишеля Бютора, одного из основоположников «нового романа». Вызвано это тем, что Жорж Шарбонье опубликовал в издательстве Галлимара книгу «Беседы», в которой собраны записанные на магнитофонную ленту высказывания Бютора о литературе. Бютор только что закончил эссе о творчестве Золя, написал пьесу «Ваш Фауст» и выпустил автобиографическую книгу «Портрет художника в облике молодой обезьяны».

Пьеса «Ваш Фауст» принята к постановке Театром де ла Монне в Брюсселе. В еженедельнике «Фигаро литтерер» Мишель Бютор рассказал о пьесе:

«Ваш Фауст» — опера-барометр, произведение мобильное, меняющееся в соответствии с реакцией зрителей. Во время антракта публике будут предлагаться различные финалы. И будет исполнен один из выбранных ею пяти финалов, комбинирующихся с пятью эпилогами. Зрители тем самым будут принимать, как в некоторых телевизионных передачах, участие в спектакле».

Живейший интерес вызвала книга Бютора «Портрет художника в облике молодой обезьяны». Это рассказ о посещении автором пятнадцать лет назад Германии, где он семь недель гостил в средневековом замке немецкого графа, увлекавшегося алхимией, теологией и пасьянсом.

«Эта книга — творческий поиск,— рассказал Бютор корреспонденту еженедельника «Леттр франсез».— Я в ней забавлялся. Она автобиографична, но написал я ее не для того, чтобы рассказать свою жизнь... Название пародийно. Я подчеркиваю, что подражаю Джойсу, написавшему «Портрет художника в облике молодого человека». Но сам Джойс подражал художникам, а между нами вклинилась пародия на Джойса Дилана Томаса «Портрет художника в облике молодой собаки». Так что я иронизирую одновременно над художниками, Джойсом, Томасом и над самим собой».

В газете «Юманите» Андре Стиль написал, что из всех экспериментов представителей «нового романа» поиски Мишеля Бютора самые привлекательные, значительные и интересные.

Литературный критик Мишель Лери назвал в газете «Монд» творчество Бютора «мифологией реализма», он писал: «Поиски Бютором новых литературных форм воспринимаются одними как истинное творчество, другими — как отрицание самой литературы. Сегодня он писатель мало читаемый, но живо обсуждаемый. О нем спорят».

ПРЕМИЯ «ФРАТЕРНИТЕ» — ФИЛЬМУ БЕРРИ

Премия «Фратерните», основанная «Движением за мир, против расизма и антисемитизма», ежегодно присуждается во Франции произведению, «служащему идеалам равенства и братства между людьми, без

Главные роли в фильме «Старик и мальчик» играют Мишель Симон и Ален Коэн (на снимке).

(Еженедельник «Леттр франсез»)

различия происхождения, расы и религии». В этом году она увенчала вышедшую на экраны Парижа ленту молодого кинорежиссера Клода Берри «Старик и мальчик».

Фильм вызвал почти единодушное одобрение французской прессы. Так, рецензент газеты «Юманите» в статье под названием «Идиотизм повседневного расизма» писал: «На тему о социальной болезни — антисемитизме Берри создал великолепную комедию, но, странное дело, самые смешные эпизоды вызывают у зрителей не только смех, но и слезы волнения и гнева. Его фильм — призыв к человеческой справедливости».

Обозреватель еженедельника «Леттр франсез» отмечал:

«Берри дал свою оценку событиям и показал ужасы войны и расизма в повседневном их обличье. В фильме нет ни героизма, ни высоких слов, ни карикатуры. Берри вскрывает психологические корни и противоречия расовой ненависти. Это еще один документ в деле о преступлении расизма. Оригинальность фильма в том, что автор, показывая расизм смешным, не дает ему никаких скидок, безоговорочно его обличает. Это выдающееся произведение, вызывающее уважение и симпатию».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

МАЯКОВСКИЙ В ПРАГЕ

Чехословацкая общественность отметила сорокалетие посещения страны Владимиром Маяковским. С воспоминаниями о встречах с Маяковским выступил в газете «Руде право» известный художник Адольф Гофмейстер. Сорок лет назад, пишет он, в большом зале Народного дома на Краловских Виноградех состоялся чешско-русский вечер, организованный Обществом за экономическое и культурное сближение с новой Россией. На этом вечере собралась вся Прага. Люди затаив дыхание слушали огненные стихи поэта. «Это голос революции»,— сказал тогда Витезслав Незвал.

Маяковский недолго пробыл в Праге, он направлялся дальше — в Берлин и Париж. Но эти несколько дней непосредственных контактов передовой творческой интеллигенции Чехословакии с советским революционным поэтом оказали влияние на дальнейшее развитие чехословацкой литературы и искусства, пишет Гофмейстер. Он подчеркивает, что вообще влияние советского революционного искусства было и осталось очень значительным. В заключение автор пишет: «Наши искусствоведы и некоторые их советские коллеги до сих пор еще не всегда обращают должное внимание на тот факт, что передовое советское революционное искусство вызвало значительные перемены в образе мышления чешской и словацкой творческой интеллигенции двадцатых годов и обусловило ее переход на левые позиции. Без советского революционного искусства было бы невозможно объединенное выступление против фашизма. Благодаря этому искусству в момент освобождения наша творческая интеллигенция и работники культуры целиком поддерживали политическую революцию».

«Маяковский» — рисунок Адольфа Гофмейстера.

(Газета «Руде право»)

Авторы этого номера

В этом номере мы публикуем подборку стихов монгольских поэтов, с творчеством которых мы уже знакомили нашего читателя.

САНЖМЯТОВЫН ДАШДЭНДЭВ (род. в 1912 г.).

Монгольский поэт, прозаик и общественный деятель. В 1960 году в МНР вышла его книга «Избранные произведения».

ТУМРИЙН НАЦАГДОРЖ.

Монгольский поэт. Автор сборника стихов «Монгол хуу», вышедшего в Улан-Баторе в 1959 году, и других книг.

ЧОЙЖИЛЫН ЧИМИД (род. в 1927 г.).

Монгольский поэт, лауреат Государственной премии. Автор ряда поэтических сборников, переводчик Шекспира, Пушкина, Л. Толстого, Маяковского, Ли Бо.

■

УИЛЬЯМ СТАЙРОН — WILLIAM STYRON (род. в 1925 г.).

Американский писатель, известный своими романами — «Сникаю во мраке» («Lie Down in Darkness», 1951), «Сожги эту обитель» («Set This House on Fire», 1960).

Публикуемый в этом номере роман «Долгий марш» («The Long March») вышел в 1962 году.

■

ДЖОН ОСБОРН — JOHN OSBORNE (род. в 1929 г.).

Известный английский драматург, наиболее популярны его пьесы — «Оглянись во гневе» («Look Back in Anger», 1956), «Комедиант» («Entertainer», 1957), «Лютер» («Luther», 1960), «Вот так патриот» («A Patriot for Me», 1965), «Оплачено сполна» («A Bond of Honour», 1966).

В этом номере публикуется пьеса «Неподсудное дело» («Inadmissible Evidence»), была поставлена в 1964 году.

■

СИМОНА ДЕ БОВУАР — SIMONE DE BOUVOIR (род. в 1908 г.).

Первый роман французской писательницы Симоны де Бовуар «Приглашенная» («L'Invitée») вышел в 1943 году. Среди наиболее значительных ее произведений можно назвать романы: «Все люди смертны» («Tous les hommes sont mortels», 1947), «Мандарины» («Les mandarins», 1954), получивший Гонкуровскую премию; «В расцвете сил» («La force de l'âge», 1960), «Сила вещей» («La force de choses», 1964).

Роман «Прелестные картинки» («Les belles images») вышел в 1966 году.

■

ГЕОРГИ ЦАНЕВ (род. в 1895 г.).

Болгарский ученый-литературовед, автор работ «Писатели и творчество» (1932), «Проблемы современной болгарской литературы» («Проблеми на днешната българската литература», 1939), «Идеи и образы» (1944), «Страницы истории болгарской литературы» («Страници от историята на българската литература», 1953—1958) и других.

Статья «Октябрь и новые пути болгарской литературы» прислана автором в рукописи.

■

ДЖОН ГОВАРД ЛОУСОН — JOHN HOWARD LAWSON (род. в 1895 г.).

Американский драматург, кинокритик и публицист, один из деятелей Голливуда,

брошенный в тюрьму за отказ сотрудничать с комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Автор книги «Теория и практика создания пьесы и киносценария» («Theory and Technique of Playwriting», 1936), ряда пьес и киносценариев. На русском языке вышли его книга «Кинофильмы в борьбе идей» («Films in the Battle of Ideas», 1953) и пьеса «Чудеса в гостиной» («Parlor Magic»), опубликованная в «Иностранной литературе» № 11 за 1962 год.

Статья, публикуемая в номере, получена редакцией в рукописи.

■

ЭРЖЕБЕТ ГАРАИ — ERZSEBET GARAI (род. в 1895 г.).

Венгерский искусствовед, занимается проблемами документального кино. В 1967 году Э. Гараи защитила на эту тему диссертацию в Академии общественных наук СССР.

Ее статья, помещенная в номере, написана по просьбе редакции.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **С. А. ГЕРАСИМОВ, Я. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая ул., д. 41. Телефон В 3-51-47

А 10273. Сдано в производство 17/V-67 г. Подписано к печати 25/VII-67 г.
Бумага 70×108$^{1}/_{16}$=9 бум. л.=18 п. л. Зак. 1625.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394